Ираклий Квирикадзе

Мальчик, идущий за диской уткой

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ираклий Квирикадзе, культовая фигура российского кинематографа, автор сценариев к фильмам “Кувшин”, “Пловец”, “Лунный папа”, “1001 рецепт влюбленного кулинара”, “Лето, или 27 потерянных поцелуев”, преподаватель Высших курсов сценаристов и режиссеров, постоянный автор журнала “Story”. В последние годы живет в Москве, работает в США, Франции, Германии, Грузии и России.

В книге “Мальчик, идущий за дикой уткой” в поэтичной и одновременно эксцентричной манере, столь близкой его искусству, он рассказывает о своей жизни и о кино: старый Тбилиси, Москва, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Мальта; Сергей Параджанов, Федерико Феллини, Милош Форман, Пьер Ришар, Никита Михалков, Георгий Данелия, Рустам Хамдамов…

- Ираклий Квирикадзе
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○ Фотография 1. 1943 год
  - ○ Фотография 2. 1952 год
  - ○ Фотография 3. 1949 год
  - ○ Фотография 4. 1956 год
  - ○ Фотография 5. 1963 год
  - ○ Фотография 6. 1963 год
  - ○ Фотографии 7, 8, 9, 10
  - ○ Фотография 11. 1962 год
  - ○ Фотография 14. 1993 год
  - ○ Фотография 13. 1955 год
  - ○ Фотография 14. 1993 год
  - ○ Фотография 15. 1949 год
  - ○ Фотография 16. 1950 год
  - ○ Фотография 17. 2015 год
  - ○ Фотография 18. 1983 год
  - ○ Фотография 19. 1967 год
  - ○ Фотографии 20, 21, 22, 23
  - ○ Фотография 24. 1991 год
    - ■
    - ■ Счастливые дни Пересвета
  - ○ Фотография 25. 1973 год
  - ○ Фотография 26. 2011 год
  - ○ Фотография 27. 1967 год

- Фотография 28. 1985 год
- Фотография 29. 1945 год
- Фотография 30. 1922 год
  -
  - Часть первая
  - Часть вторая
- Фотография 31. 1996 год
- Фотография 32. 1996 год
- Фотография 33. 1998 год
- Фотография 34. 1955 год
- Фотография 35. 1984 год
- Фотография 36. 1985 год
- Фотография 37. 1979 год
- Фотография 38. 1951 год
- Фотография 39. 2014 год
  -
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
- Фотография 40. 1953 год
- Фотография 41. 1947 год
- Вместо эпилога

Ираклий Квирикадзе
Мальчик, идущий за дикой уткой

Посвящается той, кто гналась за мной и моей ленью с кухонным ножом.

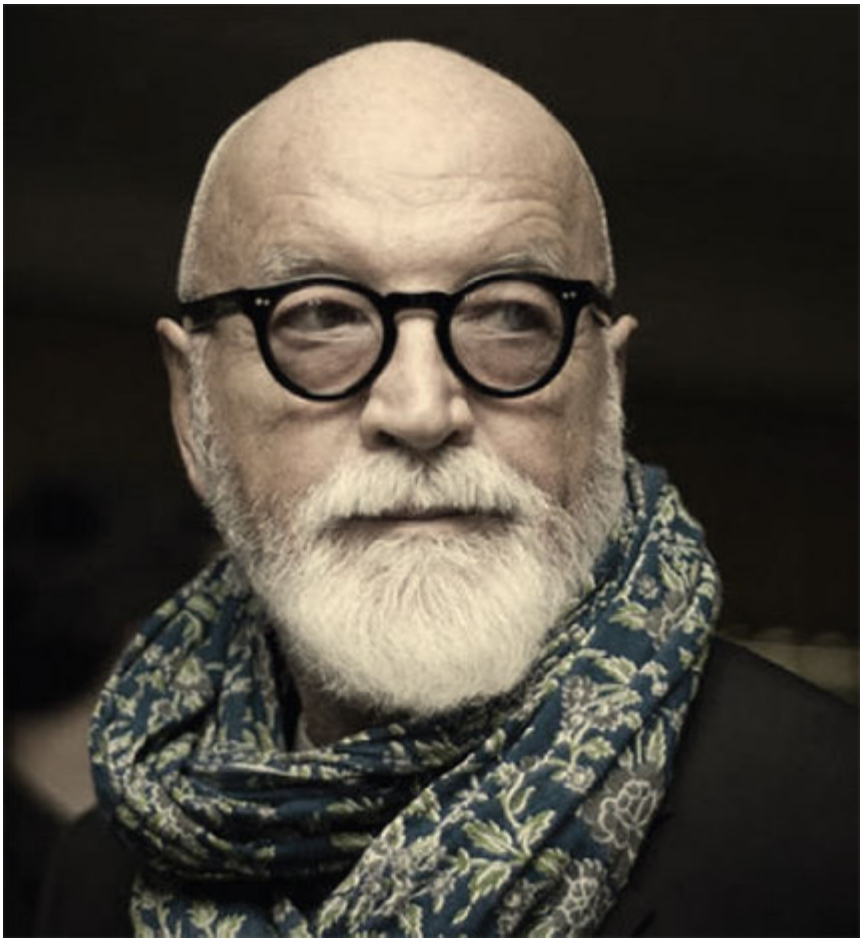
Кто привязывал авторучку к моей правой руке: “Пиши!”

Той, кто хлестала меня по щекам, когда я кричал: “Я не Фолкнер, не Маркес!”

Посвящается моей жене Тамаре.

Фотография О. 1939 год.

© Квирикадзе И. М., 2016
© ООО “Издательство АСТ”, 2016



Дорогой Чанчур!

Мне семьдесят семь лет. Если бы ты умел считать и от сегодняшнего 2016 года отнял семьдесят семь, ты узнал бы, что твой папа родился в 1939 году.

Но ты не умеешь считать (еще), тебе нет и трех лет. Ты маленькое, невероятно веселое существо, которое знает совсем немного; любимое твое слово – “бёрд”. Это когда ты видишь в небе летящие самолеты, ты радостно тычешь в них пальцем и по-английски называешь “бёрд”. Почему по-английски говорит мальчик, живущий в Москве на улице летчицы Гризодубовой, 3, в квартире 5? Думаю, потому, что у Чанчура няня – филиппинка Менчи, которая души в нем не чает и целыми днями бродит с ним по остаткам знаменитого когда-то Ходынского аэродрома, где для товарища Сталина специально была выстроена трибуна и он со своими военачальниками (маршал Буденный, маршал Ворошилов и другие) наслаждался воздушными парадами. В небе летели стальные птицы, под трибуной стоял духовой оркестр, гремели

медные трубы, и твой, Чанчур, двоюродный прадедушка, полковник Анзор Квирикадзе дирижировал этим оркестром. Прадедушка глядел не в ноты (он их знал наизусть), а в лицо любимого товарища Сталина, который то пальцем указывал в небо на воющие самолеты, то раскрывал пачку папирос “Герцеговина флор” и угощал маршалов, то в кармане своего военного кителя тайно разворачивал обертку конфеты “Раковая шейка” и так же тайно закидывал “Шейку” в рот, под левую щеку. У вождя был диабет второй степени, его постоянно сопровождала медсестра Тося Пурыгина и, заметив ненавистную ей конфету, могла ринуться и растолкать всех охранников, всех военачальников, схватить товарища Сталина за руку и отобрать “Раковую шейку”. Тося Пурыгина была молодой, сильной, думаю, сильнее семидесятилетнего генералиссимуса, вождя всех трудящихся планеты Земля. Когда у Сталина после короткого выламывания рук отбирали конфету, он шипел: “Повешу на первом же фонарном столбе тебя, Тося, и твоего хахаля Анзора Квирикадзе!”

Чанчур, ты не знаешь, что полковник Квирикадзе был возлюбленным медсестры Тоси Пурыгиной. Ты забегаешь вместе с няней-филиппинкой в супермаркет “Ашан”, который построили как раз там, где стояла та самая трибуна, и просишь: “Менчи, купи мне сладкую конфетку”. “Раковых шеек” уже нет в продаже, но так же, как генералиссимусы, маленькие мальчики во все времена любили, любят и будут любить сладости. Собственно, об этом я и захотел написать книгу и рассказать в ней многое, что ты сегодня не знаешь и, боюсь, когда повзрослеешь, можешь не узнать… Да и как ты можешь узнать, если я не сообщу тебе печальную весть о том, что Тоси Пурыгиной любимого Анзора Квирикадзе 9 мая 1950 года, как только оркестр духовых инструментов сыграл на Красной площади марш в честь пятилетия победы над гитлеровской Германией, посадили в черную машину, и он навсегда исчез. Его больше не видели ни медсестра Тося, ни наше многочисленное семейство Квирикадзе – Миндадзе.

Моя мама, твоя бабушка София Миндадзе рассказывала, что в начале шестидесятых годов встретила в Кисловодске у минерального источника “Нарзан № 7” Тосю Пурыгину. Та была уже не так молода и сильно набрала вес. Тося плакала, вспоминая Анзора: “У меня было тридцать семь любовников, может, чуть больше… Никого не помню, кроме твоего, Софа, двоюродного дяди. Знаешь, как я мстила Сталину? Ни разу после ареста Анзора не отобрала у него «Раковую шейку». Делала вид, что отбираю, но не отбирала. «Сдохни, тиран», – шептала про себя”.

Мама (твоя бабушка) не поверила Тосе Пурыгиной: “В шестидесятых было модно ругать Сталина”.

Мой Чанчур!

Дело не в Сталине, не в “Раковой шейке”. Да, жалко Анзора Васильевича Квирикадзе. Я хорошо помню его: он был похож на Джонни Вайсмюллера, того, кто играл Тарзана, но дело даже не в нем… Ты грузин, ты вырастешь и, я уверен, будешь знать свой родной язык, будешь знать историю по школьной программе, знать русскую литературу, любить, как и я, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Шекспира, Бродского, Сэлинджера, кого-то еще, кого будут читать в тридцатых годах двадцать первого века; но мне обидно, что ты почти не будешь знать о потрясающих людях, твоих близких по крови, по фамилии. Кто они, эти люди большого семейства Квирикадзе – Миндадзе? Я хочу познакомить тебя с ними. Я даже собрал старые любительские фотографии, сложил в коробку из-под кубинских сигар “Ромео и Джульетта”, ждал, когда тебя, кроме слова “бёрд”, заинтересуют слова “возлюбленная”, “трудное счастье”, “покойные мои предки”, “мама, кто был мой папа?”.

Я думал даже написать книгу, где эти фотографии будут открывать каждую новую главу. Я определил время, место, имена тех, кто изображен, и по какому случаю они позируют неизвестному, стоящему за кадром. Нередко это был я, твой папа.

Но случилось необъяснимое. Снимки пропали. Если бы меня допрашивал следователь, я бы ему ответил так: их украли. Хочется выть от обиды! Размахивать кулаками, бежать с двустволкой!!! Но за кем?

На фотографиях были запечатлены важные моменты моей жизни, жизни моих родственников, друзей…

Фотографии были то ли оправданием, то ли обвинением, то ли доказательством странно, нелепо прожитой всеми нами жизни. Я долго искал снимки, ходил по дому, заглядывал под диван, за шкаф, спрашивал: “Где они?”

После недельного безуспешного поиска сел на красный старый диван (ты, Чанчур, обычно прыгаешь на нем), закрыл глаза и стал вспоминать. Стал фотографировать потерянные фотографии. Чанчур, оказывается, у меня хорошая зрительная память. Ура, малыш! Я запишу все, что выплывает из лабиринтов памяти. Важное, неважное, веселое, грустное, постыдное – всякое…

Чанчур, я пишу книгу, но она не для детского чтения. В ней не будет Дюймовочек, Алис в Стране чудес, Красных Шапочек, Серых Волков, трех поросят: Ниф-Нифа, Наф-Нафа, Нуф-Нуфа, –

не будет Конька-Горбунка, Иванушки-дурачка…

…Будет много, много совсем не сказочных героев, жизнь которых была не такая сладкая, как конфеты “Раковая шейка” в карманах Иосифа Виссарионовича Сталина, но они, мои герои, не печалились, и, если на них направляли фотоаппарат, они улыбались, глядя в объектив.

Фотография 1. 1943 год

Фотография 1. 1943 год.

На коленях громоздкой девушки Зои (1) сидим я (2) и мой друг Антон Гогелия (3). Улыбаемся.

Нам по четыре года. Зоя приехала в Тбилиси перед самой войной. Она рассказывала о голоде в Поволжье, о расстрелах за

сорванный на поле колосок пшеницы. Зоя поселилась в семье Антона, убирала у них в доме и гуляла с моим другом. Иногда и я присоединялся к веселой компании: Антон, Зоя и ее подруга Люся. Помню смех подружек, купание в Черепашьем озере – девушки плескались в воде, мы сидели на песчаном пляже, – помню голубые атласные лифчики девушек. Люся работала вагоновожатой в трамвайном депо. Нас с Антоном часто катали на Люсином трамвае. Разрешали дергать рычаг, от которого звенел трамвай. Это был апофеоз детского счастья. Трамвай едет по улице Дзнеладзе и звенит, автор этого звона и грохота – ты!!!

Однажды ночью пришли люди в форме, арестовали Зою. В ту же ночь арестовали и Люсю. Девушки оказались людоедками. По субботним дням, когда у Зои был выходной, они катались на Люсином трамвае одни, без нас. Девушки знакомились с молодыми людьми – обычно это были солдаты. После танцев, после скромных застолий девушки убивали своих возлюбленных и…

Я часто разглядывал эту фотографию. Как могли Зоя и Люся с застенчивыми улыбками, с комсомольскими значками на кофтах пропускать через мясорубку своих любовников?

В городе много говорили о девушках-людоедках. Моя мама рассказывала, что на суде девушки сознались во всем, винили голод в Поволжье, из-за которого они пристрастились к каннибализму…

На фотографии Зоя обнимает нас с Антоном и как-то особенно ласково смотрит на меня. Друзья смеялись: “Зоя откармливала тебя, Ираклий, для скромного ужина с подругой Люсей”.

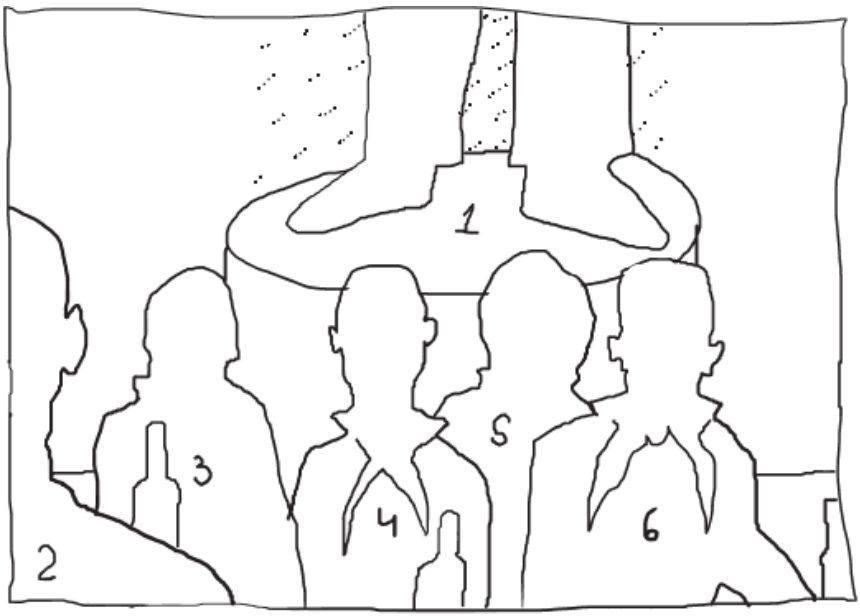
Чанчур, ты родился 1 января 2013 года в городе Лондоне. Лет через двадцать, в 2033 году, взрослому тебе вряд ли будет интересно знать о каком-то голоде в Поволжье.

Вот я и думаю: может, не для Чанчура пишу я эту книгу, а пишу для себя? Может, мне надо погрузить в проявитель несуществующую пленку, потом опустить ее в закрепитель (кто помнит красный свет в ванной, где проходили фотопроцессы), чтобы то, что было изображено на фотографиях, не исчезло навсегда. Чтобы кто-то знал, что мальчики, сидящие на коленях няни, могли быть съедены в один прекрасный вечер 1943 года. Это не хоррор, не фильм ужасов, а малоприметная, забытая страничка из жизни Ираклия Квирикадзе и Антона Гогелии.

Чанчур, ты здесь ни при чем. В 2033 году не об этом ты должен читать, не это разглядывать.

Может, даже хорошо, что эта фотография исчезла?

Фотография 2. 1952 год



Фотография 2. 1952 год.

Памятник Ленину (1) на въезде в город Анара (Западная Грузия). У постамента стоим мы: Антоп Гогелия (2), Ираклий Квирикадзе (3), Элизбар Балавадзе (4), Дэвид Иванов-Гиковани (5), Леван Канкия (6).

На наших шеях (у всех они тощие) красные пионерские галстуки. В руках бутылки вина. На фотографии видны наклейки: “Кахетинское вино № 8”. В то жаркое лето 1952-го родители сослали нас в анарский пионерский лагерь. Мы два месяца жили и развлекались в свое удовольствие. Пили вино “Кахетинское № 8”, состязались в метании гранат – от случая к случаю

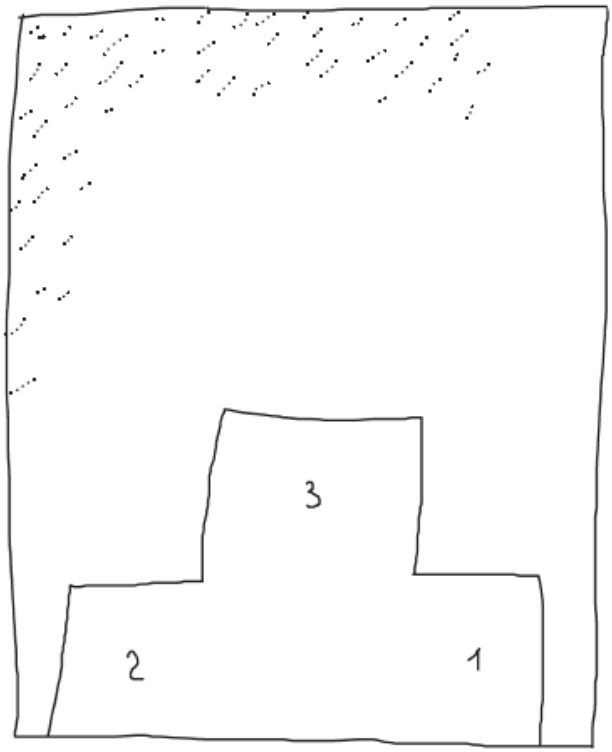
забрасывали их в окна пионервожатых, директора лагеря Магреса Федоровича Индиго. Одна из гранат непонятно каким образом взорвалась, разнеся в клочья патефон Индиго. Мы курили сигареты “Ворошиловские”, а в лагерном туалете (Чанчур, не читай эти строчки, закрой глаза или положи ладонь на страницу) состязались, кто пустит струю и выше других зальет отштукатуренную туалетную стену. Непревзойденным чемпионом в этом виде многоборья был Леван Канкия, он же будущий Кафка, самый низкорослый из всех нас. Сознаюсь, что я, не самый низкорослый пионер анарского пионерлагеря, был постоянным аутсайдером игры “чья струя выше?!”. Но не подумай, Чанчур, что я такой уж слабак. Были другие состязания, не менее экзотичные, в которых я побеждал.

На постаменте чугунного памятника высечены буквы: “Владимир Николаевич Ленин”. Когда мы увидели эту надпись, мы опешили: “Владимир Николаевич Ленин?” Спроси в Гренландии любого гренландца имя и отчество Ленина, он ответит: “Владимир Ильич Ленин”. А в Анаре скульптор высек на граните: “Николаевич”.

На фотографии мы стоим растерянные. У Дэвида Иванова-Чиковани топорщатся волосы, как под электрическим током. Леван Канкия щупает гранитные буквы, не веря ни глазам, ни пальцам. Он смотрит на меня и молча спрашивает: “Как такое может быть, Ираклий? Это же абсурд, визуальный бред, кошмар!”

У памятника Владимиру Николаевичу Ленину нас сфотографировал пионер Роберт Стуруа, наш друг, оставшийся за кадром. Жаль, что его не видно, сегодня он один из выдающихся театральных режиссеров мира.

Фотография 3. 1949 год



Фотография 3. 1949 год.

Анарский пионерский лагерь. Я (1) на пьедестала почета — третье место в метании гранаты. Левон Канкия (2), он же Кафка, — на втором месте. Победитель — не помню кто (3).

После награждения почетными грамотами мы играем в футбол на стадионе пионерлагеря. Наша с Кафкой команда проиграла. Уйдя с футбольного поля, мы забрели в заросли колючего кустарника, где что-то строилось. Мы с Кафкой увидели свежевырытый лаз. Куда он ведет? Мы влезли в него. Ползем. Метра три было темно, потом лаз расширился, мы увидели

большую светлую яму, спрыгнули в нее. Свежая глина. Еловые шишки валяются. Пахнет хорошо… Посмотрели наверх. Над нашими головами – деревянный настил с широкими круглыми дырами. Поняли: мы на дне новопостроенного пионерлагерного туалета. Только сообразили, куда попали, как раздались шаги по деревянным доскам, и… о ужас! Мы увидели большой женский зад. Через соседнюю дыру было видно лицо той, кому этот зад принадлежал. Пионервожатая нашей группы Маквала Михайловна Топурия! Присев, она, видимо, почувствовала чье-то присутствие, посмотрела вниз через соседнюю дыру.

– Канкия, Квирикадзе, что вы там делаете?! – истошным голосом завопила она.

Два пионера в коротких штанах, белых рубашках, красных галстуках синхронно подняли руки в пионерском приветствии – ладонь ко лбу.

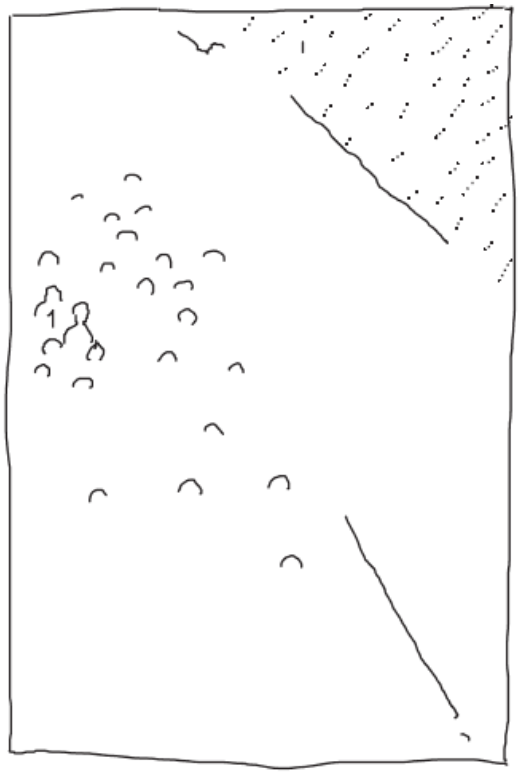
– Маквала Михайловна, мы сюда упали!

Я прервал свое письмо и вновь задумался, о чем я рассказываю мальчику, которому еще только три года, которого мы дома (он уехал в Лондон) зовем Чанчур, а в паспорте его написано, что он грузин, и звать его Ираклий, и фамилия его Квирикадзе. Чанчур – это прозвище. В Грузии чанчурами зовут мальчиков, которых мамы чистыми пускают гулять, а приходят они грязные, с синяком под глазом, в одном ботинке, зато с чьей-то собакой, которая, по их словам, будет жить с ними и спать в их постели… кепка на голове не своя, алюминиевая сабля у кого-то украдена или выменяна на жестяной грузовик… И так каждый день.

Во дворе Чанчура бегают дикие английские кролики. Чанчур дружит с ними. А я знаю много смешных историй о грузинских диких кроликах, знаю даже о диких гигантских кроликах с Дарданельских островов.

Чанчуру это должно быть интересно, но я пишу сейчас не о том… Не о кроликах.

Фотография 4. 1956 год



Фотография 4. 1956 год.

Я, Ираклий Квирикадзе (1), иду
в толпе по проспекту Руставели.
В Тбилиси сносят памятники Сталину.
Мы кричим: „Любимый товарищ Сталин!
Мы с тобой!" Неужели это я?!

На лацкане пиджака бумажная роза с вклеенным профилем усатого вождя. В тот год в Грузию приехал китайский генерал Чжу Дэ. Он был другом и соратником Мао Цзэдуна. Мы, съехавшиеся отовсюду школьники, студенты, заводские парни, девицы с чайных плантаций, собрались огромной толпой под

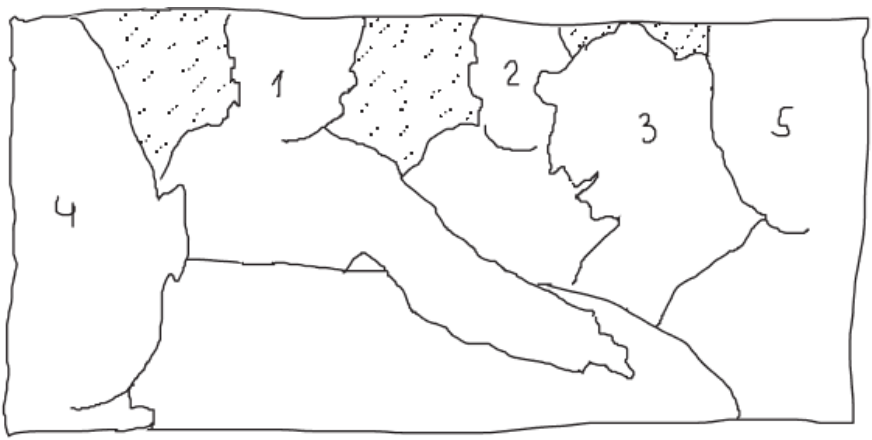
окнами гостиницы “Интурист” и кричали: “Товарищ Чжу, передай товарищу Мао, что на родине товарища Сталина хотят снести памятники великому вождю!!!” Провопив час, мы заметили на балконе крошечного китайца в военном кителе. Он, сонно хлопая глазами, махал нам. Мы завопили: “Чжу Дэ! Чжу Дэ! Чжу Дэ! Чжу Дэ!” Два молодых загримированных актера взобрались на крышу автобуса. Один с густыми усами в кителе – Сталин, другой в галстуке в горошек – Ленин. Мы кричали китайскому генералу: “Сталин и Ленин любят друг друга!” Сейчас подобные слова звучат несколько двусмысленно, тогда это был политический лозунг. Толпа требовала: “Пусть товарищ Ленин поцелует товарища Сталина!” Актеры целовались. “А теперь пусть товарищ Сталин поцелует товарища Ленина!” Мы были счастливы, когда генерал Чжу Дэ прокричал что-то на китайском и исчез с балкона. Мы уверяли друг друга: “Товарищ Чжу Дэ сообщит товарищу Мао, как товарища Сталина обижают на родине…”

Генерал уехал в Москву, оттуда в Китай. В Тбилиси пролилась кровь. В ту ночь солдаты-новобранцы Закавказского военного округа, только что певшие на проспекте Руставели: “Сталин, – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет…”, – вдруг начали стрелять в тех, кто им аплодировал. Стреляли в упор (свыше был получен приказ стрелять в демонстрантов). Я, Чанчур, был в десяти шагах от этих солдат – в тбилисском Доме учителя, куда мы с одноклассницей Нонной К. забежали погреться. Узнав, что на ночном сеансе уже идет фильм “Под небом Сицилии”, остались, обвязались одним длинным шарфом (в зале было холодно) и… заснули. Не видели и не слышали фильм, не видели и не слышали выстрелов, криков убиваемых за стенами Дома учителя.

Кончился сеанс. Нас разбудила хромая армянка Шушаник – билетерша: “Вы тут спите, а там ваших всех убили!” Мы выбежали на ночной проспект Руставели. Была тишина, стояло оцепление из милиционеров. Они молча смотрели, как солдаты заносят в черные “вороны” неживых. Мы не могли понять, что случилось за эти сорок минут… Вот за ноги волокут актера, изображавшего Иосифа Виссарионовича Сталина. Перед тем как скинуть его в черный “ворон”, солдат сорвал со Сталина фальшивые усы.

“Вы тут спите, а там ваших всех убили”. Эта фраза хромой билетерши выплывала из памяти в течение моей жизни не раз, не два, не три…

Фотография 5. 1963 год



Фотография 5. 1963 год.

Семь лет спустя мы стали друзьями. В летнем саду Дома офицеров (там продавалось в буфете чешское пиво) в объектив фотоаппарата улыбаемся несколько юношей с взъерошенными волосами „а ля Элвис Пресли". Элизбар (1), Антон (2), я сам (3), Леван (4) и Дэвид (5).

Я и мои друзья носили тогда прически а-ля Элвис Пресли. СССР вроде и не существовал для нас: мы отдельно, он отдельно. Ночами мы слушали “Голос Америки”, записывали на магнитофон Фрэнка Синатру, Ната Кинга Коула, божественную Эллу Фицджеральд и бога всех богов Элвиса. Рядом со мной стоит Антон Гогелия, одноклассник, собутыльник и т. д. У папы Антона Георгия Шалвовича был подпольный цех по изготовлению лакированных женских туфель. В те годы тбилисские лакировки считались шиком на всей территории СССР.

Когда мы ездили в Москву, Антон брал с собой гору

(чемодан) этих пахнущих почему-то печеньем туфелек. Нередко и я на правах друга доставал из его чемодана туфельки, которые приходились по ноге моим московским девушкам. Жизнь была прекрасна! Кафе “Молодежное”, где играл саксофонист Козлов, улица Горького, она же Бродвей, ночные купания на Чистых прудах с девочками из общежития ВГИКа, телефонистка Клара по прозвищу Царь-жопа, разрешавшая нам часами разговаривать с Тбилиси, ресторан “Арагви” с утренним хаши – и вдруг телеграмма: “Папу арестовали”. Папу Антона. Георгия Шалвовича Гогелию. Мы вернулись в Тбилиси.

Начались процессы над подпольными советскими миллионерами. Закрыли цех лакированных туфель, Георгия Шалвовича приговорили к расстрелу. С Урала, где Георгий Шалвович сидел в колонии, пришла весть: нужно дать взятку, чтобы расстрел заменить на другую статью. Семейство Гогелия собрало деньги и снарядило Антона в поход на Урал. По дороге в поезде “Тбилиси – Москва” он влюбился в дочь генерала КГБ. Та обещала помочь ему в деле папы. Две недели в Москве дочь генерала раскручивала Антона. Он не вылезал из ресторанов. А из уральской тюрьмы в Тбилиси пришло тревожное послание: “Где деньги? Все может плохо кончиться”. Сестра Антона Лиза попросила меня поехать с ней в Москву – найти исчезнувшего брата. Мы поехали. Помню ночь, луну в окне, мягкий вагон и жесткий Лизин корсет, который возвышается Пизанской башней на столике. Я не мог спать. Две ночи длилась пытка: желание, недозволенность, совесть и вновь желание захлестывали меня. В двухместном купе было жарко, с Лизы постоянно сползало легкое покрывало, обнажая пышное потное тело сестры моего друга.

В зимней Москве с невероятным трудом мы вышли на след Антона. Генеральская дочь оказалась самозванкой. Растратив на нее большую часть денег, брошенный ею Антон плакал в объятиях девушки из ВГИКовского общежития. Девушка была синеволосой, как Мальвина. Сестра Лиза сказала брату: “Всегда знала, что ты ничтожество! Я взяла последнее, что было в доме. Летим сейчас же в Свердловск!”

Странная команда села в самолет: Антон, Лиза, Мальвина и я. В Свердловске тридцать градусов мороза. В зауральские трудовые колонии поезда отправляются только два раза в неделю. Взявшая на себя роль Жанны д’Арк Лиза не стала ждать поезда, нашла шофера. Загрузившись в “москвич”, мы поехали куда-то за четыреста километров, на север. Воет вьюга. На полпути в поселке Заветы Ильича обедаем в столовой. Выходим – машины нет, угнали. Только в самом плохом кино могло такое произойти. Пустая трасса. Вьюга. Шофер матерится. Лиза, не обращая ни на

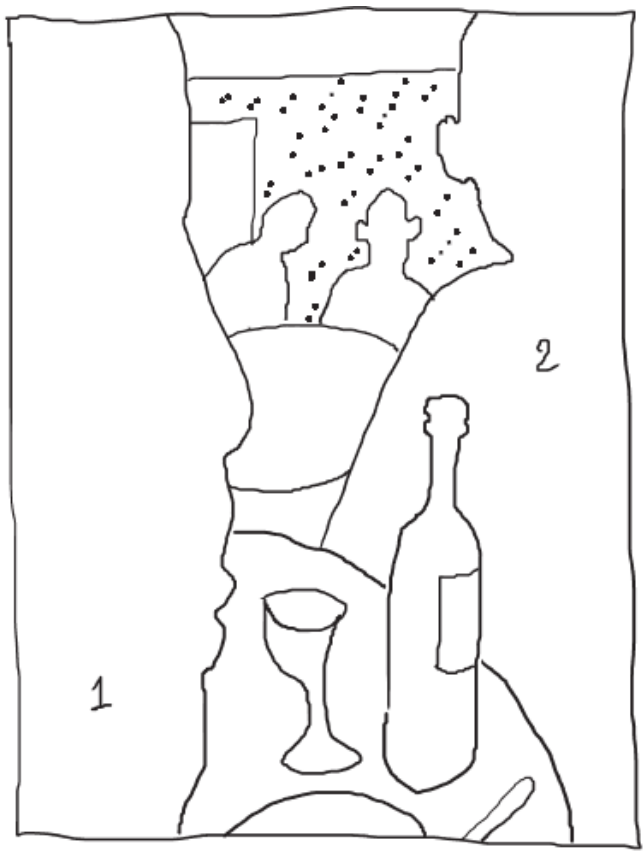
кого внимания, преграждает путь грузовику с нефтебаком. Он единственный в вое вьюги появился на брошенной трассе.

Лиза и Антон уезжают, оставив меня с Мальвиной и матерящимся шофером “москвича”. Не помню повода, но начинается дикая драка: шофер избивает меня, вымещая, видимо, всю злость за похищенный автомобиль. Мы попадаем в милицейский участок. Дежурный милиционер хочет понравиться Мальвине. Он предлагает выпить тройного одеколона: выставляет флакон, потом добавляет еще два. Я напиваюсь в первый и последний раз тройным одеколоном. Мы миримся с водителем. Он тоже по-своему сумасшедший: уверяет нас, что маршал Семен Михайлович Буденный – его родной дед, что “москвич” был подарком маршала. Ночью, протрезвев, мы с Мальвиной понимаем, что должны срочно ехать в колонию. Вспомнили и название колонии – Половицы.

В четыре утра милиционер остановил трейлер, который ехал в Половицы. Всю дорогу спим. “Папу расстреляли! – сказала бледная как облако Лиза, когда мы встретились. – В этот вторник”. Мы опоздали на три дня.

…Антон на обратном пути купил в Свердловске пластинку Луи Армстронга производства Германской Демократической Республики. Это была первая официально появившаяся в СССР джазовая пластинка-гигант. В Москве она была абсолютным дефицитом, мечтой любого джазомана. Когда Антон сказал продавщице: “Дайте мне Сачмо”, – та не поняла его (Сачмо, “губастик”, – прозвище Луи Армстронга).

Фотография 6. 1963 год



Фотография 6. 1963 год.

Лука Мекхи (1), мой родственник по материнской линии, и я (2) в кафе "Вавилон", которое мы, завсегдатаи, зовем "Кафе сирот".

Сюда мы ходим есть харчо, котлеты, компот из сухофруктов. Напротив кафе – издательство газеты "Заря Востока". Многие из нас работают там внештатными корреспондентами.

В углу кафе стоит длинный дубовый стол, где собираемся мы,

безвестные гении. Алик Бакурадзе – поэт, гений. Серго Саркисов – тоже поэт, гений. Гоча Соселия – философ, гений. Гайоз Барбизонов – певец, буддист, гениально играющий на ситаре. Я – Ираклий Квирикадзе, будущий писатель, конечно же гений. Есть еще писатель Чичуа, и он гений, но он презирает меня, я презираю его. Я всюду ловлю реальные сюжеты, он их ненавидит. Он фантаст. В его сюжетах герои блуждают по галактикам…

Так вот, Лука Месхи, случайно забредший в наше кафе, пьет вино и уверяет меня, что помнит все девять месяцев, проведенных в материнском чреве. Помнит с того момента, когда, победив миллион себе подобных сперматозоидов-головастиков, первым доплыл до финиша. Хотелось спросить: “Лука, врешь же?” И я спросил. Удивила невозмутимость, с какой он продолжал рассказывать эту маловероятную историю.

Вот в это самое время в “Кафе сирот” вошел штатный фотограф “Зари Востока” Гурам Патарая и сфотографировал меня и Луку Месхи – твоего, Чанчур, троюродного дядю, сегодня известного ученого-микробиолога из Болоньи. Он редко приезжает в Грузию. Слушая Луку тогда, в 1963-м, я всё больше и больше входил во вкус его рассказа. Годы спустя написал сценарий “Лунный папа” о необычных приключениях его мамы Лауры Квирикадзе, пока сам крошка Лука рос, креп, плавая в маминых водах. По этому сценарию режиссер Бахтияр Худойназаров снял фильм, получивший призы на престижных фестивалях. Но фильм и рассказ Луки Месхи во многом отличаются друг от друга. Особенно финал.

Мы с Лукой выпили в тот день в “Кафе сирот” три бутылки “Кахетинского № 8”. После того как мы с ним осушили вторую бутылку и приступили к третьей, он сказал:

– Лаура Квирикадзе была наивной шестнадцатилетней дурочкой и не собиралась становиться моей мамой. Однажды ночью она уколола палец об острый шип дикой розы. Лаура возвращалась с концерта артистов, приехавших в нашу деревню Лио. Концерт понравился ей. Она брела в темноте и насвистывала песню из репертуара сестер Ишхнели. Решив сократить путь к дому, Лаура пошла пустырем, заросшим кустами диких роз. Кто-то, кто через полчаса станет моим папой, подошел к ней и назвался актером той заезжей театральной труппы. Дальше они пошли вместе и свистели уже дуэтом. Потом упали в траву. Выглянула из-за облаков луна. Быстро сделав Лауру моей будущей мамой, актер встал с мятых ночных трав и исчез. Исчез навсегда, “словно растворился в лунном свете”, – скажет потом Лаура. И никто – ни мама, ни мой дедушка Иосиф, деревенский милиционер, ни бабушка Натали – никто никогда не узнал, кто

он.

Дедушка, бабушка, моя мама девять месяцев ездили в Кутаиси, Поти, Анару, Боржоми – в города, где есть театры, – высматривали, выслеживали актеров-мужчин, пытаясь определить, кто шел за мамой Лаурой в ту лунную ночь по пустырю, заросшему дикими розами.

Дедушка был строг, он носил в кармане револьвер. Бабушка хотела лишь мужа для дочери. Маме же нравились театры, сцены, бархатные занавеси, мраморные колонны, зеркальные фойе, буфеты, пирожные, лимонад и, конечно же, наряды, прически, голоса актеров. Каждый понравившийся актер казался ей тем таинственным лунным незнакомцем.

– Это он, – шептала мама.

Дедушка Иосиф тут же выхватывал револьвер и лез на сцену, гоняясь за испуганными до смерти актерами. После громких разбирательств выяснялось, что ни один из них, увы, никогда не бродил в окрестностях нашей деревни Лио.

У дедушки был мотоцикл с прицепом. На нем мои родственники совершали набеги на театры в близких и дальних городах. Часто в дороге их настигал дождь. В мокром платье Лаура сидела в полумраке кутаисской оперы и слушала “Аиду” Верди. Дедушка спал. Днем он выводил на виноградники арестантов, а вечерами, уставший, расставив толстые ноги, откинув назад мускулистую шею, громко похрапывал на спектаклях.

* * *

Вокруг деревни Лио – холмистая равнина с залежами сланца. Беспрерывно дуют пыльные бури, с водой постоянные проблемы. Лиойцы купаются в песках. Я не оговорился – именно купаются. Для этого они закапывают себя в раскаленный до шестидесяти градусов (по Цельсию) песок. В песчинках сланца с тела, как в парной, катит градом пот. Лиойцы после этой “парилки” обтирают тела полотенцами – и чисты как ангелы. Женщины Лио “купались” у развалин церкви, которую все называли крылатой, вернее, летящей. Подглядывать за голыми женщинами никому из местных мужчин не приходило в голову. Хотя говорили, что военные из мотострелкового полка № 177 Закавказского военного округа, расположенного неподалеку от деревни, разглядывали смуглотелых красавиц в мощные полевые бинокли.

Но теперь нет уже мотострелкового полка, на его месте стоят пустые дома с выбитыми окнами, валяются противогазы, ржавые

вилки, учебники по рукопашному бою. Над всем этим высится огромный памятник Ленину (всюду памятники). Эвакуация военного полигона из Лио кое-что изменила во флоре и фауне местности. На аэродроме в трех километрах от деревни военные летчики загружают самолеты овцами, коровами, быками (они ворованные) и вывозят их на продажу. Опасливо озираясь, летчики гонят скот к самолету, стоящему с заведенными моторами. У люка происходит заминка: большой черный бык не хочет влезать, бодается, ревет… После короткой корриды бык загнан в самолет. Ты, Чанчур, еще узнаешь об этом быке. Молодого узколицего летчика Зозо Булочкина, грузина по матери и русского по отцу, тоже постарайся запомнить. Это он завлек быка в самолетный люк и под хохот друзей сел за штурвал и взлетел в красное от восходящего солнца небо.

Лаура, девочка-подросток, любила сдавать кровь заезжающим в деревню Лио работникам общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Ей нравился один из двух санитаров, который, когда брал мамину кровь, показывал фокусы с картами или читал любовную лирику Галактиона Табидзе, любимого Лауриного поэта. “Тринадцать пуль отлей мне, оружейник, тринадцать раз я выстрелю в себя”, – читал санитар. (Чанчур, Галактион Табидзе – любимый поэт не только Лауры Квирикадзе. Его переводили на русский язык Пастернак, Ахматова, но читать его надо грузину на грузинском. Помни об этом.)

Мы с Лукой Месхи допивали “Кахетинское № 8”, каждый из нас пьяно прочел строчку из Галактиона, и Лука продолжил свой рассказ:

– Санитар и его напарник были аферистами, разъезжавшими по маленьким городкам под видом Красного Креста. Собранную кровь они выгодно продавали в госпиталях. Думаю, что санитар-кровопийца, как он себя называл, мог стать моим папой, но не успел, его опередил решительный “лунный незнакомец”.

В ночь, когда я был зачат, мама смотрела, как я говорил, в деревенском клубе концерт. В этот раз показывали отрывки из пьес Шекспира. Черный Отелло душил в постели белую Дездемону. Юный Ромео говорил о любви, стоя под балконом Джульетты, потом перебирал струны мандолины. Мама, завороженная, смотрела на сцену, повторяла шепотом монологи влюбленных. После концерта в клуб должен был заехать дедушка Иосиф. Он очень любил свою дочь и следил, чтобы ее никто не обидел, особенно сейчас, в пору ее прощания с детством. Крупные ноги, крупный зад, большие зеленые глаза, пышная грудь Лауры могли свести с ума кого угодно. Даже конь почтальона как-то не удержался и лизнул потный мамин зад, когда та собирала

оставшиеся перезрелые виноградные гроздья. Лизнул и не смог оторвать язык от маминых прелестей. Виноградари хохотали.

Дедушка Иосиф не пришел в ту ночь в клуб – он проспал. Лаура ждала-ждала своего отца, потом пошла домой одна. В сухой траве мерцали светлячки. Мама уколола палец. Дальше знаешь, что произошло.

Лаура, завороженная, смотрела на то, что делал актер. Минут через шесть в природе образовалось нечто, что смело можно назвать моим приходом в этот мир.

“Он был бледным”, – сказала Лаура своей подруге Медее, которой первой раскрыла сладчайшую жуткую тайну.

– А если будет ребенок? – спросила Медея.

Лаура разинула рот. Немая сцена длилась так долго, что мне захотелось крикнуть: “Я уже есть!”

– Расскажи еще раз, как это было? – попросила Медея.

– Он уложил меня на траву. Осторожно. Всё делал осторожно. Трусов на мне не было, я их терпеть не могу, ты знаешь. Потом во мне что-то взорвалось, как бомба, нет, как динамит, – помнишь, на Базалетском озере бросили динамит, и рыбы взлетели в воздух? Вот так разлетелись в разные стороны мои ноги, живот, сердце, груди.

Медея закрыла глаза, желая яснее представить этот взрыв.

Девочки ходили по пустой столовой, где Медея помогала своему отцу-буфетчику чистить лук, картошку, потрошила рыбу.

– Я забыла сказать, он нес гуся, мертвого, – добавила Лаура.

– Мертвого?

– Да.

– Тогда это действительно был актер. Они воруют ночами дичь, душат и увозят в город.

– Зачем?

Вошел папа Медеи Титико Лазишвили. Девочки замолчали.

Вскоре Лаура, убедившись, что в ней затаился я, решила от меня избавиться. Она с Медеей тайно поехала в городок металлургов Чиатура, где добывали марганец. Врач-гинеколог тщательно помыл руки, стал кипятить инструменты. Мама сидела в гинекологическом кресле, и я с ужасом всматривался в действия гинеколога. Я хотел кричать, как, наверное, кричат слепые котята, которых несут топить в реке. “Оставьте меня в живых, может, я буду Эйнштейном, Кассиусом Клеем, Гагариным, может, Джиной Лоллобриджидой или… Не убивайте меня!” Удивительно, но меня услышали там, выше облаков…

Ожидая, пока прокипятятся орудия моего убийства, гинеколог вышел во двор покурить. Неожиданно рядом остановилась пыльная машина, из которой раздались три

выстрела. На халате несчастного гинеколога появились три пунцовые розы, он упал. Позвал санитарку: “Скажи девочке, что я не сделаю аборт. Пусть рожает, так хочет Всевышний”.

Врач был сван, всем известны их родовые разборки. Язык не поворачивается сказать: спасибо, дорогие сваны! Но что в таком случае можно сказать?

Не буду считать число пощечин, которые надавал дочери лиойский милиционер Иосиф, узнав, что та забеременела. Когда страсти приутихли, Иосиф решил действовать.

– Мы объездим все театры, ты должна узнать этого негодяя!

Иосиф поспешно сунул в пустую кобуру револьвер. Мир театра был для него незнаком, поэтому на всякий случай он решил прихватить верного стального друга. Первое время Иосиф пытался скрыть тайну дочери от родственников, от односельчан, но деревня Лио быстро узнала о случившемся. Строгие вековые традиции не допускали мысли, что у ребенка не будет отца. “Ничьих детей” в Лио никогда не было. Иосифу, олицетворяющему закон и порядок, легче было застрелить дочь, застрелиться самому, чем дожить до дня, когда родится этот “ничейный”.

Иосиф пошел в клуб. Директор клуба Акакий Гугунава был полупридушен в своем кабинете, словно был виноват в том, что среди артистов, игравших в мае, оказался совратитель невинной девушки Лауры Квирикадзе. Акакий, с шеи которого Иосиф не убирал стальные пальцы, разыскал список актеров, посетивших деревню три месяца назад. Прочтя фамилии, сказал:

– Это не мог сделать кто-нибудь из них. В тот раз приехали такие хилые, а с твоей дочкой чтоб справиться, нужен…

– Кто? – спросил Иосиф настороженно.

– Смотри! – Акакий ткнул пальцем на плакат старого фильма с Юлием Бриннером. – Одни мышцы! Этот бы мог, а эти наши… Не знаю. Когда твоя Лаура ходит по улице, в ней всего так много…

Иосиф растерянно смотрел то на обнаженный торс Юлия Бриннера, то на директора клуба, не зная, как реагировать.

Акакий налил вина, велел клубному аккордеонисту принести закуску. Аккордеонист играл душещипательные мелодии.

– Насыпь пепел на мою седую голову, – бил милиционер по своей круглой, как бильярдный шар, голове. – Я опозорен. Мой род опозорен.

И вот мотоцикл с пьяным Иосифом, женой и дочерью уже мчится в дождь, сверкают молнии, гремит гром… Вот они сидят в зале Потийского драматического театра… При входе Иосиф грозно спросил билетера:

– Партугимов сегодня играет?

Фамилия этого актера стояла первой в списке директора лиойского клуба.

– Играет, – подтвердил билетер.

Спектакль уже начался. Иосиф заметил, что в задних рядах пили водку из горлышка.

На сцене шел снег, ветродуй гнал снежинки в зрительный зал. Это было странно, так как показывали спектакль “Отелло”. В Венеции шел снег, и черный мавр ходил в завывающей пурге босиком и спрашивал Дездемону, куда она девала платок, который когда-то он подарил ей. Дедушка Иосиф провалился в сон. Бабушка Натали обалдело смотрела на зимнюю вьюгу, на черного человека, который таким прекрасным голосом страдал от несправедливости белых людей и мелочно ревновал к жене. Крупные слезы покатились у бабушки из глаз. Дедушка громко храпел. На храп обратил внимание венецианский мавр. Он сделал паузу в монологе и попросил Натали разбудить “этого мудака”. Так и сказал прямо со сцены, тыча пальцем в дедушку. В задних рядах засмеялись. Иосиф, услышав слова Отелло, приподнялся на стуле.

– Это ты мне? – спросил он у актера.

– Да, да, тебе, мудак! Там в углу водку распивают, здесь ты храпишь, а я Дездемону душить для кого должен?

В задних рядах снова засмеялись – с пьяным удовольствием. У Иосифа не хватило юмора влиться в общий смех. Он показал на Отелло и спросил Лауру:

– Он?

Мама покраснела:

– Не знаю, папа, вроде он, но какой-то очень черный.

Иосиф встал, пошел к задним рядам и стал пить с ними водку из горла. Парни подначивали милиционера:

– А что этот Отелло тебя при всех мудаком обозвал? Нехорошо, командир, не уважают тебя!

Иосиф молча пил. Вдруг неожиданно для собутыльников вскочил, побежал к сцене, вспрыгнул на нее. В руках его сверкнула револьверная сталь. Он схватил Отелло за горло, стал душить. Началась паника. Иосиф тащил Отелло за кулисы. Дездемона норовила высвободить мавра из сильных милицейских рук, какие-то люди пытались сделать то же самое, но Иосиф отталкивал их револьвером.

Где-то за кулисами Иосиф обнаружил кран.

– Смой с себя сажу! – приказал Иосиф.

– Зачем? – спрашивал испуганный Отелло.

Иосиф выстрелил в потолок, давая понять, что он не для

шуток взобрался на сцену. Гримерша вазелином счистила с лица актера грим. Иосиф велел ему стать у стены, опустить руки, открыть глаза и смотреть на Лауру.

– Он? – вновь строго спросил Иосиф дочь.

Лаура внимательно разглядывала вазелинового мавра.

– Вроде не он, – сказала она.

– Вроде или он?

– Не он, папа!

– Пошли, – сказал Иосиф.

И без всяких объяснений покинул театр, ведя перед собой дочь и жену.

Я не буду подробно описывать второй и третий набеги Иосифа на городские театры. Все они были шумные, как и первый. В Кутаисском театре дедушку привязали на сцене к артиллерийской пушке, сделанной из гипса, и оставили на ночь привязанным, как восставшего сикха. Ночью дедушка выволок пушку и с ней протащился по улицам ночного Кутаиса до вокзала, где дежурные развязали ремни, веревки и освободили Иосифа.

В черном списке значилось пять фамилий актеров-мужчин. Иосиф со всеми сделал очные ставки. Лаура говорила “нет”. Последним в списке был певец Мурман Иашвили, исполняющий древние песни. Он в том злополучном майском спектакле выступал отдельным номером, поэтому и оказался под подозрением, несмотря на то что тридцать лет как носил длинную черную бороду с проседью а-ля Фидель Кастро, которую Лаура не могла не приметить на лице мифического лунного папы. Певец был схвачен на окраине своей деревни Эркети, где косил траву. Иосиф посадил его в коляску мотоцикла, связал руки, чтобы не буянил, и повез к Лауре в Лио.

– Он? – спросил Иосиф у дочери.

– Нет, папа! Была луна, а почтенного Мурмана я узнала бы в полной темноте!

Иосифу пришлось отвезти певца назад в поле, вернуть ему косу, извиниться и пожелать удачного сенокоса.

С горя милиционер запил с директором клуба Акакием, и тот сознался, что дал список актеров, которые приезжали не в этом году, а в прошлом. Акакий потерял бумаги, касающиеся майского спектакля. Иосиф рассвирепел: “Так я напрасно год за ними гонялся!” – и выстрелил. Акакий побежал, пули свистели у его ушей. Гипсовый Ленин в фойе клуба от прямого попадания потерял полчерепа.

Шел последний месяц моего пребывания в мамином животе. В глазах жителей деревни Лио милиционер видел нескрываемую

издевку: “Ребенок рождается без отца”. Иосиф неистовствовал. Мрачно смотрел на живот дочери.

Бедная Лаура потеряла сон. Она вставала ночью с кровати, шла во двор, садилась на велосипед и уезжала в поля, мерцающие фосфорическими огнями. Если бы у светлячков были глаза, то они с удивлением смотрели бы вслед девочке в ночной рубашке, кое-как умещавшей живот на раме велосипеда.

В нескольких километрах от Лио по равнине тянулась железная дорога. В шесть утра там проезжал скорый поезд. Лаура, спустив с велосипедных педалей ноги, смотрела на пыльные вагоны, потом поворачивала велосипед и уезжала назад, в деревню. Однажды с подножки поезда был сброшен человек. В предрассветной синеве были видны силуэты людей, которые вытолкнули его с криками и хохотом. Следом полетели какие-то мелкие бумажки. Одна из них прилепилась к велосипедному колесу, Лаура увидела игральную карту – шестерку пик. Человек свалился на песчаную насыпь, тут же вскочил и, хромая, побежал за поездом. Лаура узнала его: это был санитар Карл Глонти, которой не раз брал у нее кровь и читал ей стихи Галактиона Табидзе.

Поезд санитар не догнал. Увидел Лауру, утер окровавленный нос. Они вместе пошли к деревне. Глонти рассказывал о себе: ему пришлось забросить прибыльное дело – собирать кровь. Недруги спалили его автобус. Он стал ездить по поездам и обыгрывать простофиль в карты, но и тут не повезло: одиночку-шулера накрыла поездная картежная мафия.

Побитый Карл весело смеялся, тыкал палец в живот Лауры, спрашивая, кто опередил его. Когда узнал, что удачливый соперник – инкогнито, принесший столько проблем в дом Лауры Квирикадзе, задумался и сказал:

– Пусть твой отец оплатит все мои долги, а я женюсь на тебе, мне всегда нравились беременные женщины.

В лучах встающего из-за виноградных холмов солнца санитар смотрелся очень живописно: высокий, плотный, в майке с рисунком шимпанзе, прыгающей с ветки на ветку, с синяком и разбитым носом.

Неожиданно для себя Лаура привела Карла в дом. Иосиф напоил его вином, которое готовил сам, выжимая сок из виноградных гроздьев в большую медную лохань. Карл оценил вино и как-то очень быстро сдружился с отцом Лауры, который, оказалось, прекрасно играл в карты и замечательно шулерничал. После второй бутылки вина они договорились, что с начала следующего месяца будут вместе ездить по поездам и обыгрывать дураков. Иосиф то ли шутил, то ли говорил серьезно. Его погнали

из милиции за набеги на театры, вот он и готовился к новой жизни – из милиционера в шулеры.

Но дочке он сказал:

– Мое шулерство – это шутка, я вправлю мозги твоему балбесу, дай срок.

Карл стал ходить каждый день в дом Лауры. Купил себе костюм, Лауре – маленькое золотое колечко с аметистовым камешком. Он был нежен с беременной девочкой. Рассказал ей, что его мама, Зина, была руставской проституткой, что у него не было отца в детстве, что это его очень мучает и он всю жизнь ищет папу. Пригласил Лауру в ресторан – и вот тут случилась история.

Они сидели в зале, вокруг стоял гомон, человек двадцать воинов-десантников праздновали какой-то юбилей. Десантники произносили громкие тосты, забрасывали деньгами поющую на эстраде певицу, на пышных грудях которой сверкали сотни зеркальных осколков…

Кто-то окликнул Карла. Он оглянулся. В углу ресторанного зала у пластмассовой пальмы сидели те, кто скинул Карла с поезда. Карл, увидев “друзей”, встал, подошел к ним, поздоровался. Те усадили его за свой стол, но тут же “случайно” пролили на его голову кетчуп. Никто в зале не заметил этих издевательств, только Лаура, бледная, смотрела, как Карл отошел от столика под пальмой и пошел в туалет смыть кетчуп.

Вернувшись к Лауре, он сказал:

– Слушай меня, девочка. Сейчас я пойду к эстраде, скажу в микрофон два-три слова, после которых ты быстро выходи и иди вот к той машине, – Карл указал в окно на красную машину.

Когда певица кончила петь, на подмостки вспрыгнул бывший санитар, взял в руки микрофон и улыбнулся залу.

– Дорогие десантники! Сегодня, в ваш праздник, поздравляем вас! Вон там, под пальмой, сидим мы, – Карл указал на стол, где только что над ним издевались.

Четверо крупнотелых мужчин, сидевших под пальмой, с напряженными лицами смотрели на говорящего.

– Я хочу вам спеть! Эта песня посвящается нашим доблестным воинам-десантникам!

Карл оглядел притихший зал, прижал микрофон к своей заднице, которая издала громкий, протяжный звук, многократно усиленный динамиками. Зал слушал эту долгую ноту в полном оцепенении. Завершив свою “песню”, Карл передал микрофон певице и исчез с эстрады.

Из немой паузы первыми вышли десантники. Они бросились к столу, где сидели “друзья” Карла. Кулаки их стали сокрушать

физиономии “друзей”. Вспомнив про машину, Лаура вышла из орущего матом ресторанного зала.

– Как я их уделал, а? – хохотал Карл за рулем похищенной машины.

Лаура влюбилась в Карла Глонти. Он стал жить в нашем доме, стал целоваться с Лаурой в тех самых розовых кустах на пустыре, где когда-то ее повалил лунный незнакомец. Беременная Лаура была счастлива в руках бережного, внимательного возлюбленного.

Через две недели сыграли свадьбу. Приехала белокурая руставская проститутка Зина – мать Карла. Вся Лио три дня пила, веселилась, а потом случилось то, во что никто не верил, когда им рассказывали…

Утром рано Иосиф, Лаура и Карл поехали в районный центр расписаться, о чем почему-то все забыли. Мотоцикл только выехал за деревню, как Лаура попросила Иосифа остановиться и побежала к кустам. Карл – за ней.

– Ты что, девочка? Тебе нехорошо?

– Успокойся, у меня свои проблемы… Живот…

Карл вернулся к мотоциклу, стал тихо что-то говорить Иосифу. Это видела Лаура, присевшая в кустах. И тут (внимание, Чанчур!) неожиданно со страшным ревом с неба упал бык. Он расплющил мотоцикл, сбил насмерть Иосифа и Карла. Когда к ним подбежала Лаура, она увидела только огромную тушу черного быка, горячую кровь, стекавшую с бычьих ноздрей, и чьи-то ноги, то ли отца, то ли возлюбленного, которые виднелись из-под туши. В эту фантастическую смерть никто не хотел верить. В шесть утра у выезда из деревни Лио с неба свалился бык? Бык с неба?! Разве что Зевс (которого греки изображают в виде быка) покончил жизнь самоубийством… Но при чем тут Иосиф, Карл?!

На девятом месяце беременности Лаура вопреки природе расцвела, похорошела. Девичье лицо обрело черты красивой женщины. Она не могла оставаться в одиночестве. Краткая любовь к Карлу Глонти раскаленной иглой возникала в сердце, как только она оказывалась одна. Ей не хватало веселого шулера с нежными сильными руками, с которым она так глупо договорилась заниматься любовью только после рождения сына. Она пошла помогать своей подруге Медее в столовую. Получала какие-то мелкие деньги.

Как-то вечером в столовую вошли два подвыпивших летчика. Летчики рассказывали Лауре и Медее всякие забавные истории, среди них рассказали и эту: совсем недавно, улетая на север, зная, что там неблагополучно с питанием, они украли из стада двух коров и быка. Только взлетели, бык сорвался с привязи и

стал носиться по самолету как сумасшедший. Пришлось срочно избавляться от опасного груза. Они открыли люк, быка вытолкали…

Лаура опрокинула на голову одного из летчиков кастрюлю с горячим гоми. Через два дня в столовую пришел друг летчика, который избежал участи своего товарища. Он принес письмо от лежавшего в больнице капитана Булочкина. В письме капитан просил прощения за то, что стал причиной таких потрясений в жизни красивой женщины, писал, что раскаленный гоми и ожоги второй степени – легкое наказание за его преступление. В конце письма он просил Лауру выйти за него замуж.

Лаура отказала. Вскоре капитан Булочкин сам появился в столовой. Рана на голове зажила, но волосы росли кустами. Лаура выгнала его. Он пришел к ней в дом пьяный. Стоя у порога комнаты Лауры, сказал:

– Девочка, это я. Это я – он!

– Кто – он?

– Артист, который повалил тебя в кустах диких роз.

Лаура рассмеялась.

– Ты не веришь?

– Ты что, дурак, Булочкин?

– Сказать, что ты говорила в ту ночь? “Ой, как глубоко!.. Во мне нет больше места”.

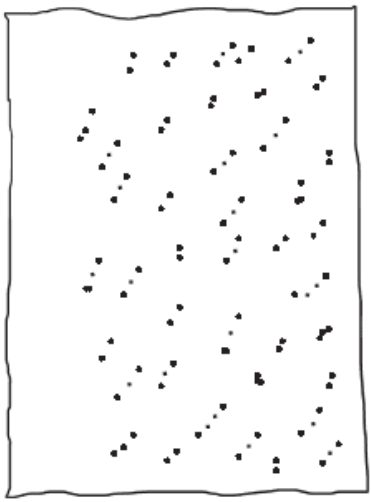
Капитан рассмеялся, увидев растерянность на лице Лауры. Потом в точности рассказал все подробности той ночи и дня:

– Я приехал к друзьям в мотострелковый полк, он расформировался, друзья пообещали подкинуть кое-что. Три дня мы пили, я разглядывал в бинокль голых лиойских девочек, которые закапывались в песок. Приметил одну, классную, сдурел. Потом увидел ее в местном клубе, она сидела разинув рот и слушала Шекспира. После спектакля пошел за ней, китель вывернул наизнанку и представился актером. Я даже сказал: “Я – Ромео”. Ведь так я сказал, помнишь?

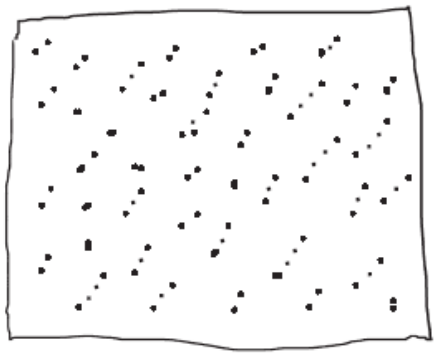
Лаура вспомнила. Капитан упал на колени. Лаура молча ходила по комнате. Капитан не поднимался с колен. Лаура нашла на кухне бутыль отцовского вина. Впервые выпила. Вместе с капитаном. Потом была ночь. Мы были вместе: мама, папа и я. Вновь, девять месяцев спустя. Утром Лаура выскользнула из постели, заварила чайник, расставила тарелки, нарезала сыр, помидоры, хлеб. Приготовила завтрак. Пошла в спальню разбудить капитана, остановилась у кровати, где, скинув одеяло, храпел красивый сильный мужчина. Долго смотрела на него и, сама того не ожидая, вынула из комода отцовский револьвер, набросила на спящую капитанскую голову подушку и выстрелила.

Потом пошла в огород и стала рожать меня среди зеленых кочанов капусты, – закончил Лука.

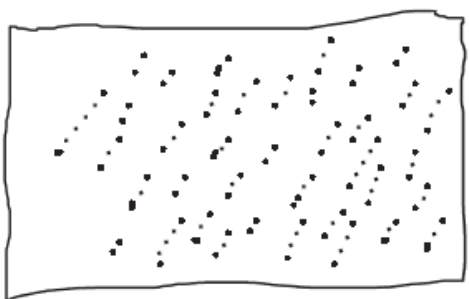
Фотографии 7, 8, 9, 10



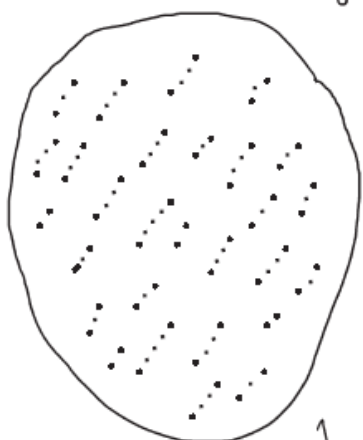
7



8



9



10

Фотографии 7, 8, 9, 10.

Четыре фотографии, снятые примерно в одно время, могли бы рассказать о жизни в Анаре, о школе, о моей первой любви и о великих путешественниках.

Христофор Колумб открыл Америку. Магеллан совершил кругосветное плавание. Амундсен первым оказался на Северном полюсе (если я не ошибаюсь). Ни с одним из этих великих

путешественников я не был знаком. Но зато я знал других великих…

Поль Данилю, муж моей тети Маргуны, был праправнук наполеоновского артиллериста, попавшего в плен под Смоленском. В Анаре Поль Данилю имел прозвище “Дарданел”. Встретить его можно было или в бильярдной, или в театре, где он работал статистом. Он часто захаживал к нам в дом, пил с моим папой чачу и часами молча сидел перед большой картой мира. Вскоре на карте появились острова, очень аккуратно нарисованные в самом центре Тихого океана. Назывались они Дарданельскими. Я вырос с сознанием их реального существования. Помню, даже спрашивал маму: “Почему Дарданельский пролив и Дарданельские острова так далеки друг от друга?”

И вот недавно, живя в Америке, оказавшись у врача “ухо-горло-нос”, сидя в его приемной, я от нечего делать стал разглядывать висящую на стене карту мира и поразился, не обнаружив Дарданельских островов. Спросил в магазине на Милдред-авеню, где торгуют глобусами и картами, почему на них нет группы Дарданельских островов. Меня подняли на смех. Я расстроился: неужели столько лет я был географическим идиотом? Но я же помню, как в моем детстве Дарданел хвастался островами своего имени. Рассказывал мне, что там живут гигантские зайцы, что там есть непрекращающееся эхо! Дарданельцы, со слов Дарданела, говорят и поют шепотом, так как громкие голоса натыкаются на горные изгибы и могут неделями повторяться. Поэтому там люди никогда не ругаются. Дарданел говорил мне: “Представляешь, кто-то крикнет: «Квирикадзе Ираклий, ты – жопа», – и месяц, куда ни пойдешь, ты слышишь с интервалами три-четыре секунды: «Квирикадзе Ираклий, ты…»” Как-то Дарданел, угощаясь чаем с домашним мармеладом (мама была великим кондитером), сообщил мне, что люди покинули острова, не выдержав пыток эхом. Остались лишь гигантские зайцы.

И вот теперь, сорок лет спустя, – полное разочарование. Почему Дарданел дурачил меня? Призвать к ответу его невозможно. Умер он как курица. Объясню, что значит “как курица”.

В театре, где он работал статистом, а я, повзрослев, помощником режиссера, ставили оперу “Демон” Антона Рубинштейна. Сцена представляла собой Кавказские горы из фанеры. Через зрительный зал над головами сидящих в партере был протянут стальной трос. По нему, размахивая марлевыми крыльями, скользил статист, изображавший Демона. Достигнув

фанерных гор, он исчезал за ними. На сцену выбегал другой демон – солист с такими же марлевыми крыльями, как у статиста, и начинал петь знаменитую арию Демона.

В тот вечер над залом летел статист Дарданел. У самой сцены Демон вдруг остановился. Что-то испортилось в механике. Какое-то время Дарданел махал крыльями, надеясь, что кольцо, продетое сквозь трос, продолжит скольжение и он долетит до желанных гор. Но увы! Дух изгнанья не двигался… Оркестр уже играл вступление к арии. Демон-солист не знал, что делать: как выйти на сцену, если статист повис, застряв на тросе. Зрители стали смеяться, когда Демон-солист всё же вышел и запел, не обращая внимания на себя, застывшего в воздухе. У Дарданела свалился ботинок, попал кому-то в голову. Зритель вскочил и стал материть обоих Демонов. Зал гоготал. Когда на зрителей упало крыло Демона-статиста, певец прервал пение и закричал Дарданелу: “Перестань дурака валять, сволочь, дай допеть арию!” И тут случилось совсем не смешное. Расслабился ремень, на котором крепился Дарданел. Пронесясь вниз несколько метров, он повис как курица. Партер повскакивал с мест.

Администратор театра закричал: “Быстро лестницу!” Внесли стремянку, не дотянулись, потом внесли пожарную лестницу, долго не могли установить ее среди рядов. Я и двое других помощников взобрались на нее, чтобы снять Дарданела. Он уже не дышал. Так кончил жизнь – смешно и трагично – Поль Данилю, Дарданел. Думаю, его душа поселилась на тех необитаемых островах среди гигантских зайцев и повторяющегося эха…

Второго путешественника, с которым я таки совершил экспедицию на необитаемый остров, звали Дито Гиоргадзе. Должен сказать, что летом анарцы часто отдыхали в городе-курорте Батуми. Мы с мамой прожили там два года. Мама рассорилась с папой, увезла меня к батумским родственникам. Я учился с Дито в десятом классе. Он строил двухместную подводную лодку. Звал меня бежать на ней в Турцию – от Батума до границы было двенадцать километров.

Дито Гиоргадзе строил лодку без единого гвоздя и вообще без металлических деталей (чтобы радары пограничников не обнаружили). Он был гений инженерии. Что-то вроде Леонардо да Винчи. Для проверки лодки он выбрал маршрут три километра по морю к крошечному пустому островку Дидица. Летом там организовывали городской пионерский лагерь. В старом деревянном бараке жили девочки-пионерки, в другом бараке – мальчики.

Не к месту, но расскажу. Будучи пионером, я влюбился в

пионерку Тамару С. А у директора лагеря Попандопуло был частный зоопарк. Однажды из клетки сбежал двухметровый удав. Нас, пионеров, заперли в бараках, а взрослые (директор, пионервожатые, администраторы) прочесывали с ружьями территорию лагеря день за днем в поисках странного зверя. Удав прятался. Пионеры изнывали взаперти. Любовь моя к Тамаре С. заставила меня ночью сбежать из запертого барака. Сбежала и она, Тамара. В зарослях папоротника мы целовались в атмосфере Альфреда Хичкока…

Подводная лодка Дито была размером с винную бочку. Ночью мы погрузились в Черное море, крутили педали, которые, в свою очередь, крутили наружные лопасти. Субмарина скользила под водой в метре от поверхности моря. Дышали мы через полые бамбуковые стволы. Проплыв минут сорок в кромешной тьме, бочка ткнулась в пляж пионерлагеря на острове Дидице. Мы вылезли наружу. Дито занялся рабочей корректировкой, я же, в лунную ночь, сквозь кусты, пошел к пустым баракам, вспоминая удава, Тамару… и услышал приглушенные страстные стоны. На острове кто-то был… Приблизившись, я бесстыдно стал следить за любовной парой и узнал в женщине глухонемую мать одного из наших с Дито общих друзей (сегодня нет в живых ни матери, ни сына, поэтому я описываю эту странную сцену). Картина заставила меня расплакаться. В моих слезах был и удав, пристреленный в то лето, и Тамара С., которая ушла от меня, полюбив прыгуна с шестом Араика Мкртычана…

Спустя несколько месяцев Дито влюбился в Марину Абуладзе, а так как лодка была двухместной, дал понять мне, что, несмотря на наше антисоветское единомыслие, в Турцию он поплывет с Мариной.

Через месяц Дито Гиоргадзе и Марина Абуладзе тайно уплыли и навсегда исчезли из моей жизни. Не знаю, где они, что с ними приключилось, засекли ли их радары советских пограничников? Достигли ли они берегов Турции, до которых от нас было километров двенадцать? Где ты, мой школьный друг Леонардо-Дито да Винчи-Гиоргадзе?

Третий герой – человек особенный. Я назову его имя и фамилию: Георгий Филиппович Джугашвили. Не будучи в родстве с Иосифом Виссарионовичем Сталиным-Джугашвили, он был чрезвычайно горд, что господь подарил ему возможность носить эту фамилию.

Шел 1956 год. Классная комната, на стене – карта мира. У карты стоит Георгий Филиппович Джугашвили. На нем зеленый полувоенный китель, который зовется “сталинка”. Усами Георгий смахивает на Иосифа Виссарионовича. Он сообщает классу:

– В западном мире царят разврат и секс! Гангстеры проливают на улицах Нью-Йорка реки крови… В дыму и копоти не видно солнца. В небе умирают птицы, на земле умирают люди! Врагом номер один для всех свободолюбивых людей планеты являются Соединенные Штаты Америки!

Джугашвили берет с учительского стола банку с клеем, сливает клей на чистый лист бумаги. Мы внимательно следим. Я силюсь понять, почему клей, бумага? Учитель кричит:

– Христофор Колумб открыл Америку!

Георгий Филиппович прикладывает белый лист к карте – там, где изображены Соединенные Штаты.

– Я ее закрываю!

Георгий Филиппович оглядывает нас.

– Поаплодируем этому важнейшему событию в нашей жизни (раздались хлопки). Но самое главное…

Учитель пишет на белом пятне: “Соединенных Штатов Америки нет”.

– Сейчас хлопаем!

Класс хлопает. Мы разглядываем на карте Западное полушарие. Есть Канада, есть Мексика, США нет!

На следующем уроке географии Георгий Филиппович Джугашвили заклеил Англию. Истребив главных капиталистических монстров, учитель вроде бы успокоился. Он не потопил Германию, пощадил Францию. Благодаря синим карандашам на месте Англии плескалось море, а Канада превратилась в остров. Между нею и Мексикой образовался широченный пролив.

Много лет спустя, будучи номинированным на “Оскар” за фильм “Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара”, я приехал в Америку. В гильдии сценаристов я рассказал историю с моим учителем географии. Рассказал о своем страхе: “Вдруг Америки действительно нет?! Но она есть, понял я, посетив вас. Как замечательно, что не удался фокус Джугашвили”.

Совершая путешествие на Британские острова, я тоже волновался: а вдруг они затонули, как Атлантида, под клеем Джугашвили? И вы знаете, Англия есть! Есть английская королева, есть Шекспир, есть Биг-Бен, есть даже Шотландия. Есть рыжая женщина-модельер Вивьен Вествуд, есть студия, где записывали Битлы свои песни, есть знаменитые английские сады, панки, двухэтажные автобусы, дом Шерлока Холмса. Всё это есть! И это так замечательно!

Фотография 11. 1962 год

Фотография 11. 1962 год.
Группа грузин в Чили в дни первенства мира по футболу. На головах самбреро. Я (1) стою в первом ряду слева, самбреро съехало мне на уши.

Мой папа бредил Пеле. Ожидалось первенство мира по футболу в Чили.

К нам в Анару приехали два представителя Всесоюзной федерации физкультуры и спорта с путевками на футбольный чемпионат. Путевки были проданы семерым счастливчикам, в том

числе и моему дяде Павлу Квирикадзе – второму секретарю горкома комсомола. Счастливчикам завидовали все мужчины города. Наступил день торжественных проводов в Москву, где анарцы должны были влиться в три сотни советских футбольных туристов и улететь в Чили.

В Москве случилось ужасное. Федерация футбола СССР отказала анарцам в поездке. Путевки их оказались фальшивыми. На другое утро в Чили улетели три самолета советских туристов. Семеро анарцев, среди них дядя и я (дядя Павел по блату ввел в число счастливчиков меня), остались с сорока литрами чачи, семью биноклями, семью аппаратами ФЭД и множеством коробок сигар “Монтекристо”.

Возвращаться назад в Анару было невозможно: приехать и стать посмешищем в глазах всех горожан – лучше совершить групповое харакири!

Дядина возлюбленная Клава Пугачева предложила поехать в подмосковную деревню Переделкино, к ее тете Алле, у которой большой цветной телевизор. Там можно скрыться от мира на три недели – посмотреть футбольные репортажи, а потом вернуться в Анару будто бы из далекого Чили.

Так и сделали.

О, эти незабываемые дни на даче у Аллы Пугачевой (не путать со знаменитой певицей)! Старуха в чеховском пенсне терпела нас, шумную ораву грузин, которые орали, плакали, молились, матерились, сидя вокруг телевизора, где по экрану носились великие бразильцы, французы, англичане, немцы, аргентинцы. К Алле заглядывали русские поэты, писатели – переделкинские соседи, которые орали вместе с анарцами, пили вместе с ними, уходили, одаренные бутылями чачи.

Случались и скандалы: в пылу спора о Пеле поэт Евтушенко нокаутировал поэта Блюмкина, тот упал в кусты рододендрона. Алла Андреевна случайно обнаружила тело Блюмкина, который, придя в себя, кричал, что у него украли желтые американские ботинки. В этот момент великий Эусебио (по-моему, он) забил долгожданный гол… И крики общего ликования заглушили вопли о ботинках.

Я влюбился во внучку советского романиста, дважды лауреата Ленинской премии (не назову его звучную фамилию), и вместе с ней уехал в Москву на дедушкину городскую квартиру. Когда анарцы обнаружили мое исчезновение, началась паника. “А вдруг этого дебила, этого идиота увидит на улице Горького кто-нибудь из анарцев, приехавших по делам в Москву?..”

Ночью на квартире романиста появились дважды лауреат-дедушка, мой дядя Павел и брат моей возлюбленной. Брат –

спортсмен-десятиборец – стал меня бить. Дядя, подлец, разглядывал обложки книг лауреата, переведенных на все языки мира. Брат возлюбленной душил меня, дядя просил автограф у великого писателя. Потом меня вернули в Переделкино.

Алла Андреевна Пугачева лечила избитого Ираклия Квирикадзе травами, настоями. Футбольный чемпионат “пересек экватор”. Я вновь сбежал к своей Дульцинее. Меня сняли с автобуса. На этот раз бил дядя Павел.

Весь мир говорил только о футболе. Литераторы-переделкинцы допивали запасы чачи анарцев.

Близился полуфинал.

Дядя Павел купил у ленинского лауреата мексиканское сомбреро. Все анарцы сфотографировались в нем. Это было доказательство нашего пребывания в Чили. Другие литераторы стали приносить нам (откуда?) мексиканские сомбреро. Кто дарил, кто продавал… Финал первенства мира по футболу в Чили я не смотрел. Мы с Викой (так звали внучку лауреата) сидели одни в темном кинозале. На экране горел лес, носились испуганные, растерянные звери. Показывали диснеевского “Бемби”. Мы с Викой целовались. Мы горели, не выходя из зала, три сеанса подряд.

Спроси меня, кто стал чемпионом мира в Чили, – не помню.

Помню наше победоносное возвращение в Анару. На привокзальной площади – толпа встречающих друзей, недругов. Мы все в сомбреро, на дяде Павле пончо, он вылитый Панчо Вилья. Его сомбреро – всем сомбрерам сомбреро! Раздавая направо и налево *chewing gum*, он радостно восклицал: “Амиго для амиго – всегда амиго!”

Год спустя я сбежал в Москву к Вике. Два года спустя поступил во ВГИК, потому что там училась Вика.

Еще год спустя, перед следующим первенством мира по футболу, в Анаре (мне рассказал об этом дядя Павел) появились те двое якобы из Федерации физкультуры и спорта и нагло продали двадцать путевок на новый чемпионат мира. При полном молчании местных “чилийцев”.

Фотография 14. 1993 год

Фотография 12. 1968 год.
На той потерянной фотографии Федерико Феллини (1) стоял в окружении Сергея Бондарчука (2), Тенгиза Абуладзе (3) и Тонино Гуэрры (4) перед входом в гостиницу „Москва".

Прошли годы, я окончил ВГИК.

С Федерико Феллини я столкнулся в перегруженном лифте гостиницы “Москва” в начале шестидесятых. В то утро я в ресторане “Арагви” ел хаши. Трудно объяснить незнающему, что это такое: густой бульон, в нем – коровьи потроха, в него высыпают много-много чеснока, он очень горяч. Хаши – блюдо для похмелья. Хаши – некий наркотик. Есть люди, которые жить без него не могут. В Тбилиси его начинают есть с семи утра. В крошечные столовые старого города съезжаются хашисты. За

одним столом сидят рядом профессора и карманные воры, прокуроры и художники, интеллектуалы и грузчики, секретари райкомов и пьяницы с трясущимися руками. Во время поедания хаши всем всё прощается, этот бульон с чесноком и сто грамм водки – смысл утреннего существования хашиста. Я – хашист. Страдал от того, что в Москве его нигде не готовили, и вот радость – ресторан "Арагви" по воскресеньям стал готовить хаши. Там встречались грузинские и московские хашисты: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Датуна Мачавариани, Саша Абдулов, Жора Гигинеишвили, братья Шенгелая, братья Ибрагимбековы, Саша Кайдановский, Никита Михалков… Список можно продолжать, но я о том злополучном воскресенье, когда в гостинице "Москва" у меня была назначена встреча с человеком, который привез из Тбилиси пакет каких-то бумаг, я должен был взять их и передать…

Я покинул "Арагви", побежал по улице Горького, вбежал в двери гостиницы "Москва", в фойе вижу лифт, заполненный людьми, и в пьяном энтузиазме бегу к нему, втискиваюсь, двери закрываются, но сзади меня втиснулся человек с большим животом. Меня прижало к чьему-то подбородку и щеке. Я посмотрел на хозяина щеки. Узнаю Феллини.

Большой живот сзади вновь прижал мой нос и лоб к феллиниевской щеке и подбородку. Я дышал в ноздри маэстро, которого боготворил за "Ночи Кабирии", "Дорогу" и показанные на московском фестивале днем раньше "Восемь с половиной". Хотелось извиниться за дикий чесночный чад. Но я не знал итальянского и находился в визуальном шоке.

Уверен, что в те полминуты, когда лифт возносил нас, Феллини думал обо мне: "Да отверни ты харю!" Он вышел из лифта на шестом этаже гостиницы "Москва" и бросил на меня взгляд, который я не могу забыть вот уже пятьдесят с лишним лет.

Мне кажется, что, если бы я знал итальянский язык, я шепнул бы в ухо Феллини: "Дорогой Федерико, прости за чесночный запах. Я ел хаши, этот божественный бульон требует много-много тертого чеснока… Давай встретимся в буфете третьего этажа гостиницы, хотя нет, лучше в «Арагви», нет, встретимся у меня дома… мама приготовит сациви, купаты…"

Феллини прервал бы меня и уверил, что он очень любит купаты, но врачи (сволочи) запретили есть мясо. "Тогда аджапсандал! Мама делает необыкновенный аджапсандал… И самое главное, Федерико, ты услышишь мамины истории…"

С шестого этажа мы с Федерико бы рванули вниз, взяли такси и вскоре оказались бы на Ракетном бульваре, дом 5, квартира 23.

– Мама, это Феллини! Ты же его любишь!

– Я?

– Мама, это Феллини!!! “Ночи Кабирии”! Ты же плакала…

В прихожую выглянул бы папа в затертой полосатой пижаме, смутился, увидев высокого гостя, но не сдержался бы от своей традиционной шутки:

– У всех свой вкус, своя манера: папа любит арбуз, а мама – офицера!

Никто не смеялся над папиными шутками.

…Разлив нам с Феллини кахетинское красное, папа ушел в свою комнату – он страдал депрессией. Гостя развлекали мама и моя двоюродная сестра Лиза, которая была от рождения слепой, но замечательно играла в бильярд, настолько замечательно, что выиграла две партии у Федерико Феллини. Тот слегка прибалдел и никак не мог поверить, что Лиза слепая.

Сели за стол. Лиза была тамадой, мама рассказала Федерико историю о том, как она в Батуми хотела приготовить чахохбили…

С мамой всегда происходили необычные истории. Тут она решила приготовить чахохбили из курицы. Мама была одна дома. Курица бегала по балкону. Вооружившись острым ножом, мама, словив курицу, спустилась по лестнице во двор. За кустом лимонника она отсекла чернушке голову. Дождавшись, когда безголовая прекратит последний в своей жизни танец, мама начала подниматься вверх по винтовой лестнице.

На маме халат, в одной руке окровавленный нож, в другой – бездыханная птица. Сверху по лестнице спускаются соседи – муж и жена Ахобадзе. Муж Пармен играл в оперном оркестре на флейте пикколо. Жена Тереза страдала приступами легкой шизофрении, и два-три раза в год Пармен возил ее в сумасшедший дом на краткое лечение.

Одетая в шелковое платье, с крупными фальшивыми жемчугами на шее и в шляпке с вуалью, Тереза выглядела респектабельно.

На третьем этаже мама и Ахобадзе встретились. Неожиданно Тереза, схватив маму за рукав халата, крикнула мужу:

– Пармен, не надейся сдать меня в сумасшедший дом, если с нами не поедет Софа!!!

Муж пытался оттянуть жену от маминого халата, но Тереза вцепилась в рукав мертвой хваткой и повторяла: “Нет, нет, нет, только с Софией Миндадзе, иначе нет!”

Внизу ждало вызванное такси и уже сигналило, требуя быстро разрешить проблему. Пармен попросил маму: “Сядем, я довезу ее, в минуту оформлю документы, сдам, привезу тебя назад”.

В халате, с ножом, с обезглавленной курицей мама приехала в сумасшедший дом. По требованию Терезы мама оказалась в приемной больницы.

Муж пошел оформлять документы. Время шло. В приемной появились два санитара и внимательно осмотрели женщин, сидевших на скамье. Одна, элегантная, улыбалась из-под вуали, вторая – в халате, шлепанцах на босую ногу, с курицей и ножом – испуганно смотрела на медбратьев.

Маму взяли под руки.

– Нет, это не я! Я вышла курице голову отрубить… и вот случайно…

Медбратья, повторяя “курице голову отрубить”, тянули маму по коридору сумасшедшего дома.

– Да поймите, я вышла курице голову отрубить… Сумасшедшая не я, а она…

Мама оглянулась. Тереза сидела, молча улыбаясь, играя своим фальшивым жемчугом. Мама отбивалась от двух грузных мужчин.

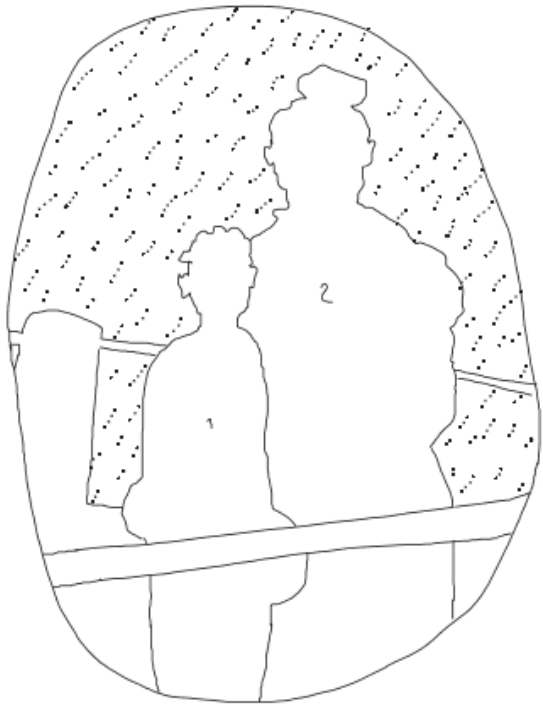
Маме выворачивали руки, отняли нож, курицу. Затащили в палату – мама продолжала кричать. Из ста слов все сто нецензурные.

Конечно же, Федерико Феллини не бывал в моем доме номер 5 на Ракетном бульваре, в квартире 23. Но это не омрачило наш домашний ужин. Мама в который раз рассказывала историю про сумасшедший дом, про то, как она и Сергей Параджанов торговали краденными керосиновыми лампами (дефицит в военные годы) на Верийском базаре.

Жаль, что я не знал итальянского и что от меня разило диким чесночным запахом в тот день, когда Федерико Феллини поднимался в лифте гостиницы “Москва”.

Жаль, что я не смог пригласить его на ужин. Жаль, что мама уже не может рассказать еще одну из тысячи своих историй. Может, затеяв эту книгу, я подсознательно продолжаю мамины рассказы? После стакана вина, вывернув свое изумрудное кольцо камнем вниз, она улыбаясь начинала: а вот в Анаре… а вот в Батуми…

Фотография 13. 1955 год



Фотография 13. 1955 год.

2, Иракли Квирикадзе (1), шестнадцатилетний, в боксерских перчатках. Рядом мамина сестра Офелия Микадзе (2). Мы стоим посреди ринга.

Это она повела меня в секцию бокса. Офелия была возлюбленной чемпиона СССР по боксу в тяжелом весе Алеко Микаэляна, с которым недавно рассталась. Офелия почему-то решила, что ее племянник должен стать боксером. Не просто боксером, а чемпионом СССР, мира и так далее.

В сыром подвале, где висели мешки с песком и стоял ринг, часто не было света. Офелия заливала керосином лампы и

смотрела, как взрослые парни били меня.

Боксеры общества “Динамо” сначала посмеивались над странной парой – здоровенной теткой и ее бритоголовым (она меня брила) племянником. Но потом свыклись. Тем более что моя Офелия давала им ценные профессиональные советы, а тренер Гриша Формалинов, который тяжело переживал развод с женой (она бросила его), храпел пьяный в раздевалке на мате.

Всё кончилось для меня год спустя в далеком зимнем Тобольске, где на выездных соревнованиях меня нокаутировали.

В конце второго раунда, когда раздался гонг, Рустам Плиев из махачкалинского ФЗУ врезал мне так, что я рухнул у канатов в красном углу.

Увидев, как мне дают нюхать нашатырь, а я не реагирую, возмущенная Офелия пролезла под канатами и так ударила Плиева, что тот свалился на пол рядом со мной. Судья грубо толкнул тетю – и в мгновение взлетел в воздух и упал рядом со мной и Плиевым.

Зал хохотал: два боксера и судья лежали в нокауте.

Тете Офелии за хулиганство присудили пятнадцать суток общественно-исправительных работ. Офелия Миндадзе пришлась по душе капитану милиции Александру Бакунину. Он в нее влюбился.

Мы с тетей стали жить в красном уголке милицейского участка. Ночами Бакунин приносил вино “Солнцедар”, пел душещипательные романсы, потом меня отсылали спать в бакунинский кабинет.

Приближался Новый год. Капитан решил срубить елку: “Семья требует, черт побери”. Он сам сел за руль черного “ворона” и повез тетю и меня в тайгу. Выпив положенную норму – два “Солнцедара”, капитан вручил мне пистолет Макарова и погнал в лес: “Иди, боксер, постреляй”.

Из зарешеченных окон черного “ворона” слышались стоны любовников. Я углубился в лесную чащу. И тут случилось невероятное. Я услышал истошный крик капитана милиции: “Боксер, где мой «макаров»?!!”

В голосе было столько ужаса, что я очертя голову побежал назад – и увидел голого капитана, который отступал от поднявшегося на дыбы огромного бурого медведя.

Я выстрелил.

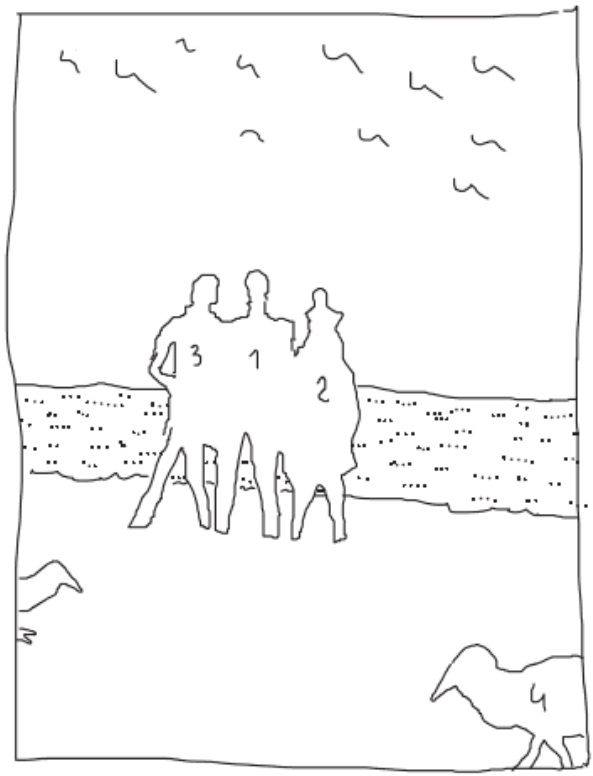
Медведь и Бакунин разом посмотрели на меня. Я выстрелил еще раз. Медведь взревел и стал оседать. Из черного “ворона” выскочила полуголая Офелия, похожая на пышнотелых женщин с полотен Кустодиева. Я подошел к неподвижному медведю. Мигающие, полные смерти глаза смотрели на меня. Я заплакал. Я

плакал навзрыд. Мне было жаль гиганта, вина которого была лишь в том, что он набрел в лесу на писающего капитана милиции…

Прошло много лет. Я никогда больше не надевал боксерских перчаток, никогда не стрелял из пистолета Макарова. Но до сих пор вспоминаю того медведя. Что он хотел сказать перед смертью, глядя на меня мигающими глазами? Я прошу у него прощения.

Чанчур, поверь, чувствовать вину перед медведем, в которого я всадил две пули, очень тяжело…

Фотография 14. 1993 год



Фотография 14. 1993 год.

Венис-Бич. Калифорния. Анзор Хухунашвили (1) спит стоя. Его поддерживает Олеся (2). Усман (3) улыбается белозубой улыбкой. Опасный человек. В небе кричат чайки (4).

Шесть часов утра. Калифорнийская осень. Мне снился сахарный бюст моего папы Михаила Квирикадзе. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну…

Когда-то, очень-очень давно, живя в городе Анара, мы с папой

пошли во дворец культуры, где в торжественной обстановке ему преподнесли его сахарный бюст весом в шестнадцать килограммов.

Но мой рассказ не совсем об этом, он посвящен драматическим событиям, разыгравшимся в Калифорнии, Милдред-авеню в Венис-Бич; папа Михаил присутствует в этом рассказе только во сне. Но двадцатилетний Анзор Хухунашвили разбудил меня в шесть утра словами: “Дядя Херакл, завтра у меня зачет, напиши о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена!” И я, проснувшись, от души выматерил этого болвана Анзора Хухунашвили.

За три секунды до пробуждения, еще до выноса на сцену сахарного бюста, мне снился анарский пионерский лагерь, куда на лето со всей Грузии съехались триста сексуально озабоченных пионеров обоего пола. В этот лагерь приехала концертная бригада общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Нас, пионеров, собрали в столовой. Лектор развесил картонные плакаты и час читал лекцию о пользе донорства и вреде абортов. Мы, затаив дыхание, рассматривали рисунки женских половых органов. Плакаты тут же собственноручно сняла директриса лагеря Марья Николаевна Чхаидзе. Лектор призывал нас смотреть другие плакаты, где были изображены здоровые и обкуренные легкие. Двести возбужденных до предела мальчиков и девочек в пионерских галстуках требовали вернуть рисунки. Потом в столовой потушили свет, и три бабочки (о чудо!) с фосфоресцирующими крыльями исполнили менуэт Вивальди. Вновь зажегся свет, мы яростно аплодировали пышнотелым женщинам в лифчиках и трико с марлевыми крыльями за спиной. И тут вышел мой папа (я скрывал, что я сын певца) и запел оперную арию. С задних рядов столовой в сторону папы полетела дохлая кошка. Михаил Андреевич Квирикадзе схватил эту кошку, попавшую ему в левое ухо, и не задумываясь метнул ее в ряды пионеров. Поступок грузного, в черном костюме певца очень понравился моим сотоварищам. Папе зааплодировали, и он, вдохновленный, продолжил петь арию Канио.

Аплодисменты перебросили меня во вторую часть сна, где я, взрослый, везу папу в город его и моей юности. Секунда сна может вместить в себя огромную информацию – например, все подробности Войны Алой и Белой розы, поэтому ничего удивительного, что за секунду до крика Анзора Хухунашвили, моего соседа по Милдред-авеню, Венис-Бич, Калифорния, я успел прочесть телеграмму, в которой сообщалось, что родной город папы устраивает торжества в честь его шестидесятилетия.

То, что творилось в доме культуры, те речи, что

произносились со сцены, ошеломили меня. Если бы я не знал, что всё это о моем папе, метавшем дохлых кошек на выездных филармонийских концертах, я решил бы, что наш городок дал миру по меньшей мере Лучано Паваротти. В заключение духовой оркестр грянул Вагнера, и на сцену вынесли тот самый сахарный бюст.

Через неделю дома мы пили чай, откалывая от бюста папы нос, ухо, подбородок… В момент, когда мама хрустела правым папиным ухом, меня и разбудил дурацкий крик: “Дядя Геракл, напиши о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена!”

Надо мной стоял Анзор Хухунашвили, будь он проклят! При этом зевал. Анзор имеет жуткую привычку зевать. Он жил за стеной моей крошечной квартиры. Его родители – мои анарские знакомые. В далекой Грузии они делают неплохие деньги, торгуя марганцем, за счет чего их сын живет и учится в Калифорнии. Анзор хочет быть кинорежиссером. Для этого родители привезли его в Голливуд. Анзор молод, его обожают танцовщицы кордебалетов русских ресторанов в Лос-Анджелесе. И может быть, когда-нибудь он станет голливудским режиссером. Сейчас Анзор учится в Лос-Анджелесском университете на факультете режиссуры, сдает купленный родителями в Вествуде дом, сам же поселился в “уан бедрум”, на одном со мной балконе. В будние дни к нему приходят две, в воскресные – четыре-пять девушек. Тонкие стены дома сделали меня злостным завистником его титанической мужской силы.

В конце августа появилась Олеся – двухметровая рыжеволосая украинка. Олеся мечтала стать фотомоделью. С ее появлением иссяк женский поток на Милдред-авеню. Одна афроамериканка, похожая на Серену Уильямс, пыталась было проникнуть вглубь завоеванной Олесей территории – ее кровь я смывал со своей двери, боясь появления полиции. “Геракл” – это имя присвоила мне Олеся Черненко.

Я не мог отказать Анзору в его утренней просьбе. Тем более что Олеся вызвалась переводить фильмы Вуди Аллена, которые Анзор взял в видеотеке.

Анзор спал на “Ханне и ее сестрах”, “Энни Холл”, “Зелиге”, “Манхэттене”. Днем он постоянно спит, может заснуть в самой необычной позе: нагнется за упавшей монетой – и засыпает, тянется с верхней полки книгу снять – и засыпает. Олеся сказала, что однажды он заснул, плавая в бассейне Лос-Анджелесского университета. Как же я мог не написать такому соседу о фильмах Вуди Аллена! Тем более папа Анзора радовал меня скромными, но очень нужными денежными подарками…

Я взял стопку белых листов и стал думать, как бы я,

двадцатилетний студент кинорежиссерского факультета Анзор Хухунашвили, начал статью.

“Вуди Аллен, который имеет работу, деньги, жену, любовницу, живет в Нью-Йорке, хочет найти истину. Не общую, универсальную для всего человечества – такую истину искали коммунисты страны, откуда я приехал, искал Мао Цзэдун, искал Гитлер… Вуди Аллен ищет ее для одного человека. И мне кажется, что маленький человек находит ее в любви. Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах.

В три часа ночи Энни Холл зовет Вуди Аллена, чтобы тот убил паука в ванной. Вуди Аллен приезжает на такси. Возлюбленный смело вступает в бой аж с двумя пауками. Под конец Вуди обнимает Энни, которая позвала его ночью, так как ей очень одиноко. Эта сцена – одна из лучших любовных сцен, виденных мною в кино. В сравнении с ней Майкл Дуглас и Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт» – две куклы из глины…”

Еще две-три страницы, и я готов был закончить свой киноведческий опус, но услышал громкое стрекотание мотоцикла, подъезжающего к дому. Олеся, которая кричала и стонала за стеной, замолчала, притихла.

Через минуту я услышал, как в соседнюю дверь постучались. Потом я увидел фантастической красоты женскую ногу, которая шагнула из ночи в мою кровать, стоящую у открытого окна (калифорнийские ноябрьские ночи разрешают держать окна открытыми настежь). Голая Олеся пробралась от Анзора ко мне по наружному карнизу дома.

– Приехал мой муж Черненко, – прошептала она. По металлическому балкону шагал кто-то очень грузный.

– А я вот писал про любовь Вуди Аллена, – сказал я. Голая Олеся лежала в моей постели. Глупо было думать о Вуди, даже об Анзоре Хухунашвили, который в эту секунду открывал двери незнакомому мне Черненко.

– Потуши свет. Он очень сильный и злой, – Олеся испугалась, что Черненко сможет повторить по карнизу ее путь, заглянуть в окно и увидеть свою жену в моей постели. Я потушил настольную лампу и сел на край кровати. В лунном свете мерцали медового цвета волосы, медовые глаза, белые шея и груди, как среднего размера дыни.

Я почему-то вспомнил пионервожатую Анну Васильевну Гвоздь, пустившую меня далекой алазанской ночью в свою палатку. Как и тогда, в грузинском детстве, здесь, на краю калифорнийской кровати, у меня мелко-мелко застучали зубы, во рту появилась оскомина, словно я надкусил неспелую хурму. Олеся приблизила ко мне свои широкие плечи. “Сейчас он начнет

нюхать подушку, а там мой запах. Он всегда находит меня по запаху". Зубы отбивали громкую дробь. "Что с тобой, Херакл, ты боишься?" Анна Васильевна Гвоздь пятьдесят лет тому назад задала пионеру Квирикадзе тот же самый вопрос. У пионера так громко стучали зубы, что, казалось, вся Алазанская долина слышит лязг. Присутствие душистых дынь в непосредственной близости от меня и отсутствие решимости во мне рождали этот странный феномен – лязг зубов. "Черненко играет в Бостонском симфоническом оркестре на виолончели, но у него страшные кулаки, – горячо зашептала Олеся. – Когда он приезжает в Лос-Анджелес, он убивает моих любовников".

За стеной молчание затянулось. Что там происходит? Как я могу помочь другу студенту? Зайти сказать, что я написал "Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена"?

А может, пусть Черненко убьет Анзора Хухунашвили? И тот не будет больше выклянчивать написать за него очередное домашнее задание: "Монтаж аттракционов Эйзенштейна", "Значение пауз в драматургии Гарольда Пинтера"…

Но тогда что я буду делать? Что буду делать со своей творческой опустошенностью здесь, в Соединенных Штатах Америки, где вот уже три года я не пишу ничего? Ничего стоящего. Анзор мне нужен больше, чем я нужен Анзору. В университете его считают талантливейшим студентом благодаря восьмиминутному фильму, который мы с ним сняли в Нью-Йорке. Фильм про русскую таксистку Галину Горохову.

…В марте прошлого года ночью я сел в ее такси, разговорился с женщиной тридцати трех лет, курящей кубинскую сигару.

– Так, значит, вы снимали в России фильмы?

– Да.

– И как ваша фамилия?

– Ираклий Квирикадзе.

– А какие фильмы?

– "Кувшин".

– Не видела.

– "Пловец".

– Не видела.

– "Городок Анара".

– Не знаю. Надо же. Что вы за фильмы такие снимали, что их никто не видел?

Я не знал, что ответить. Мне очень захотелось поднять в ее глазах свою кинематографическую ценность.

Она сама мне в этом помогла:

– А вы знакомы с Никитой Михалковым?

Я сказал, что знаком.

– Он мой бог! Я молюсь на него! Дайте мне его адрес. Я купила ему подарок, еще сочинила поэму на английском. Не могу писать по-русски. Заедем на минутку ко мне!

В два часа ночи на окраине Манхэттена я оказался в странной комнате. Гигантские, во всю стену фотографии человека, с которым я писал сценарий “Жизнь и смерть Александра Грибоедова”. Двухметровый Михалков в зеленых шортах на фоне волн. Михалков в остапбендеровской фуражке. Ковер ручной работы, где Михалков изображен на лошади с копьем! Таксистка стала читать поэму по-английски. “Ни одна женщина в мире не достойна твоей любви! Я похищу тебя и увезу в горы, в хрустальный замок любви, который я построила! Я усыплю тебя и буду дышать твоим легким дыханием…”

За окном светлело, где-то недалеко гудели пароходы, сырой предрассветный туман опустился на аттракционы луна-парка, сверкающего огнями перед домом таксистки. Я спросил, можно ли ее и ее квартиру снять на кинопленку, – она чрезвычайно обрадовалась…

Но что делает Черненко? Почему он не нюхает подушку? Может, этой подушкой он душит Анзора? Я встал, приложил к стене кофейную чашечку и, как опытный работник НКВД, стал слушать звуки из соседней квартиры. В чашечке слышалась тишина. Я посмотрел на Олесю. Украинка подняла свое длинное голое тело, подошла ко мне, показала жестом: “Дай послушать”. Я уступил ей чашечку, отступил на шаг. Олеся была такая большая, что я почувствовал себя маленьким Вуди Алленом. Но Вуди в таких пикантных ситуациях не раздумывая бросается в атаку – у меня же вновь залязгали зубы. Это начало надоедать мне. Поэтому усилием воли я остановил лязг. “Заснул… Анзор заснул, – прошептала Олеся, оторвав ухо от кофейной чашечки. – Увидел Черненко, испугался и заснул”. Олеся села на стул. “Майоль”, – подумал я, вспомнив выставку скульптуры в Париже в Гран-Пале. Там у входа сидела на бронзовом стуле точь-в-точь такая бронзовая Олеся. Моя узкая уан бедрум, увы, не Гран-Пале. Я ходил от стены к стене, натыкаясь на Олесины бронзовые колени, и думал: “Боже, дай мне смелость ворваться к Анзору Хухунашвили”. И я ворвался, точнее, я осторожно открыл незапертую дверь…

Описание того, что я увидел, требует специального цензурного разрешения, и редактор будет прав, если удалит следующий текст.

Виолончелист Черненко выглядел абсолютной копией борца-кетчиста. В первую секунду я даже усомнился в словах Олеси, что

он виолончелист. Черненко держал в своих ручищах подушку. Глаза его были направлены на курчавоволосого грузинского еврея в короткой, до пупка майке с надписью “Республика Банана”. Дальше шел живот, ниже (вот здесь требуется цензурное разрешение)… – как самурайский меч, не вынутый из ножен, как Пизанская башня (выбирайте любое определение и приставьте к Анзору Хухунашвили ниже пупка).

Обладатель этого феномена действительно спал, и, что было самое удивительное, спал стоя, подняв руки, от чего-то защищаясь. Сонная болезнь, видимо, настигла его, когда он пытался оградить лицо от гневных кулаков Черненко. Спящий превратился в соляной библейский столб.

Виолончелист растерянно спросил меня, что делать. Я попытался разбудить Анзора – обычно тот реагировал на грузинскую речь, но сейчас сон был очень глубоким.

“Здесь где-то должна быть моя жена”, – сказал Черненко. Я ответил, что не видел в доме студента женщин с месяц, как начались экзамены в Лос-Анджелесском университете. Виолончелист кисло усмехнулся.

Я вернулся в свой уан бедрум, достал из ванного шкафчика флакон с нашатырным спиртом. Олеся, голая, сидела на стуле и читала “Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена”. Я вышел, заперев дверь ключом. На балконе остановился, посмотрел на черное калифорнийское небо, американскую луну, звезды и рассмеялся. С юности мне нравилось слово “Америка”. Джаз, Хемингуэй, Фолкнер, Ниагарский водопад, Лас-Вегас, Мэрилин Монро, Голливуд. Казалось, что всё это будет иметь ко мне отношение, стоит только бежать от мавзолея Ленина, площади Дзержинского, домоуправления, путевки в санаторий “XVII съезд партии”, беременной милиционерши Серафимы, которая угрожала написать письмо на “Мосфильм”, если я на ней не женюсь… Я от всего перечисленного бежал. И что? Вот стою ночью с флаконом нашатырного спирта. Голливуд так же далек от меня, как та мерцающая бледно-розовая звезда.

Черт!

Эта ночь кончилась в госпитале. Диагноз: летаргический сон и еще какой-то сугубо научный термин по поводу эротического казуса, испугавшего видевших многое американских врачей.

Я позвонил в Анару родителям Анзора – сообщить, что их сын впал в летаргический сон и есть опасение, что это на долгий срок. Как мне быть, если госпиталь не очень хочет оставлять у себя беспризорного больного, каждый госпитальный день стоит четыреста восемьдесят долларов и, естественно, у мальчика нет никакой страховки?

Анара долго не подключалась к разговору. Наконец я услышал голос тети Анзора. Заикающаяся женщина сообщила, что “они подложили бомбу под наш «мерседес», слава богу, папы Анзора в нем не было, когда наш «мерседес» взлетел на воздух”.

Я смотрел на минутную стрелку настенных часов и вспоминал, сколько стоит минута разговора с бывшим Советским Союзом. Только на двенадцатой минуте беседы я узнал, что папа Анзора скрывается.

“Где его мама?” – спросил я. Заика сказала, что их марганцевая фирма обанкротилась, мама скрывается вместе с папой. “Где?” – задал я нелепый вопрос человека, загнанного в мышеловку. Тетя печально засмеялась. “Анзор лежит в больнице”, – сообщил я на тридцать седьмой минуте беседы. “Что с ним?” – “Спит”. На той стороне услышали: “СПИД”. У заики выпала из рук телефонная трубка… Я держал свою еще минуты три и на расстоянии тринадцати тысяч километров слышал приглушенные голоса домашних: “Поднимите ее, там в аптечке лежит нашатырь, пуговицы расстегни… смотрите, в лифчике деньги…” Я вслушивался в звуки далекого родного грузинского мира. Луна в окне располагала к вою. Я вдруг возненавидел Вуди Аллена. Откуда он так хорошо знает о человеческом отчаянии? И так трагически смешно показывает на экране жизнь идиотов вроде меня. Откуда?

Я привез спящего Анзора домой, на Милдред-авеню, 17. В госпитале с меня взяли подписку, что я сам буду ухаживать за больным (медсестра стоит в день шестьдесят долларов), что я буду давать лекарства, делать спящему специальную гимнастику, кормить, водить в туалет, мыть, подстригать ногти и т. д. Я уложил Анзора в чистую постель. Он дышал ровным, здоровым дыханием, благоухал госпитальным одеколоном. Всех беспокоившая часть его тела была прижата к ноге при помощи специального корсета (стоимостью двести сорок долларов). Мнения госпитальных врачей по поводу заточения в специальный кожаный корсет Анзорова естества разделились. Так или иначе, я заплатил двести сорок долларов. Спросить, удобно ли больному, я не мог.

Тут очень кстати симфонический оркестр города Лос-Анджелеса уехал на очередные гастроли на Гавайи. Олеся не поехала с мужем-виолончелистом. Она приходила каждый день, кто-то сказал ей, что во время летаргического сна заснувший всё слышит, сознание его бодрствует и что хорошо петь спящему песни… Я старался не заходить к Анзору, когда там была Олеся. В эти осенние дни и ночи я сидел в своей комнате и под пение украинских народных песен писал сценарии по заказу киллера.

Да, именно киллера – человека, совершающего заказные убийства. Но вы не думайте, что я экранизировал его подвиги. С киллером произошла такая история.

Он приехал в Лос-Анджелес из Челябинска с племянницей. Поселился на Венис-Бич у океана, недалеко от Милдред-авеню. Он и я по утрам подтягивались на одном пляжном турнике. Познакомились. Съели по сэндвичу и выпили по бокалу пива в пляжном баре. Узнав, что я человек пишущий, киллер принес странное письмо от голливудской студии “Парамаунт”. “Дорогой мистер Клюквин! Мы с удовольствием ознакомились с вашей заявкой на сценарий «Карабогаз». Считаем перспективным продолжение работы над ней. Верим в ваш талант. Желательно, чтобы вы учли наши замечания…” Подписывал письмо некий Штайнер, вице-президент “Парамаунта”. К письму были приложены две страницы замечаний, по которым можно было понять, что история “Карабогаз” происходит в двадцатые годы прошлого века в Средней Азии, в пустыне. Среди банды басмачей оказался американский боксер, который влюбился в невесту басмача…

“Интересно!” – вежливо прореагировал я, не совсем понимая, почему должен читать две страницы поправок.

“Слушай, писака! – начал киллер. – Когда я приехал сюда, то поселился на Санта-Монике. В квартире до меня жил какой-то хер Клюквин. Он в марте утонул в океане прямо перед домом. Письма к нему продолжают приходить на мой адрес. Моя племянница их читает… Как ты думаешь, сколько «Парамаунт» платит за сценарий?”

Киллер оказался пронырой, узнал, что Клюквина никто в “Парамаунте” в глаза не видел, но заявка прошла все инстанции. “Парамаунт” и теперь, как дымящий паровоз, готов тронуться в путь. Нужно только завершить сценарий…

Проныра-киллер представил меня на студии мистером Клюквиным, сам представился российским кинопродюсером и специалистом по “Карабогаз”, намекая, что идея сценария его.

Киллер получил под “Карабогаз” совсем не хилые деньги и велел мне за три месяца написать сценарий, учитывая все студийные поправки. По телефону звал меня Ефимом. Это было имя покойного Клюквина.

Анзор продолжал спать. Ему было хорошо. Его не будил в семь утра стальной голос киллера, от него не требовали ежедневную норму в пять страниц нового текста. Никто его не заставлял переписывать диалоги, если они вызывали зевоту у работодателя. Анзор был абсолютным “лаки-мэном”. Я долго прятал его от киллера. Узнав о нем, тот узнал бы и об Олесе, а я,

что скрывать, стал делать робкие попытки завладеть вниманием прекрасной украинки. Деньги киллера я тратил на ланчи с Олесей. Мы посещали рыбные рестораны Санта-Моники, китайские в Чайна-тауне, но больше всего она любила французский “Мустаж”. Ела она чрезвычайно алчно. Я заметил, что ее появление в ресторанах вызывало дикую панику у дремлющих в аквариумах живых океанских крабов, лангустов и лобстеров. Я боялся случайной встречи с киллером на ланчах с Олесей, так как сценарий у меня не клеился: я смутно представлял, что должно происходить с американским боксером Оливером Тайчером в пустыне Карабогаз. О басмачах я знал по фильмам моего друга Али Хамраева, и то чисто декоративно, что они носят чалму, небриты, носятся на лошадях, стреляют в небо из маузеров. Иногда закапывают врагов живыми в песок.

Но я писал, писал, писал.

Олеся, насытившись дарами флоры и фауны Тихого океана, шла со мной до дверей Анзора и ускользала от меня, как краб в расщелину подводной скалы.

В октябре на экраны Лос-Анджелеса вышел фильм Вуди Аллена “Пули над Бродвеем”. Я был поражен сходством ситуации в фильме и в моей сегодняшней жизни. Я даже воспользовался старым приемом: не выходя из кинотеатра, вторично посмотрел фильм. У Аллена бандит Чичо сочиняет вместе с драматургом-неудачником театральную пьесу. Точь-в-точь как мой друг киллер, имени которого я по понятным причинам не называю. Кстати, “мой киллер” оказался при близком рассмотрении человеком с хорошим чувством юмора. На океане, у турника он сыпал анекдотами. “Зять на похоронах тещи опустил голову в ее гроб, надолго застыл в скорбной позе. Наконец его оттащили от гроба. Друзья спрашивают: «Ты так любишь тещу?» – «Да нет, после вчерашней выпивки голова раскалывается, я к холодному прижал лоб… Легче стало»”. Юмор киллера.

Он всё же узнал о спящем Анзоре. Удивился, что в центре Лос-Анджелеса без внимания американского медицинского мира лежит человек и спит. “Летаргический сон – это всегда сенсация. Пограничная зона между жизнью и смертью. Почему его бросили?” Он энергично взялся за сотворение сенсации. Но ему сообщили, что в Лос-Анджелесе сегодня спят и не просыпаются двадцать семь мужчин и четыре женщины.

Мы сидели на веранде кафе в Марина-дел-Рей – я, киллер и Олеся. Было видно, как тщательно одевался киллер для встречи с рыжей богиней. Атлетически сложенный, загорелый, он шутил, постоянно показывал белые зубы, я сидел с ним рядом и тайно ревновал. Вдруг меж бровей киллера появилась небольшая

кровавая метка. Я помню его фразу до этой метки. “Что говорит одна стенка другой стенке?” Киллер сделал паузу, посмотрел на Олесю. Он только что прочел повесть Сэлинджера “Над пропастью во ржи”, которую я ему дал. “Встретимся на углу…” – сказал он, и тут появилась эта бесшумная кровавая дыра. Киллера убили седьмого октября девяносто четвертого года. Бред какой-то! Я посетил его квартиру. В ней незримо кружилась черная энергия. Ефим Клюквин, теперь вот Усман Рахимов. Так и быть, проговорюсь. Тем более что история его убийства описана в газете “Лос-Анджелес таймс”.

С уходом в мир иной моего заказчика я перестал писать сценарий. На звонки “Парамаунта” отвечаю, что мистер Клюквин сжег рукопись на манер Николая Васильевича Гоголя. В “Парамаунте” не знают, кто такой Гоголь, но это абсолютно неважно для моей истории. Важно, что исчез Ефим Клюквин. Но вернулся Ираклий Квирикадзе.

В три часа ночи позвонил отец Анзора. Он сказал, что всё еще скрывается от этих негодяев, “ну ты знаешь, кого я имею в виду, они отобрали у меня шесть лимонов, я без копейки денег, я бы продал дом в Вествуде, но эти негодяи заставили переписать на них все мои бумаги”. Я не понял, то есть понял, что произошло что-то ужасное с отцом Анзора и он уже не является хозяином роскошного вествудского особняка. “Прошу тебя, привези мальчика в Анару. Тут плохо, но лучше пусть он будет в Анаре. Здесь он проснется… Ираклий, я расплачусь с тобой, только привези Анзора… Прости, долго не могу говорить…”

Поехать в Грузию я решил утром другого дня. Это стало необходимым после автомобильного гудка на перекрестке Сансет-бульвара и Ла-Брея. Сигналила большая красная машина, в которой сидела, как вы думаете, кто? Нью-йоркская таксистка Галина Горохова. Она, счастливая, с распростертыми объятиями, выскочила мне навстречу, затолкала в машину. “Как замечательно, что я вас встретила, как замечательно. Я в Лос-Анджелесе на день, покажу вам мое чудо”. Сперва я подумал, что в город ангелов приехал мой давний друг и соавтор по Грибоедову Никита Михалков, с которым в последний раз я виделся в Каннах, где он получил Гран-при за фильм “Утомленные солнцем”. Горохова уверяла, что я сейчас увижу такое, от чего сойду с ума… Она повторяла: “Сойдете с ума”.

И вот мы заезжаем во двор большого склада. Похоже, что он имеет отношение к киностудии. Фанерные пальмы, коринфские колонны, огромный кит из пенопласта.

Галина ныряет в чей-то кабинет. Потом мы идем с усатым, похожим на хозяина ресторана “Мустаж” человеком по темному

коридору, человек открывает дверь, мы входим и… От неожиданности я отпрянул… Никита Михалков – гиперреалистический шедевр из воска в натуральную величину – улыбается мне.

Человек, похожий на хозяина “Мустажа”, пытливо всматривается в меня. Узнаю ли я известнейшего русского режиссера? Только в Лондоне у мадам Тюссо я видел фигуры такого качества исполнения. Таксистка Горохова плакала, глядя на свою великую любовь из воска.

Я решил бежать. Я не сообщил Олесе Черненко, к которой приехал виолончелист, что увожу ее возлюбленного Анзора (боже, и он похож на восковую куклу) из Лос-Анджелеса. Это было жестоко с моей стороны, но я поступил именно так. Госпиталь помог в транспортировке спящего. В воздухе я думал о том, как перевозила таксистка Горохова свое “чудо”. Наверно, не самолетом, а в такси ехал мой друг Никита через всю Америку (хороший сюжет для арт-хаусного кино).

Не буду рассказывать о моей грузинской неделе. Скажу только, что Анзор проснулся в Анаре. Случилось это буднично и как в старом кахетинском анекдоте. Утром тетя-заика готовила на кухне хашламу – классическое блюдо: вареное коровье мясо с чесночным соусом. Запах хашламы вплыл в ноздри спящего. Он открыл глаза и сказал: “Хашлама”.

Я оставил американский урологический корсет на память Анзору, который решил отдохнуть в кругу своей печальной семьи, без находившихся в бегах отца и матери и двух братьев. На пятый день я уехал. У меня нет слов, чтобы объяснить, почему я так быстро ретировался (ужасное слово) из любимейшей моей Грузии. Я не знал, зачем лечу в Америку. Через плечо самолетной соседки я прочел в раскрытой книге такие строчки: “«Не хотите ли к нам присоединиться?» – спросил знакомый, повстречав меня после полуночи в почти опустевшем кафе. «Нет, не хочу», – ответил я”.

Я читал это когда-то. Через пару минут соседка приподняла обложку книги. Франц Кафка.

Хочется поставить точку в моем рассказе. Но кончать его именем великого писателя по меньшей мере претенциозно.

И я в небе между родной Грузией – неродной Америкой – тоже жирно-символично. Честно говоря, просто я соскучился по Милдред-авеню, по океану, по моим пешим прогулкам в одиночестве, по пустынным пляжам.

…Ночью я проснулся от хлесткого удара. Била Олеся. Потом были ее слезы. Было откровение, может быть, самое поразительное в этом рассказе. Олеся – мужчина. Всю жизнь

мечтала стать женщиной и стала ею. Уже четыре года. А я отнял у нее (у него) единственную любовь!

Утром я долго разглядывал вспухшую щеку и нос, потом поднял листки, брошенные около унитаза в ванной. Это было домашнее задание Анзора “Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена”, почерк мой: “… Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах. Любовь к большому миру, к большим женщинам (все его любовницы выше его), к большим чувствам, к большим писателям (например, к Чехову), к большим режиссерам – Чаплину, Феллини, Бергману, любовь ко всем, кто по утрам едет в метро, кто пьет кофе в кофейнях, кто спит вечером перед телевизором, кто уходит под утро от любовницы, кто платит налоги, кто скрывает налоги, кто бегает трусцой, кто передвигается на костылях, кто обжирается, кто голодает, кто читает Шекспира, Фрейда, Кафку, кто читает по слогам, кто расписывает жизнь по минутам, кто не имеет часов, кто пишет стихи, кто черный, кто белый, кто желтый. И еще Вуди Аллен немножко смеется над всеми, а когда он не смеется, он сидит в углу ночного музыкального бара в клетчатой рубашке, больших очках и играет на флейте”.

В семь утра раздался звонок. Анзор сообщал, что приезжает в Лос-Анджелес четвертого декабря.

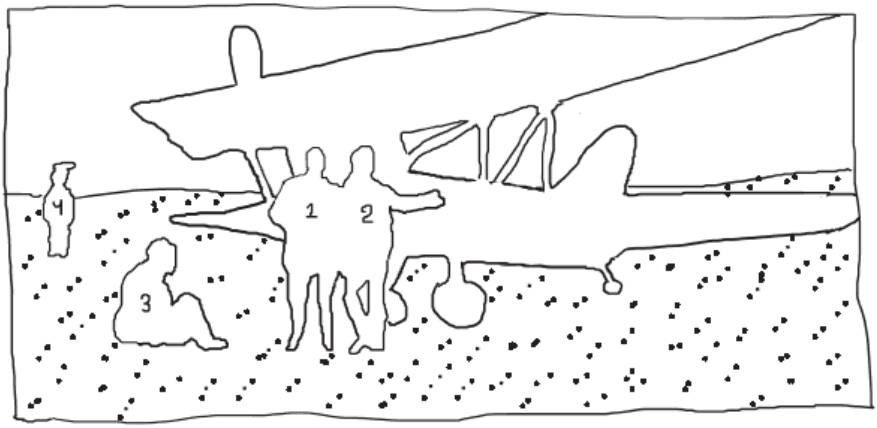
Как всегда, он отнял у меня сон. Мне снился стол, абажур, папин сахарный бюст, дом в Анаре, мои родители пьют чай. За окном идет снег, а во дворе я, только начавший бриться оболтус, катаюсь на коньках по замерзшей луже. Мама грызет папино сахарное ухо. От абажура льется мягкий свет. Этот сон я часто вижу в Лос-Анджелесе. Кристаллики сахара сверкают на маминых губах. Я – тот, что на коньках, – спотыкаюсь, падаю и ухожу под лед. Мама говорит папе: “Мальчик споткнулся”. Здесь я хотел поставить вторую точку… Но племянница киллера (не буду писать о ее возрасте и внешности, это авторская тайна) имела безрассудную смелость отнести в “Парамаунт” мой незавершенный вариант “Карабогаза”. Я ничего об этом не знал. Сегодня племяннице пришло письмо из студии. Вице-президенту Штайнеру понравилось эпическое творение мистера Клюквина, и он ждет его на деловой разговор…

И вот наконец-то финал, очень похожий на голливудский хеппи-энд. Мы с племянницей стоим в воротах “великой студии «Парамаунт»”.

Вперед, мистер Клюквин-Квирикадзе!

Вперед, без страха и сомнения!!!

Фотография 15. 1949 год



Фотография 15. 1949 год.

Окрестности деревни Маффет. В поле стоит самолет У-2. Под крылом самолета две девушки: Тося (1) и Шура (2). Рядом на траве сидит немец — военнопленный Отто (3). За спиной Отто стоит мальчик Таро (4).

Фотография эта попала ко мне случайно. Будучи в Маффете, я зашел к директору маффетской птицефермы Таро Пааташвили, с которым когда-то ходил в секцию бокса. У нас был один тренер – моя тетка Офелия Миндадзе. Я приехал к Таро расспросить о его деде, полковнике царской армии Гугули Пааташвили, участнике знаменитого Ледяного похода времен Гражданской войны. Полковник, с усами, закрученными вверх, на манер усов Сальвадора Дали, выглядел величественно. Фотография его висела на стене и была помещена в бронзовую раму. Но из отбитого угла рамы выглядывал белый гипс. Фальшивая бронза не умаляла величественности Пааташвили. Рядом кнопками была приколота любительская фотография: самолет, две девушки,

военнопленный немец, мальчик. Про полковника я знал многое, он был соратник Колчака, про остальных не знал ничего. Я переснял эту любительскую фотографию, а Таро Пааташвили рассказал о преступлении, участником которого он оказался в одиннадцать лет. Таро говорил кратко, сухо, бесцветно:

– В тот год я жил с мамой в Маффете, у ее дяди Вахтанга Габунии. Недалеко от дома в поле стоял деревянный сарай, в этом сарае поселились летчицы. Они летали на старом самолете У-2, который опылял капустные, картофельные, табачные поля минеральными удобрениями.

Летчицы почти не общались с местными жителями. Маффету было известно только то, что в войну с немцами они летали в отряде ночных бомбардировщиков, что бомбили Берлин. Демобилизовавшись, не зная никакой другой профессии, кроме как водить самолеты и бомбить, незамужние, одинокие, приехали они к нам в Маффет, получили старый самолет У-2 и работу опылителей.

Взрослые мужчины не раз делали попытки завести знакомство с летчицами, но, увы, в большинстве случаев вылазки к деревянному сараю оканчивались полным поражением местных донжуанов.

Однажды Тося и Шура прогнали очередного ухажера и оставили себе аккордеон, которым тот думал растопить холодные сердца бомбардировщиц.

С того дня из сарая раздавались громкие женские голоса, поющие о любви.

Я встретил однажды на пыльной дороге одну из “кожаных женщин”. Она поманила меня и спросила: “Купаться хочешь?”

Было жарко, я ответил: “Хочу”.

“Кожаная женщина” приказала: “Иди за мной”. Я пошел, разглядывая ее вблизи…

Мы подошли к сараю, где стоял самолет, и, о чудо, женщина велела мне встать на крыло, забраться в пилотское кресло. Она села передо мной, и мы взлетели.

Я не мог поверить счастью – я лечу. Улетели далеко за Маффет, за Анару. Самолет снизился над озером, приземлился, пробежал и остановился у самой воды. Мы разделись, я жадными глазами смотрел на оголение летчицы. Белые плечи, груди в большом атласном бюстгальтере, потом голубые атласные трусы, длинные ноги.

“Вы Тося или Шура?” – спросил я.

“Тося”, – ответила обнаженная летчица и улыбнулась.

Всласть накупавшись, навалявшись в прибрежном песке, мы сели в самолет и вернулись в Маффет.

Я влюбился в Тосю.

Я влюбленными глазами разглядывал самолет в небе, за которым тянулся длинный хвост минеральных удобрений. Я ходил тайно к сараю и слушал пение своей возлюбленной.

Я тайно сопровождал “кожаную женщину”, если та шла по улицам Маффета в магазин, в сельсовет.

Недалеко от деревни был лагерь немецких военнопленных. Военнопленные строили дворец культуры. По желанию товарища Сталина каждая советская деревня строила в те годы свой мраморный дворец культуры.

Однажды самолет забарахлил, не хотел взлетать. Тося и Шура хорошо разбирались в самолетных моторах. Но случилось что-то серьезное. Их знаний оказалось недостаточно.

Тося и Шура пошли в сельсовет. Там кто-то сказал, что среди немцев есть самолетный специалист. И к сараю привезли Отто Миллера.

Отто был голубоглазым атлетом.

Надо же было именно такому Отто оказаться рядом с Тосей, которую я безумно любил.

Я смотрел, как Отто чинит самолет, как зло, почти с ненавистью смотрели на него две русские летчицы, совсем недавно бомбившие Берлин.

Тося знала немного немецкий. Она вступала в диалог с немцем.

Что-то надо было сварить в моторе. Отто обещал на другой день приехать со сварочным аппаратом.

Четыре дня тянулся ремонт. И что-то случилось за эти дни. Летчицы пригласили Отто в сарай пить чай, потом они пели под аккордеон. Потом пел Отто…

Я наблюдал, сидя в кустах крапивы, за поющим сараем.

Неделю спустя Тося, вновь увидев меня, предложила лететь купаться.

Самолет приземлился недалеко от лагеря военнопленных.

На камнях сидел Отто, ждал нас. Мы втроем полетели к озеру.

Мы втроем купались: Тося, фашист и я!

Я сходил с ума от ревности. Тося радостно смеялась на слова, мне непонятные, которые говорил ей Отто…

Я сходил с ума от этих непонятных слов…

Полеты стали повторяться.

Каждый раз я хотел, но ни разу не нашел в себе сил сказать Тосе “нет”.

Однажды немец поцеловал Тосю.

Я бежал с речного берега, я бежал по виноградникам, я

плакал.

Я был дитя той эпохи. Я пошел в сельсовет, чтобы сказать: “Русская летчица тайно встречается с немцем Отто. Она однажды посадила за руль самолета фашиста”.

Я два часа проторчал в коридоре перед дверьми председателя колхоза, но не решился войти. Ушел.

Но я не был такой уж хороший, как вы думаете. И не я один ревновал и мучился, глядя на голубоглазого немецкого атлета.

…Мы гоняли мяч на футбольном поле.

В небе показался У-2. Он сел прямо на поле. Пропеллер заглох у самых футбольных ворот.

Тося молча смотрела на меня.

Я подошел.

– Полетишь со мной.

Я быстро вскочил на крыло, самолет покатился, оставив в недоумении моих друзей-футболистов.

Тося повернулась ко мне, и я увидел под круглыми кожаными очками ее глаза. В них был гнев.

Она прокричала:

– Будем бомбить!

От удивления я открыл рот. “Что бомбить?” – хотел я спросить, но не осмелился.

– Слушай мою инструкцию… Когда подлетим к месту, где надо сбросить эти мешки… – Она указала на два тяжеленных мешка с минеральными удобрениями. Они висели за бортом самолета с обеих сторон кабины. Это, видимо, и были бомбы, которые мы должны были сбросить на неизвестную цель. – Вот тебе нож! – Она протянула мне остро отточенный нож. – По моей команде ты срезаешь веревку с одного мешка, потом мы разворачиваемся, и ты режешь вторую веревку… Понял?! – Она посмотрела на меня строгим взглядом.

Мы стали снижаться.

Я увидел поле, на котором зрели арбузы.

– Вот наша цель! – прокричала Тося.

Она указала на навес, покрытый соломой. Ничем не примечательный навес посреди поля.

– Приготовиться! – крикнула летчица.

Я прижал острие ножа к веревке.

Через мгновение – резкий окрик: “Режь!”

Я полоснул ножом по веревке. Мы с Тосей высунулись из кабины и увидели, как мешок врезался в самую середину навеса. Разворотив солому, деревянные балки, он взорвался, подняв облако белой минеральной пыли.

Я увидел фигуру мужчины с белым лицом, белыми волосами.

Мужчина, как мне показалось, был голый. Минеральная пыль густо облепила всё его тело. Это был Отто. Он бежал среди арбузов.

Одновременно с ним из-под навеса выскочила женщина. Голая. Она с ужасом посмотрела на самолет. Я узнал Шуру. Вторую летчицу.

Глаза Тоси улыбнулись в круглых очках. Она показала мне кулак с поднятым большим пальцем.

Самолет развернулся. Мы вновь приближались к цели.

Мужчина и женщина, голые, бежали, подняв головы на приближавшийся самолет.

– Режь! – крикнула Тося.

– Нет! – закричал я.

– Режь!

– Нет!

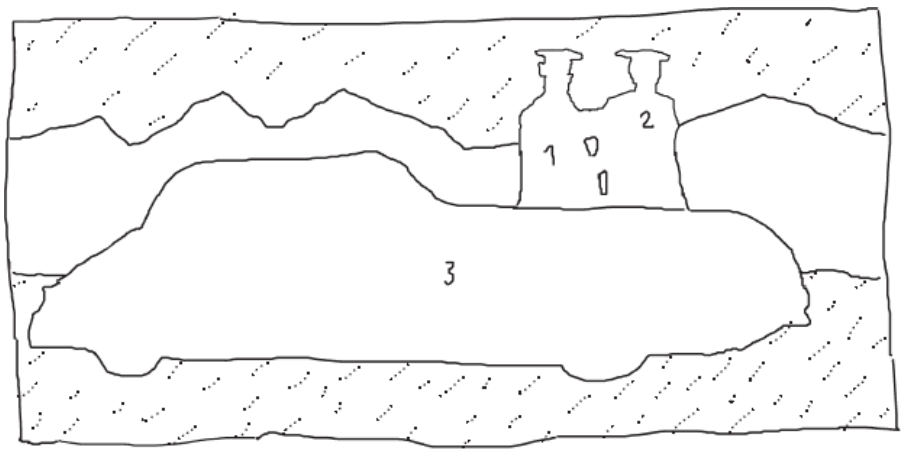
Тося ударила меня кулаком, вырвала из руки нож и полоснула им по веревке – я увидел, как мешок несется на Отто и Шуру.

Снова белый взрыв…

Когда он рассеялся, Отто лежал среди белых арбузов, Шура, хромая, бежала к дереву, надеясь на спасение под ветвями.

Директор маффетской птицефермы Таро Пааташвили замолчал, потом улыбнулся. Его улыбка говорила мне, что немецкий военнопленный Отто Миллер получил увечье, но остался жить. Я собрался спросить об этом, но Таро, как бы опередив мой вопрос, сказал: “Мы убили его”.

Фотография 16. 1950 год



Фотография 16. 1950 год.

На снимке я (1), мой друг Левани Канкия (2) и „Хорьх" (3), машина из личной коллекции Германа Геринга, маршала гитлеровской авиации.

Самого Арсена на фотографии нет, он за кадром дерется с кем-то из маффетцев. Фотография напомнила мне давнюю историю, приведшую к войне в Маффете. Но в начале, памятуя о Форхесе, постоянно ищущего корни, немного истории.

В 1725 году воинственный хозяин менгрельских земель Парнаоз Чачава заказал в Дамаске сорок семь стальных поясов верности. Думаю, вы знаете, что это? Для незнающих поясню: пояс верности надевается на голое тело женщины в области бедер и закрывает доступ к двум “вратам ада”, или “оазисам наслаждения”, или, как высказывался сам Парнаоз Чачава, “блядским дыркам”. Парнаоз часто вел затяжные войны, часто уезжал из своей столицы Анары, надолго оставляя многочисленных жен и любовниц. Для них-то он и заказал в Дамаске, известном на Ближнем Востоке лучшими мастерами по ковке стали, сорок семь стальных поясов верности.

Этот любопытный факт из жизни властителя Менгрелии Чачавы и его многочисленных жен и любовниц не имел бы никакого значения для моей истории, если бы не одно событие. По пути из Дамаска в Анару подвода, груженная деревянными ящиками, в которых были сложены пояса верности, подверглась нападению разбойников. Были убиты конвоиры, двое возниц бежали. Разбойники вскрыли ящики и не поняли, что за странная добыча попала им в руки. Они спрятали стальные инкрустированные пояса в небольшой пещере, засыпали песком и…

Пещера эта находится неподалеку от деревни Маффет.

Неделю тому назад маленький мальчик Леван Гогелия, гоняясь за ядовитой змеей, случайно оступился, посыпались камни, и открылся лаз…

Все сорок семь поясов верности сегодня находятся на бедрах и ягодицах женщин деревни Маффет.

Они промыли стальные пластины содой и, пользуясь инструкциями, нанесенными на пластинах черными стрелками, быстро и ловко защелкнули замки. Ключи спрятали от своих мужей и этим открыли страницу истории под названием “Война в Маффете”.

Так как я, Ираклий Квирикадзе, взял на себя роль некого бытописца, точнее, хроникера, то сообщу, что война эта не похожа на войну, которая ведется с применением танков, артиллерии, напалма. Здесь воюют женщины со своими мужьями, возлюбленными. Днем все они вежливо улыбаются друг другу, а вот ночью…

Женщины деревни Маффет отменили секс!

В истории человечества было немало таких войн. О них писали еще древние греки.

Что оставалось мужьям? Разглядывать звезды в холодном ночном небе? Нет… нет… и еще раз нет!!!

Мужчины объявили войну войне! Я, как хроникер, сообщу, с чего началось это противостояние.

Вот разрозненные записи моих расследований.

* * *

С дальней мрачной планеты Уран метеорит весом в несколько десятков тонн, этакий каменный слон, летел год, может, десять, может, сто…

Войдя в земную атмосферу, стал гореть и уменьшился до размера годовалой свиньи.

Вокруг деревни Маффет высятся холмы, заросшие низкорослыми деревьями. Это дикие груши.

Воды нет, только металлическая труба, зарытая в землю, тянется километров двенадцать от районного центра Анара к деревне Маффет. По трубе течет питьевая вода.

Метеорит с Урана попал в эту трубу в том месте, где труба не скрыта под землей, а переброшена через овраг, и снес вместе с ней три высокие кирпичные опоры. Вода бурным потоком полилась вниз, на дно оврага…

Приехала комиссия, осмотрела место аварии, постановила заново поднять опоры и заменить разбитую часть трубы. Но почему-то отключила подачу воды, а потом и вовсе забыла о строительстве…

Мужчины деревни год с лишним уверяли женщин, что своими силами восстановят урон, нанесенный пришельцем с Урана. Ха-ха-ха, как бы не так!

Мужчины, как всегда, сидят в столовой, играют в нарды. Проигравший покупает арбуз. Арбузы есть, вино есть, что еще надо? Воды нет?!

Шофер Гизо Арабули за небольшие деньги привозит в цистерне воду для всяких женских нужд – стирать, готовить, купать детей.

Женщины выходят на площадь, стоят в очереди, заполняют ведра и несут их домой.

* * *

На окраине Маффета за огромной каменной глыбой (может, это еще один метеорит, упавший миллионы лет тому назад) стоит густой пар.

Сквозь него еле виднеется яма с мутной голубоватой водой. Это горячий серный источник. Традиция гласит, что девушка, жаждущая выйти замуж, вернуть сбежавшего возлюбленного, должна вариться в горячем бульоне и шептать, кричать имя желанного мужчины. Он придет, он найдется, он вернется!

Здесь мы впервые увидим нашу героиню Гульсунду, ей восемнадцать лет, пошел девятнадцатый.

Еще никто не опускал в пахнущие тухлыми яйцами воды серного источника такие прелестные груди. Никто…

Грудастая девочка работает в местной столовой “Хинкальная № 1”.

“Гульсунда, принеси еще две бутылки мукузани… нет, лучше манави!” Гульсунда улыбается, приносит вино. “Гульсунда, спой”.

Гульсунда поет красивым, тягучим голосом, словно ангел машет шестью крыльями.

При этом Гульсунда может приготовить салат, нарезать холодную телятину, взять у клиента пальто, повесить его, стасовать карты, не брезгует помыть унитаз…

Почему она лежит в серном источнике, чье имя шепчет?

Хотя, может, это и не такая тайна, если взглянуть на негодяя Арсена Гастелло, который несется в открытой машине “хорьх”, которую советские победители вывезли из Германии в 1945 году. На огромных территориях, от Черного моря до Тихого океана, сегодня их можно встретить в столичных музеях или в клубах пыли на корявых провинциальных дорогах.

Арсена я назвал негодяем вот по какому поводу…

Этот здоровенный курчавоволосый парень, выходец из Маффета, живет в районном центре Анаре, работает в конторе городского освещения, но, когда напивается, имеет дурную привычку нестись на геринговской машине в деревню своего детства, останавливаться на маленькой площади перед столовой “Хинкальная № 1” и громко материть на чем свет стоит всех маффетцев.

Мышцы без единого грамма жира, лицо насмешливое, наглое, язык злой, глотка луженая.

Несколько крепких маффетцев, попытавшихся взбунтоваться, Арсен уложил в пыль ударами кулаков. Что против такого сделаешь?

Иногда с ним приезжали девицы. Они тоже выходили из машины, хихикали, слушая ругань Арсена. Одна постоянно залезала под юбку, что-то там почесывая.

Ругань Арсена маффетцы слушали молча в столовой, на рынке, в парикмахерской.

Отцом Арсена был местный парикмахер Ипполит Гастелло. Даже отец не мог понять, в чем состояла вина деревни перед бушующим пьяным Арсеном.

То он кричал о каком-то Соломоне Маузере – непонятно, человеке или оружии, то вспоминал Лаврентия Павловича Берию, любовника покойной матери, то каких-то щенков, которых утопил его отец Ипполит, и еще что-то такое же бессмысленное…

Глаза Арсена становились огненно-черными, он кричал обо всем сразу. Злоба выплескивалась со скоростью ночного локомотива, в словах был полный хаос…

Наоравшись, он успокаивался, заводил машину Геринга и уезжал назад в Анару.

Однажды наглость и злоба его перешли все допустимые границы. В тот раз Арсен приехал один. Утром. Видимо, кутил в

Анаре всю ночь. Он кричал, размахивал кулаками, потом взобрался на постамент, где когда-то стоял памятник Сталину, расстегнул ширинку, вынул свой детородный орган и, словно долго не мочившийся конь, пустил струю…

“С добрым утром!” – кричал он редким прохожим.

Гульсунда открыла двери столовой, оглянулась на Арсена, вошла вовнутрь, подошла к буфетной стойке, похлопала молодую свинью, только что заколотую буфетчиком. Взяла свинью за задние ноги и быстро пошла с ней к выходу.

Безумная девственница была в это утро чем-то похожа на Жанну д’Арк.

“Арсен, Арсен…” – шептали ее губы, когда Гульсунда пересекала площадь.

Скажу, что именно это имя шептала она постоянно, лежа в кипятке серного источника.

Завершив полив, Арсен Гастелло спрыгнул с постамента; наглая улыбка не успела сойти с его губ, как свиная туша разнесла всю тонкость их очертаний. Второй удар сбил наглеца с ног. Гульсунда была сильной, свинья служила ей средневековой палицей.

Арсен хотел встать, но третий удар был таким оглушительно-диким, что, наверно, только Майкл Тайсон мог бы похвастаться подобной убойной силой.

Арсен упал и застыл под бывшим памятником Сталину… Секунд десять он лежал неподвижно. Рефери на ринге мог бы закрыть счет и объявить нокаут.

Потом Арсен открыл глаза, спросил: “Ты кто, девочка?!”

Героический поступок Гульсунды взбудоражил жителей Маффета. В особенности женщин…

Женщины, обычно покорно терпевшие все жизненные невзгоды, в этот раз вышли на площадь и, не дождавшись очередной цистерны воды, а узнав, что шофер цистерны Гизо Арабули нежится в постели с завезенной из Анары проституткой, выволокли шофера и избили его эмалированными ведрами.

Лаура Тодуа, киномеханик клуба, сказала: “С сегодняшнего дня не даю мужу… Ночью он пьяный, луком воняет, ложится в постель, ноги ему раздвинь… Днем кино показываю, он сидит в клубе, фильмы бесплатно смотрит. Если на экране кто целуется, он ко мне в будку врывается, «дай» кричит…”

Додо, аптекарша: “И для моего мужа жизнь – бесконечный медовый месяц. Этот остолоп не может понять, что всё имеет свой срок годности…”

Третья, Варвара, говорит: “Пойдем в столовую, заявим этим бездельникам: прошел год с лишним, как в Маффете нет воды…

Вы ходите грязные и вонючие, мы хоть окунаемся в серный источник… Вы не желаете восстанавливать водопровод, мы не желаем спать со свиньями…”

Эту сумбурную речь прервала Мелиса, сестра Варвары: “Никаких деклараций! Сегодня ночью, в постели, в самый момент, когда их красные перцы будут искать, куда ткнуться, там-то и отказать…”

Всем понравилась эта идея.

Так начался женский бунт.

* * *

Ночью в доме киномеханика Лауры с постели грохнулся мужчина в синей майке.

Лаура так сильно лягнула мужа ногой, что тот, пролетев два метра, упал на пса породы доберман, который спросонья лязгнул зубами и разодрал ягодицу мужа. Тот завопил, вскочил окровавленный, голый выбежал в лунную ночь…

В другом доме вокруг стола кружились голые Варвара и ее муж Серапион.

– Ты сука, Варвара.

– Нет, Серапион, я не сука…

– Ты сука, Варвара.

– Нет, Серапион, я не сука…

– Ты сука!

– Нет!

– Да!

– Нет!

Так до рассвета кружили они, освещенные желтым лунным светом.

В доме Мелисы запертый муж стучал кулаками, пытаясь выбить дверь.

Мелиса заперла его в чулане, среди гор яблок, диких груш, банок варенья, связок чеснока и красного перца.

Днем хмурые мужчины собрались в столовой.

– Может, построить этот сучий водопровод? – задал вопрос Игнатов.

Ему возразили: “А кто табак собирать будет, виноградники вот-вот созреют. И что?! Стоит, значит, женам ноги сцепить, так нам становиться перед ними навытяжку? Бросить все важные дела и бежать строить этот сучий водопровод?!!”

Мужчины выпили вина в этот день больше, чем обычно. Гульсунда не успевала отталкивать пьяные руки, которые

тянулись к ее прекрасным грудям. Она слышала воинственные возгласы: “Нашим женам кажется, что они незаменимы! Ха-ха-ха! Как бы не так! В мире столько баб, да, Гульсунда?!!”

И последующие ночи маффетские женщины не подпускали к себе мужей. Не поддавались их хитроумным уловкам.

Деревенский милиционер Муртаз Хомерики связал спящей жене руки и ноги полотенцами, на манер сексуальных садомазохистов. Правую руку и ногу – к правым ножкам кровати, левую руку и ногу – к левым. Потом разбудил ее.

Жена увидела себя распятой, увидела Муртаза, который сидел голый на стуле, курил сигарету и улыбался: “Докурю, буду делать с тобой, что хочу! У меня фантазий не меньше, чем у Жюль Верна!!!”

Жена стала биться, как необъезженная лошадь. Кровать стала кататься от стены к стене, как при землетрясении. Муртаз растерялся, взял подушку, ушел в огород.

Неделю шла безуспешная осада женских тел.

Неделю женщины были неприступны. Разве что муж аптекарши накрыл жену платком с хлороформом, усыпил и овладел спящей… У мужа стали скупать бутылки с хлороформом.

Женщины стали проигрывать ночные битвы. Вчера сдалась одна, позавчера другая, сегодня третья… Тут-то и произошла знаменательная смычка эпох. Обнаружились те самые стальные пояса верности, выкованные в Дамаске для жен и любовниц Парнаоза Чачавы. Мальчик Кафка, не догнавший ядовитую змею, но упавший в яму-пещеру, вернулся к маме Мелисе с дюжиной необычных предметов.

Мелиса, рассмотрев их и радостно крикнув что-то вроде “Эврика!”, приволокла с помощью домашнего осла в деревню ящики с поясами верности.

Все женщины Маффета, кроме старой Суламиф, муж которой лежал бездвижно второй год в постели и шептал: “Здравствуйте, Виссарион Иосифович!”, все надели стальные корсеты, проверили, “жмет – не жмет”, как делать большие и малые нужды, защелкнули хитроумные замки и отдали ключи Суламиф, назначив ее всеобщей ключницей.

В ту ночь мужчины впали в шок, обнаружив на телах жен стальные преграды, барьеры, шлагбаумы… закрывающие доступ как спереди, так и сзади…

– Что это, Лаура?

– Не своди меня с ума, Варвара! Что за баррикады?!

– Да я сейчас принесу пилу!

– Взорву динамитом!

Но всё это были “слова, слова, слова”, как писал Шекспир.

* * *

Два дня спустя, затушив огонь в кузнице, закрыв склады, где сушится табачный лист, небольшая группа активистов секса: кузнец, монтер, мясник, учитель географии – под покровом темноты вытолкали из гаража старый автобус и собрались отправиться в районный центр Анару, посетить тайный публичный дом. Кто-то узнал, что в Анаре на улице Розы Люксембург есть такой.

Мужчины менее активные напутствовали активистов: “Хорошенько порезвитесь, братцы, облегчитесь, может, сможете двух-трех девочек привезти. Устроим тайное гнездышко на лесопилке и заживем по-божески…”

Скрип автобуса и горячий мужской шепот были услышаны.

Темнота высветилась фонарями, автобус окружили женские фигуры с охотничьими ружьями, мотыгами, старыми дедовскими саблями…

Пара выстрелов в воздух, угроза отстрелить все, что у мужчин меж ног, – и мужчин, как стадо баранов, погнали каждого в свой двор…

Седьмого ноября в день Великой Октябрьской революции мужчины создали “парламентскую комиссию”, которая на нейтральной территории, в доме ключницы Суламиф, старалась убедить женских парламентариев, что “ремонт водопровода – обязанность правительства, а стальные корсеты, эти средневековые рудименты, оскорбляют мужчин своей бессмысленностью…”

Школьный учитель истории (мой двоюродный дядя Леонид Квирикадзе, Чанчур, ты о нем еще не слышал) открыл книгу и прочел: “Рыцари времен крестовых походов, уезжая завоевывать гроб Господень, оставляли жен одних на год, на два, три, заковывали их в стальные корсеты, оберегая тела своих любимых от посягательств случайных заезжих совратителей-профессионалов, которые пели сладкими голосами ночные серенады, а под конец драли жен как сидоровых коз…”

– Там так написано? – спросила удивленная Мелиса.

Выяснилось, что конец фразы – это отсебятина моего дяди.

Мелиса закричала:

– Боже, как вы надоели! Господь подвесил вам меж ног какие-то триста грамм лишнего мяса, и вы – хозяева! А мы рабыни?

Муж Мелисы стал допытываться у жены, где, когда и у кого она взвешивала эти триста грамм мяса. Он что-то не припомнит, чтобы клал свой член на весы…

Мелочный спор расстроил серьезные дипломатические

переговоры.

Я как хроникермогу перечислить много красочных эпизодов маффетской войны, но мне хочется вернуться к Гульсунде и к исчезнувшему после публичного позора и избиения Арсену Гастелло.

Арсен вновь приехал (абсолютно трезвый) в Маффет с двумя спутницами и неким молодым человеком, который держал в руках большущий букет белых роз.

Выйдя из “хорьха-геринга”, компания вошла в столовую. Арсен усадил друзей, позвал Гульсунду, заказал вина, велел поставить розы в стеклянную банку. Что она с готовностью и сделала.

Компания веселилась, Гульсунда обслуживала их, послушно несла из кухни жареных цыплят, барашка на углях и другие яства. Женщины с большими рыжими начесами походили на близнецов.

Много выпив, близнецы и худосочный запели, как ни странно, классический вокал вроде бы Шуберта. Такого одухотворенного пения Гульсунда еще не слышала. Глаза девочки наполнились слезами.

Арсен поднял компанию, Гульсунда завернула цветы во влажные газеты, чтобы вернуть рыжим близнецам, как услышала голос Арсена:

– Эти цветы тебе, Гульсунда!

Компания уехала.

Утром Гульсунда сидела в серном источнике, горячий пар скрывал ее груди, похожие на персидские дыни, которые воспел великий Омар Хайям.

Гульсунда шептала: “Арсен, Арсен… Люблю… Люблю…”

Он появился через неделю, пьяный, с трудом сошел с машины, ногой распахнул двери столовой, заказал вина, стал придираться к Гульсунде, громко разговаривать с кем-то невидимым, хотя и приехал один: “Эта дрянь принесла мне холодный плов! Эй, девка, забери, согрей!” Гульсунда стояла на кухне у газовой плиты. Слышала голос Арсена: “Она будет мне еще фыркать, тварь… Таких макак я…”

Гульсунда схватила котел с горячим пловом, пробежала узкую кухню и опрокинула котел на голову Арсена (точно так же поступила Лаура Квирикадзе, если помните, когда узнала, что летчик Булочкин сбросил с самолета бешеного быка).

На счастье, врач местной больницы Турманидзе, полукитаец, полуассириец, знал рецепт древних мазей от ожогов. Благодаря им лицо Арсена не пострадало, но волосы пришлось сбрить.

Через три недели Арсен Гастелло с оркестром: флейта, большой корейский барабан и гармонь – притормозили у

столовой. На голове Арсена торчком стояли густые нейлоновые волосы – парик цвета спелого лимона.

Арсен велел оркестру играть, сам встал на колени у дверей столовой.

Барабан, гармонь и восточная флейта играли. Арсен пел:

Гульсунда, шестикрылая убийца,
ты пронзила шестью выстрелами мое сердце,
Всё в моей жизни поменялось,
ночью светит солнце,
днем хожу под луной…
Я принес маузер, вот он…

Арсен вытащил из кармана брюк маузер, которым стреляли революционеры в русских царей.

Или добей меня,
или поцелуй меня…

Гульсунда застыла у буфетной стойки. Арсен положил маузер в правый карман, из левого достал револьвер, высыпал из барабана пули, оставил одну, раскрутил барабан, поднес к виску, нажал курок… Выстрела не раздалось. Арсен вновь раскрутил барабан, поднес револьвер к виску. В столовой все смотрели на Гульсунду. Она закричала, рванулась как безумная, разнеся витринное стекло, выскочила на площадь и, не добежав до Арсена, который вновь нажал на курок, упала без сознания, разодранная осколками стекла…

Мне, хроникеру, хочется разгрузить эту сцену от мелодраматичной густоты, но как быть, если так, а не иначе развивались события в тот жаркий вечер, когда на небе одиноко мерцала красная планета Марс.

Начался сбор винограда. Женщины работали в виноградниках рядом с мужчинами. Ночами, усталые, скорее уже по привычке, они не снимали поясов верности. Да и мужчины доползали до кроватей и тут же засыпали, втайне довольные, что им не надо выполнять свои супружеские обязанности.

Собранный урожай потек в винные кувшины… Отдохнув, оживившись от молодого вина, мужчины вновь стали донимать женщин. Те, глупые, вспомнили свое требование: “Мы получим водопровод, вы получите нас!”

Всё это время расцветал бурный любовный роман Гульсунды и Арсена. Они встречались в отдаленных местах – то в районном

центре в театре драмы, то на лесопилке, то у разбитого водопровода.

Надо сказать, что Гульсунда смело и безрассудно убегала на тайные свидания с Арсеном, но, целуясь с ним до обмороков, не позволяла Арсену Гастелло переступать границы своей девственности.

– Дорогой, только после свадьбы.

– Не могу терпеть, девочка.

Они кувыркались в траве, он рвал ей капроновые чулки. Они несколько раз дрались по-настоящему. Но время, поцелуи, ласки делали свое, Гульсунда перестала понимать, зачем она блюдет девственность?.. Она созналась подруге, слепой Марте, что решилась вручить свое сокровище Арсену, не дожидаясь свадьбы. Брат Гульсунды Зозо сидел под столом и голубиными перышком щекотал колени слепой. Та смешно била себя по коленям, думая, что сгоняет назойливую муху.

Зозо люто ненавидел Арсена. Разинув рот, он слушал откровения сестры, стараясь ничем не выдать своего присутствия под столом.

Ночью он совершил странный, дерзкий поступок.

Позвал друга Кафку, того, кто обнаружил пояса верности, и меня, Ираклия Квирикадзе, будущего хроникера. Мы прокрались в комнату, где спала его сестра Гульсунда. Зозо накрыл ей лицо платком с хлороформом.

Усыпив Гульсунду, Зозо откинул ее одеяло и с помощью нас очень неумело опутал стальными прутьями роскошное тело старшей сестры. В лунной ночи стрекотали цикады, ухал филин. Мы, блудливые мальчики, завершили работу, защелкнули замок, мельком осмотрели, прощупали все стальные пластины, сняли платок с губ Гульсунды, накрыли одеялом и, хихикая, выскользнули из комнаты.

Трудно описать удивление, шок, которое испытала утром, проснувшись, Гульсунда. Она с ужасом разглядывала в зеркале свою античную фигуру, плененную дамасским капканом. Кто это совершил? Где ключи? Никто в доме не видел, не слышал ничего подозрительного. Зозо смотрел на сестру невинными глазами. Гульсунда нашла в доме у слепой Марты мелкую пилу. Подруга пыталась помочь ей. Но для дамасской стали пила была как тигру – укус комара.

В субботу должна была состояться встреча с Арсеном, та самая. Днем до этого Гульсунда, преодолев стыд, пошла к газосварщику Федулу. Да, я забыл сказать, что Гульсунда была и у Суламиф. Взяв связку ключей от всех поясов верности, она два часа с лишним подбирала к своему поясу подходящий ключ.

Оставалось только восхищаться и проклинать средневековых мастеров, которые не повторили ни одного замка, каждый был несхож с остальными. Суламиф-то и сказала ей о газосварщике.

Рыжий Федул балдел от прелестей маффетской девственницы, открывшихся перед ним. Приложив защитные пластины к оголенным Гульсундиным ягодицам, он пытался сварочным аппаратом разрезать древнюю сталь.

Увы!

Ничего не оставалось делать, как идти на встречу с Арсеном. Тот вначале опешил. Избил газосварщика Федула за какую-то неуместную шутку. Хотел еще кого-то избить, потом посадил Гульсунду в “хорьх-геринг” и поехал искать в Анаре известного вора Сито Метревели. Метревели был медвежатником, вскрывать замки было его профессией. В его послужном списке были сейфы ереванского, кишиневского, одесского банков. Старый Метревели, не обращая внимания на роскошь девичьих ягодиц, вооружился лупой и весь углубился в секрет замка. Потом, осторожно орудуя отмычкой, что-то шептал, отпивая крепчайший кофе. А потом вдруг заплакал.

– Что случилось, Метревели?

Медвежатник не отвечал, плакал.

– Что случилось?

Медвежатник завыл:

– Уведите ее, или я выпрыгну с окна! Я старый, зачем мне эта двойная пытка, ее запахи и этот е…ый замок!!! Первый замок, в котором я ничего не понял! Я не выдержу этой пытки!!! Уведите ее!

Арсен молчал всю дорогу. Привез Гульсунду на площадь, ссадил ее и так же молча уехал на своем динозавре. Гульсунда вдруг ослабела и упала без чувств в отцветшие кусты сирени.

* * *

И тут в Маффет приехал тир на колесах. Женщины деревни вначале не учуяли опасности… Хозяин тира был пожилой мужчина. Его звали Кролик Максимович Штрипки. Грузовичок остановился на площади.

Рабочие растянули шатер, в котором вечером заиграла магнитофонная музыка, замигали цветные огни…

Маффетцы с интересом читали странную надпись: “Попади десять раз в десятку, и букет – твой!”

И мелким шрифтом приписка: “Даем одиннадцатую пулю”.

* * *

Внутри шатра, чуть в стороне от мишеней военного образца, сидела стройная загорелая женщина в купальном лифчике и спортивных трусах. Странным было то, что лицо женщины спрятано в жестяном ведре, которое стояло на ее широких спортивных плечах. В ведре – букет белых хризантем.

Мужчины напряженно всматривались в полуобнаженную фигуру. Бутафория? И почему вместо головы это дурацкое ведро с цветами?

Кролик произнес короткую речь:

– Она живая, не сомневайтесь. Софи, сделай движение… Поприветствуй нас!

Женщина подняла руку и ущипнула свой сосок. Мужчины ахнули. Кролик засмеялся:

– Правила простые, я это увидел в старом итальянском кино, подумал, почему и мне не обрадовать хороших людей. Десять выстрелов попади в десятку. И Софи твоя на всю ночь… Знаю, десять из десяти трудно, даем одиннадцатую пулю!

Кто-то спросил:

– А зачем ведро с цветами?

Кролик ответил:

– Стесняется…

Женщина подняла руку и ущипнула второй сосок. Мужчины деревни стреляли до трех ночи. Самое большее, чего добились маффетцы, был результат девяносто шесть очков. Оставив немалые деньги, мужчины разошлись ни с чем. В домах их ждали сонные тела, закованные в стальные корсеты.

У меня как хроникера нет достоверно проверенных фактов, но существует молва, что Суламиф-ключница тайно выдавала за деньги ключи парам, которые не могли более терпеть. Я повторяю – это молва. Более того, иногда мужчины покупали у Суламиф ключи от замков не своих жен.

Софи продолжала сидеть неподвижно на стуле в грохоте выстрелов, с ведром на голове и всегда со свежими цветами. Иногда поднимала руки и щипала свои соски. Это было дико эротично и не помогало сосредоточиться и выбить сто очков из десяти выстрелов. Даже одиннадцатая пуля не приближала их к Софи Лорен, как прозвал ее кто-то из остряков. Стреляли все. Даже муж Суламиф – и тот спросил: “Где стреляют?”

Все с изумлением смотрели на старого ворошиловского стрелка, который очень неплохо расстрелял все десять пуль, но всё ж не набрал ста очков. Суламиф, проклиная собравшихся развратников, уволокла мужа. Женщины деревни не знали, как

реагировать на нашествие этого безобразия. Стало понятно, что выбить сто очков и завладеть роскошным телом таинственной незнакомки – практически недосягаемое желание. Не было среди маффетцев чемпионов ГТО.

Сложилась необычная ситуация. Единственное женское тело, доступное, не закованное в дамасскую сталь, вот оно, рядом, но…

В столовой разговоры только о заезжем тире. Гульсунда постоянно плачет в серном источнике, вспоминая, как молча уехал ее возлюбленный. Приедет ли? Она решила худеть, худеть, худеть и, может, так вытянуть себя из стальных оков. Мы с Кафкой просили брата Гульсунды вернуть ей ключ от пояса. Тот иезуитски не соглашался. Мы подрались. Он нас с Кафкой одолел.

И вот на кухне среди котлов, сковородок, где жарятся и парятся различные яства, одни названия только чего стоят – “купаты”, “чанах”, “чакапули”, “сациви”, “баже”, – среди этого роскошества стоит восемнадцатилетняя девственница, ее качает от голода, слабости, но пышные античные формы не хотят тончать, не хотят. Стальной дамасский капкан не хочет отпускать ее бедра, пах, ягодицы. Почему мы с Кафкой молчали, не сказали Гульсунде, у кого ключи? Это я тебя спрашиваю, Чанчур! Не думай, что я, увлекшись хроникой маффетской войны, забыл про тебя. Так почему мы с Кафкой не решались сказать Гульсунде, у кого ключ? Боялись, что, старше нас на два года, брат Гульсунды Зозо вновь изобьет нас? Да, Чанчур, сознаюсь тебе, мы боялись его кулаков. Он был откровенно сильнее нас с Кафкой. Часто пользовался кастетом.

* * *

Наконец после долгого отсутствия в деревню приехал Арсен. Увидел шатер. Зашел. Стал стрелять. Выбил сто из ста. Даже не использовал утешительную пулю. Маффет завопил! От зависти, от злобы, от восхищения! Взволнованный Кролик объявил:

– Софи Лорен твоя, Арсен Гастелло!

Женщина встала, потянулась, как пантера, собралась снять с головы ведро с цветами, но Кролик сказал:

– Софи, не нарушай традицию, снимешь там!

Он указал на трейлер, где жили тирщики. Все знали, в трейлере есть красная комната с красной кроватью, с красной клизмой для подмывания…

Арсен спросил Кролика:

– Могу свой выигрыш передать другому?

Все обомлели. Кролику Максимовичу Штрипке показалось, что он ослышался:

– Как другому?

Арсен сказал:

– У меня другие планы. Я могу свой выигрыш передать другому?

Женщина, нарушая традицию, сняла с головы ведро с цветами. Чернобровая, смуглая, пухлые губы, зубы-жемчужины. Почему она прятала лицо? Непонятно.

Богиня молча выжидающе смотрела на Арсена. Толпа маффетских мужчин молча и выжидающе смотрела на Гастелло.

Неужели он кому-то позволит провести ночь с ней? И кому такой подарок?

Кролик ответил:

– Ты хозяин этой ночи. Делай, что хочешь!

Арсен произнес:

– Скажите папе, хоть я плохой сын, но это мой подарок ему!!!

Арсен вышел из шатра. На кухне столовой среди раблезианского шипения и бульканья Арсен сказал Гульсунде:

– Я много думал, мозги у меня не шибко умные, но что-то мне в голову засело… Что – не скажу. Пока. Но знай, я очень, очень люблю тебя!

Гульсунда дико закричала.

Она не заметила, как прижала свой зад к раскаленной газовой плите…

Очень кратко сообщу, что Арсен Гастелло стал один строить опоры водопровода. К нему заглядывали маффетцы, кто-то помогал, но почему-то через день-два он вновь оставался один. Тир и жажда выбить сто из ста отнимали всё время маффетских мужчин.

Построив три четырехметровые опоры, Арсен подвез трубы. Подъемный кран долго не приезжал, но и он появился, водрузил на опоры трубы. Рыжий сварщик Федул приварил их. Две недели ушло на бюрократию в Анаре, чтобы вентиль, подающий воду на линию Маффет, был открыт. Когда Арсен вернулся в овраг, где стоял его строительный сарайчик, он обнаружил лужу. С одной из труб тонкой струйкой текла вода.

“Надо допаять”, – подумал Арсен.

В луже чистой воды сверкал ключик…

Вода лилась из крана каждого маффетского дома. Суламиф-ключница раздала женщинам ключи. На свадьбу Гульсунды и Арсена Гастелло пришли все, даже Софи Лорен, на которую глазами победителя смотрел папа-парикмахер.

На женихе – черный костюм, на голове невесты – венок из

белой сирени… Радостные голоса поют.

А в мрачной космической темноте вновь бесшумно летит огромный метеорит с Урана.

Фотография 17. 2015 год

Фотография 17. 2015 год.

Мы позируем: Тома Стенко, Ираклий Квирикадзе, наш сын Гаичур.

Он держит в руках двух мраморных слоников, не зная, какой страшный, но притягивающий меня адским магнетизмом своей личности человек по имени Лаврентий Павлович Берия подарил этих слоников его прабабушке (моей бабушке) Екатерине Григорьевне Миндадзе. Фотография эта, снятая совсем недавно, тоже была в той самой коробке из-под сигар.

Как-то я рассказывал Томе Стэнко о своих нелепых встречах со знаменитостями (мы сидели в кафе книжного магазина “Республика”, что у площади Маяковского). Тома смеясь сказала: “Напиши про них, про Галактиона Табидзе, Лаврентия Берию, Милоша Формана, Вана Клиберна, Сергея Довлатова – такой «Каталог знаменитостей»”. Засмеявшись в ответ, я обещал написать, потом забыл…

На днях, переселяясь в новый дом, укладывая в картонные коробки всевозможные ненужности вроде упомянутых двух мраморных слоников (их в комплекте семь штук, по старинному поверью приносящих счастье), куклы с фарфоровой головой, один глаз закрывается, второй нет, акварельного рисунка “Ленин в гробу среди хризантем”, нарисованного неизвестным художником и датированного 1924 годом, я наткнулся на серебряную сахарницу с надписью: “Екатерине Григорьевне Бухаровой от Мишо и Като в день ее свадьбы”. Говорилось о свадьбе моей русской бабушки. Секретарь-машинистка вышла замуж за своего босса Давида Алексеевича Миндадзе. Дело происходило в Баку. Дедушка имел завод по производству осетровой икры и отсылал ее (икру, а не бабушку) к столу его императорского величества Николая Второго. В старом тбилисском доме, помню, была фотография дедушки и императора со страннейшей хулиганской надписью на обратной стороне: “В п…де тонут большие корабли”. Странно, домашние фотоальбомы всегда кем-то тщательно редактировались. На групповых фотографиях вырезались головы людей, объявленных врагами народа… а эта фотография дедушки и императора с крайне неприличной, заборной надписью хранилась в нашем доме нетронутой. Кто автор этой надписи, не знаю. Классе в третьем я прочел ее по слогам, не очень понял, но спросить у взрослых не решился…

Давид Алексеевич Миндадзе был богат, щедр, хлебосолен, купил трехэтажный особняк в центре Баку, по воскресеньям устраивал общий стол. Приходили рыботорговцы, грузинское землячество, гастролирующие артисты, дедушкины любовницы… Дедушка был весельчак, и не важно, кто был ты, главное, что ты выпивоха, умеешь говорить красочные тосты и петь, когда все поют. Приходил и один скромный юноша из какого-то

технического училища, где учился дедушкин племянник. Приходил каждое воскресенье в течение трех лет. Бабушка как-то особенно приметила его. Была у рыжего Лаврика (так его звали) привычка вскакивать из-за стола и мыть на кухне свою посуду. Съест суп, съест хашламу, несет тарелки на кухню. Бабушка (ее рассказ) говорит Лаврику: “В доме столько прислуги, зачем вы сами моете?” В ответ слышала: “Екатерина Григорьевна, я жуткий чистюля. Не могу иначе, простите”. Ему прощалось, так как Лаврик хорошо пел, входил в постоянный дедушкин домашний хор. Если Лаврик Берия не приходил в какое-то воскресенье, дедушка слал за ним линейку (так назывались коляски, запряженные лошадьми).

Прошли годы. Случилась революция. Давид Алексеевич Миндадзе не пожелал бежать в Стамбул. “Рыбку съесть и его величество царь любит, и эти сраные Марксы, Энгельсы, Ленины”. Он вернулся в Грузию, стал служить в “Рыбаксоюзе”. Лаврик превратился в Лаврентия Павловича Берию, стал главным человеком в республике.

В нашей семье появился бунтарь – мамин брат Леонид, он входил в молодежное антисоветское общество “Дзмоба”. Его арестовали. Бабушка пошла к Берии.

Попасть к высокому начальству тогда, как ни странно, было не очень сложно. Бабушка сидела в приемной Лаврентия Павловича, ждала. Ровно в восемь утра открылась дверь, вошел сам. Ни на кого не глядя, пересек просторное помещение приемной. Бабушка встала, подошла, сказала: “Здравствуй, Лаврик”. Берия остановился, улыбнулся: “Здравствуйте, Екатерина Григорьевна. Всё помню… Такой хашламы, как у вас в Баку, нигде не ел…” Бабушка воспользовалась бериевской улыбкой: “Я по поводу сына Леонида” – и получила ответ: “Очень нечистое дело, Екатерина Григорьевна, а я, как вы помните, жуткий чистюля… Ничем не смогу помочь, ничем”. Вынул из кармана своего плаща деревянную коробку: “Это передайте Давиду Алексеевичу, на удачу”. Сказал и скрылся за дверью своего кабинета.

Бабушка вернулась домой. Из коробки высыпались семь мраморных слоников. Дядю Леонида сослали. Бабушка хотела разбить молотком мраморных слоников. Дедушка не велел: “Назло этой твари пусть охраняют нас”. Почему так решил Давид Алексеевич, почему эти слоники всю жизнь стояли на пианино в нашем старом доме? И сейчас я не нахожу сил избавиться от них, хоть знаю, что они не приносят счастья… Пианино давно уже нету, нет никого из участников этой истории, слоники скинуты в один из ящиков моего письменного стола, но они есть. Может, в

день моего семидесятишестилетия я разобью их мраморные хоботы, уши, ноги, растопчу, как хотела Екатерина Григорьевна, и выкину. И что-то изменю в своей жизни! А может, нет? Ведь никто не стер с фотографии императора “В п…де тонут большие корабли”. Когда я снимал фильм “Пловец”, альбом с фотографиями и какие-то предметы нашего домашнего интерьера я увез на съемки в Батум. В суматохе за всем не уследил, пропало многое, в том числе и это мудрое предупреждение кораблям и мужчинам.

С бабушкой связана еще одна история.

У Екатерины Григорьевны Бухаровой (твоя прабабушка, единственная русская во всем огромном грузинском семействе Квирикадзе – Миндадзе, которую все звали “Большая мама Катя”) был книжный том “Пушкин”, весил он полпуда и был издан “Академкнигой” в 1937 году. Бабушка Екатерина учила меня русской грамоте и чтению по этому книжному Гаргантюа. Я любил рассматривать иллюстрации: Ленского, застреленного на дуэли, богатыря Руслана, державшего за бороду кого-то. Было там и изображение Александра Сергеевича Пушкина в гробу. Обычно бабушка, часто ссорившаяся с дедушкой, тайно пила после очередного раздора вишневую наливку, мне доставались пьяные вишни. “Нализавшись” (ее слово), мы плакали горючими слезами над гробом любимого поэта. Бабушка шептала: “Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой”.

В книге был также рисунок, которого я очень боялся. Я знал, где он находится, и, когда листал бабушкины полпуда, всегда отворачивался, чтобы случайно глаз мой не задел того страшного утопленника. Поднявшись со дна, весь разбухший, сине-зеленый, опутанный водорослями, утопленник стучался в окно. Двоюродный брат Датка знал о моем тайном страхе и всегда оставлял книгу открытой на этом месте. Однажды мы подрались, я был младше, он меня “исколошматил” (тоже бабушкино слово), а потом, видимо, раскаявшись, поступил очень непонятно – вырвал из книги рисунок утопленника, пугавшего меня.

Прошли годы. Воры (похоже, воры-гастролеры) вынесли все ценные вещи из дома Екатерины Григорьевны Бухаровой, и том Пушкина в том числе. Горевала бабушка, я не особо. Еще прошли годы. В Москве, уже студентом ВГИКа, захожу в букинистический магазин у гостиницы “Метрополь” погреться – на улице снежная метель. Изображая, что я книжный “любовник” (так говорил Сосо Чхаидзе о Марке Кипнисе), разглядываю полки, вижу том Пушкина, полпуда. Тираж этого уникума сто тысяч экземпляров. Почему я решил, что передо мной украденная у Екатерины Григорьевны книга? Продавец нехотя подает мне ее. Его не

обманешь – я не любовник и не покупатель, да еще только что нос оттаявший рукой протирал. Листаю Пушкина. Листаю, листаю. И… Боже! Вот они, оборванные бумажные языки, остатки давнего преступления моего двоюродного брата. Собственность нашего рода Миндадзе – Квирикадзе фантастической случайностью вернулась ко мне в руки. Слышу ее шепот: “Ираклий, прошло двадцать лет, и я вновь твоя. Купи меня…”

“Сколько?” – спрашиваю иронично улыбающегося продавца.

Цена дикая для режиссера, который еще ничего не снял в жизни. Продавец говорит: “Оставьте залог, она дождется вас…”

Мне нечего было оставлять. Весь день я кружил по Москве – искал деньги, собрал частями, к ночи достал. Утром пришел к открытию… Продавец усмехнулся: “Пушкин уплыл вчера, как только вы ушли”. Я выбежал из букинистического магазина. У памятника Карлу Марксу меня нагнал снежный вихрь. Я нащупал в кармане ненужные деньги и заплакал.

…Я вспомнил об идее написать “Каталог знаменитостей” и подумал, что я не прав, начав с Берии, нужна знаменитость на букву “А”. Я, увы, не был знаком с Акутагавой, с Антониони, с датским сказочником Андерсеном, хоть и писал сценарий о его жизни вместе с Эльдаром Александровичем Рязановым. С драматургом Арабовым знаком чуть-чуть.

Вспомнил букву “А”! Генерал артиллерии Авксентий Антадзе. Герой Великой Отечественной войны. Вот уж нелепая и странная история нашего знакомства. Я видел его фотографии в газетах военных лет: красивый генерал, отец моих соседок Лики и Зины Антадзе.

Кончилась война. Генерал артиллерии Авксентий Антадзе вернулся домой поздно ночью. Он приехал с вокзала на двух машинах. Вторая машина была набита немецкими кожаными чемоданами – подарками дочерям, жене. Антадзе жили на нашем этаже. Жена генерала в моем детском представлении была похожа на фею из “Волшебника Изумрудного города”, не злую, что раздавил летящий дом девочки Элли, а последнюю фею, добрую. Сознаюсь, я был тайно влюблен в нее. Помню теплую ночь, радостные крики генерала: “Сулико, я вернулся!” На веранде третьего этажа накрыли длинный стол, весь дом праздновал возвращение героя! Генерал обнимал жену, целовал девочек. Я обалдело глядел на немецкий корабль в руках Лики, где в трюме работала корабельная топка, из труб валил белый дым, капитан в белом кителе поднимал руку, приветствуя меня, ротозея. Жена генерала сказала мужу, указывая на меня: “Жених твоей Лики”. В действительности я не любил Лику, а сходил с ума по ее маме, хотя слышал шепоты: “Сулико гуляет с маршалом Рокоссовским”.

В пять утра дом заснул… Я был первым, кто сполз с кровати, поплелся в туалет. Он на этаже общий. Когда зашел, меня испугали босые ноги, медленно раскачивающиеся в воздухе. Я поднял голову и закричал. Генерал Авксентий Антадзе висел на собственном ремне.

Прошло шестьдесят восемь лет, увиденный первый в жизни мертвый постоянно раскачивается в моем воображении. Почему он это сделал? Его артиллерия в клочья разнесла Берлин, Иосиф Виссарионович Сталин подарил ему серебряный портсигар с лаконичной надписью на грузинском “Авксентию от вождя”. Он привез восемь чемоданов подарков (корабль “Олимпия” по сей день в моем воображении. Капитан в белом кителе машет рукой, я слышу слова на немецком: “Ираклий, полный вперед!”). Зачем красивый, сильный, с орлиным профилем супермен-победитель удушил себя? И где? В туалете! Я, маленький мальчик, смотрел на него, огромного, и кричал. Несколько часов назад он танцевал с женой Сулико лезгинку, не стесняясь при всех целовал в мушку на щеке. Неужели были правы те, кто считал причиной нелепого ухода боевого генерала Авксентия Антадзе слова жены, которые она вроде бы сказала в постели: “Я спала со многими, и с маршалом Рокоссовским в том числе”?

Меняю на ходу решение в “Каталоге знаменитостей” следовать алфавитному порядку. Генерала Антадзе я встретил в далеком детстве, Лаврентия Павловича Берию в глаза не видел, хоть семь его мраморных слоников и достались мне в наследство от деда и бабушки.

Далее следует буква “В”.

Я люблю Вермеера Дельфтского, люблю фильм “Чапаев” братьев Васильевых, чуть знаю Вима Вендерса (мы хлопаем друг друга по плечам при встречах где-нибудь в Берлине, Эрфурте, Сан-Себастьяне). Мне нравится драматург и режиссер Вырыпаев, но я с ним не знаком. Кто еще на “В”?

Вот буква “Г” – это Галактион Табидзе, именно “Г”, а не “Т”, так как в Грузии его зовут только по имени – Галактион, редко добавляют фамилию. Все знают: Галактион один в масштабах нации.

Мы с моим школьным другом Элизбаром Балавадзе столкнулись с ним на лестничной площадке дома, где были в гостях у одноклассника. Не по школьным учебникам литературы мы знали, что по ночным тбилисским улицам часто бродит большущий нетрезвый белобородый бог поэзии. Такого бога мы и встретили. Он медленно спускался по лестнице, тщательно оглядывая каждую ступеньку. Бог искал что-то потерянное. Мы робко обогнали его, робко поздоровались. Галактион посмотрел

на нас и спросил:

– Не видели орден?

Рукой указал на пустой лацкан пиджака, где виднелась протертость и маленькая дырочка.

– Я потерял его! Это ужасно!

Все морщины на его лице были напряжены. Мы спешили, но не смогли быстро сбежать по ступенькам. Нам показалось, что Великий Галактион нуждается в нашем нюхе, наших молодых глазах.

– Он для меня очень дорог! Я должен его найти!

Мы включились в поиск. Вышли на улицу Марджанишвили, медленно шли рядом с Галактионом, глядя себе под ноги. Элизбар спросил:

– Орден кого?

– Ленина.

Вопрос был глупый. Кого же еще? Не орден же Британской империи, не знак нобелевского лауреата. Галактиона мало знали и знают в мире, разве что Пастернак, сказавший: “Он вершина, на которую мне не взобраться”, а также Ахматова, переводившая его стихи на русский.

Галактион вдруг ударил себя по лбу, скорчил гримасу: “Я же был вчера ночью у Силибистро, может, там оставил? В залог? А?”

В летнем саду филармонии, в маленькой стеклянной забегаловке, где пахло кислым вином, Галактиона и нас встретил буфетчик Силибистро. На вопрос поэта он ответил:

– Галактион, ты же знаешь, у меня ничего не пропадает… Вот пистолет, полковник Лолашвили нализался так, что не услышал, как в туалете он выпал из кобуры. Я храню пистолет… Ты вчера тоже крепко нализался, Ленин мог упасть в унитаз…

– В унитаз?

– Хотя нет! Ты ушел с Лениным!

Я оглянулся – в стеклянной забегаловке все смотрели на белобородого бога, слушали его диалог с буфетчиком Силибистро. Подозвали официантку. Силибистро спросил ее:

– Клара, Галактион уходил вчера с Лениным?

Клара долго задумчиво разглядывала пустое орденское место на лацкане Галактионовского пиджака.

– Без него.

Силибистро поморщился:

– Я точно помню, Ленин был!

Клара, обиженная, что хозяин не доверился ее зрительной памяти, отошла к столу, где трое бритоголовых мужчин окружили себя дюжиной пустых бутылок. Они заказали еще.

– Клара, только мукузани, тибаани сегодня не идет… И еще,

позови этого мальчишку, что с Галактионом пришел.

– Их двое!

– Любого.

Любым оказался я. Они вежливо спросили мое имя. Я сказал.

– Слушай, пацан (зачем было спрашивать мое имя?), Галактион потерял орден? Да? Протяни руку…

Говорящий указал на человека, которому мне надо было протянуть руку для пожатия.

– Это Сергей Яковлевич Якобашвили. Он взломал замки всех приличных квартир Тбилиси. У твоих родителей приличная квартира?

Я растерялся. Не знал, что ответить. Сергей Яковлевич Якобашвили прервал говорящего:

– Ираклий, да?! Я очень люблю стихи Галактиона… Никогда ему этого не скажу… Ираклий, ты сейчас побежишь, тут рядом, улица Камо, восемь. Квартира тринадцать. Позвонишь четыре раза, откроет Марья Шалвовна Сац. Я ее маму… (Сергей Яковлевич выругался), скажешь: орден Ленина лежит в коробке от духов “Красная Москва”. Меня послал Сергей, чтобы ты, сука… Нет, ты так не скажешь…

Трое засмеялись. Сергей Яковлевич Якобашвили спросил:

– Ты же не думаешь, что это я у Галактиона его украл?

– Нет.

– Орден давно у меня валяется, одного хама-полковника в поезде наказал… (посмотрел на меня). Значит так, шаг туда – шаг назад…

Галактион и Силибистро уединились во внутреннем дворике стекляшки. Пили мукузани. Мы с Элизбаром – бегом на улицу Камо. Марья Шалвовна Сац открыла нам дверь, нашла орден Ленина в коробке “Красная Москва”. Мы быстро назад. Сергей Яковлевич Якобашвили подержал на ладони орден.

– Я прямо как Калинин! Вручаю Галактиону… Черт, а как его отчество?

Никто не знал. Друг взломщика приличных тбилисских квартир сказал:

– На оборотной стороне ордена – цифры. Видимо, номерные… Как быть?

Сергей Яковлевич секунды три думал.

– Пусть мальчик отдаст ему, скажет, нашел вот там, у клумбы… Что, Галактион будет проверять, тот номер, не тот номер?!

Радость Галактиона была бурной. У бога оказались силы поднять меня в воздух, расцеловать. То же он сделал с Элизбаром… Потом посадил нас с собой, Силибистро и

мукузани…

В ту ночь пьяные мы с Элизбаром валялись под клумбой летнего сада филармонии. Элизбар храпел. Я смотрел на тусклую луну и плакал от переизбытка мукузани и чего-то непонятного. Я шептал строки Галактиона.

Венчалась Мери в ночь дождей,
И в ночь дождей я проклял Мери…

Узнал ли Галактион, что Ленин был другой, обнаружился ли настоящий орден, я не знаю. И зачем ему, величайшему из поэтов, нужен был дурацкий-предурацкий орден на лацкане пиджака? Этого теперь не узнать. Очень скоро он выпрыгнул из окна четвертого этажа на асфальт… Выпрыгнул, выпал, помогли выпасть?

* * *

В доме маминых родственников была “белая ворона”, звали ее Арли. Про деда Давида Алексеевича Миндадзе я рассказал, но не ввел его в “Каталог знаменитостей”. А вот эту белую ворону, брата деда Арли Миндадзе, которого я никогда не видел (он ушел из жизни задолго до моего рождения), точнее, миф об Арли, ввожу. Он восхищал меня, я любил слушать, когда о нем вспоминали по тому или другому поводу.

Арли был бездельник. Давид Алексеевич всё хотел пристроить брата, но увы, тот нигде долго не задерживался. Зная, что брат любит гарцевать на коне, дедушка, пользуясь своими обширными связями, устроил его в парадный кавалерийский отряд его императорского величества Николая Второго.

Арли Миндадзе сопровождал государя императора в Австрию, Грецию, Италию.

Перед самой Первой мировой войной парадный кавалерийский отряд квартировал в провинциальном городке на границе Польши с Германией. Готовились к празднествам в связи с ожидаемой поездкой Николая Второго в Германию.

В Арли влюбились две немецкие монашки из местного монастыря. Вначале они смотрели на него в бинокль, потом познакомились с ним. И стал Арли ходить в монастырский яблоневый сад то к одной на свидание, то к другой.

Монашки вначале ревновали его друг к другу. Но потом сложились отношения, где Арли был разделен между влюбленными сердцами.

Николай Второй не приехал в Германию, так как началась война.

Парадный кавалерийский отряд был призван на фронт. Но Арли не хотелось воевать. Он решил дезертировать.

В яблоневом саду монастыря стали разрываться бомбы. Монастырь должен был срочно эвакуироваться. Две монашки пожелали следовать за своим возлюбленным кавалеристом-дезертиром.

Еще в мирные времена он рассказывал им, что есть на земле рай, который зовется Грузия. Они решили все вместе бежать туда.

Два года влюбленная троица добиралась до Кавказа. Варшава – Петербург – Москва – Харьков – Одесса – Крым – Ялта – Батум.

Они попали в водоворот всеобщего сумасшествия, именуемого “война народов”.

В этой одиссее по Европе они сплотились. Они теряли и находили друг друга на дорогах, в поездах, пароходах. Шли, ехали, плыли к далекой Грузии.

Наконец дошли до деревни Эркети, где жили родители Арли.

Входя в деревню, монашки привели себя в порядок, надели белые католические чепчики и так предстали перед отцом и матерью возлюбленного.

Те приняли блудного сына, но поинтересовались, кто эти две женщины?

Арли назвал их своими женами.

Родители пришли в ужас. Двоеженство в патриархальной Грузии приравнивалось к блуду. Всех троих прокляли и изгнали из деревни.

Арли с монашками поселились недалеко за рекой в брошенном доме. Усталые от долгого блуждания по миру, трое зажили счастливо.

Деревня не понимала, что это за странная форма любви, и обходила их стороной.

Но вот война докатилась и до Грузии.

Арли позвали красные. “Ты бывший кавалерист, возглавь красный кавалерийский отряд”.

Арли отказался.

Его позвали белые с той же просьбой.

Арли ответил, что не хочет воевать, хочет жить в мире и гармонии со своими двумя Дульцинеями.

Но война не позволила существовать этой идиллии.

Кукурузное поле, которое они взрастили, сожгли, как и яблоневый сад. Дом разбомбили. Пристрелили корову-кормилицу.

Нежданно-негаданно Арли и две женщины находят

брошенный кем-то в окрестностях Батуми броневик. Садятся в него.

Это защита! В броневике они разъезжают по дорогам. Грязные, голодные, спят в нем.

Однажды на их броневик нападают.

Арли начинает отстреливаться.

Арли объявляет войну всем, всем, всем!

Он и две его возлюбленные врываются в деревни и стреляют по любым властям, как красным, так и белым!

Их называют “бешеный броневик”.

И когда у броневика кончаются боевые запасы, Арли и монашки приезжают в родную деревню Эркети, останавливаются на площади, открывают люк, Арли произносит длинный монолог. Он проклинает этот сумасшедший мир, где все против всех, где все на ножах! Он закрывает люк, и через мгновение броневик взрывается! Трое возлюбленных добровольно покончили жизнь самоубийством!

Жаль, что теперь некому вспомнить их имена: Арли Алексеевич Миндадзе – тридцать семь лет, Гудрун Гесс – тридцать один год, Тильда Ремарк – двадцать восемь лет. (Не знаю, кем приходится ей классик мировой литературы?)

* * *

Мама с папой часто ссорились. Мама хватала меня, как чемодан, и я нежданно-негаданно оказывался то в Телави, то в Одессе, то в Батуми. В Батуми я проучился восьмой-девятый класс. Грек Одиссей Илиопуло, работник судоремонтного завода, и его жена эстонка Эльза поселили нас в своей трехкомнатной квартире (мама не хотела жить у своих многочисленных батумских подруг). Илиопуло сдали нам комнату с видом на батумский цирк, на круглом фасаде которого висели портреты членов советского Политбюро (Ворошилов, Молотов, Буденный, Хрущев…). Увидев их, мама долго смеялась. Я не понимал тогда причины ее смеха.

Наш квартирный хозяин Одиссей Илиопуло был похож на живую греческую скульптуру. Когда на балконе он делал зарядку с гантелями, я и мама смотрели на него с восхищением. “Ираклий, займись гантелями, ты дохлый”. Одиссей Илиопуло был чемпионом Батума по борьбе. Но при всей ослепительной физической мощи он был каким-то странным. Однажды, играя с женой Эльзой в бадминтон, забросил волан на магнолиевое дерево (я смотрел на них из окна). Одиссей пошел за лестницей,

вернулся и подошел не к той магнолии. Я видел волан в гуще веток на другой магнолии. Крикнул ему из окна. Он кивнул головой и продолжал искать волан там, где его не было. К нам в комнату вошла эстонка, попросила показать, где волан. Я показал. Мы кричали Одиссею, он не спускался, прыгал с ветки на ветку. Потом затих в густой листве. Жена зовет, он не откликается: “Странные вы существа, мужчины!” – сказала эстонка, спрыснув себя маминими духами “Сортилеж”.

И вот этот тихий работник батумского судоремонтного завода очень скоро стал сверхзнаменитостью. Его имя не сходило с уст мужчин и женщин, появление на улице взрывало толпу: “Одиссей, Одиссей!”

В Батуми приехали профессиональные борцы-тяжеловесы. Их было человек семнадцать. На круглых стенах цирка появилось сообщение: “С 7 по 20 октября 1954 года пройдет чемпионат мира по классической борьбе. Участвуют лучшие борцы XX века”. Эти же плакаты висели на набережной, в гостинице “1 Мая”, где поселились тяжеловесы. Мы с одноклассниками заглянули туда и увидели иллюстрацию к дантовской “Божественной комедии”, той части, что про ад. В вестибюле двигались несгораемые стальные шкафы, чугунные шары, которыми разбивают стены при сносе старых домов. Каждый из этих существ весил сто-двести килограммов. Большинство из них носили фетровые шляпы, но на ком-то были стальные шлемы с рогами. Кто-то грыз хрустальный стакан: “Это для хорошего пищеварения”, – объясняли удивленному администратору гостиницы “1 Мая”. Адский табор со своими женщинами, детьми, собаками колесил по провинциальным городам СССР, не заглядывая в столицы. В Батум они приехали в первый раз. Семнадцать борцов-гигантов сели на велосипеды и стали медленно колесить по улицам, крича: “Завтра все в цирк!” У пивных ларьков на набережной они пили пиво, громко смеялись, толкая друг друга, иногда задевая батумцев и не извиняясь. Сейчас таких зовут “кетчисты”, но в те времена, когда в наш город нагрянули эти жутковатые люди, не было таких терминов.

В день открытия чемпионата мира цирк не был заполнен. Город был слегка запуган агрессивностью гигантов. Так как Одиссей купил билеты, а Эльза простудилась, билет ее достался мне.

Арена. Семнадцать борцов в трико, лица некоторых в кожаных масках, у других экзотические имена. Борьба шла по классическим правилам – кто кого уложит на лопатки. Батумцы аплодировали, но, чувствовалось, без особого азарта.

Утром второго дня, было воскресенье, к нам в дом пришли

двое вежливых мужчин, спросили Одиссея, преподнесли Эльзе новинку – капроновые чулки. Пока радостная Эльза их примеряла, показывая прелестный капрон моей маме и мне, ее муж Одиссей подписал контракт о выступлении на юбилейном первенстве мира борцов-тяжеловесов. Одиссей просил день-два, чтобы войти в боевую форму. Но его вывели бороться в тот же воскресный вечер. На афишах появилась надпись: “НАШ ОДИССЕЙ ИЛИОПУЛО ПРОТИВ ЛУЧШИХ БОЕВЫХ НОСОРОГОВ МИРА”.

Реклама сработала мгновенно. Зал цирка был почти полон. Эльзу, маму и меня посадили в ложу. Против Одиссея выступал польский гладиатор Вольдемар Пивовский, который раздавал бутылки польского пива сидящим в первом ряду вокруг арены. Его огромный живот медленно колыхался вместе с золотистым трико, когда он встал на брезентовый борцовский мат. И тут вышел Одиссей Илиопуло. Представьте, что ожила статуя Праксителя. Битва была долгой. Ловкий Одиссей никак не мог сдвинуть с места польского гладиатора. Тот был обмазан оливковым маслом. Когда судья велел стереть излишки масла, Одиссею удалось обхватить поляка и повалить его на мат. Батумцы ликовали. Так началось восхождение хозяина нашей квартиры на Олимп!

На другой день город только и говорил, что о вчерашнем триумфе Одиссея. Вечером билеты продавались спекулянтами втридорога. Одиссей боролся с таинственной черной маской, которая до этого побеждала всех. Он ящерицей юркнул меж ног колосса и приемом “двойной Нельсон” стал душить и валить его. Черная маска рухнула. На следующий вечер – новая победа. Батум ликовал: “Наш чемпион!”, “Наш грек!”, “Одиссей, ты Бог!” – голосило местное радио. В Батуми было несколько тысяч греков, и они все вечером кружили вокруг цирка. Рядом с портретами членов Политбюро на круглой стене цирка появился портрет борца Илиопуло! Я был горд за нашего квартирного хозяина. Всё в нем изменилось. Его медлительность речи, его фразы (“Когда жарко, я потею”) обрели какой-то магический смысл… Выход его на улицу, аплодисменты, вопросы, не вопросы, а требования: “Завтра завалишь Бу-Букина?!!” Бубукин – который писался на афишах Бу-Букин – был победитель в другой подгруппе.

Две недели борцы жарили рыбу на балконах своих гостиничных номеров и распевали громоподобные песни с ночи до утра. Непонятно, когда они тренировались. Их видели обычно на базаре в масках, в огромных плащах, в шляпах и касках монстров. Мальчишки кричали: “Польский гладиатор, тебя

Илиопуло в…”, “Дракон Ли, и тебя тоже…”

Две недели Батум бушевал, захлебывался от восторга: “Наш! Наш! Всех их!..” Секретарь городского комитета Коммунистической партии Бухаидзе выделил машину “ЗИС-110” с водителем для Одиссея Илиопуло! Я был горд! Я ездил с ним два раза на тот же базар! С ним, с мамой и Эльзой! Нам всё бесплатно! Все арбузы были наши! И вот финал чемпионата мира!

Сумасшествие творилось в Батуми в то воскресенье… Зал, где зрители сидели друг у друга на головах, следил за поединком, затаив дыхание. Бу-Букин, похожий на Царь-пушку, и Одиссей кружились в каком-то гипнотическом танце, ни один не смог положить другого на лопатки.

Решение судей: ничья! Финал переносится на завтра! Еще один, дополнительный финал! Билеты вздорожали в десять раз! У меня он бесплатный. Я держу Одиссея за руку и чувствую, как его слава, его величие, его знаменитость проникают в меня!

Гудят пароходы в порту! Впечатление, что они в честь победы! Нашей победы!

На арене Бу-Букин и Илиопуло. Свисток судьи – сходятся. Одиссей хватает Бу-Букина, тот делает нырок, хватает Одиссея за ноги, и все видят, как наш кумир, нелепо закрутившись, падает на мат. Бу-Букин оказывается на нем и припечатывает лопатками к земле. Зал опешил. Зрители кричат: “Не считается! Илиопуло споткнулся!” Судья не засчитывает. Вновь сходятся борцы. Бу-Букин что-то совершает с Одиссеем, и тот крутится, как крылья мельницы в сильный ветер. Потом Бу-Букин подсек Одиссея ногой, свалил и вновь прижал лопатками к мату. Вновь крики: “Не считать!” Их свели в третий раз. И тут Бу-Букин поднял Одиссея в воздух, сильно прижал его спину к своей груди и стал жать, жать… У меня округлились от ужаса глаза: мой бог, мой Одиссей, что ты делаешь?! Как это сказать? С 1 июля 2014 года нельзя произносить и писать нецензурные слова! Входит ли в запрет слово *пердит*? Если нельзя – скажу по-грузински: *акуебс*. Так вот, наш Одиссей в тишине цирка громко, протяжно акуебс! И тут раздался смех. Батумцы всё поняли! Бедный Одиссей! Он оказался жертвой хитроумного розыгрыша. В эту адскую труппу, устроившую чемпионат мира, чтобы заманить зрителей, берут местного (видимо, в каждом городе своего), его ведут по отработанному маршруту к вершине славы, под него ложатся один за другим борцы, изображая проигравших, и так до финала. Сегодня ночью труппа уезжает, а когда все деньги собраны, когда пора в путь, когда поезд гудит – Одиссей акуебс!!! Как этот спектакль похож на жизнь!

Мне не очень хотелось говорить, но всё же скажу, что

крикнула в смеющуюся толпу эстонка Эльза: “Это акуебс не мой Одиссей! Его акуебс я узнаю из тысячи других!”

* * *

…В “Каталоге знаменитостей” я не описал встречи с такими замечательными творцами, как писатель Джон Стейнбек, режиссер Милош Форман, один из лучших современных писателей Сергей Довлатов. Форман – в конце алфавита, но Довлатов – “Д”. О нем-то я должен сказать.

Это было в Лос-Анджелесе в конце восьмидесятых на Вилшар-авеню. Я открыл дверь кабинета издателя журнала “Панорама” Александра Половца – ко мне поворачиваются две головы, Половца и Довлатова. С первым я хорошо знаком, о Довлатове слышал много интересного, но не знаком. Они меня зовут войти, а я, чувствуя, что у них какой-то приватный разговор, делаю нелепый жест рукой, мол, загляну потом. Я ушел и в тот день не вернулся в “Панораму”. Довлатов приехал на день из Нью-Йорка и улетел назад в Нью-Йорк. Улетел для меня навсегда. Зачем я не зашел в кабинет Половца? Вечная моя робость тому виной. Что-то не нарушить, что-то не переступить… Половец на другой день сказал: “А он тебя вспомнил, в Петербурге вы встречались у Эстер Коган. Есть такая? Есть… То ли ты зажилил, то ли он зажилил какую-то книгу”. Я вспомнил вечеринку у Эстер. Так тот длинный был Сергей Довлатов?! Потом ночью мы втроем шли через зимний Питер, и он смеялся, что мне неловко при Эстер отойти в сторону и вылить из себя пиво, которым весь вечер мы щедро заливались. Дурацкий кодекс джентльмена, точнее, тбилисского пацана требовал терпеть. Длинный Сергей смеялся: “Я тоже кавказец, но пусть лопнет совесть, чем мочевой…” Эстер спросила: “О чем вы шепчетесь там?”

Наконец-то добрались до дома моего друга Миши Кобахидзе, режиссера, проходившего практику на “Ленфильме”, у которого я остановился. Он напоил нас кубинским ромом. Я уже спал, когда раздался звонок. “Эстер у тебя?” Странный звонок, странный вопрос. Они же вместе ушли… Читаю, перечитываю его книги, восхищаюсь загадочной легкостью фраз. Он мне кажется лучшим, кто писал во второй половине прошлого века. Его “Соло на ундервуде” и “Соло на IBM” всегда на моем столе, в моем рюкзаке. Если я куда уехал без Довлатова, я нахожу в том городе книжный магазин. Ведь как радостно и озорно читать: “Случилось это в Пушкинских Горах. Шел я мимо почтового отделения. Слышу женский голос – барышня разговаривает по межгороднему

телефону: «Клара, ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув!»”

Из той петербургской вечеринки помню полное безразличие длинного ко мне и мое глухое раздражение к длинному. Мне мешал его огромный рост, то, как он заполнил собой маленькую квартиру Эстер, где для других не было места. И главное, я ревновал его к прекрасной гримерше “Ленфильма”…

* * *

Проскакивая много букв алфавита, остановлюсь всё же на букве “М”.

Фотография 18. 1983 год

Фотография 18. 1983 год.

Никита Михалков, сапожник кахетинского базара Арсен Кикабидзе и я. Позируем с портретами Сталина, вынесенными из сапожной мастерской.

Шестидесятые годы, я студент ВГИКа. На стене у моего письменного стола рядом с фотографиями Одри Хепберн, Анук Эме, Брижит Бардо висели скрепленные кнопками фотографии Джеймса Джойса, Владимира Маяковского, Михаила Булгакова, Уильяма Фолкнера и загадочного Франца Кафки. Над кроватью висел сомнительный толстяк, который, как меня уверяли, был Трумен Капоте. Оказалось, толстяк – Аль Капоне…

Все гении вели записные книжки, дневники (не уверен про Аль Капоне). Гении писали о женщинах, которые разбивали им сердца, о друзьях, с которыми кутили, ссорились, мирились и

готовились завоевать мир… Что-то подобное писал и я.

* * *

Мой сын Чанчур сегодня, помимо того что разбил калейдоскоп (всюду разбросаны цветные камушки), произнес и первую понятную человеческому уху фразу (до этого он говорил на языке лягушек с острова Фиджи). Сын сказал: “Привет, дорогуша!” Разбитая трубка калейдоскопа, первая фраза, выцветшие страницы моих записных книжек, дневника, где часто упоминается имя Никиты Михалкова, – всё это вместе настроило меня на не совсем обычное повествование…

На днях я встретил Михалкова на юбилее Высших курсов режиссеров и сценаристов. Сказал ему:

– Пишу о тебе, юном…

Никита сощурил правый глаз:

– Две трети врешь?!

Я ответил:

– Три третьих.

Нет, не вру. Вспоминаю. Как-то Иосиф Чхаидзе, Никита Михалков и я часа два пролежали под кроватями общежития ВГИКа, в комнате 518, где живут дочь комендантши общежития Лиза (в нее влюблен Иосиф), полька Ванда (увлечение Никиты) и моя узбечка Лариса. Дело в том, что комендантша неожиданно нагрянула в пятьсот восемнадцатую комнату, затеяла приготовление какого-то татарского блюда (для дочери и ее товарок) и не спешила уходить, вливая в себя водку, оставленную вчера дядей Динары Асановой. Мы лежим под кроватями, боимся поменять позу, у этой сволочи слух как у волчицы. Лежим час. Наконец Берта Антоновна собралась было уйти, но, встав из-за стола, споткнулась и растянулась своими двумястами килограммами, оказавшись нос к носу с Никитой. Вой! Крик! Мы вскакиваем, выбегаем из комнаты, несемся по коридору, вниз по лестнице и вылетаем в окно первого этажа. Ночью вход в общежитие на замке…

Таких записей много… Выискиваю необычное. Не это. Не это… Вот необычное: познакомил Никиту Михалкова с другим Никитой Михалковым, завсегдатаем курительной комнаты библиотеки имени Ленина. Другой Никита Михалков мускулист, читает английские журналы о бодибилдинге. Тогда еще мало кто знал в СССР о культуризме. Другой Никита Михалков рассказал невероятную историю своей любви. Несколько лет назад, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов Москва

впервые увидела черных людей. До этого в фильме “Цирк” или по какому-то другому случаю в жизни кто-то видел одного-двух африканцев, а тут сотни и тысячи стройных, танцующих самбу черных красавцев заполонили столичные улицы, парки, гостиницы. Московские девушки бросались им в объятия. Бледнолицые не ценились в те две фестивальные недели. А другой Никита влюбился в девушку Нюру Голодную. Помню ее фамилию. Нюра чуть запоздала, все подруги разобрали африканцев. Нюра рыскала по ночному парку Горького, где гремели фестивальные оркестры, стояла у гостиниц ВДНХ, где жили фестивальные гости, и всё неудачно. Другой Никита Михалков увидел ее на танцверанде, стройную, пышногрудую, голодную. Но Нюра не проявила к нему никакого интереса. Другой Никита Михалков шагал за Нюрой по Москве, узнал, где она живет. На другой день Нюра встретила своего африканца. У них было полторы недели Великой Любви! Африканцем, конечно же, был другой Никита Михалков, мама которого работала на Московской текстильной фабрике № 6. Он выпросил у мамы черную краску для тканей, та, будучи бригадиром, увела со склада десятикилограммовый мешок краски. Другой Никита разводил ее в ванной и каждый вечер ложился в нее, уходил на дно, час отмокал. Кожа и волосы впитывали черную краску… Он лежал с закрытыми глазами, дыша через воронку, зажатую в зубах… Час спустя из ванной вылезал черный молодой человек, от вида которого шарахалась родная мама. Черный человек высушивал себя, тщательно осматривал в зеркале, чтоб, не дай бог, где-нибудь не осталась незамеченной белая метка… Звал младшего брата Евгения, тот окончательно досматривал его и выпускал в свет, на свидание с Нюрой Голодной. Никита Михалков выдавал себя за сенегальца, они гуляли по Москве, сенегалец говорил, что ему нравится Россия, что он готов выучить русский лишь “только за то, что им разговаривал Ленин”. Нюра смеялась над диким сенегальским акцентом Никиты…

В монологе другого Никиты было много смешного, но сама история была очень грустной. Кончился фестиваль, другой Никита пришел к своей Дульцинее без черной текстильной краски. Она его не признала. Она любила своего сенегальца, ждала от него ребенка… И родился черный мальчик.

– Как? – недоумевали мы. – Значит, у нее был ты и сенегалец, натуральный, без текстильных красок?!

– Нет! Нет! Нет! – кричал другой Никита.

Первый наш сценарий во ВГИКе мы написали про историю любви Никиты Михалкова к Нюре Голодной. Никита предполагал снимать фильм, но не случилось.

Если честно, мне не хочется касаться сценариев, фильмов, призов Каннского, Венецианского фестивалей и множества других призов, полученных Михалковым, среди которых и “Оскар” за “Утомленных солнцем”. Об этом всем известно, буду и дальше рассказывать о малоизвестном или совсем неизвестном.

Помню, был удивлен, когда много лет назад студент ВГИКа Никита Михалков приехал в Тбилиси. Так же, как и псевдоафриканец, Никита Михалков был в тот год безнадежно влюблен. Глаза его сверкали, он был бледен, пил чачу, вино без разбору, его знобило, он держал в нагрудном кармане фотографию девушки, похожей на Клаудию Кардинале из фильма “Восемь с половиной” Феллини.

– Ученица Рихтера! – сказал Никита.

Эту фотографию он показал Сергею Параджанову. Сергей, будучи вечным иронистом, в этот раз не нашел повода сыронизировать – уж очень впечатляла необычная красота ученицы Рихтера. Параджанов привел знаменитого гадальщика-тибетца. Тот после долгого гудения в длинную бамбуковую трубу сказал: “Размножь фотографию. Взойди с ней на пять снежных вершин. На каждой оставь по фотографии. Сделав это, придешь ко мне… продолжим…”

Все были серьезны. Никто не задал вопросов, на какие вершины – Джомолунгму? Аннапурну? Пик Коммунизма? Пик Ленина? Эльбрус? Казбек? Но тибетец сам пояснил:

– Любые вершины, где есть снег! Надо завернуть фотографию в целлофан и оставить на самой вершине! Так пять раз!!!

В характере Никиты Михалкова – если он уверовал во что-то, он идет напролом! Свидетелем этого являюсь я. Пять раз в то лето мы поднимались с ним на снежные вершины Кавказа. Мы выбирали не самые сложные вершины, такие как Ушба, Шхара, Тетнульд, но и не детские. На первую вершину, Шуаши, с нами поднялся композитор Андрей Волконский – полуроссиянин, полуфранцуз, большой любитель авантюрных приключений. Мы шли по изрядно крутому склону, два раза попали в густой туман. Я потерял своих более спортивных спутников, меня охватил страх. Помните, в фильме “Амаркорд” в густом тумане маленькому мальчику мерещатся жуткие чудища? Ему страшно, он хочет кричать, но не кричит. Вот так и я блуждал в абсолютном одиночестве, полном кошмара, пока не увидел цветные ботинки Михалкова и Волконского.

На вершине фотографию ученицы Рихтера Никита вложил в жестяную коробку из-под печенья “Залп Авроры” и закопал ее в снег.

Другие четыре вершины оказались еще более сложными. Я

никогда не был альпинистом, Никита тоже не альпинист, но, окрыленный идеей тибетского гадальщика, он несся вверх, не чувствуя земного притяжения. Я на свою беду страдал комплексом, который имеет научное название, что-то вроде “амприорозия”: стоя на краю пропасти, представлять, как моя нога скользит по ледяной корке и я, падая, превращаюсь в крутящийся пропеллер, летящий вниз метров триста…

Зачем пять раз я, антиальпинист, поднимался с другом на снежные вершины Кавказа? Ответа нет. Пять раз мы закапывали жестяную коробку печенья “Залп Авроры” в вечные снега. Сейчас, когда я вспоминаю эти давнишние события, восхищаюсь упорству Михалкова в достижении цели, хоть она была абсурдной. Любовь сделала его меджнуном – так на Востоке зовут сошедших с ума от любви…

Две недели длился наш траверс по вершинам. Жили мы в гостинице Гори. Из окон был виден гигантский памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, единственный в СССР не снесенный.

Ученицу Рихтера Никите не удалось покорить. Фотографии ее, думаю, по сегодняшний день мерзнут на вершинах Кавказских гор. Мне кажется, секрет неудачного опыта завоевания сердца прелестной рихтеровской ученицы в том, что тибетский гадальщик неожиданно исчез из Тбилиси. Сергей Параджанов был чрезвычайно расстроен, когда мы вернулись с гор. Он рассказал, что тибетец произнес загадочную фразу перед своим поспешным отъездом. Отвечая на параджановский вопрос: “Что делать дальше Михалкову?”, он сказал: “А что делает горилла в лесу?..”

В своем рассказе я не касаюсь фильмов Михалкова, но об одном несостоявшемся (пока) фильме хочу рассказать. Мы писали с ним и Александром Адабашьяном сценарий об авторе “Горя от ума” Грибоедове. Жили мы на Николиной горе в загородном доме Михалковых. Писали вместе и по отдельности. Мне досталась грибоедовская любовь к юной Нино Чавчавадзе. Писал я и о его службе в Тифлисе, о встречах, редких, с Пушкиным. О его обожании Пушкина и ревности к поэту. Никита распутывал интригу: “Почему была перебита вся русская миссия в Тегеране, почему Грибоедов не уступил, когда мог спасти жизнь всей миссии, почему предпочел смерть?” Адабашьян писал о его дипломатической карьере, о детстве, о юности.

Мы год писали огромный сценарий-роман.

Восемьсот страниц текста!

Работа над документами архива Грибоедова, помимо написания сценария, интересовала меня еще и из-за разгадки одной тайны. Многие считают, что Александр Грибоедов не

любил Нино Чавчавадзе, что их брак был политический, по расчету. Что наивная пятнадцатилетняя девочка Грибоедову, опытному мужчине, жуиру, дуэлянту, ничем не была интересна. Что он считал ее неумехой, что будить в ней женщину было для него скучным занятием. Что он писал своим друзьям, как завлекает ее в горячие эротические эксперименты, а дурочка засыпает в постели. Кто то назвал эти письма “порнографическими”.

Я сказал Никите: “Хочу найти эти письма, если они существуют…”

Мы ездили в Вену, где хранятся архивы Нессельроде с вывезенными из России грибоедовскими материалами… И вот наступило время, когда мы могли с уверенностью сказать, что прочли все буквы, слова, предложения, которые выводил на бумаге Александр Сергеевич Грибоедов. Что ему нечего больше от нас скрывать. Десятки писем к юной Нино, в них столько любви, нежности… Сценарий, над которым мы работали почти два года, был наконец написан. Снять по нему фильм требовало гигантских постановочных трат, их оценили в сорок миллионов долларов. Михалков не смог тогда собрать подобный бюджет. Несколько лет он бился в поисках инвесторов – увы…

Прошли годы. Как-то Никита звонит:

– Могу рассказать тебе, что за порнографические письма писал Грибоедов…

– Ты их нашел?

– Мы их вместе читали! – Смеется. – Вообще-то это одно письмо!

Мы встретились в его студии “Три Т”. Большая лупа, копии грибоедовских писем. У Никиты выражение лица и голос Пуаро:

– Вот это письмо, последнее, которое он отослал Нино в Тибриз. Написано человеком, совершенно не предполагавшим быть через неделю убитым… Он приехал из Петербурга с русской миссией в Тегеран. Беременную жену Нино оставил в Тибризе. Знал, что беременность ее протекает очень мучительно… Просит в письме быть осторожной, ждет ее в Тегеране. Бодрит ее, шутит…

Я читал это письмо и не понимал, почему Никита решил, что это и есть “то самое”. Где в нем пресловутые неприличия?

Никита продолжает:

– Смотри, Грибоедов заканчивает письмо словами: “Целую твои губки, твои грудки, твои ножки и всё, что между ними”. Вот это и есть жуткая порнография…

– Как?

Я удивлен. Это же нежные слова мужа к жене, маленькой

девочке.

Я всматриваюсь в письмо. “Целую грудки…”

Никита улыбается. Заканчивает свой монолог:

– Письмо личное, не для посторонних глаз, своя интимная речь, но после смерти Грибоедова письмо это стало культурным наследием и было напечатано в каком-то журнале. Читают письмо посторонние люди: “Целую грудки, целую ножки и всё, что между ними”. Ужас! Этот Грибоедов, что он себе позволяет! Он целует жену в эти самые места!!!

Так с возмущением говорят те, кто прочитал письмо. Рассказывают своим знакомым, те – своим знакомым… текст обрастает эротическими фантазиями: “Каждую ночь он будил ее, ставил на колени и в присутствии князя Вяземского устраивал адские оргии, бедная девочка…” Камень, брошенный с горы, рождает лавину.

Сценарий “Жизнь и смерть Александра Грибоедова” ждет своего превращения в фильм.

Когда сценарий писался, мы, соавторы, ощущали присутствие какого-то разлитого в воздухе Николиной горы чуда.

Зимой я просыпался от шуршания по снегу валенок Натальи Петровны Кончаловской, Никитиной мамы, за ней следом шел Бостонский филармонический оркестр под управлением Герберта фон Караяна. Это на пальто мамы раскачивался переносной радиоприемник “Спидола”.

Я смотрел в окно и видел Наталью Петровну в квадратном драповом пальто, которая приносила музыку к моему окну и уносила ее в глубь сада. Над садом кружили вороны, громко каркали, не проявляя уважения к выдающейся переводчице, выдающемуся дирижеру, выдающемуся Бостонскому оркестру…

Среди ворон была одна тощая, мстительная. Она была влюблена в Никиту и страдала хронической диареей. Ей не нравился Адабашьян и не нравился я. Завидев нас в саду, ворона пикировала и с невероятной точностью сливала на наши лбы жутко пахнущую горячую жижу. Ворона не пачкала ни Никиту, ни его жену Таню, ни маму Наталью Петровну, ни папу – Сергея Михалкова, ни брата Андрона, ни детей. Ворона почему-то избрала нас для своих каверз, нас, кавказцев – армянина и грузина. Адабашьян философски принимал точечную воронью бомбардировку. Я, найдя в михалковском подвале старый пневматический пистолет, которым стреляют в тирах, вооружался и каждый раз, выходя в сад, брал с собой. Все обитатели дома тревожно следили за мной из окон. Я был похож, наверно, на героя фильмов Серджио Леоне, который идет по пустому ковбойскому поселку, ожидая выстрела из-за каждого угла. И

действительно, злое, каркающее существо атаковало меня всегда неожиданно. Я запоздало вскидывал пневматический пистолет, стрелял и промахивался. Наталья Петровна подарила мне и Адабашьяну по японскому летнему зонту, но мы не хотели ходить по михалковскому двору как гейши. Народный поэт, отец Никиты, тихо похихикивал. Думаю, в затянувшемся конфликте “Кавказцы и ворона” он был на стороне вороны.

Никита Михалков закрыл эту тему просто, по-ковбойски. Мы шли по двору, говорили о Грибоедове, который волнуясь просил у своего друга князя Александра Чавчавадзе, отца девочки Нино, руки маленькой княжны. Никита спрашивал меня: “Мог ли Чавчавадзе, тоже волнуясь, отвечать Грибоедову на грузинском?” Я задумался, не успел ответить, как Никита выхватил вдруг из моих рук пистолет, поднял его над головой и выстрелил. К нашим ногам упала мертвая ворона. Случилось это как-то необъяснимо-буднично.

– Ты видел ее?

– Нет.

– Думаешь, это она?

– Не знаю. Но думаю, она!

Больше никто не терроризировал нас с Адабашьяном. Только раз, когда сценарная эпопея подходила к концу и мы вечером, нарядные, поехали в Москву на открытие Недели французского кино, большущая зловонная воронья жижа упала с неба на лоб – как вы думаете, чей? Никиты Михалкова!

Лоб, щека, лацкан пиджака были залиты. Хор ворон победоносно каркал в небе!

Никита взревел: “Всех их перестреляю!” Бросился в дом, выбежал с охотничьим ружьем.

Но застыл на крыльце, стрелять не стал. Это было разумное решение… Война с николиногоринскими воронами могла иметь плохие последствия. Он это знал. Мы это знали. В нашем сценарии обезумевшая тегеранская толпа убила Грибоедова и всю русскую миссию. Виной всему был первый случайный выстрел, похоже, спровоцированный грибоедовскими врагами. Хорошо, что Никита не выстрелил, не спровоцировал большую войну с воронами! Это было бы пострашнее, чем “Птицы” Хичкока!

Фразу “Это было бы пострашнее, чем «Птицы» Хичкока” я услышал на другое утро. Произнесла ее Джульетта, подруга Натальи Петровны Кончаловской, которая приезжала каждый год на дачу Михалковых из Парижа. Ей было за восемьдесят, в Первую мировую войну она девочкой оказалась без противогаза в гуще немецкой газовой атаки под Верденом. Выжила. Выросла. Стала ассистенткой Альфреда Великолепного Хичкока (только так

звала его). Мне кажется, любовь к кино Андрону и Никите привила эта преданная Альфреду Хичкоку Джульетта. Ее рассказы о Великолепном слышал и я. Они записаны в моих записных книжках. Но помня, что я решил меньше всего говорить о кино, пропускаю их и вновь выискиваю авантюрные истории, связанные с юными годами Никиты Михалкова.

Вспомнил одну сумасшедшую историю времен тысяча девятьсот какого-то года. Гагарин уже взлетел, а в Кеннеди еще не стреляли… Хотя нет, уже стреляли, так как мы были уже студентами ВГИКа.

Москва. Зима. Сыплет густой снег. Никита Михалков в папином пальто с каракулевым воротником, с бумажным пакетом, в котором коньяк “Белый аист”, банка ветчины, коробка конфет, что-то еще, идет по улице Горького с двумя девушками в фетровых шляпках. Я случайно наталкиваюсь на это трио. Никита, радостно:

– Браво, ты очень кстати! Энри Лолашвили должен был появиться, но…

Я смотрю, у девушек одинаковые мушки на щеках. Это говорит о многом. Понимаю, что туда, куда я шел, сегодня не дойду. Никита представляет меня: “Мой друг Джеймс Джойс, автор романа «Улисс»”.

Одна из девушек переспрашивает: “Джеймс?” Я отвечаю: “Джеймс, Джойс”. Никита продолжает в том же духе: “Терпеть не может женщин”. Одну из девушек звать Анна, вторую – Элла. Вторая смеется: “Я знаю один секрет. Даже мертвец проснется и захочет полакомиться девочкой Эллой”. Перспективное и многообещающее заявление. Особенно для меня, живущего в то время в общежитии, где на кухонной полке ничего, кроме одинокой пачки соли.

Никита улыбается мне: “Девочки не хотят ресторан, предлагают клуб Чкалова, там танцы… Джеймс, ты хочешь танцевать?” Я разглядываю тонкие девичьи лица, мушки. Никита настойчив: “Джеймс, очнись, скажи, что не хочешь танцевать в клубе Чкалова. Там холодно!”

“Холодно стоять на улице, – говорит Элла. – Поехали на дачу моих друзей, она пустая. Берем мотор – и через сорок минут тепло! О’кей? Ярославское шоссе, поселок Вишня!”

Едем!

Заброшенная дача. Голые комнаты. На стене – большая картина без рамы, на холсте копия боттичеллиевской Венеры.

Разбитый диван, на котором мы все уместились. Стол, две бутылки “Белого аиста”, одна уже полупустая, конфеты, ветчина. На полу у дивана – электропроигрыватель с хрипящей

пластинкой Луи Армстронга, поющего в дуэте с Эллой Фицджеральд.

Никита танцует с другой Эллой. Я смотрю на люстру, где светит один плафон. В печи горят сырые доски. В комнату вдувается густой дым.

Никита и Элла выходят в соседнюю комнату. Он держит партнершу в объятиях, ногой закрывает дверь. Потом возвращается один и берет недопитую бутылку.

– Мы там, вы здесь, о'кей?!

– О'кей!

Когда Никита вышел, Анна посмотрела на меня:

– Джеймс, давайте без слов, хорошо? Терпеть не могу слова…

Плафон на люстре погас. Анна расстегнула махровую кофту, сняла атласный лифчик, скинула короткую юбку, стянула капроновый чулок, потом освободила от чулка вторую ногу и голая подошла ко мне. В окнах сыплет густой снег – всё как в кино.

Анна протягивает вторую бутылку, до этого сделав несколько глубоких глотков:

– Прямо из горла будешь? – Я пью. – А теперь, писатель, я буду тебя учить, как любить незнакомую тетю… Повтори, как тебя звать?..

– Джеймс Джойс.

– А книжка твоя?

– "Улисс".

– О чем?

– Я не читал.

– Как это?

– Так. Ее трудно читать…

* * *

…Утром я проснулся от крика Никиты.

– Они сбежали!

Я увидел пустую комнату, оборванные обои, копию на холсте без рамы "Рождение Венеры".

– Украли все наши вещи!

Я посмотрел на стул, на который вчера сложил одежду. Стул стоит, одежды нет.

– Сбежали?!

На столе – пустая коробка из-под конфет. Нет банки ветчины, нет пальто, ни моего, ни Никиты, папиного, с каракулевым воротником. Нет наших пиджаков, брюк, сорочек, трусов, носков,

ботинок.

Я подошел к окну. Идет густой снег, заборы. За ними – дома, над крышами которых ни одного дымка. Поселок без людей, видимо, это летняя дачная зона. Холодно при потухшей печи, ходим, ладонями прикрывая срамные места. Наверное, мы очень смешны.

– Как называется это место?

Изо рта Никиты идет пар.

– Не помню! Ах, да… Вишня!

– Что делать?

Я заглянул в соседнюю комнату. Там на полу – тонкий матрац и больше ничего.

– Дрова на дворе!

Никита открыл дверь и побежал по снегу голый. Подняв десяток поленьев, брошенных в глубине двора, бегом назад. Входя в дом, снял с ржавого гвоздя рваную соломенную шляпу. Надел.

– Чем их зажечь? Зажигалку! Свистнули!

– Давай осмотрим дом, может, что найдем…

Никита накинул на себя полосатый матрац, ходит в нем. Под диваном обнаружил сандалии, зеленые от плесени.

– Мне – шляпа, тебе – сандалии.

Я стал обладателем сандалий, он в шляпе, но босой. Я предложил:

– Похожу по поселку, буду кричать, может, есть тут кто живой…

Никита вручил мне матрац, я пошел в поисковую экспедицию.

Поселок Вишня. Снег по колено.

Мелькнула собака.

– Собака! Собака! Иди сюда…

Собака смотрит на меня… Странное чучело… Побежала прочь. Я побежал за ней и упал в сугроб. Выкарабкался.

– Люди!

Оглядываюсь по сторонам.

Одинаковые заборы, дома. Всё белое. Безжизненное. Побежал назад. Не могу найти “нашу дачу”.

– Никита! Никита!

Тишина, падают хлопья снега. Я понял, что заблудился.

– Воровки! Проститутки! (Хочется плакать от отчаяния.)

Неожиданно увидел чучело. Чучело махало руками. Это Никита в солдатской шинели без погон.

– Там шкаф, мы не заметили, в шкафу висело это! – С гордостью показывает на шинель.

Я, обессиленный, замерзший, вошел в “нашу дачу”. Подбежал

к шкафу, открыл его, забрался вовнутрь, сел на дно и захлопнул дверцу.

– Ты что? – Никита, босой, в солдатской шинели, ходит вокруг шкафа.

– Тут тепло!

Тихо матерюсь. Спрашиваю Никиту:

– Зачем, скажи, Лолашвили не пришел?

– У него зверская интуиция…

Зубы стучат. Дрожат плечи, спина, ягодицы. Мне холодно, как мамонту в вечной мерзлоте. Никита открывает дверцу шкафа.

– Все, хватит… Пошли к электричке, она тут где-то рядом прогудела…

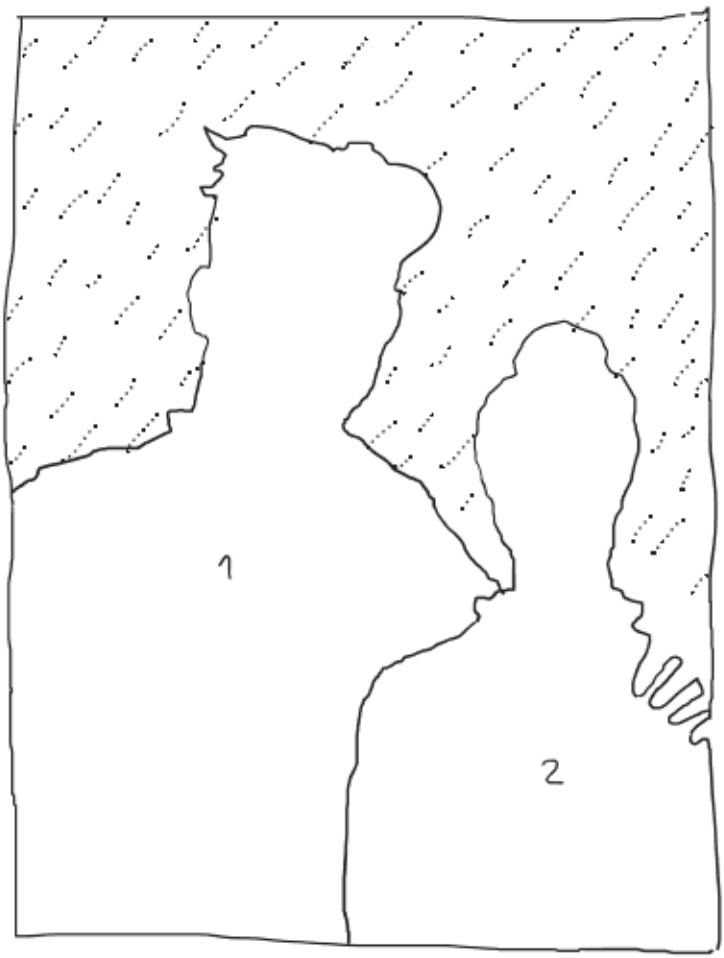
Мы идем быстрым шагом к электричке. На Джеймсе Джойсе матрац, ноги во что-то обернуты – помнится, это разрезанный ножиком холст боттичеллиевской “Венеры”. Джеймс Джойс похож на немецкого военнопленного под Сталинградом. На Никите Михалкове шинель, сандалии и соломенная шляпа. Мы идем мимо магазина, на дверях которого замок. Мимо телефонной будки, в которую влезли погреться. Две вороны сели на крышу будки, стали грозно каркать. По стеклу будки сползала воронья жижа. Мы ждали, когда птицы слетят, они не слетали. Мы открыли дверь и побежали. Вороны не стали нас преследовать.

Мы, два чучела, бежим и хохочем.

* * *

Я закрываю записную книжку. Смотрю на ее рыжую коленкоровую обложку и думаю: хороший эпизод я выудил для финала – “Мы, два чучела, бежим и хохочем”. В этой фразе вопит наша молодость. Мы сегодня взрослые, отошедшие друг от друга люди (в этом нет ничьей вины, каждый из нас ткет свой узор на большом ковре под названием “жизнь”). Но жаль, что уже никогда нам не бежать утром по заснеженному полю, без денег, без паспортов, без штанов. Я, обернутый в Боттичелли, Никита в солдатской шинели, в летних сандалиях. “Два чучела, бежим и хохочем…”

Фотография 19. 1967 год



Фотография 19. 1967 год.
Рустам Хамдамов (1) обнимает
мою слепую двоюродную сестру Лизу (2).

Когда я слышу: “Рустам Хамдамов – гений”, – я вижу большое зеркало, треснувшее в левом верхнем углу, в зеркале вижу диван, на нем лежит человек в полосатой пижаме. Это и есть режиссер Рустам Хамдамов, которого многие считают гением (“Их на

планете осталось совсем немного”, – фраза из чьей-то статьи о Хамдамове). На больших напольных часах стрелки показывают три часа дня. Мимо дивана ходят моя мама, моя бабушка, мои друзья, хамдамовские друзья. Он спит. Моя двоюродная сестра, слепая Лиза, играет на бильярде, который стоит в шаге от дивана. Ее не остановишь словами: “Тише! Рустам спит!” – бильярд – ее страсть. Она ощупью ставит шары, прицеливается, бьет и радостно визжит, когда шар влетает в лузу. Но чаще шар перепрыгивает бильярдные барьеры и с грохотом бьется о кафельный пол столовой-кухни-спальни. Рустам спит. Слепая Лиза в поисках упавшего шара натыкается на диван, находит ухо спящего и шепчет: “Рустамчик, проснись, уже три часа, Ираклий принес с базара сладкую хурму”. Рустам спит на диване моего деда Давида Алексеевича Миндадзе. Вот уж кто невзлюбил Рустама: “Кто сказал, что он художник? Это шантрапа! Рисует блядей с коровьими глазами!” Слепая кричит: “Заткнитесь, дедушка! Что вы понимаете в живописи? Рустам гений!”

Кроме Хамдамова в доме бабушки были и другие гении. На камине стояли чугунный Людвиг ван Бетховен, бронзовый Наполеон Бонапарт, Петр Ильич Чайковский из мутного голубого стекла, купленный мамой в Кисловодске. Кто еще? Мраморная Долорес Ибаррури, испанская коммунистическая богиня, которую сегодня уже никто не помнит. Стояли семь слоников, подаренных моей бабушке Екатерине гением зла Лаврентием Павловичем Берией, гипсовые Лев Толстой и Шота Руставели.

И Рустам Хамдамов, мой институтский сокурсник, в то лето (конец шестидесятых) жил в Тбилиси в моем доме. Ложился спать под утро и просыпался к обеду. Хамдамова любила моя бабушка Екатерина за то, что он каждый вечер стирал свои носки.

В 1964 году мы поступили в Москве во ВГИК – он ташкентец, я тбилисец. По версии нашего соседа Валико Орджоникидзе, я попал во ВГИК за ящик пятизвездочного коньяка “Греми”, подкупив ректора Грошева. Рустам Хамдамов – версия его ташкентского соседа – попал во ВГИК за мешок сушеных головок среднеазиатского мака. Про коньяк было поверить нетрудно, мой папа был человеком состоятельным, а вот мама Рустама, портниха в Ташкенте, – где она собрала мешок наркотического мака и как привезла его в Москву? Даже в те далекие шестидесятые годы в аэропортах существовал наркоконтроль, и кто в Москве взял у портнихи этот мешок? Ректор Грошев? Григорий Наумович Чухрай, автор “Баллады о солдате”, руководитель нашей режиссерской мастерской? Знаменитый Белокуров, “тот самый Чкалов”, обучавший нас актерскому

мастерству? А может, Иосиф Давыдович Гордон? Скорее всего, он, два десятка лет просидевший в сталинских лагерях. Он учил нас монтажу, при этом постоянно пил чай-чифирь. Говорили, что во Франции Иосиф Давыдович монтировал фильмы Рене Клера, Луиса Бунюэля, дружил с Сальвадором Дали, а эти ребята знали толк в головках черного среднеазиатского мака.

Так или примерно так жители ташкентского квартала обсуждали неожиданное поступление Рустама Хамдамова во ВГИК.

Начались занятия. Признанные донжуаны Института кинематографии были удивлены тем, что из-за тихони Хамдамова вели кровавые битвы красавицы всех факультетов. Одна операторша – не помню ее имени, но помню густую красную челку – затеяла драку и избила в кровь другую операторшу. Повод был – “не крутись, стерва, вокруг Хамдамова”. И тут из толпы поклонниц выплыла, как тихая шаровая молния, снятая в рапиде, киновед Лиля Огиенко. Когда она шла по коридорам ВГИКа, мужские сердца так же в рапиде вырывались из сорочек, костюмов, свитеров. Чтобы подать ей пальто, у гардероба выстраивались Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Брэд Питт ВГИКовского разлива, а она влюбилась в Хамдамова. Завистники, злопыхатели рассказывали: летом, во время каникул, Огиенко и Хамдамов уехали в Крым. Поселились в маленьком рыбацком поселке. Хамдамов, не умеющий плавать, сидел на берегу на солнцепеке, а спортсменка Огиенко плавала, как русалка, в бурных водах Черного моря.

Однажды она решила научить Рустама искусству преодолевать морские пространства. Все рыбаки поселка, московские и ленинградские дачники следили за стройной и решительной, похожей на Лени Рифеншталь, киноведкой Огиенко, обвязывавшей вокруг живота своего возлюбленного веревку-канат, одолженную у хозяина дачи. Далее она запустила Хамдамова в воду, и тут злопыхатели (кто-то даже снял это событие на любительскую кинокамеру) рисовали уничижительную картину: по пляжному песку бредет Лиля Огиенко, тянет веревку-канат, а в мелких водах Черного моря бултыхается Рустам Хамдамов, судорожно глотая воду, похожий на последнего пассажира “Титаника”. Знатоки живописи (были среди злопыхателей и завистников и такие ученики Паолы Дмитриевны Волковой, читавшей нам курс всеобщей истории искусств) назвали водные учения влюбленных “Репин. «Бурлаки на Волге»”.

То, что Рустам – сам выдающийся рисовальщик, я случайно обнаружил в конце первого года обучения. Он сидел, как всегда,

на задней парте с опущенной головой, скрытой густой занавесью длинных черных волос. Все в мастерской занимались своими делами, а я рассказывал Григорию Наумовичу Чухраю ненаписанный сценарий: как из дома неожиданно ушел любимый муж и как его жена и сын ищут беглеца. Я пересказывал историю своего детства. Мой отец Михаил Андреевич влюбился в третьесортную пианистку, которая разъезжала по санаториям, домам отдыха и давала концерты. Мальчик-герой (я) с мамой обнаружил сбежавшего папу, когда тот на дурацком санаторском концерте сидит у рояля рядом с пианисткой и перелистывает для нее ноты.

Чухрай разругал меня в пух и прах: “Бездельник, долго еще будешь вешать мне лапшу на уши? Рассказываешь восьмую историю, каждый раз другую. Мне не нужно устное народное творчество, мне нужен сценарий, написанный. Ты кто? Шахерезада? Гомер? Джамбул? Садись и пиши!”

Обескураженный, я сел на заднюю парту и через минуту получил удар в плечо и листок, вырванный из тетрадки, с чернильным рисунком, на котором был нарисован рояль, пышнотелая пианистка, рядом с ней на стуле сидел мой отец, похожий как две капли на реального Михаила Андреевича Квирикадзе (Рустам его никогда не видел). Папа смотрит влюбленными глазами на пианистку. Но поразившее меня нечто я увидел под папиным стулом – бутылку вина, на этикетке которой были написаны аккуратные грузинские буквы “Кахетинское вино № 8”. Я спросил узбекского сокурсника, с которым до этого не очень общался: “Откуда ты знаешь грузинский?” Получил ответ: “Я не знаю, но помню шрифт. Мой брат пьет «Кахетинское № 8»”. Мы подружились. В дальнейшем он не раз удивлял меня своей феноменальной визуальной памятью. Как-то Рустам пошутил: “У Шагала на левой руке семь пальцев”. Я вспомнил это много времени спустя, увидев шагаловский автопортрет с семью пальцами.

А сколько пальцев на левой руке художника Хамдамова? Не считал, но точно не семь. И руки две, в этом я даже не сомневаюсь. Почему я веду этот странный счет? Очень много полотен, рисунков, портретов, натюрмортов, графичных, акварельных, маслом Рустама Хамдамова я видел в тбилисских домах, в парижских домах, в нью-йоркских домах, в московских домах, в городке Пеннабилли высоко в горах Италии, где жил великий Тонино Гуэрра, главный друг Хамдамова. Рустамовские полотна висят в галереях на Пятой авеню, в галереях, затерянных в закоулках Сен-Жермена, в берлинском Митте. Авторы, пишущие о Хамдамове, во всех статьях, эссе с нескрываемой гордостью

упоминают Эрмитаж, который приобрел работы Хамдамова в начале девяностых годов. По сей день он один из немногих здравствующих российских художников, чьи картины украшают самые из самых музеев мира: Лувр, Прадо, Эрмитаж, Британский музей, – насчитал четыре великих музея, согнув четыре пальца. На моей левой руке осталось еще три несогнутых. Ну разве что к ним можно присоединить нью-йоркский Метрополитен. Плохо, что Рустам не умеет хвастаться, что он по-восточному скрытен. Сейчас я с нескрываемым хвастовством за институтского друга говорю, что Метрополитен-музей шушукался с ним на тему приобретения, но это я полузнаю, поэтому и вы полуверьте. А вот то, что я знаю точно, что происходило на моих глазах, – это массовое воровство хамдамовских картин. Сознаюсь, очень жалею, что сам не участвовал в этих наглых ограблениях-похищениях. Рустам уходил в гастроном, чтобы что-то купить для нагрянувших гостей, а гости в это время… Я и безымянный уличный кот, постоянно впрыгивающий в открытую форточку, смотрели, как солидные люди (мужчины и женщины) скручивали листы с рисунками и запихивали их под плащи, под юбки, в штаны, в рюкзаки. При этом те же солидные люди (кто-то из них сегодня входит в список миллионеров и миллиардеров журнала *Forbes*) осторожно оглядывались по сторонам, сохраняя на лице улыбку невинности, – “это шутка”. Мы с котом, будучи свидетелями, тоже улыбались, подтверждая, что воровство произведения искусства – это шутка. Так это происходило в Москве, на улице Герцена, в бывших винных подвалах Ивана Грозного, где жил Рустам Хамдамов в 1970–1980–1990-х годах. Эти винные подвалы Рустама (кто-то так назвал ту странную квартиру и ту странную ауру) имели и ко мне, рассказчику, некоторое отношение.

Учась во ВГИКе, я полюбил рустамовскую сестру (мнимую) Ларису. Она приехала из Ташкента поступать на актерский факультет и поступила в мастерскую к Бабочкину. Влюбленная пара (я и Лариса) жили то на проспекте Мира, то в Свиблове, то на ВДНХ у ночного сторожа павильона “Грузинская ССР” (было такое логово, где ночами вместе со сторожем мы пили коллекционные вина и ликеры, срывали с кустов спелые лимоны, а в особых случаях сторож делал сациви из куриц – рекордсменок Грузии по яйценоскости). Но рай на земле (на ВДНХ) не вечен, и нам с Ларисой пришлось искать на бирже съема квартир что-то недорогое, желательно в центре Москвы. Лариса нашла Гришу, хозяина винных подвалов. Мы поселились в них.

Устав ревновать Ларису – в нее влюблялись все уличные коты, кагэбэшники, принцы маленьких африканских государств, –

я сбежал. Рустам прожил в подвале двадцать лет, сделав его знаменитым. Сюда наведывалась вся артистическая Москва, диссиденты столичные и провинциальные, сюда приходили телеграммы от Федерико Феллини: “Дорогой Рустам, спасибо за твои рисунки. Их привез Тонино. Антониони, негодяй, вырвал из моих рук те, что я отложил для себя, и сбежал с ними. Я вдогонку, но он ловкий. Я, толстый и рыхлый, не догнал. В следующий раз нарисуй мне узбекских музыкантов, играющих на дойрах, но обязательно надпиши: Федерико Феллини от Рустама Хамдамова, чтобы Антониони-негодяй…” – телеграмма была длинной. В этих подвалах мыла полы польская графиня Беата Тышкевич, она приезжала на пробы к Андрону Кончаловскому. Беата, тогда одна из самых красивых женщин планеты, спустилась в подвал и не захотела выходить из него. Здесь жил хозяин квартиры Гриша, жили соседи – супружеская пара зоологов, которые держали ядовитых змей и тарантулов в стеклянных террариумах. Если кто-то из них сегодня прочтет мой текст, думаю, он подтвердит мое изумление, когда однажды я увидел Беату Тышкевич, задравшую юбку, голоногую, возившую половой тряпкой по залитому мыльной пеной битому паркету общего коридора и кухни. Беата подняла свою невероятно красивую голову, подмигнула мне, сдула со лба упавшую прядь и продолжила драить пол. Зная, что это реальность, я все же ждал чьей-то команды: “Стоп! Эпизод снят!” И не удивился бы, если бы из открытых дверей соседей-зоологов выбежал Кшиштоф Занусси и крикнул в глубь коридора, где находились две хамдамовские комнаты: “Рустам, спасибо, мы всё сняли! Не провожай нас, рисуй!” Но никто не вышел. Беата Тышкевич, выжав грязную тряпку в ведро, продвинула свое роскошное тело в кухонный проем.

Вино пили из узбекских пиал. Родина Хамдамова звала его назад, в Среднюю Азию, но он не покидал подвалов Ивана Грозного. В Узбекистане главный коммунистический вождь сочинил поэтический эпос и хотел, чтобы Хамдамов его иллюстрировал. В Москве на улице Герцена стали появляться верблюжьи караваны, люди в стеганых цветных халатах заносили хурджины с изюмом, шербетом, шелками (это я шучу). Но Рустам так и не проиллюстрировал поэтический эпос коммунистического вождя. Знаю, это не пошло ему на пользу. У него были какие-то малоприятные эксцессы, но он, человек на вид податливый, мягкий, имеет свои жесткие принципы и свой внутренний тайный путеводитель. На Герцена зачастили водопроводчики, люди, снимающие показатели электросчетчиков, их становилось особенно много, когда приезжал какой-нибудь знаменитый

иностранец. Вежливые юноши стояли во дворе.

С нами сдружился милиционер Степа, который обожал Сальвадора Дали. Он приходил после полуночи с большим холщовым мешком, звал нас собирать пустые бутылки. Мы лениво отказывались. Милиционер Степа собирал за ночь две-три сотни бутылок, сдавал их и покупал кубинский ром. Вежливые кагэбэшные юноши однажды Степу крепко побили. Окровавленный, он ворвался в подвал, его обмыли Лариса и моя слепая сестра Лиза, которая в то лето приехала танцевать в Большом театре. Она была тайно (явно) влюблена в Рустама. В Большом театре в тот сезон слепых учили балету. Месяца два тренировали, потом был выпускной вечер. Мы ходили и на тренинги, и, конечно же, на выпускной. Слепые японки, итальянки, американки и моя двоюродная сестра Лиза были счастливы, целовали сцену Большого театра, плакали от переизбытка чувств. Устроил Лизе этот праздник Рустам. Он делал Большому костюмы и случайно узнал, что для богатых слепых иностранок есть тур “Танцуем в Большом”. Племянница Рокфеллера и моя бедная Лиза выходили на поклон, им аплодировали. Мы боялись, как бы они не упали в оркестровую яму.

Была у нас почтальонша Наташа Лебле. Рустам снял ее в “Нечаянных радостях” вместе со знаменитой Еленой Соловей, героиней своего первого фильма “В горах мое сердце”. Трудно объяснить феномен фильма “В горах мое сердце” тем, кто его не видел. Снят он был в конце шестидесятых. Это дипломный фильм Хамдамова. В моем поколении и еще много-много лет вперед влюбленные в настоящее кино считают его шедевром.

…Я уезжал в Тбилиси, Рустам поехал со мной на три дня – “повидаю подругу Лиану”. И остался на три месяца. В день отъезда московский друг Сергея Параджанова передал нам коробку лекарств. “Дает энергию сумасшедшим меланхоликам, – сказал друг Параджанова, – передайте Сергею, он просил для кого-то”.

Сергея не было в Тбилиси. Мы отнесли лекарство по адресу. Меланхолично-сумасшедший юноша весом под сто пятьдесят килограммов, выпив этот энергетик, потребовал у родителей срочно организовать ему свадьбу. Так было каждый раз, когда лекарство это привозили ему из Москвы. Нас с Рустамом пригласили на свадьбу. Все знали, что это спектакль. Родители устраивали меланхолику-сыну уже шестую свадьбу. Невеста была одна и та же. С ней договаривались. Только звалась она каждый раз по-другому. (“Вот сюжет!” – радовались мы с Рустамом. Тридцать лет я мечтаю его снять.) Лекарство постоянно пить было

нельзя. Должен был быть трехмесячный перерыв. Жених в это время вновь впадал в меланхолию, прогонял жену, запирался в темной комнате, бездвижно лежал на полу и что-то шептал никому непонятное. Проходили три месяца. Привозили энергетик. И вновь гуляла свадьба. Странно, что жених не узнавал свою бывшую жену. Знакомясь с ней в очередной раз, он спрашивал: “Как вас зовут?” Счастливый, носил невесту на руках. Кстати, к концу третьего месяца пребывания в Тбилиси Рустам вроде бы тоже принял энергетик. Он сочинил сценарий, ничем не похожий на рассказанный мною сюжет, и назвал его “Анна Карамазофф”. Фильм был снят, но не завершен и в таком незавершенном виде показан в Каннах. Был скандал.

* * *

Нужно отдаться колдовству изнуряющей роскоши “Анны Карамазофф”, ее магической беспорядочности. Нужно отдаться потоку образов победительной красоты. Можно вызвать в памяти Тарковского и Параджанова, но здесь мы в гостях у Хамдамова – рассерженного гения, который в один-единственный план старается вложить всё – и жизнь, и смерть, и детство, и Россию, и женщину.

Съемки “Анны Карамазофф” останавливались по причине артроза советской системы и отчасти по причине внутренней драмы Хамдамова. Неизбежен ужас, который должен испытать некогда – и надолго – про́клятый художник, привыкший к темноте и тишине и вынужденный предстать перед каннской публикой при ярком свете… “Анну Карамазофф” приняли в Каннах с довольно развязным недоумением. Несколько позже фильм будет показан в версии, несомненно, более приемлемой для восприятия. В нынешнем своем облике фильм подобен еще не разграбленной гробнице фараона, таящей неисчислимое великолепие своих сокровищ.

Детективная история тянется по сей день. Негатив фильма похитили после скандала в Каннах. “Картина лежит в сейфе на фабрике *Eclair* во Франции. В то же время и во Франции ее как бы нет. Никто ее не видел, никто ничего о ней не слышал”, – пишут во французской прессе.

Почему я так подробно пересказываю историю исчезнувшего фильма “Анна Карамазофф”? Жиль Жакоб, вечный президент Каннского фестиваля, сказал в 2013 году: “Если Хамдамов восстановит свой фильм, я совершу беспрецедентное действо – второй раз покажу в Каннах «Анна Карамазофф»”. Но нужны

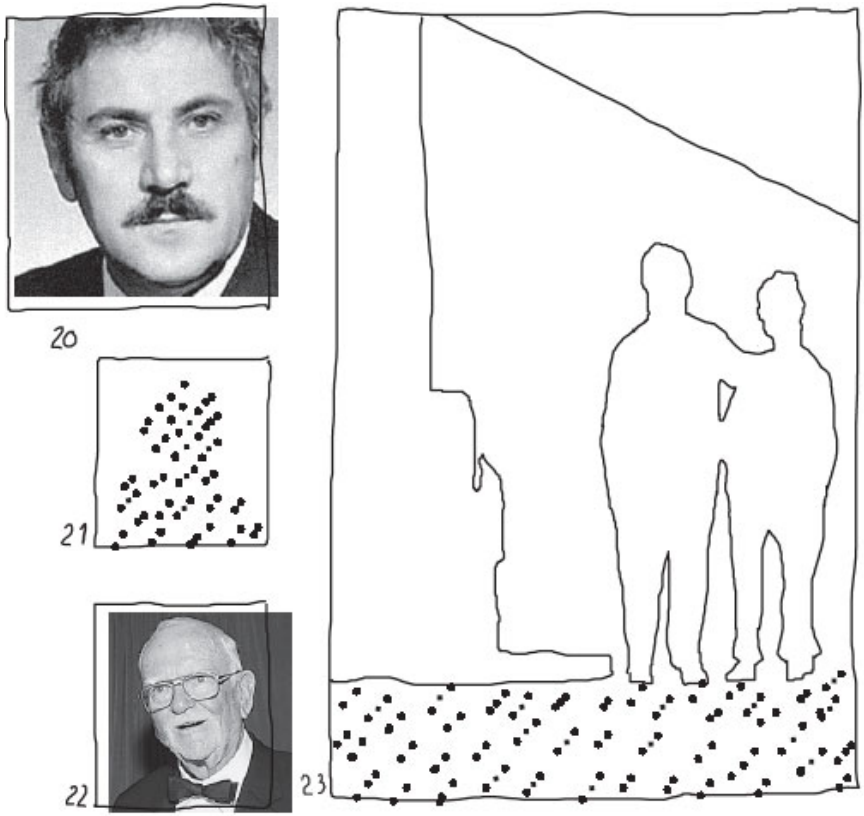
деньги, нужны адвокаты, нужно открыть сейф продюсера Зильбермана.

Все эти годы Хамдамов рисует, изредка снимает. Снял фильм “Вокальные параллели”, в нем блистают Рената Литвинова и старые меццо-сопрано казахской оперы. Сейчас Рустам монтирует фильм “Рубины” (если только я точно называю его). Мне повезло, заглянув через его плечо на мониторе, увидеть магическое кинозрелище. Кажется, что Хамдамов пятьдесят лет снимает один фильм. Я заподозрил себя в том, что понял тайну Хамдамова. Он живет на необитаемом острове и снимает кино для одного зрителя – себя.

Блуждая по миру, я часто встречаю людей (многих не узнаю), которые говорят: “А мы виделись у Хамдамова, в подвале на Герцена”. Встречаю этих людей в Лос-Анджелесе, в Берлине, в Алма-Ате, в Тбилиси, в Нью-Йорке, в Стамбуле. Они подводят меня к стенам, где в рамах висят картины Рустама, датированные 1969, 1976, 1985, 2003, 2014 годами. Узбекские мальчики играют на дойре, женщины держат виноградные грозди, пышногрудый пловец входит в море. Не умеющий плавать Хамдамов научил плавать многих. Он странный фантом, он полон энергии, как та шаровая молния, которая, тихо разбрасывая искры, плывет по туманному лесу. Наткнувшись на путника, она не убивает – она проходит сквозь, заряжает, выходя из ступней, чуть опалив их. По поводу его гениальности: моя бабушка Екатерина Григорьевна, любившая Рустама за то, что он ежевечерне разводил пену в рукомойнике и стирал носки, говорила ему: “Рустам, если у вас что-то не получается (она обращалась к нему старомодно на «вы»), знайте, Господь готовит вас для чего-то лучшего”.

Недавно я посмотрел по телевизору остатки убитого фильма “Анна Карамазофф”. Я обомлел. Так никто никогда не снимал.

Фотографии 20, 21, 22, 23



Фотографии 20, 21, 22, 23.

Продолжение „Каталога знаменитостей":
Григорий Наумович Чухрай (20);
Альберт Гримальди (21); Фрэнк Пирсон (22);
Элем Климов и Лиза Шукина – балерина
с бензоколонки Лас-Вегаса (23).

Можно назвать главу иначе – “Одиссея шантрапы”.

Чанчур, тебе известно слово “шантрапа”? Твой папа был шантрапа, есть шантрапа и, увы, будет им. Не объясняю, что это значит, поищи в старых словарях. Сейчас же – очень важное

авторское откровение.

В моем безостановочном графоманстве (скажу проще: когда я пишу) мне удобнее манипулировать родственниками, я называю персонажей: папа, дядя, тетя Лиза, двоюродная сестра Глафира – я так их лучше вижу и вместе с ними проживаю жизнь. Всех своих родственников, друзей, врагов я поселил в вымышленном городе Анаре. Его нет на карте мира. Но есть Батуми, там я прожил реальную жизнь, и там живут реальные прототипы моих героев. Черноморский Батуми находится на самой границе с Турцией. Батуми всегда из-за своего пограничного положения был как бы полузакрытым, и это делало его совершенно неповторимым, поскольку все остальные черноморские города давным-давно превратились в туристические центры. Батуми как бы законсервировал в себе несколько культур: грузинскую, русскую, турецкую, греческую. Может быть, правильней было сказать не греческую, а византийскую, но я не знаю, кто такие византы, а греков в Батуми необычайно большое количество.

Директор нашей школы грек Магрес Илиопуло страстно увлекался хоровым пением. И я пел в школьном хоре. Директор, огромный, могучий, кроме хора любил только бильярд и женщин. В бильярдной Дома офицеров напротив нашей школы он проводил практически всё время. В бильярдную ему приносили бумаги на подпись, тут же он строго отчитывал провинившихся школьников. По вечерам его видели на танцплощадке с красивыми туристками, любовницы у него были постоянно. Однажды, играя в бильярд, он вдруг упал на стол. Инсульт. Директор был такой большой и ему было так тяжело, что его неделю никто не решался поднять с бильярдного стола. Бильярдисты за другими столами били шары, а он всё так и лежал на столе; приходили медсестры, делали уколы, потом он пришел в себя, потребовал школьный хор. Мы, человек сорок пионеров, гуськом вошли в бильярдную и запели. Под наше пение Илиопуло стал возрождаться.

Я написал об этом в рассказе “Хор”, правда, сделал директором школы своего отца. Я был в его школе двоечником и особенно не тянул математику (что абсолютная правда). Мой друг, такой же бездельник, как и я, осетин Заур Плиев придумал хитрый ход: ночью через форточку залезть в учительскую, выкрасть из шкафчика математички наши контрольные тетрадки, вписать туда правильные ответы. Мы так и сделали. Только открыли заветный шкафчик – вдруг шаги, и в двери повернулся ключ. Кто это? Зачем? В три часа ночи? Мы успели закинуть тетрадки в шкафчик и залезть под стол, накрытый драной бархатной скатертью. Кто-то вошел, сел на стул, и тут мы

увидели пышные коленки нашей математички Вероники. Затрещал телефонный диск. Мы услышали: “Аллё, Михаил Андреевич (это мой отец), здравствуй, дорогой, звоню из школы, из учительской, я прибежала сюда, потому что он приехал и он всё знает”. Видимо, там, на другом конце провода, было сказано: сейчас приду, – потому что математичка положила трубку и нервно заколесила вокруг стола.

Минут через двадцать двери открылись, мы в том же положении, только теперь с одной стороны Вероникины ноги, с другой – ноги отца и бурные выяснения отношений. Оказывается, приехал муж Вероники, и ему всё донесли. Она говорит: “Я так не могу жить”. Отец говорит: “Брось его”. Вероника спрашивает: “А ты бросишь ее?” (это о моей матери речь).

Потом звуки поцелуев, ноги исчезли, что-то заскрипело, любовники перешли на коленкоровый диван. Мы оказались свидетелями любовной игры. Рядом с нами на полу стояли чернильные бутылки, и одна из них, задетая моими ногами, покатилась.

Наступила пауза. Отец подошел к столу, приподнял скатерть, мы выскочили как ошпаренные. Я помню лицо отца, до сих пор помню этот ужас. Дома я сразу лег в постель; когда мы утром увидели друг друга, папа был очень растерянным. Не ругал меня, отводил глаза. Я понял, что он дал слабинку, и, слегка охамев, начал выпрашивать деньги. Напротив нашего дома находилась замечательная пончиковая, вот я и зачастил туда с девочками. Холодный лимонад, горячие пончики – в детстве это называлось “шиковать”.

Мое детство, проведенное в Батуми, – с особой окраской. В советских учебниках географии о Батуми писали: “Самый мокрый город Советского Союза, там постоянно идут дожди”. И там цвели магнолии, от запаха которых кружилась голова. В это трудно поверить, но батумцы письма писали на магнолиевых листах. Можно было сорвать лист, написать “Я тебя люблю”, наклеить марку, бросить в почтовый ящик, и этот лист доходил до адресата. Дома у нас хранились в папках такие листы, пожелтевшие: папа писал маме, мама хранила их много лет после развода с папой.

И еще город пах кофе. Я помню кофейни, где собирались старики, помню, как они долго и шумно спорили. Старики курили аджарский табак, очень крепкий, с невероятно терпким запахом, от этого табака желтели пальцы. Помню движение желтых пальцев в полумраке кофейни, помню их разговоры. Из них начали рождаться сюжеты. Старики рассказывали, что в начале века, когда англичане переплыли Ла-Манш (тогда это

было сенсацией – впервые человек смог одолеть тридцать три километра вплавь из Англии во Францию), один из батумцев заносчиво объявил, что, мол, какая ерунда проплыть тридцать три километра, он может проплыть в два раза больше. Того человека звали Дурмишхан Думбадзе (в фильме “Пловец” я оставил реальную фамилию), был он водолазом батумского порта. Его высмеяли, а он настаивал, что побьет рекорд. Подобрали подходящий маршрут между городами Батуми и Поти, ровно шестьдесят километров. Он поплыл. Естественно, за ним не могли следовать. Из батумского порта он выплыл и исчез. Через два дня оказался в Поти. Доплыл ли он до Поти, или дошел пешком, доехал на повозке – окутано тайной. Старики об этом-то и спорили яростно. Кто-то считал, что Дурмишхан доплыл, кто-то – что он смухлевал. Вот и появился “Пловец”, самый важный, ключевой для меня фильм. Так что главное для сценариста, драматурга, писателя – большие уши.

Всё началось однажды летом в Батуми. По пляжу, где мы с друзьями валяли дурака, прогуливался бритоголовый низкорослый мужчина. Он представлялся киношным начальником. Рассказывал о своей работе. Закупает фильмы, ездит по кинофестивалям. В Канны приехал с ящиком хванчкары и танцевал в обнимку с Диной Дурбин, с Марикой Рёкк, Марлен Дитрих. Мы ему верили. Конечно, он врал, такое в конце сороковых годов было невозможно. Я так и не узнал, кем он был на самом деле. Мне казалось, что кино – это обязательно Канны, Дина Дурбин, Марика Рёкк, Марлен Дитрих и, естественно, хванчкара. Я представлял себе, как мы с Дурбин танцуем аргентинское танго, я стал бредить кино. Родители выделили мне на улице Пекина маленькую комнату в глубине коридора, потолок (почему-то не стены) я оклеил обложками польских журналов “Фильм” и “Экран”, сверху на меня смотрели кинозвезды…

Мой дядя Тамаз (Тазо) Квирикадзе работал в батумском театре на вторых ролях. В фильме “Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара” есть тема театра (хотя это совсем другой сюжет – история о французском кулинаре). Там есть эпизод, который я полностью взял из жизни своего дяди. Помню, как Тамаз впервые получил большую роль, роль Ленского в “Евгении Онегине”. Онегина пел оперная звезда из Казани Тимофей Трофимович Ольшанский. Дядя Тазо звал на спектакли всех своих родственников, возлюбленных, и мы, затаив дыхание, слушали, аплодировали, закидывали на сцену цветы. Казанскую звезду волновало другое – скорее отпеть, так как его за большие деньги зазывали на местные свадьбы. Он и дядю звал с собой. Как-то

прямо перед спектаклем Ольшанский сказал дяде: “Послушай, Квирикадзе, зачем тебе эта длиннющая ария «Куда, куда вы удалились»? Давай выйдем на сцену, я тебя тут же убью, мы сократим пятнадцать минут и успеем к поезду”. Свадьба была в городе Поти. Дядя ответил: “Нет. Это моя главная ария, я буду петь”. – “Нет, не будешь, – настаивал Онегин. – Там огромная свадьба, и меня ждут”. Мы сидели в зале и видели, как в разгар увертюры из-за кулис выскочил Онегин и выстрелил в Ленского. Дяде Тазо ничего не оставалось, как отыграть выстрел, – он упал. Довольный Онегин развернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал за своей спиной: “Что день грядущий мне готовит…” – оглянулся, увидел, что Ленский лежит на полу с протянутой рукой и, обращаясь к залу, продолжает петь. Онегин подошел вплотную к Ленскому и выстрелил во второй раз прицельно. Дядя отыграл боль от выстрела, но вновь запел. Тогда Онегин подбежал к нему, сунул ему в рот дуэльный пистолет и выстрелил. Секунданты схватили Ленского и как быка, убитого на корриде, потащили со сцены. Вот эти, казалось бы, невероятные истории носятся, как стадо бизонов, просятся наружу, и из них я выволакиваю сюжеты…

Поступать во ВГИК я боялся, при том что о кино мечтал. Родители за меня решили: “Какое кино, какой театр, вот пример твоего сумасшедшего дяди Тамаза Квирикадзе ни о чем тебе не говорит? Ты хочешь быть как он?” Родители мечтали сделать из меня ветеринарного врача, им казалось, что это денежная профессия. На обычного врача я не потянул бы из-за двоек, и они погнали меня в Москву сдавать экзамены в зооветеринарный институт. На другой день по приезде я сел в сорок второй троллейбус, который шел на ВДНХ. Мне хотелось посмотреть на золотых девушек фонтана “Дружба народов”. В троллейбусе напротив меня села курчавоволосая эфиопка. Черная нога прикоснулась к моему колену, и меня пронзило электричество. Я услышал шипение искр, забыл про ВДНХ и вышел вслед за эфиопкой на ее остановке. Она зашла в какие-то большие двери, я мельком посмотрел на табличку: “Всесоюзный государственный институт кинематографии”. Черные ноги привели меня во ВГИК. Вошел вовнутрь, пробежал по этажам, и в этом неизвестном для меня мире со мной заговорили: кто-то поделился, что может выкрасть нужные билеты с экзаменационного стола, кто-то печалился, что разучил какие-то стихи, а на экзамене их не спросили. Я в поисках эфиопки включился в этот водоворот и вдруг решил: вместо ветеринарного принесу документы сюда…

Вот уже в который раз сам ловлю себя на нестыковках в своих рассказах. Я уже писал, что поступил во ВГИК из-за любви к

внучке известного советского романиста, а сейчас говорю о черных ногах эфиопки. Не разглядывайте мои строчки сквозь лупу дежурного следователя. Была внучка Вика, были и черные ноги эфиопки, были две правды – “Дубль один, дубль два”. Вика увлекла меня ВГИКом, эфиопка случайным прикосновением в сорок втором троллейбусе своими электрическими искрами убила, испепелила унылое желание родственников видеть меня заслуженным зооветеринаром Грузинской ССР.

* * *

Эфиопку я так и не нашел, но встретил замечательного мастера Григория Наумовича Чухрая. У него я учился, его я слушал затаив дыхание. На вступительных экзаменах он с улыбкой смотрел на меня и не чувствовал моего плутовства. Надо было прочесть стихотворение. Вспомнив, что башкир Малик Якшимбетов читал по-башкирски, я спросил: “А можно по-грузински?” Мне разрешили. Но я же был в школе двоечником, и настолько ленивым, что ни одного стихотворения так и не выучил до конца. Чухрай сидел уставший: я шел двадцать седьмым по списку. Григорий Наумович сказал: давай – я начал читать на непонятном ему языке. Грузинская речь акустически очень красива. Прочтя первые строки “Около Кудигор есть лес, страшный, темный, там обитает разбойник Како…”, дальше не помнил, но понял, что не имею права останавливаться. Сделав паузу, я перешел на обыкновенный счет: раз, два, три, четыре, семь (по-грузински), тринадцать, двадцать девять. Я дошел до сорока. Стал менять интонации, продолжая счет. На цифре семьдесят семь я взмахнул руками, крикнул “Примите меня!” (по-грузински), улыбнулся и сказал: это конец стиха. А за дверьми аудитории стояли несколько грузинских абитуриентов: Миша Кобахидзе, Картлоз Хотивари, Вахтанг Микеладзе, Сосо Чхаидзе, которые слушали меня и решили, что я сошел с ума, хотели даже ворваться в аудиторию… Слава богу, не решились. Меня приняли.

После ВГИКа снимал фильмы, получал призы. Но про один мой фильм – “Пловец” – министр кинематографии СССР после просмотра сказал: “Этот фильм антисоветский, его надо сжечь”. Я осмелился пошутить: “Сжечь вместе с режиссером?” Когда почувствовал, что с фильмом сделают что-то очень плохое, тайно ночью прокрался в лабораторию киностудии “Грузия-фильм”, вырезал в негативе те самые опасные куски и вывез их к моей бабушке Екатерине Григорьевне Бухаровой, которая жила на окраине Тбилиси с маленьким холодильником. Половину

холодильника я забил пленками, бабушка, конечно, не радовалась: негде было хранить помидоры, молоко, сыр.

За фильмом действительно охотились. Где негатив? Был приказ сжечь его, куда он исчез? Расследования продолжались долго. Что стало со мной? Министр объявил: “Дисквалифицировать. Запретить снимать кино”.

* * *

В 1991 году, когда началась перестройка, я снял фильм “Поездка товарища Сталина в Африку” по своему сценарию. Была замечательная кинокомпания “АСК” с Никитой Михалковым и Рустамом Ибрагимбековым во главе, на деньги которой был снят этот экспериментальный фильм. С ним я поехал в Голливуд. Драматизм этой поездки заключался в том, что я не предполагал, что у меня больное сердце. Я много плавал, поднимал железо, делал круги на стадионах и ничего не знал о сердце…

В один из дней был назначен показ “Поездки товарища Сталина в Африку” в Лос-Анджелесе, в гильдии сценаристов и режиссеров, куда было приглашено много гостей. А накануне вечером мы пошли в джаз-клуб, было очень душно, мне сказали: “Ираклий, ты бледный”. Я решил, что всё это результат того, что, делая картину, как маньяк месяцами не вылезал из монтажной, пил только кофе. Через какое-то время переводчица уговорила меня поехать в госпиталь, я согласился только потому, что слушать джаз в дикой духоте больше не очень-то и хотелось. Я поехал, веселый, рассмешил врачей, пока они подключали меня к датчикам. Но когда зажглись мониторы, их лица посуровели. Они долго молча разглядывали экраны, потом спросили переводчицу: “А как этот Квирикадзе до сих пор жив?” Из четырех главных сердечных артерий три оказались наглухо закупоренными, а четвертая по каплям пропускала кровь. Сегодня-завтра и она перестанет работать, значит, и я перестану работать и т. д. … Срочно в операционную, говорят, а я хохочу. Я же на своих ногах пришел, даже успел на ноги переводчицы обратить внимание, на этот раз красивые спортивные ноги, в теннисных тапочках.

Стоимость операции определили в шестьдесят тысяч долларов, а у меня в кармане от силы долларов шестьдесят. Но получилась фантастическая вещь под названием “Всегда делай в жизни добро!”

За год до этого голливудские сценаристы приезжали в Советский Союз. Сначала они побывали в Москве, потом

приехали в Грузию, на три дня. Было лето, никого из грузинского кинематографического руководства на месте не оказалось. “Ираклий, встречай американцев”, – обратились ко мне. Я созвонился со своими далекими от кино приятелями. Это директор кахетинского винзавода, директор цементного завода, бывший боксер – все они живут ради веселья, радости. Они (мы) устроили такое шоу! Сценарист Пол Шредер, автор “Таксиста”, снятого Мартином Скорсезе, не успевал записывать на свой диктофон их остроты. Он кричал: “Хватит, хватит, взорвусь от смеха, друзья, остановитесь…” Мы повезли американцев в монастырь, который Лермонтов описал в “Мцыри”. Когда они зашли в монастырь, дети моих друзей запели с церковных хоров ангельскими голосами. Сентиментальные янки чуть ли не плакали. На другой день в Кахетии устроили кутеж. Заранее занесли в крестьянский дом жареных поросят, вино. Днем едем с нашими гостями по Кахетии и говорим: “Долой рестораны! Давайте где-нибудь здесь остановимся”. Американцы, жители Беверли-Хиллз, попадают к старому кахетинскому крестьянину. Хинкали, хашлама, хачапури, сациви… И вот так три дня. Когда гости уезжали, сценарист Джулиус Эпштейн, автор “Касабланки”, кричал: “Прошу политического убежища!” В его шутке была доля правды – он спрыгнул с автобуса, едущего по летному полю к самолету, продолжая кричать: “Зачем мне мой холодный мраморный дворец в Беверли-Хиллз, дети меня бросили, я хожу один из комнаты в комнату, мне одиноко, а меня здесь так полюбили, так приласкали, не хочу домой, не хочу…”

Почему я об этом вспомнил? Лежу я на столе знаменитой клиники, хирург буквально заносит надо мной скальпель, но пока нет денег, операции не будет. И вот те самые американские сценаристы, которых мы принимали в Грузии, мгновенно организовали фонд “Спасение Ираклия Квирикадзе”. Они звонили всюду, по всей Америке, где были кинофонды, где были отделения гильдии, и объясняли, что я, хороший сценарист, но, главное, хороший парень, оказался в беде. Их услышали. И отделение гильдии сценаристов Вашингтона дает пять тысяч долларов, Сан-Диего дает три тысячи, Чикаго – шесть тысяч, Нью-Йорк – двенадцать тысяч. За одну ночь собрали шестьдесят тысяч долларов. Филиалов гильдии около сотни, разбросаны по Америке, откликнулись все, почти все. Когда говорят, что американцы денег на ветер не бросают, у них нет широты, наверное, это так, но на события экстремальные, что ли, на абсолютный SOS они мгновенно реагируют. Не знаю, что со мной в итоге стало бы, если бы этих денег не собрали. Может, бросили бы в какую-нибудь яму, как кидают бедных, и залили бы меня

хлоркой или еще чем-нибудь. Помните фильм Милоша Формана *“Amadeus”* – как бесславно закончил свою жизнь Моцарт (шучу). Я действительно мог попасть в больницу для бездомных, кто-то бы попрактиковался на моем сердце, и не знаю, чем бы всё это кончилось. Но клиника “Сидерс-Синай”, знаменитая клиника, взялась за меня и решила, что мне стоит жить второй жизнью. Вскрыли меня, как консервную банку, сердце мое было у кого-то в руках, кто-то штопал его, как рваный шерстяной носок. А до этого я был здоровым, бегал, взбирался на Эльбрус, в Турции участвовал в марафоне рок-н-ролла, когда мы с Никитой Михалковым искали натуру для фильма “Грибоедов”. Но было много стрессов, а это, видимо, бесследно не проходит. После спасшей мне жизнь операции мне долго нельзя было летать, уезжать, покидать Америку.

Как-то в моей палате появился замечательный человек – Альберт Гримальди, знаменитый продюсер, который делал в свое время фильмы Пазолини “Декамерон”, “Кентерберийские рассказы”, “Тысяча и одна ночь”. Гримальди работал и с Феллини, делал “Амаркорд”, с Бертолуччи делал “Последнее танго в Париже”. Каким-то образом ему попался мой сценарий “Американская шлюха”, переведенный на английский. У Гримальди были планы снимать в России. И ему мой сценарий пришелся по душе. Он приехал ко мне в больницу, предложил (ого-го!) сто тысяч долларов. Я был готов уже подписать контракт, как тут снова произошла странная история: появился другой замечательный человек – американский кинодраматург Фрэнк Пирсон, в послужном списке которого есть два “Оскара”. Пирсон сказал, что хочет быть соавтором “Американской шлюхи”. Он читал сценарий на конкурсе “Хартли-Мерил”, и ему он понравился. Я вначале растерялся: сценарий уже написан, в чем роль его соавторства? Пирсон объяснил: есть американская часть сценария, есть русская часть. Россия Пирсона пленила, и он хочет переписать американскую часть, которая в представлении Пирсона бедна на фоне России. Когда я расспросил друзей, как мне поступить, некоторые даже возмутились: “Ты что! Сам Пирсон пришел к тебе! С ним ты ворвешься в Голливуд, как на бешеном «мустанге»”! Хорошо это или плохо – врываться на бешеном “мустанге” в Голливуд, я не совсем решил, но сказал Пирсону: “Да”. Тут же появился агент Пирсона; получив информацию, что Гримальди тоже положил глаз на сценарий, он вышел на контакт с ним. От агента Гримальди узнал, что Фрэнк Пирсон будет соавтором сценария и сценарий продается теперь за совсем другую цену – не сто тысяч, как предлагал Гримальди, а шестьсот тысяч долларов. Казалось бы, не такая уж страшная

сумма, сценарий фильма “Основной инстинкт” стоил два миллиона. Но Гримальди – европейский продюсер, в Европе совсем другие цены. Шестьсот тысяч – это как кость в горле, он не мог столько платить. Агент оказался негибким. Он не уступал ни доллара в торге с Гримальди, ни цента. Шестьсот тысяч на бочку, и всё тут! Я сказал Пирсону: “А не проигрываем ли мы?” “Да, да”, – ответил он робко. И я почувствовал, что он так же робок, как я, по отношению к своему агенту. Агент дирижировал всей ситуацией.

Гримальди – старый волк европейской закалки, у него были какие-то особые свои отношения к янки. Взаимоотношения Гримальди – Пирсон переросли в кровавый кулачный бой, над моей головой свистели пули. Часто я не очень понимал, что происходит вокруг моего сценария. Наконец Гримальди сказал: “Ребята, я любил сценарий, но вы эту историю так затрахали, превратили ее не в американскую шлюху, а в блядь. Поэтому я выхожу из игры, чао, мудаки!” Вот прямо таким текстом всё и сказал.

Американцы похорохорились: подумаешь, какой-то итальянский шибздик, есть и большие голливудские компании. А большие компании не проявили никакого интереса к сценарию. Под большими компаниями подразумеваются такие компании, как *Paramount, Columbia, Warner Brothers, 20th Century, Fox*. В больших компаниях идут большие расчеты. Там анализируют очень тщательно, интересует ли американского зрителя русская тема. В начале перестройки интересовала, сегодня компьютер показывает – нет!

Так бесславно закончилась эта история, но спортивная злость во мне всё крепла. Как же так? Я графоман, меня хлебом не корми – дай только писать, здесь в Америке это очень легко. Жизнь дешевая, машина дешевая, бензин дешевый плюс письменный стол и чистая бумага. Я поселился в крошечном доме на берегу Тихого океана, окунулся в бумаги и стал этаким писакой из романа Марио Варгаса Льосы. Я написал и продал два сценария независимым компаниям за небольшие деньги, если сравнить с теми гигантскими суммами, которые были вроде так реальны в случае с “Американской шлюхой”. Но, видимо, это и моя вина, что так произошло, на каком-то витке я должен был сказать Пирсону и его агенту: “Я вас уважаю, вы замечательные люди, однако у меня есть договор с Гримальди, скромный по вашим меркам, но реальный, сто тысяч, не шестьсот. И лучше синица в руке, чем журавль в небе”. Я им, увы, не сказал этого, не помнил, как по-английски синица (шучу). А может быть, всё правильно, было бы несправедливо, если бы я сразу же оказался в

таком роскошном положении: Гримальди – Пирсон – Голливуд. Покатившись кубарем вниз, я оказался в правильном месте. Протираю стул, из которого выскакивает пружина, живу каторжным сценарным трудом, в окне замечательный вид – Калифорния, океан. И вообще, что Америка, что Грузия, что Франция, что Германия – где бы я ни писал сценарии, это для меня всего лишь вид из окна. К моей ноге привязано ядро, я сижу у стола, и спроси меня, что такое США, я ничего не скажу. Я живу у самого океана, волны заливают сваи моего дома. Я больше похож на Робинзона Крузо. На пляже нет никого, кроме пеликанов, только по воскресеньям пестрая, шумная толпа. Америка за моей спиной, я очень мало поворачиваюсь к ней лицом, я пишу и пишу. Картина, которую я нарисовал, экзотична, но я так жил в давшей мне вторую жизнь Америке.

* * *

Как-то утром в доме Робинзона Крузо появился мой друг, замечательный российский режиссер Элем Климов, и мы поехали в Лас-Вегас. Я сбился с дороги, стал плутать по каким-то пыльным задворкам штата Невада. У моего скрипучего “форда”, полугрузовика-полуавтобуса, кончился бензин. Дотащились до ржавой бензоколонки. Хозяин – загорелый детина, курчавоволосый, с фигурой Франкенштейна. Услышав наш с Элемом русский, воскликнул: “Боже, русские!” Без всякого вступления стал рассказывать о своей жене: она русская, ей тут тоскливо, сходит с ума, пустыня Невада, пыльные бури, а она бывшая балерина. Мы с Элемом удивились. “Да, да, была балерина, танцевала в Пермском театре оперы и балета. Знаете Пермь?” Мы с Элемом знали Пермь. Франкенштейн говорит: “Зайдем ко мне, прошу, бензин бесплатно, только посмотрите, как она танцует этого лебедя. Нет, нет, не Чайковский (пауза), Сен-Санс, когда лебедь умирает. Пиво с меня. А, зайдем?” После такой умоляющей просьбы уезжать с бензоколонки было неловко. “А где она?” – спросил Элем. “Лиза!” – крикнул бензоколонщик.

Через минуту мы сидели в задней комнате дома-сарая. Только по фотографиям можно было поверить, что Лиза Щукина танцевала когда-то на пермской сцене в кордебалете. Пышное тело сорокалетней Лизы носилось от стола к маленькой кухоньке, оттуда приносились колбасы, жареные куры, горячий борщ. Франкенштейн, радостный, гордый за русскую жену, улыбался, разливал пиво. “Лиза, я сказал им, что ты станцуешь Сен-Санса”. Лиза сказала: “Мне неудобно”. Элем сказал: “Щукина, ты же

хочешь!” Лицо Лизы зарделось: “Да, хочу”. Мы выпили виски, стало хорошо. Франкенштейн поставил на магнитофон кассету, нажал на клавишу, заиграл Сен-Санс: “Умирающий лебедь”. Мы начали опустошать бутылку виски, из-за шкафа выплыл лебедь…

Эту историю нельзя рассказывать кратко, в стиле телеграммы. Лиза Щукина, большой, белотелый, громоздкий лебедь в балетной пачке, танцевала ужасающе долго. Мы с Элемом ерзали, украдкой поглядывая на Франкенштейна: с каким восторгом он смотрит на своего лебедя, на свою любимую Лизу Щукину, с каким наслаждением лебедь топчется на деревянном полу, разбрасывает в стороны ноги, руки, как бессловесно молит Франкенштейна: не убивай меня, не хочу умирать, страшно. На глаза набежали пьяные слезы. В комнате с пыльными окнами, где долго умирал лебедь, ударяя руки и ступни ног о дверки платяного шкафа (Лиза не рассчитала пространства и упала от него близко), родилось что-то, что было больше, чем наши пьяные слезы, наши скрытые усмешки.

Мы сели в машину, Франкенштейн ни за что не брал денег за полный бак, благодарил за то, что мы хвалили его жену. “Я виноват, она так замечательно танцевала там, в Перми, хотела здесь, но не получилось”. Мы с Элемом всю дорогу говорили о чем угодно, только не о бензоколонке. В Лас-Вегасе однорукие бандиты опустошили наши карманы. Уезжая мрачными, мы ехали по фривею. “Может, заглянем к Щукиной?” – спросил Элем. Я не решился съехать на дорогу – пустынник, ведущий в никуда.

В Штатах, куда я поехал на две недели, а остался на три года, я постоянно блуждал по пустынникам, ведущим в никуда. У меня был огромный “форд”, я, как герой романа Джона Стейнбека “Путешествие с Чарли”, уезжал в неизвестные американцам миры, в глубинку Америки. Весь наш опыт это большие города Америки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, а в глубинках живут чудесные Франкенштейны и Лизы Щукины, их много, звать их иначе – Хуан, Педро, Марко, Николас, Джек, Джон, Мария, Бетти, Сесилия. Замечательные люди. Я раза два проезжал ту самую бензоколонку в пустыне Невада, Лиза больше не танцевала передо мной умирающего лебедя, но борщ был так же вкусен. Франкенштейн постоянно просил у нее борщ, поэтому каждый мой случайный заезд знаменовался борщом. Франкенштейн рассказывал истории их любви, одна удивительней другой.

В начале девяностых они приехали на родину Лизы. Квартира была продана, они поселились в гостинице в четыреста шестнадцатом номере. А ночью в триста шестнадцатом убили пару, мужа и жену. Убийц поймали, те сознались, что хотели убить богатых американцев, взять доллары, но ошиблись этажом.

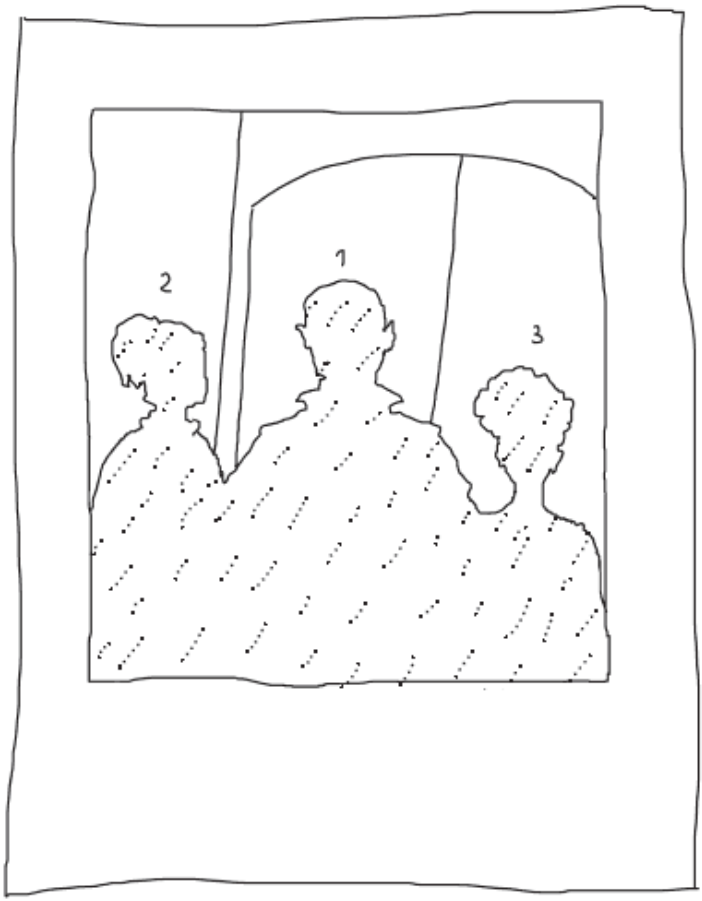
“Ангел над нами пролетел”, – сказала Щукина.

Когда мы с Элемом Климовым возвращались из Лас-Вегаса, он сказал: “Гримальди назвал тебя глупцом за затеянную заварушку вокруг «Американской шлюхи». Пойди к нему, я знаю, он хочет сценарий – не Пирсона, не его агента, а тебя и твой сценарий”. Я не пошел.

Почему?

Уехал в Грузию.

Фотография 24. 1991 год



Фотография 24. 1991 год.

Лос-Анджелес. У входа в ресторан „Мустаж"
стоят: Алик Пересвет (1)
и две марокканки (2, 3).

Алик с лицом Аль Капоне курит сигару. Он явно не знает, кто такой Робер Брессон. Кино его не интересует. Почему я упомянул Брессона? Марокканка Элизабет спросила: “Кто ваш любимый режиссер?” Я ответил: “Робер Брессон”. Алик выдул сигару: “Что

снял?” Я промолчал.

Робер Брессон – великий французский режиссер, творивший в сороковых – шестидесятых годах, снял фильм про осла – “Наудачу, Бальтазар”; это один из немногих фильмов, которые я люблю пересматривать. Рассказывая об осле, Брессон рассказывает о человеке, его радостях, печалях, надеждах, о том, что все мы “попались”, что все мы достойны лучшей участи.

В девяностых годах я жил в Лос-Анджелесе. Дружил с Аликом Пересветом, другом моего продюсера Музы Туринцевой. И Алик, и Муза – выходцы из России, удачно устроившие свои судьбы. Муза во Франции вышла замуж за короля кофе-какао Сашу Туринцева, продюсировала фильмы, Алик торговал экзотичными животными. Он постоянно разъезжал по окраинам планеты Земля и привозил в Америку драконов с каких-то островов, весом по сто килограммов, с чешуей ярко-синего цвета, которую не пробивали пули. Алик однажды продемонстрировал мне это, стреляя в дракона с расстояния пяти шагов. Алик стрелял, дракон меланхолично чавкал, глядя на нас маленькими синими глазами. Он был невероятно красив в своем безобразии.

Пересвет постоянно носил в правом ботинке свою любимую “беретту”, прилепленную к ноге медицинской липучкой. Так мы ходили в ночные бары на Венис-Бич, на концерты Булата Окуджавы, где залы были заполнены российской публикой. “Зачем «беретта» на концерте Булата?” – спросил я Пересвета. “Ираклий, картель (он так сказал) поставил меня на счетчик, меня могут пристрелить где угодно”. Жил он на бульваре Сансет, и, несмотря на счетчик, крутящийся где-то, мы носились по Лос-Анджелесу в его открытом семиметровом кадиллаке. Муза делала всё, чтобы я писал сценарий о приезде в Москву в двадцатых годах любимцев планеты Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса (помните комедию “Поцелуй Мэри Пикфорд”?). Наш фильм должен был быть не комедией, а детективом. У меня сценарий не получался. Может, в этом, помимо моей хронической лени и неумения быть Конан Дойлом, Агатой Кристи, Жоржем Сименоном, виноват был и Алик Пересвет со своими звонками в час ночи: “Ираклий, помнишь марокканку Элизу? С ней и ее подругой Мерьем, тоже марокканкой, мы в ресторане «Мустаж», садись в такси…” – “Алик, сейчас час ночи”. – “Спишь?” – “Пишу”. – “Ты что, охренел, почему пишешь, кто ты – Лев Толстой?” – “Алик, Муза приезжает в среду, а у меня всего двадцать семь страниц”. – “До среды четыре дня. Бальзак в день писал сто страниц!” – “Алик, я не Бальзак!” – “Не люблю ноющих мудаков”. Повесил трубку.

Сижу пишу тоскливую двадцать восьмую страницу, а в голове

мелькают кадры – не Москвы, не Белорусского вокзала, где тысячные толпы встречают Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса, не белогвардейских боевиков, задумавших убить Мэри Пикфорд и вину свалить на советскую Россию. Калейдоскоп картинок в моей голове таков: “Мустаж” – французский ресторан на Ла-Брея, Пересвет, марокканка Элиза, в лицо которой он выдувает дым сигары “Монтекристо”, а та заглатывает, это у них такая игра, рядом скучает неизвестная мне марокканка Мерьем… В два ночи я открываю двери ресторана “Мустаж”. Двадцать восьмая страница сценария “Убийство Мэри Пикфорд”, брошенная, покоится в одиночестве.

Однажды Пересвет звонит, как всегда, в час ночи: “Ираклий, ты знаешь кого-нибудь в Центральном комитете Коммунистической партии Казахстана?” Я никого не знал в Центральном комитете Коммунистической партии Казахстана. Знал только Олжаса Сулейменова – он большой поэт, но не Центральный комитет. “А в чем дело, Алик?” – “Мне нужен осел! Казахский! – Пересвет говорит обрывочно, с паузами, словно при этом разговоре закладывает «беретту» под высокий носок и скрепляет его липучкой. – Появился очень богатый клиент, коллекционирует редкие породы ослов. У него на ферме под Пасаденой их несколько сотен. А в Казахстане в горах бродят густошерстные ослы, они очень рослые, сильные, однако малочисленны. Вывозить их из Казахстана нельзя. Но коллекционер Генри Миллер (надо же, какая фамилия) готов заплатить любые деньги! Помоги, Ираклий!”

Звонить Олжасу Сулейменову по поводу густошерстного осла я не решился. Пересвет сам – напором, способностью добиваться всего, что задумал, – достучался до правителя Казахстана тех лет, поехал в среднеазиатскую республику и где-то на Памире или еще выше обнаружил сто сорок густошерстных ослов. “Сильные, как Пауль Андерсон, глаза умные, как у Спинозы” (характеристика Пересвета). Он получил официальное разрешение на вывоз осла. Каким-то сложным маршрутом грузовыми самолетами с тремя пересадками он привез густошерстное существо в Пасадену, штат Калифорния. Мы, друзья Алика, бурно праздновали приезд Спинозы (не сговариваясь, так прозвали осла профессор-кардиолог Юрий Бузи, издатель газеты “Панорама” Александр Половец и я, автор этого рассказа). В Пасадене на ферме Генри Миллера был дан ужин. Миллер тут же приступил к выведению новой ослиной породы “густошерстный калифорниец”. Он отверг кличку Спиноза и назвал осла Гигант.

Началась брачная пора, и тут случилась странность. Осел не

пожелал ни одну ослицу из “гарема” Генри Миллера. Сорок три самки “укладывались в постель” к Гиганту. Он отворачивался от них, убегал на другой край поля. “Уберите от меня этого…” – тут Генри Миллер сказал слово, которое я не могу повторить. Пересвет под нажимом Миллера и его адвокатов вынужден был увезти Гиганта назад в Казахстан. Поменять осла не удалось. Но когда местные узнали, в чем проблема, удивились очень. Осел, выпущенный на волю, тут же доказал свои гигантские способности в любовных делах. Алик Пересвет ничего не мог понять. Почему там, в Калифорнии, Гигант был индифферентен, а здесь, в Казахстане, стал ненасытным Казановой? Маленький человек по имени Ольмес, в мятой кепке, темном от пота ватнике, бывший хозяин Гиганта, сказал: “Ему нужно прошептать правильные слова, и он с радостью сделает то, что должен делать…”

Алик записал в записную книжку, выучил казахские слова, шептал их ослу – всё безрезультатно. Он увез в Калифорнию Гиганта и маленького человека в мятой кепке. В Пасадене началась серия удачных селекционных экспериментов. Ольмес что-то шептал ослу на ухо, и тот бросался в бой. Генри Миллер сдружился с казахом. Целыми днями они говорили друг с другом (не зная языка другого) об ослах, о людях, о правителях, о боге, о женщинах. Пили виски, вместе принимали роды, радовались, что крошечные ослята имеют густую шерсть. Вместе ездили в Лас-Вегас. Казах вначале выиграл у одноруких бандитов, потом еще больше проиграл. Но это не очень его огорчило. Они даже слетали в Париж. Ольмес был в восторге от Эйфелевой башни и от длинных ног девушек из кабаре “Крейзи хорс”.

Неделю спустя Генри и Ольмес вернулись в Пасадену. А потом случилось то, что случилось. Неожиданно умер Генри Миллер. Всё плохое завертелось с дикой скоростью… Наследники аннулировали ослиную ферму, распродали дорогостоящие гектары земли, выгнали Ольмеса. Алик Пересвет повел себя замечательно. Выкупил густошерстного осла. Организовал перелет Ольмеса и Гиганта в Казахстан – сам не смог поехать, но послал свою племянницу Тасю Пересвет. Бойкая девушка, не любящая ничего американского, довезла Ольмеса и осла до гор Памира. Ей так там понравилось, что она вышла замуж за сына Ольмеса, в чем-то Гиганта, и сотворила с ним шестерых мальчиков.

Сценарий о желании белогвардейских боевиков убить прелестную Мэри Пикфорд я не дописал. Уехал в Москву преподавать на Высших курсах сценаристов и режиссеров. История осла и Алика Пересвета вспоминалась мне многие годы.

Я рассказывал ее друзьям. “Готовый сценарий, – говорили друзья, – надо только сесть и написать”.

Сегодня все пишут на компьютерах. Но есть извращенцы, которые не умеют нажимать на компьютерные кнопки: пишут авторучкой, вооружившись ножницами и скотчем, режут, клеят тексты, что-то зачеркивают, рвут исписанные листы, губы их шепчут: “Хватит, сажусь за компьютер, начинаю учиться”. К таким извращенцам отношусь и я. Я пишу авторучкой, а печатают мои друзья, подруги, мои студенты, моя жена Тамара. Иногда печатают машинистки, с которыми я встречаюсь обычно в метро. В грохоте подъезжающих электричек я что-то объясняю им, показываю зачеркнутые строчки, указываю на стрелки, которые ведут к продолжению фраз… Машинистки строги и неулыбчивы, одна из них, обозвав меня ослом, бросила на мраморный пол станции “Маяковская” мою драгоценную рукопись. Отъезжающие электрички окончательно мутят воду.

Неделю спустя, получив текст, я впадаю в панику: завтра сдавать сценарий, статью, а на страницах – полный хаос. Почему так? Ведь я, Ираклий Квирикадзе, один из первых на планете Земля приобрел персональный компьютер *Apple*, еще в 1989 году. Живя в Лос-Анджелесе, имея близких друзей в знаменитом Калифорнийском университете, которые нашли способ с огромной университетской скидкой помочь мне купить толстенный пластмассовый кирпич. Американские соседи с Венис-Бич приходили смотреть на него, как когда-то тбилисские соседи приходили смотреть к моему другу Сандро Гигинеишвили телевизор с видеоприставкой, один из первых в Грузинской ССР. Посвященные знали, когда будут показывать не Хичкока и Бергмана, а немецкую оголтелую порнографию, и мы, посвященные, собирались на видеосеанс как на тайный сход масонов. Смешно, потому что всё закончилось плачевно. Дедушка Сандро Гигинеишвили, старый работник органов, однажды случайно открыл дверь комнаты внука, где двадцать порнографистов обоего пола затаив дыхание смотрели на экран телевизора “Рубин”. Дедушка Гигинеишвили увидел такое! И это такое так потрясло его целомудренную душу, что, выйдя из комнаты, он добежал до спальни и нашел спрятанный там пистолет, подарок самого наркома Ежова. Вернувшись на массовый сеанс безобразия и разврата, дедушка разрядил пистолет в экран “Рубина”. Немецкая белотелая красотка не успела дошептать традиционную фразу “Дас ист фантастиш!”, как экран взорвался. На кусочки разлетелись красотка и партнер. Остались мы, зрители, застывшие в немой сцене!

Мой персональный компьютер не имел такой жуткой судьбы,

как телевизор “Рубин” и видеоплеер (дедушка расстрелял и его), но и ему не выпала счастливая судьба. Не знаю, чем можно объяснить мою неспособность научиться пользоваться компьютером. Тем более что сочинение текстов есть единственный для меня источник творческого наслаждения и некого дохода. Вот уже четверть века я пишу, пишу, пишу… Это ужасно – постоянно писать, писать, писать… Чанчур, ты постоянно воруешь у меня авторучки и демонстративно выкидываешь их в окно. Я тебя не ругаю, потому что ругать для тебя – радость: “Папа общается со мной”. Ты тут же воруешь следующую ручку – и вновь в окно… Твой старший брат Гера постоянно видит только мой затылок и спину и шутит: “Я забыл, как ты выглядишь, если встречу в лифте, могу не узнать”. В мою спину часто попадают банки из-под пива, мячи, галоши – это твой призыв, Чанчур: “Папа, оглянись”.

Некоторые из пишущих людей, которые, как и я, пользуются карандашом, авторучкой, уверяют, что к ним вдохновение приходит с кончика пера – “рука к перу, перо к бумаге”. Что, нажимая на кнопки компьютера, они не видят героев, не знают, как описать глаза героини, не знают, герой красивый, рябой, толстогубый?.. Но дело не в этом. Мой случай другой. Я хочу печатать… Может, дело в моей какой-то особенной тупости. Черт, хватит себя ругать…

Чем-то я должен же похвастаться?

Уши у меня как антенны. Если что-то интересное мелькнет в разговоре, стараюсь запомнить и, вынув записную книжку, по горячему следу записать какое-то событие, даже бессмысленный, путаный рассказ, в котором что-то засверкало, что я сам не до конца понял, но записать надо, потом забуду и ночью перед сном буду ломать голову, вспоминая: “Сергей Параджанов смешно рассказывал про певицу Гоар Гаспарян… Но что?” Вот тут на помощь и приходят записные книжки. Их у меня много, больше пятидесяти, собранных за долгие годы моего графоманства. На письменном столе они самая большая ценность. Фильм “Пловец”, получивший множество фестивальных наград, выплыл на экраны из записной книжки № 16 всего лишь из пяти строк. И фильм “Лунный папа” родился из записной книжки (не помню ее номера). И “Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара”.

Мне кажется, что записные книжки – это остров сокровищ, архипелаг сокровищ. Вспомните великих и их знаменитые записные книжки. “Записные книжки” Антона Павловича Чехова – сколько там сюжетов! Руки чешутся обворовать классика. Кстати, те, кто овладел компьютером, кто манипулирует океаном информации, воруют легко, игриво. Яркая фраза из японца

Мураками, абзац из Орхана Памука…

В записях Давида Клдиашвили, замечательного грузинского прозаика, есть несколько гениальных сюжетов. Вот один: старый обедневший дворянин, вдовец, вдруг заявил своему сыну: “Хочу жениться. Найди мне невесту”. А сын ждет смерти отца, жаждет наследства. Отец, поручив найти невесту, отправляет его в поход. Начинается путешествие героя и его друга по Грузии. Ищут одинокую немолодую женщину, которая минимум два раза уже была замужем и не может родить детей. Это для уверенности, что если папа женится, то не появится конкурент на наследство. Поход завершился, надежную невесту привезли папе. Сыграли свадьбу. И через девять месяцев родился наследник.

Однажды мне попались “Записные книжки” Макса Фриша. Сам писатель никогда особо меня не интересовал, а вот скопище интереснейших зарисовок, незавершенных рассказов, обрывков диалогов, сюжетов в три строки меня, графомана, вдохновили. “Ни дня без строчки” Юрия Олеши. Записные книжки Булгакова… Ильфа и Петрова…

Общаясь со студентами, я пытаюсь их увлечь охотой за сюжетами. Все они жалуются на отсутствие в их жизни ярких событий. Но когда разговорятся, выясняется: истории, которые кажутся им неинтересными (что интересного в том, что мамин дядя Антон в детстве полюбил девочку, та уехала летом в пионерлагерь “Артек”. Мамин дядя Антон, зная, что в “Артек” попадают пионеры-герои, решил совершить подвиг. Он разобрал железнодорожные рельсы и стал ждать поезд, чтобы, размахивая красным галстуком, остановить, спасти поезд. Из его героизма ничего не вышло, товарный поезд пошел под откос), как раз и есть те самые! Как убедить их, что не “Властелин колец”, не “Матрица”, не “Убить Билла” – ориентиры на вопрос “Что я хочу снимать?” Хотя сам-то я знаю эти ориентиры?

Неожиданно я встретил в Москве Алика Пересвета. Он слегка потолстел. Я спросил его про “беретту”, про картель, про племянницу. “Тася беременна на седьмом месяце, с картелем разобрался, с «береттой» сегодня дела не делаются”. Мы сидели в кафе “Пушкин”. Алик спросил меня: “Как ты относишься к магическому реализму?” Вопрос из уст Алика неожиданный. “Люблю Маркеса”, – ответил я. “И я люблю Маркеса, Марио Варгаса Льосу, Кортасара, Борхеса… всех этих латиноамериканцев”. – “Алик, но ты же не очень книгами интересовался?” – “В Мар-дель-Плата попал в предварительное следствие (по ошибке), полгода в камере один, испанский знаю неплохо, в библиотеке взял «Сто лет одиночества», и пошло… Начитавшись этих писак (Алик смеется), поверил в то, что папин

брат Гриша Пересвет проповедовал, хотя никто его не понимал. Жена звала его болваном, кретином, ослом. Я тебе расскажу, ты напишешь… Позовем Музу, снимем кино. Открой свою записную книжку, помню, как в Лос-Анджелесе ты всё записывал…”

Я так и сделал. Вот текст из моей записной книжки.

Счастливые дни Пересвета

Гриша Пересвет служил на Холодной Речке. Недалеко от знаменитого черноморского курорта Гагры находилась дача, выкрашенная в темно-зеленый цвет. В ней жил (точнее, периодически наезжал) генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин, страдающий подагрой и множеством скрытых болезней, которые он не любил лечить, но врачи требовали, и он, нехотя отрываясь от дел (государственных, планетарных), сидел на этой даче, скучал, размышлял о судьбах мира (вспомните “Осень патриарха” Маркеса). Приезжал “ЗИС-110”, увозил генералиссимуса в грязелечебницу, там его укладывали в лечебную грязь, приезжали другие врачи, делали какие-то уколы, какие-то тесты, один врач-идиот дал Иосифу Виссарионовичу в руки скакалку и потребовал, чтобы тот, голый, начал прыгать через эту скакалку на счет раз-два-три, раз-два-три. Человек, выигравший Вторую мировую войну, перекроивший по своему желанию карту мира, обладавший атомной бомбой назло Соединенным Штатам Америки с их слабаками-президентами, человек, который по хотению мог сделать рагу из планеты Земля, молча смотрел на толстого доктора Савелия Осиповича, который тоже молча смотрел на старого голого человека со скакалкой и почему-то глупо улыбался.

– Сколько в вас силы, Иосиф Виссарионович!

Генералиссимус не прореагировал на фальшивый комплимент. Посмотрел мельком в зеркало и усмехнулся, увидев себя со скакалкой.

– Прыгать?

– Да, Иосиф Виссарионович!

И так каждый день: дышать горячим паром, поить своей кровью пиявок, пить порошки, от которых генералиссимус постоянно бегает в уборную и льет долгую струю…

На днях вечный шутник Лаврентий Берия взялся брить Иосифа Виссарионовича, когда тот пожаловался на своего парикмахера Илиопуло. Берия намылил подбородок генералиссимуса, взял опасную бритву и стал улыбаться. Смотреть на него было неприятно. Три охранника (кстати, люди самого Лаврентия Павловича) почему-то напряглись, когда острейшее лезвие коснулось горла генералиссимуса. Иосиф Виссарионович краешком глаз смотрел в их глаза. Канарейка, сидевшая в клетке, – и та перестала щелкать клювом. Все напряглись. Зачем? Зачем ветер перестал трепать шелковые занавески, зачем Глафира, кормившая генералиссимуса, застыла,

держа в руках медный поднос с мороженым для обоих – Сталина и Берии? Генералиссимус улыбнулся:

– Глафира, мороженое тает…

Берия оглянулся на Глафиру, спросил:

– Это крем-брюле?

– Да, Лаврентий Павлович.

– Я просил лимонное…

А где находится Гриша Пересвет, дядя моего друга Алика Пересвета? Рассказ же о нем? Но на даче Холодная Речка принято наслаждаться жизнью и не торопить время.

Скажу только, что вокруг сталинской дачи четыре охранных окружения. От Гагр до дачи несколько километров лесного массива. Почти под каждым деревом, под каждым кустом – охранник. Они скрыты от глаз врагов. А врагов много. Американские агрессоры, английские агрессоры, японские агрессоры… Кого только не направляет Дядя Сэм (тот самый, в цилиндре, с белой бородкой, который глядит с плакатов)! И, конечно, же ни для кого не секрет, что Гагры кишат агентами 007 и не каждый из них приметный, как Бонд, Джеймс Бонд!

Вот по лесному массиву бредет корова. Она не знает, что за ней следит две сотни глаз, четыре телескопа с соседних холмов поворачивают свои окуляры по ходу движения ничего не подозревающей буренки, случайно забредшей в чащу. Не знает корова, что она может пройти первую зону охраны, вторую, но на третьей решат проблему ее жизни и смерти в телефонных переговорах капитан Пурыгин и капитан Овсянников, который как раз и является непосредственным начальником сержанта спецслужбы Гриши Пересвета. Кстати, капитан Овсянников получил повышение, ныне он майор и в его ведении парк, примыкающий к самой даче. Парк густо зарос ельником и еще чем-то густым и экзотичным. Я не знаю названия этих кустов, они завезены из Египта, и цветы их раскрываются только с наступлением темноты. А Иосиф Виссарионович, страдающий бессонницей, любит выходить во двор, подносить к носу бледно-розовые цветы и вдыхать их сладкие запахи. Даже не сладкие, а дурманящие. Наверно, так вдыхали их египетские фараоны Хеопс, Рамзес и другие три тысячи лет назад.

Не знаю, как прогулки фараонов, но Иосиф Виссарионович совсем не одинок во время своих прогулок. Нет, его никто не сопровождает из личной охраны, все знают: ночью он любит быть один. На самом же деле за вождем, входящим в заросли египетского густого кустарника, смотрит человек сорок охранников майора Овсянникова. Под каждым кустом по охраннику. Во всем парке охранников гораздо больше, но сорок –

это те, которые сидят на корточках, на коленях, прижавшись к стволу ели или дуба, те, кто охраняет ту зону, куда обычно заходит генералиссимус, где благоухает египетский сладкий дух. Все сорок бойцов обязаны никаким образом не проявлять себя, быть как куст, как ель, как дуб. Все сорок бойцов на ночном дежурстве имеют свои номера, от первого до сорокового. Они так и называются: куст № 7, дерево № 27 и т. д.

Хочу сказать, что и купание вождя – он любит выезжать к пляжу – тоже строго охраняется. Водолазы в скафандрах стоят на дне Черного моря и вглядываются в толщу воды, ведь может появиться иностранная подводная лодка. Водолазы смотрят и наверх, где иногда видят грудь, живот, ноги того, кто и есть Иосиф Виссарионович Сталин. Водолазы боготворят эту грудь, этот живот, эти ноги! Боготворят все тысячи охранников, вовлеченных в холодноречкинский процесс “И. В. Сталин в Гаграх”. Правда, тысячи знают лишь, что где-то здесь недалеко отдыхает вождь. Но только избранные счастливцы вроде сержанта Гриши Пересвета видят, как ночью всегда неожиданно появляется небольшая фигура в кителе генералиссимуса, а иногда (о, безумное счастье) просто в легкой полосатой пижаме, а однажды даже в белых мятых кальсонах с белыми тесемками у пяток, в шлепанцах, голый по пояс живой бог! Он проходит мимо куста № 6, мимо куста № 14, мимо ели № 17, остановился у куста № 27. Это и есть куст, где, сжавшись в комок (невидимый комок), сидит Гриша Пересвет. На нем плащ-палатка – в штабе было объявлено, что будет дождь, а ночь жаркая – в плащ-палатке душно, но ничего не поделаешь, в шаге от тебя стоит самый любимый на свете человек, как угодно его называй: бог, генералиссимус, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, вождь мирового пролетариата, кормчий, рулевой, держащий в своих крепких руках штурвал истории, да как угодно, – но он, недалеко стоящий от Гриши Пересвета, он самый любимый на свете человек. Стоит и тяжело дышит, что-то шепчет. Гриша Пересвет слышит его шепот.

– Черт, надо было взять валидол… Уф, дышать трудно…

Сталин кладет руку на грудь, сжимает и разжимает ее. Гриша округлил глаза от священного ужаса. Сталину плохо. Встать, сказать: “Иосиф Виссарионович, я побегу принесу валидол” – или просто взять его, легко поднять, прижать к себе, сбросив этот дурацкий брезентовый плащ, бегом донести драгоценную ношу до дверей дачи, там передать другим? Самому вернуться и вновь превратиться в куст № 27. А?

Но не положено по инструкции: “Вы невидимки, вы кусты, вы деревья, только так! Спугнете вождя, клянусь этим пистолетом…”

– майор Овсянников резко прикладывал пистолет к виску ближайшего бойца и изображал выстрел.

Гриша Пересвет не знает, что делать, зубы издают скрежет, но вождь вроде не услышал его, он вздохнул и сказал:

– Целиковская! Хорошая актриса…

И пошел дальше, что-то напевая. Вроде грузинскую песню. Утром, вернувшись в штаб (а может, это называлось как-то иначе, Алик Пересвет говорил “штаб”), там, где сорок бойцов Овсянникова собирались после ночной смены, Гришу спрашивали: “Что говорил товарищ Сталин?” – “Я не расслышал”. Майору Овсянникову доложил: “Вождь просил валидол, потом просил Целиковскую, нет, не просил, а сказал, что хорошая актриса”. Овсянников улыбнулся, изобразил в воздухе большие женские груди и повторил: “Целиковская”. Гриша хотел сказать майору, что, когда вождь желал валидол, ему хотелось вскочить, побежать, принести, но он не стал поднимать эту тему. “Я куст, я не человек”, – говорил сам себе Пересвет в течение дня, когда ел в столовой, когда смотрел фильм с этой самой Целиковской. Она словно бы сближала его с его богом. Он засыпал днем и шептал: “Целиковская… Хорошая актриса…”

Через три дня Гриша Пересвет поменял номер куста. Был куст № 27, стал кустом № 13. Не понравился ему номер, но майор Овсянников по какой-то непонятной бойцам логике каждую неделю менял всему составу номера. Для бдительности. Гриша Пересвет терпеть не мог цифру 13. И нате, повезло!

Чуть моросило. Ночь пахла Египтом. Потом появился Иосиф Виссарионович Сталин. Он шел задумчивый, подошел к дальнему от Гриши кусту № 3, сорвал египетский цветок, понюхал и выбросил. Все знали, что через четыре дня вождь уезжает в Москву. Гриша заметил, что Иосиф Виссарионович проходит мимо его куста. И вдруг сделал шаг к сержанту Пересвету. Быстрое движение руки вождя, которое Пересвет не сразу понял, и неожиданно горячая струя плеснула на висок Пересвета. Всё длилось недолго, но ему показалось, что он оказался в вечности, где что-то горячее фонтанировало на него в неком рапиде (Гриша явно не знал этого слова, но именно в рапиде вечности просуществовал сержант Пересвет). Сталин отошел от куста № 13 и продолжил путь. Гриша хлопал мокрыми ресницами. Внутри его бурлила какая-то невероятная радость, смешанная с растерянностью. Стыд и гордость пустились в пляс! Сердце, душа, мокрый висок, мокрая щека, капли на подбородке, которые падали, и он инстинктивно раскрыл этим каплям свою ладонь.

Вождь долго не возвращался, его небольшая старческая фигура мелькала где-то у деревьев № 29, 33, 37. Потом другой

тропой он вернулся к открытым дачным дверям, вошел и закрыл за собой дверь.

Утром Гришу позвал майор.

– Умойся! – сказал Овсянников.

– Не хочу, товарищ майор!

– Ходи так, только… – Майор не сказал, что “только”.

В штабе все сорок бойцов подходили к Грише Пересвету. Глядели на него. Улыбались – “счастливчик”. Двое, трое принюхивались: “Не мойся, Гриша!” Шестеро сказали: “Завидуем”. Бог больше не выходил в парк. Уехал в Москву. Умер.

* * *

В кафе “Пушкин”, как всегда, многолюдно, шумно, вкусно.

– Да, но это не кино! – сказал я.

– А что?

– Хорошая история. Почему ее не рассказывал там, в Лос-Анджелесе?

– Гриша был жив. Маркеса я не читал тогда, кино меня не особо интересовало.

– А сейчас?

– Сейчас я могу найти деньги… У меня есть и свои деньги…

– Но зачем?

– Что зачем?

– Зачем эта история сегодня? Кафе “Пушкин”, я, ты, они, мир, двадцать первый век, вон в телевизоре поет Леди Гага…

Алик Пересвет улыбнулся (как мне показалось, глупой улыбкой), выдул сигару и сказал:

– Все мы сегодня – ты, я, они, мир, двадцать первый век, эта Леди Гага – все мы прячемся под кустом № 13 и не хотим выползать, не хотим стать видимыми…

Я оглянулся на зал, посмотрел на Алика:

– Об этом твой фильм?

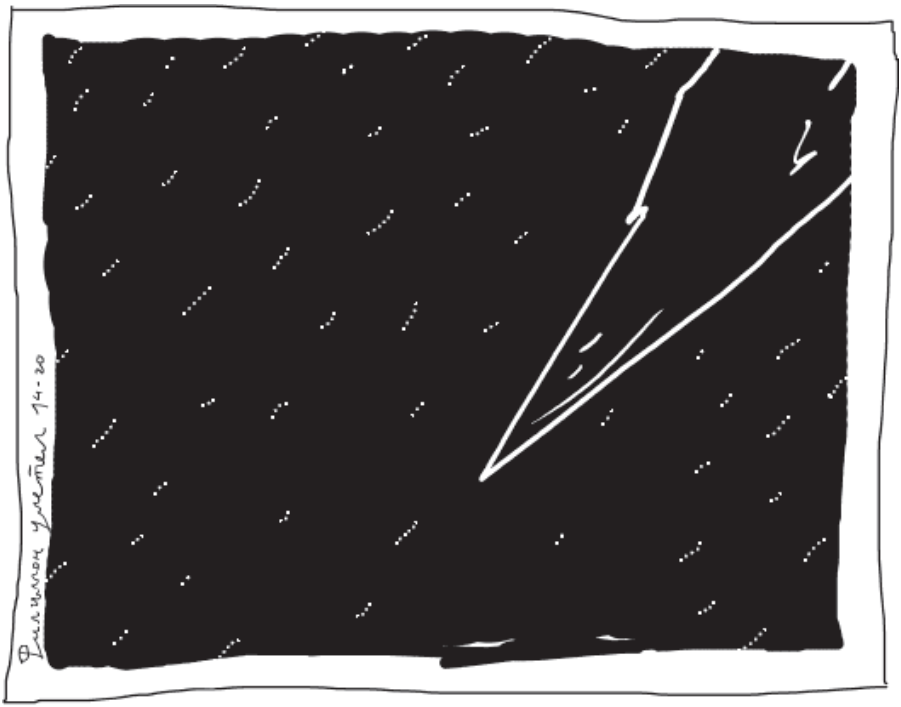
– Да, о кусте № 13.

Вот я и попался, Чанчур! Что я могу требовать от студентов, которым не кажутся интересными сюжеты о времени, когда мальчики, чтобы стать героями, сперва разбирали железнодорожные рельсы, а потом, размахивая красными пионерскими галстуками, спасали поезд от крушения, если сам я не хочу писать сценарий о том же времени, где Гриша Пересвет сидит под кустом № 13, а великий вождь орошает его “золотой росой”?

Тогда почему Алик и Гриша Пересветы попали на страницы

этой книги? Они оба жители Анары. Мне надо было сказать об этом раньше… Жили Пересветы на площади имени Двадцати шести бакинских комиссаров. Можешь представить такое название площади, Чанчур? И это в Анаре? Где все так аполитичны?! А Гриша Пересвет всю свою жизнь хранил в шкафу семипудовую каменную голову Иосифа Виссарионовича, которую он выкрал, когда по всей территории СССР скидывали статуи вождя. Она отлетела от туловища при падении в городе Кутаиси и лежала бесхозной несколько дней и ночей. Гриша Пересвет вез ее осторожно, бережно до дому. Жена орала: “Убери ее, зачем она мне?” – “Не тебе”. В шкафу Гриша Пересвет устроил что-то вроде молельни. С женой разошелся. С родственниками перестал общаться.

Фотография 25. 1973 год



Фотография 25. 1973 год.

На этой фотографии, помню, было ночное небо, по которому летела то ли птица, то ли кровать, то ли лист железа. Была надпись: „Филимон улетел четырнадцатого".

– Вы не верите, что эта история произошла в действительности? Ваше право! Но я продолжаю рассказ о том, как королева Англии Елизавета приезжала к железнодорожнику Филимону Андреевичу Квирикадзе и провела ночь в его доме в городке Анаре, на улице Пастера, 33.

Корнелий сказал это и улыбнулся, посмотрел на микрофон и продолжил:

– Фраза “провела ночь” звучит крайне неприлично по отношению к королевской особе, поэтому поясню: провела ночь не только в обществе железнодорожника Филимона, но и его законной жены Лизы, а также бывшего президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона, совсем не симпатичного на вид человека.

Корнелий Квирикадзе – моложавый, узколицый мужчина, чем-то похожий на актера Тони Перкинса.

– Вы, наверное, думаете, что за королева? Что за президент? Что им, великим людям, делать в захолустной Анаре?.. Всякую историю надо рассказывать так, чтобы слушатель мог понять и разобраться в ней…

Начну с оврага.

Недалеко от городка Анары есть большой овраг.

Мой дядя Филимон имел привычку спускаться в этот овраг и метровой линейкой измерять его длину и ширину.

Работал он проводником поезда, было ему лет пятьдесят пять, был он крупнотел, глаза сверкали странным огнем.

Вы удивитесь, узнав, зачем он ходил по дну оврага с линейкой и метр за метром мерил длину, ширину – вычислял объем. Да, объем!

Стоит закрыть глаза, и я вижу его шепчущим “Тридцать четыре тысячи танков у Франции… Каждый танк длиной четыре метра, весом двадцать девять тонн… У Италии сорок девять тысяч танков… У Австрии… У Бельгии… У США…”

Дядя Филимон часами сидел в анарской городской библиотеке, читал газету “Красная звезда”, журнал “Советский воин” и еще подобные… Он черпал информацию о численности вооружений военных блоков НАТО, СЕАТО, Варшавского договора…

Я помню библиотеку, где в зале на стенах висели портреты писателей. Пушкин, Толстой, Руставели, Маяковский, Галактион Табидзе… Однажды библиотекарша заколола ножом своего возлюбленного Вахтанга Вовнянко, анарского милиционера. Дядя Филимон, находившийся в эти драматические минуты в читальном зале, выволок возлюбленного на улицу, но тому уже всё было безразлично; прошептав: “она не виновата”, – он испустил дух. Библиотеку закрыли на две недели, дядя изнывал без свежих газет и журналов.

Оставим Филимона в тиши вновь открытой библиотеки в обществе новой библиотекарши, которой было запрещено готовить в задней комнате обед. Прошлая библиотекарша подкармливала своего возлюбленного…

Пройдемся по городку Анаре.

На базаре за мясными рядами – кабинет звукозаписи. Знаете, да, что это такое? Вы говорите в микрофон: “Дорогая, скучаю по тебе, хочу спеть нашу любимую песню «Ландыши»”. Поете, я аккомпанирую. Звуковое письмо уходит к адресату… В этом кабинете я подыгрывал на аккордеоне желающим записать звуковое письмо. Однажды Ричард Никсон (это был именно он) заглянул сюда и пропел на английском языке песню. Я долго подбирал мелодию, президент нервничал, но в итоге остался доволен. Президент написал на бланке свой адрес. По этому адресу я послал рентгеновский снимок с его сиплым голосом в Соединенные Штаты. Адреса не помню, помню, что песня была сентиментальной.

Год спустя я, мой дядя Филимон, Ричард Никсон, который к тому времени погорел на уотергейтском скандале и уже не был президентом, плыли на пароходе времен Марка Твена по искусственной реке в Диснейленде. Меня и дядю удручало, что крокодилы в реке пластмассовые, индейцы, выскакивающие из прибрежных кустов с боевым кличем, пластмассовые. На палубе парохода Ричард Никсон вдруг запел ту самую песню, которую он пел в Анаре, в кабинете звукозаписи.

Был вечер в Диснейленде, где всё невероятно красиво, всё любопытно до чертиков, но всё пластмассовое; казалось, что и пурпурное солнце опускают в определенные часы с неба на невидимом стальном канате.

Никсон пел, на палубе стояли американцы, молодые и старые, и, несмотря на то что вся Америка была под впечатлением недавно разразившегося уотергейтского скандала, слушатели аплодировали экс-президенту…

Боже, куда меня занесло, вот что значит графомания!

Должен сознаться, что я никакой не писатель, я аккордеонист-культмассовик санатория “Заря Востока”.

Из окна санатория видны развалины старой анарской крепости. Рядом с крепостью бьет минеральный источник. Там же грязелечебница и рынок. Крепость строилась для защиты от нашествий монголов, персов, турок, не раз заливавших кровью Анару. В генах нашего рода Квирикадзе сидит маленький ген – ненависть ко всем войнам – прошлым, настоящим, будущим.

Может, поэтому дядя Филимон ходит по оврагу с метровой линейкой, вымеряет длину и ширину оврага, вычисляет его объем. Поэтому он выписывает из газет-журналов информацию о численности вооружений НАТО, СЕАТО и других военных блоков, поэтому вбил себе в голову Великую Идею: собрать все танки, пушки, минометы, гаубицы, ракеты, с ними гранаты, автоматы, все патроны, пули, скинуть их в овраг, именуемый Тартар

(запомните: Тартар), засыпать землей, чтобы человечество на веки вечные забыло о кошмарах войны!

Филимон Андреевич Квирикадзе красивым почерком заполнял листы плотной бумаги, рисовал цветными карандашами диаграммы, сочинял текст в стихотворной форме и посылал бандероли в Вашингтон, Лондон, Париж, Токио, Брюссель, Москву… Он сообщал главам государств о своей Великой Идее.

Помню дядю Филимона склонившимся под зеленым абажуром и рисующим Папу Римского на фоне собора Святого Петра. Мимо Папы проезжали открытые товарные вагоны, на них – танки, ракетные установки…

Эшелоны направлялись к оврагу Тартар. В альбоме, адресованном японскому императору Хирохито, дядя нарисовал бомбу “Малыш”, ту самую, которая в одну минуту превратила Хиросиму в пепел.

Дядя писал императору, что всем подобным “Малышам” надо спеть колыбельную песню и усыпить их навеки на дне оврага Тартар.

Начальница анарского почтового отделения Мария Виссарионовна Пухаева недоумевала от количества посылок и бандеролей, адресуемых в необычные пункты назначения: Вашингтон, Белый дом; Лондон, Букингемский дворец; Париж, Елисейский дворец; Москва, Кремль.

Мария Виссарионовна отказалась посылать эти бандероли. Она крикнула басом:

– Кончай издеваться над правами моей почты!

Дядя Филимон ответил ей, что любой человек имеет право писать Папе Римскому, Ричарду Никсону и самой королеве Англии Елизавете.

Пухаева кричала: “Нет!”

Я помню ее странную фразу (простите за некоторое сквернословие): “Скорее на свою задницу поставлю штемпель, чем на твою бандероль”.

С того времени у дяди перестали принимать на анарской почте посылки и бандероли. Он стал отправлять их из городов, куда прибывали поезда, где он служил проводником.

Мария Виссарионовна Пухаева нарушила закон о тайне переписки. Вскрыв одну из бандеролей и ознакомившись с содержанием, она переслала ее в газету “Утро Анары”, выходящую два раза в неделю.

Газета любила описывать катастрофы, которые случались в недружественных нам капиталистических странах: “Токио вновь порадовал нас грандиозным пожаром! Столкнулись бензовоз с летним пассажирским поездом. Случилось это недалеко от пляжа.

Японские отдыхающие увидели кошмар: с рельс прямо на них катились огненные цистерны. В мгновение смешались цистерны, люди, купальные костюмы, которые горели, как горят жирафы на полотнах сюрреалиста Сальвадора".

Автор заметки ограничился именем испанского художника, не назвав его фамилии.

В редакции с интересом ознакомились с Величайшей Идеей проводника поезда Филимона Андреевича Квирикадзе.

Редактора все звали Радамес. Это было прозвище. Вернее, литературный псевдоним автора сатирических заметок. Радамесу принадлежит идея шутки, которую так удачно осуществила газета "Утро Анары" с моим дядей Филимоном.

Радамес велел своим коллегам устроить творческий вечер поэта-железнодорожника Филимона Квирикадзе.

Скучная жизнь газеты на короткое время оживилась, посыпались предложения на голову Филимона Квирикадзе водрузить лавровый венок. Лавровый лист продавали на городском рынке, и не представляло труда сплести этот высокий поэтический символ.

Радамес составил телеграммы, которые будут зачитаны на творческом вечере, от президентов, королей, императоров, премьер-министров. Шедевром его фантазии было громкое восклицание: "Я буду Ричардом Никсоном!"

Радамеса не поняли. Он полистал подшивку родной газеты, нашел фотографию Никсона и приставил типографский оттиск к своему лицу. Раздутые скулы, утиный нос. Казалось, Никсон и Радамес имели одного предка.

– Тогда я – королева Англии! – крикнула корректор Мальвина Барсук. Никто не знал, кто она по национальности, но никто так не владел корректорским искусством править рукописи.

Если бы Мальвина Барсук могла представить, что ей вскоре придется сесть в королевскую карету, стоящую у подъезда Букингемского дворца, если бы знал Радамес (он же Валерий Самсонадзе), что ему вскоре придется плыть на пароходе в Диснейленде, давать интервью в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, то ни она, ни он не решились бы на эту безобидную игру с поэтом-железнодорожником Квирикадзе.

Мой дорогой дядя Филимон, я вижу тебя в резиновых сапогах, в резиновом плаще на дне оврага Тартар в хмурый дождливый день, когда над твоей головой сверкает молния, гремит гром, ты идешь по лужам, сапоги хлюпают в грязи, ты обуреваем своей Великой Идеей Всемирного Разоружения! Величайшей Идеей…

В руках твоих зажата метровая линейка. Ты еще не знаешь,

какую шутку хотят сыграть с тобой работники редакции “Утро Анары”. Ты думаешь о спасении планеты, спасении человечества!

Стих гром, ослаб дождь. И ты увидел нечто странное. Из-за склона оврага выплыл огненный шар. Он приближался к тебе с тихим шипением, разбрасывая искры.

Не знаю, испугался ли ты, скорее всего, испугался! Ты понял, что это чудо природы, которое дано видеть не всем смертным. Ты понял, что это – шаровая молния! Ты хотел бежать, но ноги твои не слушались тебя. Ты смотрел на приближавшуюся смерть, но она была так прекрасна, что ты, завороженный ею, стоял и ждал.

Огненный шар столкнулся с твоим лбом. Да, именно лоб прикоснулся первым к смерти. Но чудо – не взрыв, не грохот, а тишина! Молния вошла в тебя, растворилась в теле и дала тебе то странное “нечто”, что потом заставило удивляться и недоумевать многих, в том числе и меня, и Радамеса, и Мальвину Барсук!

Сегодня, работая культмассовиком санатория “Заря Востока”, я дал читать свою рукопись одному отдыхающему.

Этот отдыхающий, известный московский кинорежиссер Сергей Соловьев, прочтя рукопись, сказал, что шаровая молния – аттракцион, клоунада моего воображения. Я не стал с ним спорить, так как реальность этого факта мне известна всей своей достоверностью.

Мама послала меня в тот день на капустное поле за капустой. Не будем уточнять, срезал ли я ее на нашем участке или воровал у соседей, но так или иначе, возвращаясь с капустным шаром в руках, я попал под дождь и видел дядю, на которого налетела, наткнулась, врезалась… не знаю, как сказать о шаровой молнии. Я видел эту молнию и был так изумлен увиденным, что зеленая капуста выпала из моих рук.

И не для санаторских отдыхающих пишу я историю дяди Филимона.

Сергей Соловьев сказал, что у него большое знакомство в мире кино и он считает, что феномен Филимона так и просится быть экранизируемым.

Это его, Соловьева, слова: “История Филимона – магическая реальность”. Я ходил с Соловьевым к минеральному источнику, мы пили пахнущую серой воду, и он учил меня, как из написанных мною трехсот страниц составить тридцать. “Либретто для кино – краткое описание всего, что произошло, словно бы составляешь телеграмму”.

Так вот, если кратко: в день, когда в дядю Филимона вошла шаровая молния, произошло несколько странностей.

Филимон встретил на автобусной станции жену Лизу, та уезжала в Кутаиси купить сыну школьную форму: приближался

сентябрь, младший шел в первый класс. Филимон усадил жену в автобус, пробурчав: “Могла бы поехать со мной поездом”. Автобус отъехал. Филимон пошел домой.

Открывая дверь, он услышал голос жены за дверьми. От неожиданности Филимон стал поворачивать ключ не на открытие, а на закрытие.

Лиза с кем-то шепталась.

Филимон узнал голос соседа Коко Игнатова, утонувшего в реке три года назад. Вот он, эффект шаровой молнии: время начало путаться и менять местами прошлое, настоящее и будущее. Скоро это случится и с пространством. Ждите!

Игнатов был известен как развлекатель вдов, брошенных жен, заезжих туристок. Проводник, часто не ночевавший дома, слышал сплетни об Игнатове и собственной жене.

Сейчас утонувший три года назад уговаривал жену лечь с ним в постель, согреть его.

Когда Филимон отворил дверь, он увидел, как утопленник тянется к губам Лизы. Что было делать Филимону?

Он поступил неожиданно для себя: словно не заметив ни Лизы, ни Коко Игнатова, прошел мимо них на кухню. На сковороде лежала холодная курица.

Он стал выламывать курице ногу и слушать, что происходит с теми двумя.

Утопленник и Лиза шушукались.

Филимон грыз ногу курицы и думал, как может сосед Игнатов, три года назад утонувший, соблазнять его жену, которая, как он знал, в это время ехала на автобусе в Кутаиси покупать сыну школьную форму?

Отдыхающий, он же кинорежиссер Соловьев, отнял у меня авторучку и раздраженно сказал: “Про утопленников, совращающих женщин, испытывающих дефицит любви, объятий, ласк, читать неинтересно. В твоей истории главное – проект Всемирного Разоружения Филимона Квирикадзе и появление в Анаре королевы Елизаветы, президента США Ричарда Никсона и их с Филимоном кругосветное путешествие, чтобы донести миру филимоновскую идею разоружения. Над всеми над нами нависла угроза Третьей мировой, так что не тяни резину, хватай быка за рога”.

…В пятницу в редакции “Утро Анары” чествуют поэта-проводника Филимона Квирикадзе. Поэт в кителе железнодорожника сидит в кресле.

Блестят медные пуговицы с эмблемой Министерства путей сообщения.

Поэту только что водрузили на голову лавровый венок.

В комнате собраны все редакционные стулья. На них разместился редакционный состав, жена дяди Лиза в белом подвенечном платье, которое она не надевала уже лет двадцать. Чтобы скрыть, что платье свадебное (единственное у Лизы праздничное), сверху она надела бирюзовую атласную кофту. Выглядит очень привлекательно, и не только на вкус утопленников. Радамес, не отрывая от нее глаз, читает отрывки стихотворных посланий Филимона главам государств. Голос его торжествен.

Вот Радамес читает строки, в которых Филимон Квирикадзе призывает американского генерала Макартура вместе с девочкой Алисой влезть на дерево, сорвать девочке грушу, да и самому съесть грушу и, сидя на дереве, подумать о том, стоит ли сбрасывать бомбы на этот чудесный мир…

– А какие прекрасные иллюстрации к поэме!

Радамес показывает рисунок, где генерал Макартур и девочка Алиса сидят на вершине грушевого дерева.

Наступил момент оглашения прибывших со всего мира телеграмм.

Первая – от Римского Папы. Текст длинный, помню только фразу: “Дорогой Филимон, как и Вы, я мечтаю о земном рае”.

Вдруг под окном редакции завыл маневровый паровоз. Он выл и пускал черный дым. Радамес вышел ругаться с машинистом. За ним вышла Мальвина Барсук.

“Я хотел бы обладать столь же ясным видением мира, каким обладаете вы, господин Квирикадзе, будь моя воля, я отдал бы вам премию мира имени горячо любимого мною господина Нобеля”, – писал король Швеции.

В этот момент в комнату вошли королева Англии Елизавета и президент США Ричард Никсон.

Президент чуть задержался в дверях, пропустил королеву.

Я подумал, что это Радамес и Мальвина Барсук, чуть видоизмененные, но завотделом писем Вальтер Партугимов назвал их высокими именами, в которые я не поверил, не поверили бы и вы, но мой дядя Филимон – поверил. Он вскочил с кресла, подошел к королеве, взял ее руки в свои и сказал: “Как я вас жду, ваше величество”. Потом потянулся к президенту и сказал ему: “Господин Никсон, вы очень мне нужны, я должен сейчас же показать вам овраг”. Филимон вновь улыбнулся королеве: “И вам, мадам, надо увидеть овраг Тартар! Может, поедем прямо сейчас…”

Филимон оглядел присутствующих.

Огромные часы “Терек” показывали седьмой час. Филимон громко произнес, обращаясь к служащим редакции:

– Друзья, вечером я всех вас жду у себя дома. Спасибо за высокую оценку моих стихов. Могу прочесть новое… Но я не знаю, как у наших гостей со временем.

– Читайте, Филимон! – сказал Никсон.

Он с удивлением разглядывал авторучку, которую только что достал из внутреннего кармана пиджака. Ручка фирмы “Монблан” была богато инкрустированной, с золотым пером…

– Откуда она?.. – тихо спросил Никсон у королевы. Неожиданно для себя он заговорил по-английски. Королева ответила также по-английски:

– Почему вы считаете, что я должна знать о содержимом ваших карманов?..

– Извините, мадам. Но у меня никогда не было такой ценной ручки… А я к ним неравнодушен.

– Поздравляю вас!

– Спасибо, мадам… Это невероятно… Ручка “Монблан”.

Филимон читал:

Я люблю стук дождя на вагонном стекле,
Люблю видеть, как на листе бумаги
Буквы сплетаются в орнамент слов:
Дождь кончился.
Бродит луна.
В темном парке – двести скамеек,
На каждой сидят по двое и целуются.
А где-то в горячей смазке лежат гранаты,
Снаряды и бомбы…
Кто-то стирает с них смазку,
Готовит их в дело.
Мне больно думать, что на садовых скамейках
Сидят по парам четыреста мертвецов.
Неужели я не скину в овраг и не засыплю землей
Все осколки смерти?
А в парке будут сидеть по двое
И целоваться на двухстах скамейках.

Филимону аплодировали.

Президент писал на обложке журнала “Блокнот агитатора” слова: “Май нейм из Ричард. Ай эм президент оф Америка”.

Он не мог оторваться от чудесной авторучки.

– Поехали! – предложил Филимон.

– На моей машине, – предложила королева.

Редакция, изумленная, смотрела на старомодный, похожий на черного бегемота “роллс-ройс”, к которому шли королева

Англии, президент Ричард Никсон, Филимон Квирикадзе и я, дядин племянник. Лиза от растерянности надела на голову лавровый венок мужа. Королева сказала шоферу, стоявшему в открытых дверях машины и державшему в руках фуражку с гербом, вышитым золотом:

– Саймон, свези нас к оврагу. Господин Квирикадзе покажет путь.

В “роллс-ройсе” было просторно даже для нашей многочисленной компании.

Когда на вокзальной площади машина остановилась у красного светофора, соседи-водители смотрели на нашу машину с вытаращенными глазами. Удивляла в основном фуражка Саймона.

Около дома на улице Гоголя королева попросила остановиться. “Я сейчас, подождите меня минуту”, – сказала она и вышла из машины.

Королева поднялась по бетонной лестнице на третий этаж хрущевской пятиэтажки, открыла ключом дверь и оказалась в пустой квартире.

Елизавета подошла к зеркальному шкафу и взглянула на себя внимательно и чуть удивленно. В зеркале был виден низкий потолок, пластиковая люстра, коврик с оленями, швейная машина, холодильник “ЗИС”, книги. Королева нашла в стопке книг английский учебник для десятого класса, раскрыла его и стала читать вслух с прекрасным английским произношением. Потом вновь чуть с удивлением посмотрела на себя в зеркало.

На газовой плите стояли две чугунные сковородки, накрытые тарелками; королева подняла одну из тарелок, под ней лежали холодные котлеты.

Королева взяла лист бумаги и начала писать. Вывела имя “Зураб”, дальше рука стала выводить английские слова.

Королева перестала писать, вышла на балкон, позвала:

– Ричард!

Из “роллс-ройса” выглянул президент США.

– Поднимитесь, у меня к вам небольшой разговор!

Ричард позвонил в квартиру, знакомую ему по редакционным вечеринкам. В дверях он увидел женщину, которая тихим голосом велела ему взять бумагу и писать под диктовку: “Зураб! Я приеду поздно. Согрей котлеты. Твоя Мальвина”.

Ричард писал:

– Я приеду поздно…

Слова “согрей котлеты” он написал по-английски.

– Пиши по-грузински! – попросила королева. – Мой муж не знает английского!

Но президент забыл грузинский шрифт. “Согрей котлеты” – вновь по-английски вывел он на бумаге.

– Что всё это значит, Радамес?

– Я – Ричард, мадам.

– Почему в моей прихожей стоит мужчина в огромной шапке из медвежьего меха, я видела таких на фотографиях в журнале “Огонек” – они охраняют Букингеймский дворец…

– Букингемский, мадам!

– Но почему он стоит в моей прихожей?

– Я не заметил его…

– Посмотри!

Никсон подошел к дверям и выглянул в прихожую, потом оглянулся:

– Стоит… странно.

* * *

“Роллс-ройс” едет по пыльной дороге. Стадо коров возвращается с пастбища.

Минут через десять “роллс-ройс” подъехал к оврагу.

В лучах заходящего солнца зияла глубина, темная, таинственная…

* * *

Внимание! Внимание! Внимание! Происходит смена повествователя!

Зазвонил телефон.

– Здравствуйте, мне нужен Ираклий Квирикадзе.

– Это я.

– Сценарист?

– Да… А кто это говорит?

– Я Корнелий Квирикадзе, ваш отец и мой папа имеют одного дедушку… Я работаю в санатории “Заря Востока”. Аккордеонист-массовик. Я написал повесть, может, роман. Хочу, чтобы вы прочли… О дяде Филимоне Квирикадзе. Вы же знаете проводника поезда Тбилиси – Батуми… Да?! Я волнуюсь… Он улетел на Луну…

– Куда? Не понял…

– Улетел на Луну…

– Филимон?!

– Да.

– Как улетел?

– Я обо всем этом пишу в… романе… Хочу вам выслать…

– Насчет Луны я не понял…

– Вышлю… Поймете…

В телефонной трубке раздался щелчок, прервался разговор.

Прошло две недели.

Неожиданно пришла бандероль. Сорвав сургучную печать, я увидел альбом для рисования, на обложке которого большими буквами выведены слова “Познав безумие, он стал поэтом”.

Пролистал цветные рисунки, схемы, диаграммы, инструкции о том, как скидывать в овраг танки, пушки, снаряды и т. д.

Рядом с альбомом обнаружил печатные страницы – стал читать, дошел до места, где “роллс-ройс” с королевой, президентом Никсоном, Филимоном и Корнелием подъехал к оврагу. Я остановил чтение, так как заметил пластинку “Звуковое письмо”. Стал разглядывать ее, рентгеновский снимок чьих-то ребер, потом сообразил, что надо пластинку положить на проигрыватель. И услышал голос:

– Пятнадцатого апреля исполнится год, как дядя Филимон улетел на Луну, улетел обиженный на человечество, которое не приняло всерьез его Идею Всемирного Разоружения. Улетел он в ночь своего шестидесятилетия, оставив записку: “Все, что было обещано, не сбылось”. Пятнадцатого апреля, в годовщину полета дяди, улетаю я, его племянник, единственный, кто верил ему абсолютно и в кого верил он… Я готовлюсь к полету, но мне хочется, чтобы ты, Ираклий, знал обо всем. Приезжай, но не позже названного дня.

После недолгой паузы вновь голос:

– Сергей Соловьев исчез с моими записями о Филимоне.

Странно было слышать голос племянника. Но еще более странным был смысл того, что он говорил. Этих Квирикадзе с улицы Пастера, 33 я как-то сторонился… Нет, не враждебно был настроен, а как-то прохладно, кивок головы на улице – и всё. А теперь вот, Чанчур, они улетели на Луну! Ты слышишь, Чанчур?! Один улетел, второй улетает пятнадцатого апреля!

Первая моя реакция: “Сумасшедшие, дядя и племянник”.

В бандероли фотография. Филимон Квирикадзе снят рядом с Никсоном на палубе парохода. А за спиной его в толпе американцев похожий на него племянник. Странно то, что, зная почти всех Квирикадзе – анарских, маффетских, лиойских, кутаисских, багдадских (маленькая деревня в Грузии, где родился Владимир Маяковский), мне почти незнакомы эти лица. Как они оказались на палубе “Марка Твена”? А Никсон, кто это? Радамес, редактор газеты “Утро Анары”, как можно догадаться по той

части рукописи, что мне удалось прочесть, или же действительно Никсон, президент США?

Чушь собачья?! Нет, не чушь. Вопросов множество. История такая необычная, что даже близким не расскажешь. Засмеют. Ехать в Анару.

Голос пластинки сообщил адрес: санаторий “Заря Востока”, общежитие для обслуживающего персонала, комната № 14.

История дяди и племянника мне интересна, поеду!

Утро. Анара. Цветут акации. Подхожу к санаторию. Зайти в дирекцию, спросить, что за человек их культмассовик? Нет. Встречусь с ним, послушаю, разберусь… Я приехал вчера, мои близкие слышали о проводнике Филимоне Квирикадзе, но ничего не знают о его Великой Идее Всемирного Разоружения.

Двухэтажное общежитие. Комната № 14 на втором этаже. Вынесены и стоят в коридоре у стены шкаф, разбитое зеркало, фикус, кипа журналов. Я стучу. Открываю незапертую дверь. Попадаю в пустую комнату. Натянута бельевая веревка, на которой висят сорочки, майки. Фотография маршала Буденного с закрученными вверх усами – кнопками к синей стене.

Стол, на нем бутылка, в ней лед. Чувствую, что в комнате очень холодно.

На улице майское тепло, а здесь изо рта пар…

Оглядываюсь. Вижу вторую дверь. Толкаю ее – заперто. Из-за двери слышен гул. Словно там работает мощная морозильная установка.

– Эй!

– Кто там?

– Это я, Ираклий.

– Хорошо, что приехал.

Дверь не открывается.

Замечаю щель. Заглядываю в нее.

Вижу кровать и чьи-то ноги, лежащие на кровати. Кровать чуть висит в воздухе, примерно сантиметров двадцать – двадцать пять над полом. Слышу голос:

– Я не могу выйти… Извини…

– Но я приехал встретиться с тобой.

– Приехал бы вчера… Я заказал столик в ресторане, ждал… сегодня не могу… отменить всю эту технологию уже невозможно. Поговорим через дверь. Ты меня хорошо слышишь?

– Здесь очень холодно!

– В коридоре шкаф, открой его, вынь пальто, еще что-нибудь надень… будет тепло.

Я повернулся к выходу, задел плечом майку, висящую на веревке, она была жестяная от холода. В коридоре в шкафу висело

чье-то старое пальто.

Вместе с пальто я взял облезлую чернобурку, обмотал ее вокруг шеи вместо шарфа. Вернулся в комнату.

Сел на стул у запертых дверей.

– Послушай, – сказал я. – Но это как-то не по-человечески…

– Извини еще раз, но я уже в процессе…

– Что это значит?

– Не могу тебе объяснить, но будет еще холоднее, учти…

– Скажи, кто были Никсон и королева Елизавета?

– Он был президент, а она…

– Я не об этом. Он был настоящий президент?

– Вначале мне казалось, что это Радамес, он же Самсонадзе, но потом он всё больше и больше становился президентом, то есть из него выходил Радамес и входил Ричард. Дядя Филимон если что-то себе воображал, это что-то всегда становилось реальностью…

В комнате стало гораздо холоднее. В бутылке лед посинел. Я взялся за пальто и плотнее прижал его к телу. Почувствовал во внутреннем кармане что-то бумажное. Заложил туда руку, вынул сверток – это была рукопись, озаглавленная “Радуга в глазах хромой собаки”, – толстенная рукопись, страниц четыреста-пятьсот, – как я не почувствовал ее тяжести, когда облачался в пальто?

Пролистав, понял: это то, что было утеряно Корнелием…

– Я нашел!

– Что?

– Рукопись “Радуги”, так она называется! Да?!

Я глядел в щелку, ожидая реакции. Ноги на кровати не шелохнулись.

– Где она была?

– В пальто, что висело в шкафу!

– А я ругал Соловьева… Ираклий, холод здесь опустился до межзвездных градусов, тебе не выдержать, иди в парк, там сейчас тепло… Прочти. Литератор я никакой, но жизнь Филимона Андреевича Квирикадзе, я думаю, тебе покажется интересной.

– Но почему ты замораживаешь себя?

– Иди и читай. Захочешь что спросить – возвращайся, только не наводи обо мне справки в дирекции санатория, там меня не любят и не понимают. Не ходи к ним, Ираклий…

Я заметил другую щель. Прильнул к ней. Увидел человека, лежавшего на постели. Воротник черного пальто скрывал подбородок. Узкое лицо, курчавые волосы, пышные усы утопали в огромной подушке.

Аккордеонист Корнелий глядел в потолок ясным, чистым

взглядом – он видел кого-то, кого не видел я; так дети разглядывают ангелов, нарисованных на церковных куполах, – неотрывно, улыбчиво, блаженно.

Я встал, задержался на секунду около маршала Буденного. И вышел из комнаты.

Я шел, сжимая в руках рукопись. Пальто и черно-бурый лисий воротник я оставил в шкафу.

Мне, наверно, не стоило бросать аккордеониста при температуре, которая понижалась до черты “межзвездного холода”? Я оказался перед зарослями цветущего рододендрона, нырнул в них, неожиданно увидел яму и, потеряв равновесие, стал падать. Ударился обо что-то, подвернул ногу, было смешно и обидно. Ехать, чтобы упасть в яму и скулить от беспомощности!..

Я огляделся. Яма глубокая, заросшая мхом, рядом со мной валялись чугунный утюг, пустой пузырек из-под йода, тряпичная кукла с оторванной головой и множество рассыпанных страниц рукописи Корнелия.

Я поднял страницу 83.

Лучшего места для чтения я не разыщу: тихо, уединенно. Собака заглянула в яму, оса жужжала под ухом, вот и все помехи.

“Второе посещение бывшего президента США Анары” – прочел я и не сразу сообразил, что это глава о том, как Никсон вторично оказался в Анаре.

“…Филимон сидел на дне оврага Тартар, что-то считал на калькуляторе, шептал: «Ракетные установки СОФ-114, СОФ-214…» Смеркалось. Он услышал шаги, поднял голову. К нему приближался человек.

– Не узнаете?

– А-а-а-а… Ричард, президент Америки…

– Да, Ричард, но, увы, уже не президент Соединенных Штатов.

– Как так?

– Уотергейт! Читали, наверное?

– Читал. И что?

– Сняли с президентства!.. Не успел послать к оврагу оружие, как мы в прошлый раз договорились. Я даже с Леонидом Брежневым созванивался. У меня прямой телефон. Поднимаешь трубку – голос: «Але, Брежнев слушает…» Я ему всё о вашей идее рассказал, где овраг, кто вы…

Никсон разглядывает овраг.

– Помню, обещал показать тебе наш Гранд-Каньон… Жаль, не успел…

Никсон удрученно сжал губы.

– Ничего, Ричард… не унывай, мой дед говорил: «Солнце, что взойдет завтра, взойдет для нас». Ты – безработный, пойдем к нам

в железнодорожное депо, устрою тебя проводником!

И стали они ездить в паре на поезде. И длилось это несколько месяцев. Они служили проводниками: дядя Филимон и Ричард Никсон разносили пассажирам чай, белье…”

Я оторвался от чтения листков и подумал: напрасно в Анаре закрыли сумасшедший дом. Только в голове обитателя психушки может родиться такая картинка: идет по коридору вагона проводник Ричард, бывший президент США, несет четыре стакана горячего чая, заглядывает в купе и спрашивает: “Чай пить будете?” За полчаса до прибытия поезда к станции назначения Ричард закрывает туалеты, чем вызывает постоянные ссоры, перебранку с поздно встающими пассажирами. Ричард собирает пустые бутылки из-под лимонада, пива, водки… Ричард с желтым флажком на ступенях вагона, Ричард покупает соленые огурцы, жареную курицу у торговок, приходящих на перрон с огромными провизионками, в которых бутылки с вином, домашний лаваш, соленья, куры – всё безумно вкусно. Ричард гоняет из вагона изображающих из себя глухонемых продавцов фотографий обнаженных девиц…

Жизнь была полна удовольствий, новых впечатлений. Люди вокруг него – это те самые “красные”. До этого он встречался с ними на высоком правительственном уровне.

Здесь, в поезде, он испытывал радость от бесконечных маленьких удовольствий.

Может, он родился, чтобы стать проводником? Может, он всю жизнь ошибался, ведя беспощадные битвы за власть…

Сидя в купе, разглядывая пейзажи, читая не дочитанные в детстве книжки, которые он брал из анарской библиотеки – Майн Рид, Стивенсон, – он был счастлив.

Он сознался Филимону Квирикадзе, что не испытывал такого блаженного состояния даже в минуты победы на президентских выборах, даже когда он стоял на трибуне, вокруг играли оркестры, колоннами маршировали девушки в коротеньких юбочках, сверкали вспышки фотоаппаратов, стрекотали кинокамеры, в воздухе пылали тысячи цветных шаров.

Филимон Квирикадзе был прекрасный напарник, внимательный, предупредительный к своему иностранному коллеге. Но иногда его заносило в политических дебатах, касающихся проблем разоружения. В такие минуты пассажиры слышали громкие голоса из купе, где сидели проводники.

Голос Филимона:

– Война, дорогой Ричард, может начаться из-за пустяка. Мой родной брат однажды, выходя из дому в дождь, по ошибке надел на ноги калоши соседа. Пошел на работу. Позже вышел сосед –

нет его калош. Начался скандал, который перерос в дикую бойню. Жена соседа выплеснула в брата ведро кипятка… Зачем? Из-за калош? Нет, из-за принципа, о калошах все забыли…

– А что стало с братом?

– Ричард, не переводи разговор на мелочи…

– Ошпаренный брат – это не мелочь.

– Нет, конечно, он две недели лежал в больнице. Но мы говорим о войне… СССР и США находятся на грани, за которой гонку вооружений контролировать будет совершенно невозможно…

– А калоши соседа были более новые, чем калоши брата?

– Ричард, ты о чем?

– Я могу поспорить с тобой, что твой брат надел чужие, а старые свои оставил. Началась драка… Всё логично… Случайностей не бывает… Вы, красные, всё время хотите сунуть ноги в чужие калоши.

– Ричард, осторожно, выбирай выражения…

Поезд нырнул в туннель…

Грохот вагонов заглушил голоса спорщиков. Их темные силуэты каждые пять секунд высвечивались туннельными огнями, в эти краткие мгновения виднелись их открытые рты, можно было понять, что спор не утихал.

Ричард: – В 1945 году мы изобрели атомную бомбу…

Филимон: – И не нашли ей лучшего применения, как сбросить на Хиросиму!

Ричард: – Я не об этом. Вы, красные, из кожи лезли и в 1949 году заимели бомбу. В пятьдесят втором мы сделали водородную. Тут же в пятьдесят третьем сделали ее вы. Атомную подводную лодку мы пустили под воду в 1960 году, вы в шестьдесят четвертом свою подлодку напичкали атомными бомбами…

Дверь купе с шумом открылась. На пороге стояла фантастической красоты пионервожатая с красным галстуком на шее. Длинные ноги ее, казалось, росли не оттуда, откуда они растут у всех пионервожатых. У этой, по фамилии Попова, ноги росли, нарушая все законы анатомии, от грудей, скрытых под голубой шелковой кофточкой.

В первое мгновение проводникам показалось, что именно так сложена Соня Попова, ворвавшаяся на поле битвы. “Остановись, мгновенье”, – мелькнуло в голове бывшего президента США.

– Почему нет воды? – спросила пионервожатая.

– Почему нет воды? – спросил Филимон у Ричарда.

– Текла…

Ричард встал, вышел в коридор, подошел к бачку. Вода не текла…

– Сейчас будет остановка, я принесу вам лимонад.

– Со мной пионерский отряд.

– Принесу отряду.

– Спасибо.

Поезд стал замедлять ход. Станция Хашури. Ричард спрыгнул на перрон, побежал к ларьку.

Толстая сонная продавщица медленно доставала из ведра со льдом холодные бутылки. Ричард неожиданно увидел в ларьке человека из своей бывшей охраны. Как его имя? Майкл… то ли Олсон, то ли Симсон?

– Привет, Майкл! – весело поздоровался Ричард.

– Привет, Ричард! Что-то ты застрял в России…

Ричард внимательно посмотрел на Майкла, заметил – рука под пиджаком возле пистолета.

– Майкл, будь добр, одолжи твою пушку!

– Ричард, зачем она тебе?

– Нужна, Майкл…

Охранник растерянно оглянулся. Толстая продавщица не слушала их, медленно доставала из ведра бутылку за бутылкой и ставила их на прилавок.

Майкл дал пистолет, Ричард засунул его за пояс под рубашку.

– Не выходи из ларька! – сказал Ричард, взял лимонадные бутылки в охапку и побежал трусцой к вагону. Вспрыгнул на подножку.

Пионервожатая и пионерский отряд с наслаждением пили холодный лимонад.

– Третья мировая война уже началась, а мы с красивыми пионервожатыми пьем холодный лимонад! – проговорил Филимон, посмотрев на Ричарда Никсона, который в этот момент пил из горлышка и неотрывно следил за фантастической черной пантерой – загорелой Соней Поповой. Запрокинув голову, она лила себе в широко раскрытый рот тонкую струю лимонада.

– Как ты сказал? “Третья мировая война уже началась, а мы с красивыми пионервожатыми пьем холодный лимонад”? Хорошая фраза.

– Ричард, меня считают сумасшедшим. Но я хочу самым простым способом спасти мир – закопать всё оружие в землю. Сделать это не так трудно. Провести железнодорожную ветку к оврагу Тартар. Я писал тебе, писал Брежневу! Не раз.

Неожиданно они увидели овраг Тартар, на который опустился туман, словно предлагая себя вместо отсутствующего оружия, танков, пушек, минометов и всего другого… В тумане мелькнула маленькая женская фигурка в голубой шляпке, которая махала поезду рукой.

– Королева Англии Елизавета, – сказал удивленно Ричард.

– Где?

– В твоем овраге.

– Королева?

– Где королева? – пионеры прильнули к окнам.

Поезд замедлил ход, впереди крутой поворот. Ричард Никсон бегом по коридору, открыл дверь тамбура и спрыгнул. За ним прыгнули Филимон и тринадцать пионеров с Соней Поповой.

Все кубарем катятся на дно оврага. А вагоны медленно проплывают над их головами. В вагонах остались рюкзаки, горн, барабан, вареные яйца, печенье и все, что сложили в путь пионерам их мамы и бабушки.

В овраг спрыгнул и автор этого опуса Корнелий, который непонятно где находился до сих пор. Если учитывать законы, по которым персонажи появляются и исчезают со страниц этой истории, то какое имеет значение, где был автор до той минуты, как в овраг посыпались из вагонов проводники, пионеры, пионервожатые.

Королева Елизавета развернула сверток.

– Вот всё, что я могла привезти с собой! Это ружье… Охотничье… Мы, англичане, любим охотиться на лис… Оно старинное… Шестнадцатого века.

Пионеры обступили королеву.

– Шестнадцатого… – шепчут пионеры.

Елизавета дает им подержать ружье… Королева говорит с нотками извинительными:

– Дорогой Филимон, прости, но власть моя в Англии чисто символическая. Стоило мне завести разговор в парламенте о твоем проекте Всемирного Разоружения, меня подняли на смех и дали понять, что никакого оружия на захоронение отсылать в страну СССР они не будут, – королева виновато посмотрела на дядю. – Единственное, что я смогла, – привезла это лично мое ружье…

Пионеры разбежались по оврагу.

– Дети, верните королеве ружье! – кричала Соня Попова.

– Как поживает ваша супруга? – спросила королева Филимона. – Ее звать Лиза? Я не ошибаюсь? Мы провели в вашем доме незабываемые часы, я так часто вспоминала в Англии ту ночь… помню, как Ричард уморительно выплясывал… а Лиза пела так красиво… и чудесное было вино… Мук… узани… я правильно говорю?

Кто-то из пионеров взобрался на склон и увидел рюкзаки, сброшенные из вагона. Они валялись в траве вдоль рельс…

– Давайте завтракать! – предложила Попова. – Вас угощают

пионеры!

Под низкорослым грушевым деревом, растущим на дне оврага, расселись на траве, вынули из рюкзаков вареных кур, десятка три побитых яиц, сыр, яблоки. Запивали родниковой водой. Все были голодны, уплетали за обе щеки…

– Вот у меня пистолет “Магнум 48”. Мы можем устроить символическое захоронение… Старинное английское ружье, американский полицейский пистолет… А?

Ричард не успел закончить свое предложение, его перебил один из пионеров:

– Пистолет вам дал человек в ларьке на станции Хашури, когда вы покупали для нас лимонад?

– Да, мальчик…

– А что тот человек делал в ларьке?

– Не знаю…

– А я знаю. Он тайно пересек границу СССР…

Ричард надул щеки, округлил глаза. Весь вид его говорил, что он попал в неловкое положение.

– Гоша, угомонись! – Соня Попова стала строгой. – Дети встречались с пограничником Карацупой и его собакой, он провел с ними занятие…

– Кто такой Карацупа? – спросила королева.

– Известный советский пограничник. Описал сто семнадцать способов перехода через границу СССР.

– Одни надевают шкуру медведей, – стала перечислять девочка-пионерка, – другие скачут на козьих ногах, третьи ползут по проводам высоковольтных передач…

– А ток?! – ужаснулась королева.

– На Диком Западе, в школах, где готовят диверсантов, учат хватать руками голые провода и выдерживать ток в несколько тысяч вольт, – сказала девочка-пионерка. – Когда шпионы ползут по высоковольтным проводам, из их тел сыпятся синие искры. Ночью это красивое зрелище, рассказывали нам Карацупа и его собака.

– Его собака обучена ходить по проводам, – сказал пионер Гоша.

– Из нее сыплются искры? – спросил Ричард Никсон.

– Сыплются!

– На счету собаки Карацупы сто шестьдесят американских шпионов, – сказала девочка-пионерка.

– Нет, сто тридцать, – поправил Гоша.

– Сто шестьдесят, – настаивала на своем счете девочка.

– Дети, угомонитесь. – Соня Попова оглядела отряд особым взором. – Пока Карацупа и его собака на посту, граница нашей

страны на замке!

– А в лимонадном ларьке на вокзале сидит американский шпион! – закричал неугомонный Гоша.

* * *

В лимонадном ларьке жарко. Охранник экс-президента США Джексон-Симсон смотрит на продавщицу, у которой он уже вторую неделю снимает комнату.

– Тебе понравился Никсон? – спросил он у грузной, но не без шарма молодой женщины.

– Это который?

– Который десять бутылок лимонада взял.

– Кривоногий?!

– Какой он кривоногий!

Продавщица стала ругаться с кем-то из-за пива, которого у нее не было. Майкл выждал ссору, потом продолжил разговор о Никсоне:

– Бедняга, попался на таком пустяке. Подслушивал телефонные разговоры. Будто другие президенты не занимаются тем же. И Трумэн, и Эйзенхауэр, и Кеннеди…

– Что он подслушивал?

– Разное… глупо так попался. А как начинал! Над его головой сиял почти что божественный нимб. В него верили, верили, как в шерифа из вестерна, верили, что наведет порядок в Америке.

– Майкл, выпей лимонада и не переживай.

* * *

Я просматриваю кипы листов, чтобы найти объяснение, в какую такую поездку отправился Филимон Квирикадзе с племянником Корнелием и пионервожатой Соней Поповой.

Много места в рукописи занимает описание путешествия по Турции, Греции, Европе, Америке.

* * *

Греция. Оливковые деревья, залитые лунным светом.

Отель “Одиссей”.

С танцплощадки слышны звуки аккордеона. Соня Попова танцует рок-н-ролл. Партнером был грек, о котором в отеле

шептали: “Богат, как Онассис”.

Всю ночь танцевала Соня со вторым Онассисом. Он скинул пиджак, остался в рубашке, разрисованной пальмами.

Когда Соня скинула свою шелковую кофточку и оголила большие упругие груди, к ней подошел Филимон, за ним Ричард.

– Что вам надо, товарищи железнодорожники? – спросила нетрезвым голосом Соня.

– Девочка, так нельзя! – начал было Филимон, но Соня взорвалась и разразилась таким громким криком, что проснулась в своих апартаментах королева, спящая с ушными затычками.

– Я не девочка, я не Соня, я не пионервожатая!

– А кто ты? – спросил Ричард.

– А кто ты? И не проводник, и не президент. Так ведь? И я не пионервожатая. Путана из “Метрополя” Сонька Попова! Ясно?! Мне нужен Онассис! Хотя бы второй Онассис…

– Соня, ты много выпила!

Попова стала снимать юбку.

– Ты сошла с ума!

– С ума сошел ты! Носишься с дурацкой идеей закопать всё оружие мира! Хорошо, закопаешь всё до последнего ружья… А если завтра тигры расплодятся?! Начнут пожирать всех коммунистов! Что делать с тиграми?

– Что делать с тобой, Соня?!

– Со мной? Ничего. Завтра я еду кататься на яхте с Онассисом! И здесь не пионерский лагерь, чтобы указывать мне, что я должна делать и что не должна…

Соня вновь стала разбрасывать ноги в рок-н-ролльном танце.

В паузе между танцами, когда разгоряченные танцоры блуждали в полумраке, Соню кто-то окликнул. Она подняла голову и увидела королеву Елизавету, стоявшую на балконе. Та попросила Попову подняться к ней в апартаменты.

– Ты действительно проститутка?

– Да, мадам.

– Как насчет чая с молоком?

– Меня ждет грек.

– Помнишь детскую скороговорку “Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак, сунул Грека руку в реку – рак за Греку руку цап”?

– Конец неверный, ваше величество… “Рак за руку Греку цап”.

– А как же пионеры?

– Летом я пионервожатая, три месяца на море.

– Потом панель?

– Да, мне нравятся контрасты. Честно говоря, я не знаю, где я

настоящая – в лагере с красным галстуком на шее или в шубе на голое тело у “Метрополя”.

– Расскажи, это интересно.

– Неинтересно, мадам. Иностранцы – они все на одно лицо, что греки, что арабы, что африканцы…

– Тогда зачем тебе грек?

– Не знаю.

* * *

Дальше идет серия зарисовок типа “Мы на фоне Парфенона, мы на острове Родос, мы в Париже на Эйфелевой башне, мы перед собором Святого Петра, мы у Ниагарского водопада, мы в Диснейленде” и т. д. Я читал и не мог понять, что за кругосветное путешествие совершают герои? Как? За чей счет? Я постоянно не верил тому, что читал… Я не буду повторять те сведения, которые почерпнул из записей культмассовика Корнелия Квирикадзе: высоту Ниагарского водопада вы узнаете в любом энциклопедическом словаре, там же можете узнать, на сколько квадратных километров простирается Булонский лес и что Мона Лиза висит в Лувре.

Но вот интересное: в журнале “Ньюсуик” в декабре 1971 года появилась фотография Филимона Андреевича Квирикадзе, а также сообщение, что советский проводник поезда в Конгрессе Соединенных Штатов Америки выступил с речью о всемирном разоружении, что он знает овраг, куда надо сбросить все мировые запасы оружия, засыпать их землей, а на месте захоронения разбить сады-огороды с капустой, картофелем, помидорами. В “Ньюс уик” напечатаны рисунки, рабочие схемы Филимона и его комментарии. Кто-то называет идею Филимона “красная ловушка”, кто-то говорит: “Наконец-то появился святой человек, мудрый, как Марк Аврелий, который может вывести заигравшуюся планету из тупика”.

Королева Англии принимала Филимона в Букингемском дворце. Она сняла с глаз черные очки, в которых появлялась на людях в период “мадам инкогнито”, представила Филимона в Парламенте, там его вежливо выслушали, но не поддержали.

Старый друг королевы сказал ей:

– Только из уважения к вам и только потому, что вы, ваше величество, симпатизируете этому сумасшедшему грузину, а также благодаря давним культурным и духовным традициям, связывающим нас с СССР, посланником которого является господин Филимон Квирикадзе, мы его бред дослушали до конца.

Королева принимала Филимона, Корнелия, Соню Попову, которая не бросила путешественников ради грека-миллионера. После той ночи, когда Соня, как говорится, “сорвалась”, она вела себя образцовой пионервожатой.

Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы, слывшая по строгим меркам королевских нравов особой дерзкой и вольной, увлеченно слушала сумасшедшего проводника. Он ей очень понравился.

– Все вы спите, – говорил проводник, – здесь, в Англии…

– По ночам мы все спим, – подтвердила принцесса.

– А завтра взойдет солнце и вам покажется, что вы проснулись. Покажется…

– Как покажется? Когда я открываю глаза, я проснулась!

– Вы спите и днем. Идете на работу и спите. Читаете, считаете деньги, любите и всё это время спите. Когда спящий летчик поднимет самолет в небо и, продолжая спать, сбросит на ваш дом бомбу, потому что ему приказал это сделать спящий генерал, а бомба расколет земной шар, только тогда вы проснетесь! Как проснулись пассажиры “Титаника”!

Принцесса Маргарет молча смотрела на Филимона.

– Вы меня поняли, принцесса?

– Что надо делать, Филимон?

– Проснуться.

– А дальше?

– Уничтожить бомбу.

На другое утро принцесса Маргарет проснулась, поехала представлять королеву при вручении полковых знамен, потом разрезала ленточки на открытии разных выставок, потом уехала на остров Мюстик в Карибском море, загорала на пляже и вспоминала сумасшедшего проводника поезда, разве что когда над ее головой проносился с ревом реактивный самолет.

– Уничтожить бомбу! – повторял Филимон Квирикадзе с разных трибун в Лондоне, Париже, Мюнхене.

Однажды утром в гостиничном номере появились пограничник Карацупа со своей собакой, из шерсти которой сыпались по паркету голубые искры. Казалось, что пришедшие добрались из СССР до Детройта по линиям высоковольтных передач.

– Филимон Андреевич, есть мнение прервать вашу программу и вернуться домой.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Сообщите Соне.

– Она уже собралась.

– А Корнелий?

– Он поехал за аккордеоном, который вчера оставался в клубе “68”.

Появилась Соня Попова.

– Соня, а вы совсем не изменились! – сказал Карацупа. – Я летел и думал, встречу этакую американочку, а вы всё такая же пионервожатая…

Рано утром серебристый лайнер “Аэрофлота” поднял их над Америкой.

* * *

Десять лет спустя происходит не совсем понятная сцена, как-то драматургически не подготовленная.

Культмассовик Корнелий Квирикадзе стоит у ворот анарской туристской базы, беседует с друзьями и поглядывает на туристок, выходящих из ворот турбазы.

Подъезжает автобус “Икарус”. Неожиданно в толпе туристов Корнелий замечает чуть располневшую, но такую же красивую, как в начале семидесятых, Соню Попову. Краски поблекли, глаза не имеют того блеска, но все же это Соня Попова. Корнелий бросается к ней. Соня узнает его. Объятия. Поцелуй.

– Где твой дядя, Корнелий?

– Дядя в поездке.

– Он на том же поезде?..

– Да.

– Всё такой же недотрога?

– Да, Соня. Постарел…

– Твой дядя не может быть старым… С того момента, как я неожиданно для себя полюбила его, я поняла, что он святой… Ради него я бросила блядки (так она сказала), работаю в Златоусте, преподаю в музыкальном техникуме…

Дальше в описании встречи Сони и Корнелия идут страницы элегического настроения: анарский осенний парк, минеральный источник, стаканы теплой негазированной воды (автор пишет, что все края стаканов кем-то изгрызены), неожиданный поцелуй, ответный поцелуй, ночной киносеанс в пустом зале, объятия, слова: “Соня, я так любил тебя, Соня, я сходил по тебе с ума в той нашей поездке… Я хотел броситься в Ниагарский водопад, а когда однажды тебя увез друг Никсона, такой узколицый красавец…”

– Конгрессмен от штата Техас Рон Вудс. Да, он был очень забавным…

– Он повез тебя на вечеринку к Фрэнку Синатре, откуда ты вернулась под утро… Я всю ночь точил нож, но, на счастье твоего кавалера, заснул…

– Бедный мальчик!

– Соня, я очень любил тебя…

Они прижались друг к другу, обвязались Сониным кашне и так просидели весь киносеанс. Корнелий слышал биение Сониного сердца, спрятанного под влажной кофточкой, впитавшей в себя осеннюю сырость анарского парка. Соня хотела вернуться на турбазу. Корнелий попросил: “Прошу, не оставляй меня”. Они пошли к знакомому Корнелия, но тот не принял их – к нему приехала сестра с мужем. Пошли в санаторий – там случилась кража: у отдыхающей пропали серьги и трехпроцентные облигации. Милиционеры ходили по этажам с двумя собаками.

Они сели на электричку и через полчаса оказались в Лио, где жила мама Корнелия. В дом надо было войти так, чтобы мама не увидела Соню. Корнелий вошел первым. Мама уже лежала, но велела сыну съесть ужин, оставленный для него на кухне. Корнелий ел и смотрел в окно, где в темноте стояла Соня.

Потушил свет, впустил продрогшую туристку из Златоуста. Кровать была адски скрипучей. Мама лежала в соседней комнате за фанерной стеной. Прижатые друг к другу, они тяжело дышали и не двигались. Холодильник “ЗИС” оказался спасением. С интервалами в пять минут он начинал громко шуметь, какая-то адская механика издавала в нем ужасное тарахтение. Длилось это полминуты, потом пять минут затишья.

Любовь их проходила в синхронной связи с тарахтящим холодильником. Давясь от смеха, они любили друг друга горячо и прерывисто. Прерываться приходилось надолго, пять минут казались вечностью. Насытившись, они лежали голова к голове и до утра шептались: “Соня, я никогда никого так не любил и никогда никого не полюблю”.

Белый туман вползал в открытое окно. Холодильник готов был вновь служить их любовным играм.

На другой день Соня уехала в Златоуст, в музыкальный техникум, где муж работает завучем, свекровь – директором.

* * *

А что Филимон?

Он продолжал служить проводником на своем поезде, раз в три дня проезжал свой овраг. Он слегка постарел и как бы стих. О

нем забыли все. Иногда в Конгрессе США смеялись: “Отсылаем танки в Тартар”.

О нем нежно вспоминала лишь принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы. Она прислала Филимону свою фотографию с греческого острова Корфу и короткое письмо, где писала, что никак не может проснуться: чудесный остров и морской прибой убаюкивают ее сознание, и не хочется думать ни о какой бомбе.

Через короткое время он вновь получил от принцессы Маргарет письмо и фотографию: она на фоне миланского “Ла Скала” с каким-то бородатым пышнотелым мужчиной – видимо, оперной звездой Лучано Паваротти.

Приходило также множество открыток от Сони Поповой с поздравлениями с Новым годом, 1 Мая, Днем Советской армии и т. д. Ни Никсон, ни королева Англии Елизавета ни строчкой, ни полстрочкой не напоминали о себе.

Однажды мимо Филимона проехала машина, обдав его водой из лужи – день был дождливый. Филимон увидел профиль Радамеса и подумал: “Какое знакомое лицо”.

А еще однажды он сидел в овраге и, как всегда, что-то записывал в тетрадь. По оврагу шли старый человек и собака. Собака хромала на переднюю лапу. Хозяин собаки был небольшого роста, с гривой седых волос.

– Здравствуйте, Филимон, – произнес человек.

– Здравствуйте.

– Я Альберт Эйнштейн!

Филимон узнал великого ученого. Он видел Эйнштейна на фотографиях.

Эйнштейн сказал:

– У меня к вам серьезное дело! Вы располагаете временем выслушать меня?

– Да, да, конечно! Присядьте…

Филимон указал ученому на камень под грушевым деревом. Эйнштейн предложил:

– Лучше будем ходить и беседовать…

Альберт Эйнштейн, Филимон и хромая собака ходили больше часа по дну оврага.

Эйнштейн на редкость высоко оценил деятельность проводника Филимона Квирикадзе как истинного гражданина мира.

– Ваша идея проста и гениальна. Гениальна она своей простотой. Господь не разрешил мне дожить до сегодняшнего дня, иначе я первый бы поставил подпись под реализацией вашего проекта!

Далее Эйнштейн говорит о том, что годы, которые он провел

на небесах (он показал пальцем в небо), привели его к печальному выводу: человечество, весело танцуя, движется к пропасти… Вот-вот оно свалится в тартарары. Господь Бог в полной растерянности. Бурное развитие физики, кибернетики, квантовой механики, цепные реакции, ядерные взрывы, взрывы террористов, звездные войны пугают его, он не понимает всего этого. Один маленький японский калькулятор способен в мгновение вывести корень из… а он всё это считает в голове, и долго. Когда Бог творил мир по своему подобию, он не предполагал, что люди окажутся такими прыткими. Бог смертельно устал от всех нас, решил уйти в другое место и там начать новую жизнь. Где-нибудь на периферии Галактики.

Хромая собака застыла у кустов.

– Собака кого-то учуяла, – сказал Эйнштейн. – Усталый Бог решает и это: насытить собаку или спасти жизнь кого-то – ежа, зайца, куропатки… А вот в вопросах распада молекул урана и начала термоядерной реакции – здесь он, увы, не знает, как быть.

– И поэтому он решил бросить нас?! – в глазах Филимона недоумение.

Собака отошла от куста. Смешно оседая на передние лапы, она шла за великим физиком.

– Не знаю, как это сказать?.. Я еще никому не говорил… – видно, что Эйнштейн волнуется. – Он предложил мне заменить его! Хотя бы на время.

Филимон остановился.

– Вы вместо Бога?!!

– Он сказал мне: “Альберт, ты знаешь атомную эпоху лучше, чем я, и займись ею”. Я ответил ему, что я простой смертный, грешник. Он молчал, думал, а потом сказал: “Альберт, у меня нет нужного образования. А для учебы я стар”.

– И что дальше?

– Дальше я пришел сюда, в твой овраг…

– Вам нужен мой совет?

– Да, Филимон.

Закапал дождь. Проводник достал из заднего кармана брюк кусок прозрачного целлофана, укрыл им великого ученого, сам долго отказывался встать под прозрачный навес, но Эйнштейн настоял, и они вдвоем, натянув целлофан, продолжили хождение по дну оврага.

– Если Бог уйдет, а вы откажетесь от его предложения, то кто-то придет на его место. Это же так? А вдруг придет какой-нибудь проходимец?! – спросил Филимон не столько Эйнштейна, сколько самого себя. Укрытые целлофаном, они удаляются в глубь оврага и исчезают в мокрых зарослях.

Пока в мокрых кустах говорят о чем-то важном, я прочту страницы, выпавшие, видимо, из рукописи. Их номера 381–386, они перечеркнуты красным карандашом, но любопытство, что же было отвергнуто авторской самоцензурой, заставило меня прочесть их.

* * *

Беседа с Утопленником Коко Игнатовым.

Вначале описывается его внешность.

Желтые зубы, желтые пальцы выдают в нем профессионала-курильщика. Тяжелые веки, неулыбчивый рот.

На вопрос, что за кличка – “Утопленник”, отвечает уклончиво: “В Анаре всем дают клички”. В его рассказах фигурирует время, когда “в садах играли духовые оркестры, все носили белые кители, парусиновые туфли чистили зубным порошком”.

В те времена Игнатов был шофером некого высокого начальника, которого он называет Лаврентием, а чаще Святым Лаврентием; думаю, что это Лаврентий Берия, глава Комитета госбезопасности.

По ходу беседы Утопленник пьет красный мукузани.

– Ты спрашиваешь о моем хозяине, он сейчас многих интересует, мне скрывать нечего. Имя его Лаврентий. – Игнатов хлебнул мукузани. – Целый день подписывал тысячи бумаг… Но в час дня он садился в машину, и мы ехали на Главную улицу. Какая-то шантрапа звала ее Брод веем. В это время школьницы возвращались с уроков. Лаврентий смотрел из-за занавеси на весело щебечущие стайки школьниц. “Игнатов, вот ту, с рыжими волосами”. Я останавливал машину, выходил, отводил в сторону рыжеволосую. Называл имя того, кто хочет познакомиться с ней. И не было случая, чтобы девочки не следовали за мной.

Ехали молча, он никогда не заговаривал с ними в машине. Девочки всегда сидели впереди, рядом со мной. Я чуть скошу глаза, смотрю и каждый раз убеждаюсь: у него отличный вкус. Он брал только свежих, от них пахло, ну, как бы это сказать, чем-то чистым… апельсиновым…

В городе знали о нашей машине. Знали, что с двух до трех часов мы подбирали красивых школьниц. Почему они не прятались? А куда спрячешься? Может, девочкам самим было любопытно, они и стояли на краю тротуара, как бы случайно.

Привозили и отдавали их старой гречанке Афине. Она их мыла. Однажды я осмелился, зашел в комнату к Афине. Девочка

сидела голая на кровати, тихая, послушная. Старушка что-то шептала ей. У меня голова закружилась от девочкиного вида и от запахов…

Он отпускал их быстро. Я отвозил на место, откуда мы брали их. Несколько раз попадались девочки разговорчивые. Я спрашивал: “Как он там?” Они рассказывали одно и то же: заходит в комнату и минут через пять – десять выходит. Старушка их поднимает с кровати, приводит в порядок, потом девочку спускают к машине.

Однажды мне так понравилась одна, я подумал: завезу ее куда-нибудь и сам тоже попробую… Если бы я сделал то, что мне хотелось сделать, если бы я не отвез ее на место, где взял, а отвез куда-нибудь на другое место, утром на столе Лаврентия лежала бы бумага о моем поступке. Я уверен…

Игнатов вновь хлебнул мукузани.

– Лаврентий любил красоту. Посмотри мне в глаза, Корнелий, и скажи честно: если жизнь тебе дает право указывать пальцем на любую понравившуюся девочку и тут же эта девочка окажется в твоей постели, ты не воспользуешься таким правом? Молчишь, Корнелий?! А не надо молчать. Надо сказать: да, это мечта всех мужчин во все времена. Но редко кто мог себе это позволить. А Лаврентий имел это право и пользовался им…

В открытое окно влетели две вороны, сели на подоконник, перелетели к столу и пошли по нему, словно домашние птицы.

– Кыш! – сказал Игнатов и наполнил себе стакан. – Памятники его утопили! Собрали их со всей страны – и в реку. Я узнал, где это место. Поехал… Нырял. Их там много стоит под водой: он маршал, он в пенсне, в плаще, мраморный, бронзовый, каменный. Я плавал между ними и не хотел выплывать, остался бы с ними, если бы не кислород.

Вот это было написано в выпавших страницах.

* * *

Но вернемся в овраг, где запахло дикими розами. Дождь перестал моросить.

Филимон скинул с головы Эйнштейна целлофан. Великий ученый говорил тоном лектора общества “Знание”:

– В момент, когда Земля и планеты выстроятся в ряд, Филимон, ты увидишь это, точнее, почувствуешь по звону в ушах. Вот тогда раскинь руки, превратись в букву “Т”, и ты взлетишь…

Филимон раскинул руки буквой “Т”.

– Лежа на кровати…

– Понял…

– Никаких усилий, суммарная гравитация будет тянуть тебя вверх… Филимон, ты сделаешь это в том случае, если поймешь, что я проиграл битву с негодяями. Их так много в раю, об этом мало кто знает, они устроили побег из ада на небеса… – Эйнштейн грустно улыбнулся. – С ними этот толстяк в пенсне, Лаврентий, он такой… (не подобрал определения). Плетет интриги на редкость искусно. Господь принимает каждое его слово за чистую монету. Узнав, что Бог хочет покинуть небо, он всячески старается втереться к нему в доверие. До недавнего времени малоизвестный интриган из СССР, он стал фигурой номер один. Не Данте, не Леонардо, не Толстой, не Моцарт, а он, Лаврентий! Старый Бог ходит, опираясь на его плечо. А когда уезжает выбирать место, где хочет обосноваться, покинув всех нас, оставляет его взамен себя. Вот тогда-то начинаются на земле эти кризисы: Афганистан, Чечня, Ирак, Израиль, Палестина… Лаврентий узнал, как можно Солнце перекрыть Луной и устроить на Земле постоянное солнечное затмение.

Над головами Филимона и Эйнштейна низко пролетели вороны. Одна из них какнула и попала на лоб великого ученого.

Эйнштейн вынул платок и стал стирать горячую жижу со лба и бровей.

– Альберт! – послышался голос сверху. Звала женщина, стоявшая на краю оврага в белом халате, похожем на медицинский, рядом с ней машина с красным крестом. Женщина сложила ладони рупором и кричала:

– Альберт, время! Тебя ждут! В больнице обед!

Эйнштейн встрепенулся, в глазах появилось какое-то странное выражение, он стал прощаться.

– Филимон, скажи им, что они доиграются! В день Хиросимы, когда Господь увидел, что сделала одна маленькая атомная бомба, он побагровел, сломал об колено кий, он играл в бильярд, свалился на бильярдный стол бездыханный – инсульт. В дни Хиросимы Бог чуть было не умер! Скажи им об этом…

Эйнштейн поднимался вверх по тропке, за ним, припадая на передние лапы, плелась хромая собака. Люди в белых халатах поспешно усадили Эйнштейна, и, поднимая пыль, машина с красным крестом уехала.

С того дня Филимон Квирикадзе стал смотреть на солнце. По утрам выходил на балкон и долго разглядывал солнечный диск сквозь закоптелое стеклышко. В телевизоре, в радио, в газетах шла битва за размещение крылатых ракет в Европе. Филимон внимательно смотрел на колонны демонстрантов в Англии, Голландии, которых разгоняла полиция, избивала дубинками,

душила слезоточивыми газами. Филимон не мог оторвать тревожного взора от программы “Время”. Даже если он был в поезде, то на стоянках вбегал в комнату дежурного станции и смотрел телевизор… Генералы натовские и советские давали интервью, хвалясь силой и мощью оружия, которое множилось, совершенствовалось.

И Филимон услышал звон в ушах.

Однажды утром, когда Филимон вышел на балкон и посмотрел на солнце в закоптелое стекло, он увидел, как край Луны насел на солнечный диск…

Филимон прошептал:

– Эйнштейн проиграл!

Весь день он ходил по Анаре.

Прощался с соседями, сослуживцами. В депо, на базаре, в столовой, парикмахерской он говорил странные слова:

– Сегодня ночью я взлечу на небо! Не могу позволить поставить точку в миллионолетней цепи эволюции…

Его слушали, как всегда, не очень внимательно.

На почте, где располневшая донельзя Мария Виссарионовна Пухаева гадала на кофейной гуще своим пышнотелым подругам, на Филимона косились, так как он долго писал телеграммы в Москву, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Рим, Бонн, Париж.

Пухаева повертела пальцем у виска, подружки захихикали и принялись считать количество слов телеграмм.

“…Решайте проблемы вместе. Помогайте друг другу. Думайте о братстве людей…”

Пухаева переспросила адреса:

– Белый дом, Вашингтон, Округ Колумбия. А номер Белого дома?

– Номер дома… Я не знаю!

– Но как я могу посылать телеграммы с указанием только цвета дома?

Подружки захихикали.

“Космос должен быть общим. Он должен быть свободным от ядерного, лазерного и других орудий”.

– Рубль шестьдесят!

“Была холера, была чума, сейчас нет этих болезней, так как человечество их победило. Теперь надо победить атомную бомбу”.

– Что здесь написано?

– Дворец Киото!

– Киото?

Вечером жена Филимона Лиза пришла с работы – дверь в спальне заперта… В квартире было холодно. Лиза вспомнила слова Филимона, сказанные прошлой ночью, когда он говорил с

ней о своем отлете на небо: “Будет очень холодно, ты поезжай в Лио или пойди ночевать к сестре”.

Лиза подошла к двери. Постучала. От двери шел пар, металлическая ручка покрылась инеем.

Лиза, встревоженная, зашла к соседям.

Сосед Павел Мусаев с удивлением разглядывал внутренности своего холодильника, в котором корка льда выросла многократно, ледяные помидоры раскололись.

– Филимон заперся. Хочет улететь то ли на Луну, то ли куда-то выше… Надо сломать двери.

– Хочет лететь – пусть летит. Не отпустишь на Луну – улетит к Венере! – Павел засмеялся. – У нас в депо есть кассирша Венера, к ней улетают многие!

Раздался страшный грохот. Посыпалась штукатурка.

Все посмотрели на потолок – там расползлась широкая трещина. Стало очень тихо. Только звенели оконные стекла.

– Он улетел!

Сосед, его жена, дети, Лиза бросились в квартиру Квирикадзе. Дверь в спальню была выбита, сорвана с петель. Кровать отсутствовала.

В потолке зияла огромная дыра.

* * *

Я поднял глаза от рукописи.

Фантазия автора превзошла все мои ожидания. Филимон пробил потолок собственной спальни и унесся в космос?! Корнелий комментирует это событие следующими словами:

– Наши далекие предки, прослышав про злые дела, пристегивали к поясу меч и отправлялись в путь. Обнаружив Зло, они рубили его своим мечом. Или их рубили. И тогда смерть очищала кровью землю. Но как сражаться с тысячами безымянных, безликих призраков, которые и есть Зло нашего времени?

Как сразить их мечом?

Сегодня человеческий гнев превратился в отравленный желудочный сок.

Человек теперь не борется со злом – он хватается за живот, глотает пилюли.

Дядя Филимон решил поднять этот ржавый меч предков! Он, ненавистник оружия, решил бороться…

* * *

Наступил вечер. Я дочитал многостраничную рукопись, выкарабкался из ямы. Листы рукописи собрал по номерам, многих не хватало. Куклу с оторванной головой сунул в карман – на память.

Пошел во двор общежития санатория “Заря Востока”. Поднялся по лестнице общежития.

В коридорах было пусто. Я прошел мимо фикуса. Комната № 14. Стучусь, толкаю. Дверь закрыта. По коридору идет женщина.

– Вы не знаете, где Корнелий?

– Нет его? Странно…

– А где он может быть?

– На танцах. Он играет на аккордеоне.

Женщина подсказала, как дойти до клуба.

Санаторский парк. Клуб.

Оркестра на сцене не было. Стоял стул, на нем магнитофон. Вдоль стен жались женщины, жаждущие знакомств и курортных приключений. Я спросил об аккордеонисте. Он не приходил.

Я назад к общежитию.

И тут…

Я страшусь писать эти строки…

Думаю, что читатель через секунду покрутит пальцем вокруг виска: “И этот сумасшедший”.

Над крышей общежития, в левом углу, всколыхнулась черепица…

Я услышал грохот, увидел лишь на мгновение кровать с лежащим на ней человеком, что раскинул руки буквой “Т”.

И тут же стало тихо. Но…

Исчезло видение кровати.

Только битая черепица под ногами.

* * *

Я ехал в поезде.

Было поздно.

Смотрел на свое отражение в ночном окне. Успокоить лицо не удавалось. Широко раскрытые глаза никак не входили в норму.

Что же случилось?

Фантастика на четырехстах страницах и реальная, мною увиденная кровать, взлетевшая над крышей санаторского общежития, – как уместить это в своем сознании?

В детстве я читал Жюля Верна, дальше – Брэдбери, Лема, позднее Стивена Кинга. Но они не вызывали во мне особого

интереса. Фильмы типа “Звездных войн” я с трудом досматривал до конца.

Сегодня на моих глазах улетел в темный космос аккордеонист Корнелий Квирикадзе, мой, черт побери, однофамилец, даже родственник! Улетел!

На небольшой железнодорожной платформе в вагон поднялась компания, оживленная, подвыпившая, расселась вокруг меня.

– Радамес… продолжай, а что с той африканкой…

– На голове статуи Свободы есть смотровая площадка. Там я увидел эту черную и обалдел.

Говорил человек по имени Радамес. Он постоянно мелькал в рукописи Корнелия.

– Я ей говорю: сколько? В Америке это делается просто. Спокойно при всех беру ее – и в отель. Мы три дня не выходили из номера… Она шептала: “Ричард, ты мой бог”. Официантка занесет в номер завтрак, а негритянка требует, чтобы я при официантке оттрахал ее… Та смотрит на нас не смущаясь. У них всё просто в этом вопросе. Спрашивает меня: “Господин Никсон, что-нибудь еще желаете?”

Компания засмеялась.

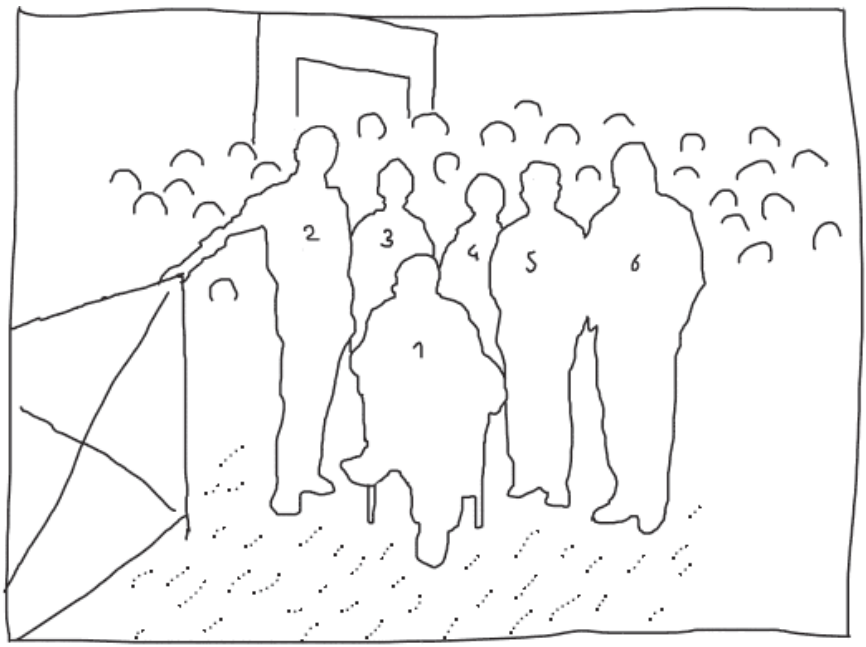
Я встал, вышел в коридор вагона. “Хватит…” – сказал сам себе, открыл окно и вышвырнул рукопись “Радуги” в ночь.

Поезд проезжал овраг Тартар. Я увидел в темноте еще большую темноту.

* * *

P. S. Прошло много, много лет. Сегодня я нашел в своем почтовом ящике увесистую бандероль. Почерк показался знакомым. Дома я разорвал конверт. Высыпались листки с планом оврага Тартар, обозначениями, где надо разместить пушки, танки, гаубицы, самолеты, бамбардировщики, истребители, предварительно спилив им крылья, где ракеты “земля – воздух”, “земля – воздух – земля”, где бронетранспортеры, минометы, бомбы, где холодное оружие… На одном из листов – рецепт соляной кислоты, съедающей железо. А еще на одном листке – наивный, веселенький рисунок сада-огорода, выросшего на месте засыпанного оврага Тартар. Никакой записки мне, Ираклию Квирикадзе, я не обнаружил. Подумал: “Зачем я выкинул в ту ночь рукопись замечательного романа… Я должен, Чанчур, рассказать тебе о твоих родственниках, летающих Филимоне и Корнелии…”

Фотография 26. 2011 год



Фотография 26. 2011 год.
Снято в итальянском городке Пеннабилли перед киношколой Тонино Гуэрры (1).
Сорок студентов и педагоги: Антон Ланге (2), Паола Волкова (3), Вера Суменова (4), Рустам Хамдамов (5), Георгий Данелия (6).

Киношкола пригласила Паолу Волкову, Рустама Хамдамова, Георгия Данелию, Веру Суменову, Антона Ланге и еще человек семь для проведения мастер-классов, для выпивания красного итальянского вина, для созерцания фантастических пейзажей, которыми до нас любовались Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти – дома этих гениев находились, как говорится, в двух шагах от Пеннабилли, где проживала супружеская пара – Лора Яблочкина и Тонино Гуэрра, великий сценарист, автор

“Амаркорда”, “Корабль плывет”, “Приключения” и других шедевров, а сейчас проживает одна Лора Яблочкина, которой тогда мы привезли поклоны и любовь от огромного количества ее московских друзей. Такое вот длинное первое предложение.

Мы находились в Пеннабилли две недели. Сорок студентов – молодые кинематографисты из разных стран Европы, Азии, Латинской Америки – слушали нас, смотрели наши фильмы, показывали свои, и все мы – и студенты, и мастера – состязались в сочинении устных историй на темы, заданные Тонино Гуэррой, нашим гуру. Одна из тем была “Граница”.

Мне вспомнились две истории.

Опера в Батумском театре композитора Бабаханиди “Граница”, где американского шпиона пел мой дядя Теймураз Квирикадзе. Помню, как сквозь картонные заросли пробирались два американских шпиона – мой дядя Теймураз и его друг Тото Лолашвили, нарушители советской границы. Они громко пели дуэтом о диверсиях, которые им велено совершить. В глубине сцены стояла погранзастава. Два пограничника глядели в бинокли на американских шпионов и тоже пели дуэтом, как бы состязаясь в громкости с врагами.

Первый пограничник: Ты слышишь шорох, Кобахидзе?

Второй пограничник: Слышу, товарищ лейтенант.

Пограничник: Подкрадемся к ним бесшумно…

В это же время американские шпионы поют, заглушая советских пограничников: “Тише, тише, нас могут услышать”. Так, распевая во всю глотку о соблюдении тишины, пары приближались друг к другу.

В другой сцене коварные шпионы ползли по линиям высоковольтных передач. Из их ушей сыпались электрические искры (тысячи вольт проходили сквозь их тела), а они пели, как разрушат мирную жизнь советских граждан.

В Пеннабилли мне не поверили. Меня защитила Паола Дмитриевна Волкова. Она в молодости была в городе Батуми, и сам композитор Бабаханиди пригласил молодую красивую искусствоведку на премьеру оперы “Граница”… Она помнила и то, как собаки советских пограничников бежали по линиям высоковольтных передач, догоняя американских шпионов, и тоже разбрасывали электрические искры. Опера принималась залом всерьез. Когда американский шпион отравил одну из собак по кличке Дездемона и та, умирая, пропела (не пролаяла, а пропела) грустную арию прощания с чудесным советским миром, девочка, сидящая рядом с Паолой Дмитриевной, плакала… Свою защитительную речь в подтверждение реальности этой оперы Волкова завершила словами: “Это одна из лучших опер, какие я

слышала”.

В один из пеннабиллиевских дней после недолгой езды на автобусах мы приехали к дому Рафаэля Санти, и Паола Дмитриевна Волкова удивила всех сообщением, что божественный Рафаэль Санти к концу своих дней был чрезвычайно толстым и ленивым. Умер он в возрасте тридцати семи лет. Помня автопортрет в картине “Афинская школа”, где он нарисовал себя в толпе афинян, я не мог представить толстого Рафаэля.

Паола Дмитриевна Волкова преподавала нам с Рустамом Хамдамовым еще во ВГИКе. Ею любовались и заслушивались. На ее лекции приезжали из других вузов. “Тициан прожил три жизни Рафаэля и всю жизнь рисовал красивых обнаженных женщин”. Помню эту фразу, произнесенную в 1965 году, и повторяю ее все прошедшие пятьдесят лет, завидуя Тициану: жить так долго и постоянно рисовать, рисовать, рисовать красивых женщин.

Там, в Пеннабилли, я рассказал еще одну историю на тему “Граница”. Но вспомнил ее в связи с давним приездом Тонино Гуэрры, Лоры Яблочкиной и Рустама Хамдамова в Грузию. Был 1980 год. Они путешествовали по Грузии и оказались на съемках моего фильма “Пловец” в Батуми. В те два дня мы выезжали в море на пограничном катере, бросали в бушующее море главного героя фильма Элгуджу Бурдули. Он плыл, а оператор Гурам Тугуши снимал его с борта катера. Актером Элгуджей Бурдули восхищались все: мои гости, заезжие девушки батумской турбазы, деревья ботанического сада (если деревья могут кем-то восхищаться). Элгуджа уверял, что каждое дерево имеет глаза и душу, он разговаривал с ними – мы все были свидетелями, как листья эвкалипта поворачивались в его сторону, когда он ладонями касался ствола…

Капитан пограничных служб Валерий Мокерия, два дня водивший свой катер в водах, где мы вели съемки, сдружился с Тонино Гуэррой и стал на два дня бароном Мюнхаузеном. Он сыпал историями, они отскакивали от его губ, глаз, волос, ушей как электрические искры (вспомним оперу “Граница”). Мы хохотали. Капитан Мокерия накрыл стол в батумском ресторане “Колхида”. Там-то среди рассказов, рассчитанных на застольный хохот, прозвучала эта грустная, трагикомическая история.

Начал ее Валерий Мокерия как арифметическую задачу. Умер старик Симон. Было ему восемьдесят лет. Умер он в деревне Сио. От Батуми километров десять. Сестре Симона Маро – семьдесят семь лет. Дом Маро – в ста шагах от дома Симона. Но чтобы дойти до гроба брата и попрощаться с ним, Маро пришлось сесть на автобус, поехать в Стамбул, из Стамбула полететь на самолете

в Рим, из Рима, тоже на самолете, полететь в Москву, оттуда в Тбилиси, далее поездом в Батуми и уже из Батума на автобусе Маро доехала до деревни Сио. Так она оказалась у гроба родного брата Симона.

Валерий Мокерия насладился нашим непониманием рассказа и продолжил:

– Думаю, вы не догадались о причине, заставившей Маро совершить полукругосветное путешествие, поэтому подсказываю: между домами брата и сестры протекает ручей.

Никто из нас не понял подсказку. Капитан Мокерия улыбнулся:

– По одну сторону ручья – Турция, по другую – СССР. Все, что я сейчас расскажу, произошло на моих глазах. Я служил на границе, был младшим лейтенантом погранвойск.

Ручей, который кто-то назвал Уши Осла, – это государственная граница, охраняемая строжайшим образом: пушки, автоматы, гранаты, собаки, начальник заставы, капитан по фамилии Пушкин, Александр Сергеевич. Тут вы должны мне поверить, именно так звали крупнотелого рыжеволосого капитана погранвойск.

Ручей Уши Осла делил деревню на две равные части: советскую Сио и турецкую Сио.

Советские родственники смотрели на турецких, а те на советских кто в бинокль, кто в подзорную трубу, кто просто так, смотрели и молчали.

В 1937 году вышел строгий указ: не разговаривать с иностранцами! В случаях свадьбы, рождения ребенка или чьей-то смерти, когда надо сообщить другой стороне, деревня Сио начинала петь. Это был выход из ситуации: в указе Министерства госбезопасности петь не запрещалось. Жители Сио (с одной и другой стороны) выносили на балконы, во дворы столы, разливали в стаканы вино и пели такие тексты: “У Амалии родился мальчик. Четыре кило двести грамм…”

С турецкой стороны слышны ответные голоса: “Как назвали мальчика?”

Советский хор распевал: “Виссарион”.

Турецкие голоса довольны: “Хорошее имя. Так звали отца великого Сталина”.

Советский хор ликует: “Наш мальчик – Виссарион Иосифович, ведь мужа Амалии звать Иосиф”. Турецкий хор: “Сталин наоборот?”

Турки предупреждают: “Скажите Иосифу, мужу Амалии, пусть поменьше пьет. Мы видели, как он пьяный упал в Уши Осла и чуть не уплыл в нашу сторону. А ребята Пушкина Александра

Сергеевича стреляют метко…”

Не считая этого инцидента, когда муж Амалии Иосиф спьяну чуть не заплыл в Турцию, случаев нарушения государственной границы не было, почти что не было. Разве что осел или корова забредет в Турцию, не зная, что это заграница. Так и турецкие бараны, или ослы, или коровы имели глупость не знать границ и забредали в недозволенные места. Как разрешались такие недоразумения? К Пушкину приходил пострадавший, чей осел, свинья, баран или корова сбежали за границу. Пушкин, получив бутыль чачи, писал бумагу, которая именовалась именно так: “Нота советского правительства турецкому правительству и описание нарушения границы животным (порода, возраст, цвет, другие приметы)”. Пушкин надевал парадную форму, шел с трубачом погранзаставы к условному месту, и трубач трубил. Вызванный трубой турецкий капитан с суровым выражением лица выслушивал содержание ноты правительства СССР, трубач входил в воды ручья и передавал листок турецкому правительству. Турки или находили осла-корову-свинью-барана, или нет. То же случалось в случае побега турецких животных. Так жила граница. Случаи нарушения ее гражданами СССР или турецкими (американскими, английскими, немецкими) диверсантами были чрезвычайно редки.

Однажды приехал из Москвы лектор общества “Знание” с еврейской фамилией Феркельман, который вот уже несколько лет читал в погранотрядах цикл лекций на тему “Как разгадать хитроумные методы нарушителей границ? Как схватить за руку врага? Теория и практика”. Феркельман привозил с собой наглядные пособия, те самые хитроумные приспособления, которыми обычно пользовались нарушители. Еще Феркельман привозил финскую водку – подарок Пушкину от пограничников финской границы – и письмо-рекомендацию от Министерства обороны СССР. Как-то во время практических занятий он надел на свои туфли копыта кабана и в присутствии воинов-пограничников пошел по специально вспаханной полосе, демонстрируя следы фальшивого кабана. Потом вошел в воды Ушей Осла, громко крича, как не потерять след нарушителя в воде. Феркельман шел по ручью и сыпал в воду нечто, что тут же пенилось и лопалось радужными пузырями, пограничники завороженно смотрели на лектора…

Финская водка погрузила в тот день Пушкина в глубокий сон. Проснувшись, он узнал страшную новость – лектор Феркельман сбежал на кабаньих ногах в Турцию. Разразился ужасный скандал. Пушкина чуть не отдали под военный трибунал. Его спасло письмо Министерства обороны, оставшееся после побега

Феркельмана, в котором говорилось, что Феркельман – человек кристально честный, истинный коммунист и т. д.

Но хватит о Пушкине, о кабаньих ногах еврея-коммуниста. Валерий Мокерия угощал нас по-батумски, ресторан “Интурист” был одним из лучших ресторанов Батуми. Гульнара Жоржоладзе пела репертуар Эдит Пиаф, и так страстно, с французским прононсом, что рассказывать о чем-то постороннем не находилось времени. На аккордеоне играла ее сестра Майя. Наконец Гульнара отошла от микрофона. Мокерия продолжил:

– Вспомним, что умер советский старик Симон.

Его сестра Маро, турецкая подданная, вбила себе в голову, что обязана поцеловать покойного брата в лоб и так отпустить на вечный покой. Маро взяла кухонный нож, наточила его и отсекла головы двум курицам, сварила их в густом чесночном бульоне, слила бульон в кастрюлю, остудила желтые куриные тушки, завернула в турецкие газеты, прихватила бутыль чачи и пошла к пограничному ручью. Попросила турецкого пограничника позвать капитана Пушкина.

– Александр Сергеевич, вас турецкая старуха добивается, – доложил Пушкину переводчик с турецкого в советской погранзаставе.

– У которой баран перешел границу?

– Нет, другая. Сестра умершего Соломона…

– Не Соломона, а Симона…

– Какая разница?

– Что значит какая разница, Творогов? Б… – выругался капитан. – Как привить вам интернациональное мышление? Что ей надо?

– Рвется на похороны брата…

– Как на похороны?

– Так. Говорит, должна поцеловать брата… Мертвого.

– Мертвого?

– У них обычай такой. Настырная старуха, жуть. Лезет в воду и…

Пушкин рассмеялся.

Он завивал горячей завивкой свои кудри. Слабость командира была известна всему погранотряду, и рыжий капитан, уже не стесняясь, курчавил себя четыре раза в год, чтобы быть похожим всем, чем возможно, на своего великого тезку.

Закончив завивку, Пушкин пошел к Ушам Осла. Они с Маро стояли друг перед другом на расстоянии двенадцати шагов. Он в СССР. Она в Турции. Старуха просила разрешения сделать эти двенадцать шагов во воде.

– Нет! – был ответ Александра Сергеевича.

Объяснение с Маро затянулось. Старуха оказалась упрямой. Пушкин не смог ей объяснить, что человек (не корова, не осел, не свинья) на глазах всего мира, на глазах товарища Брежнева Леонида Ильича, который провозгласил: “Священная граница Союза Советских Социалистических Республик на замке”, – человек этот в лице Маро не может входить в воды Ушей Осла без визы, не может вступать на территорию страны, которая первая в мире скинула оковы… (и т. д.).

Капитан прогнал старуху. Ни аппетитно пахнущие куры, ни чача не сделали своего дела. Старуха пригрозила:

– Пушкин, я всё равно дойду до Симона!

Громовым голосом она крикнула своим советским родственникам:

– Не хороните Симона до пятницы!

Чертыхаясь по-турецки, отойдя от границы СССР, она села в автобус, направляющийся в Стамбул. Было три часа ночи, когда она нажала кнопку дверного звонка стамбульской квартиры, где жил ее младший сын Орхан. Узнав о смерти дяди Симона, он не очень переживал по этому поводу и не очень скрывал этого; не понял он и настойчивого желания матери оказаться в СССР.

Что говорила мама сыну ночью, я не знаю. Но утром, в час открытия офиса, где ставят печати в паспорта едущим из Турции в другие страны, в паспорт Маро поставили нужные печати. У сына всюду были друзья.

– Мама, как ты поедешь одна? Я не могу бросить свои дела…

– Я и не прошу…

– Так уж обязательно тебе быть у гроба?

– Обязательно…

– Могла бы стоять у Ушей Осла с нашей стороны, Симона пронесли бы мимо тебя, кладбище ведь за церковью, как я помню, а церковь возле Ушей Осла…

– Молчи, Орхан, ты ничего не понимаешь. Мне не надо, чтобы проносили мимо… Как мне тебе объяснить? Ты, как и твой старший брат, живете другой верой.

– Я не понимаю! Тысячи километров, чтобы мертвого поцеловать… Глупость это…

– Орхан, посади меня в самолет. Остальное не твое дело.

…В самолете Стамбул – Москва через полчаса после взлета мужчина, сидевший рядом с Маро, внезапно вскочил и объявил, что взорвет самолет, если вместо Москвы они не полетят в Рим. Там к моменту их приземления семь турецких террористов должны быть выпущены из тюрьмы, вывезены в аэропорт и посажены в этот самолет, а дальше он скажет, куда лететь.

Самолет сел в аэропорту Рима. Начались переговоры.

Мужчина размахивал портфелем, в котором, по его словам, лежала бомба, портфель маячил перед глазами старой женщины… Римские власти не желали выполнять требования мужчины, не везли турецких террористов.

– Я больше не могу ждать. Мне надо похоронить брата… – произнесла Маро странную для окружающих фразу, вырвала портфель из рук мужчины и бросила его в открытую самолетную дверь. Все закричали, опережая взрыв. Хозяин портфеля упал на пол в проходе. Взрыва не последовало. С бомбой случилась осечка.

Самолет вновь полетел в Москву. В аэропорту Шереметьево старую грузинку, одетую в черные траурные одежды, остановили таможенники. В ее сумке помимо кофты, шерстяных чулок обнаружили новенький пистолет “беретта”. Объяснить что-то вразумительное людям с суровыми лицами, которые допрашивали ее с помощью переводчицы – молодой, но тоже с суровым лицом, она не могла. Маро говорила о покойном брате Симоне, которого она должна поцеловать в лоб, о капитане Пушкине, о вареных курицах, об Ушах Осла, по которому надо сделать всего лишь двенадцать шагов, но Пушкин не разрешил, и вот она в Риме вырвала портфель, а этот чертов пистолет “беретта” не знает откуда…

– Вы вырвали портфель?!!

Суровые люди что-то слышали о римском происшествии. Созвонились с Римом.

– Пистолет, видимо, вам подсунули. Вспомните, кто сидел справа и слева от вас.

Маро вспомнила пышнотелую даму, которая съела свой и ее самолетный завтрак, так как Маро есть не хотелось. Дама с тем мужчиной с бомбой была в каком-то сговоре, он ей подмигивал – это Маро заметила…

Всю ночь в аэропорту Шереметьево ей показывали фотографии, среди которых надо было опознать пышнотелую самолетную даму… Утром Маро посадили в тбилисский самолет. Прилетев в столицу Грузии, она до вечера блуждала по городу, вечером села в поезд и поехала в Батум. Две попутчицы, две курортные проститутки, Тося и Мака, оплакав вместе с ней покойного брата Симона, выкрали у Маро доллары, которые ей дал сын Орхан, и растворились в темноте черноморской ночи.

Батум закрыл ей дорогу в Сио. Она не имела специального разрешения въезжать в запретную для простых смертных пограничную зону. Усталая, измученная, но не растерявшая пыла, она объяснила начальнику батумского КГБ, как вылечить ячмень на глазу. Начальник выждал два часа и, убедившись, что ячмень

бесследно исчез, разрешил старой женщине въезд в погранзону. Маро на всякий случай обыскали – не везет ли огнестрельного оружия, кто знает? Не обнаружив под юбкой ни маузера, ни “беретты”, ее повели на стоянку автобуса Батум – Сио. Два часа в густой пыли трясся полупустой автобус. Четыре зональных шлагбаума, четыре пары рук ощупывали старушечье тело… И вот Сио! Обалдевшие советские родственники смотрели на Маро и не верили своим глазам. Турецкие родственники смотрели в бинокли. Доехала! Успела! Поцеловала покойного брата! Похоронила!

Поминки, тосты, песни. Симон прожил долгую жизнь. Был пасечником и не знал географии. Мир кончался для него за горами, окружавшими деревню Сио. Этим он отличался от своей сестры, которая на старости лет совершила полукругосветное путешествие: Сио – Стамбул – Рим – Москва – Тбилиси – Батум – Сио.

Александр Сергеевич Пушкин, курчавый рыжий капитан, совершил подвиг, вернее, служебное преступление. Александр Сергеевич Пушкин позволил старухе Маро уйти в Турцию, перейдя ручей Уши Осла. За что был отдан под военный трибунал…

Старуха Маро на виду у турков, грузин, пограничников, среди которых стоит и неизвестный доносчик, написавший на Пушкина, задрав подол, делает двенадцать шагов в водах Ушей Осла, нарушая священную границу Союза Советских Социалистических Республик…

В батумском ресторане “Интурист” воцарилась тишина, когда капитан Мокерия завершил рассказ. После затяжной паузы Тонино Гуэрра сказал: “Выпьем за Пушкина Александра Сергеевича”. Почему не за Маро?

Студенты летней школы Пеннабилли шумно обсуждали тему “Граница”. Многие, как и я, описывали необычные случаи нарушения географических границ: мексиканцы ползут сквозь колючие проволоки, опутавшие границу Соединенных Штатов, их ловят американские копы. В сибирских трудовых лагерях заключенный сделал из бензопилы маленький вертолет и перелетел границу лагеря. Африканцы, держа в зубах бараньи пузыри, плывут из Африки в Европу…

В Пеннабилли темное небо, на котором горят крупные звезды. “Вселенная безгранична. Можно лететь миллиарды лет и не долететь до границы, где кончается Вселенная и начинается что-то другое”. В детстве учитель астрономии произнес эту фразу. Я, семиклассник, стоял под алазанским ночным небом, был слышен тихий гул – это бродило молодое вино в кувшинах,

врытых в землю, а я думал о бесконечности моей любви к девочке по имени Мерция Русишвили…

Утром рано в Пеннабилли в женском монастыре бил колокол, когда я и Тома Стенко, будущая мама моего сына Ираклия, сбежали от всех в Венецию. Мы попали в мир безграничной фантазии, где жили Казанова, Бродский, где Отелло встретил Дездемону. Мы с Томой купили люстру из муранского стекла. Мы сделали то, что делает каждый турист. Но в Венеции надо совершать безумства, а не покупать люстры. В маленьком гостиничном номере мы разглядывали похожую на спрута люстру и презирали себя за мещанство. Ночью Тома вынесла люстру, съевшую все наши туристские евро, и утопила ее в водах Гранд-канала. Она пересекла границу разумного…

Мы бежали назад в Пеннабилли. Нас встретили Лора и Тонино, простили наш побег. К тому времени в летней школе забыли о “Границе”, Тонино Гуэрра предложил тему “Испорченные часы”.

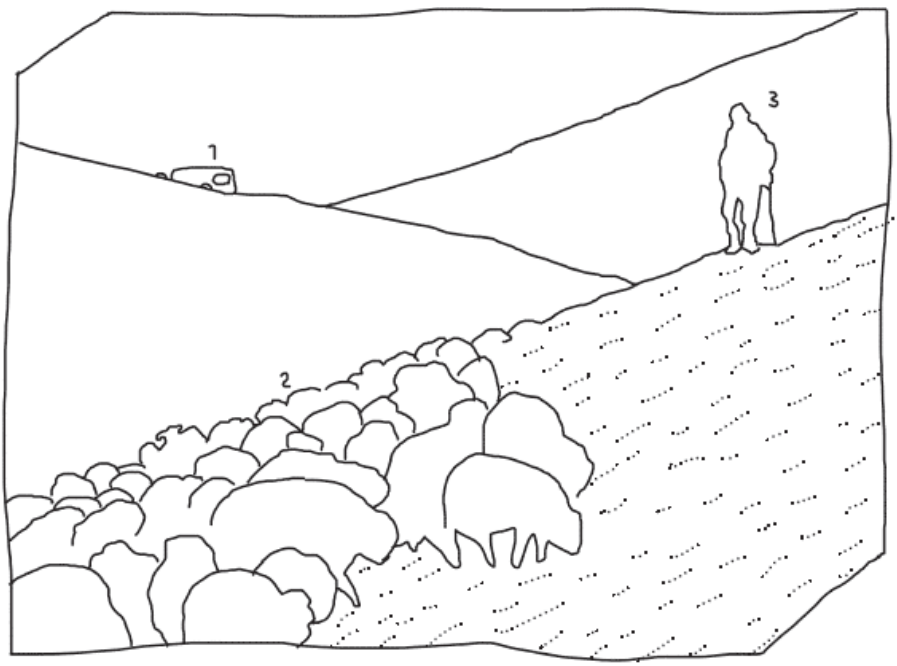
Настала очередь и мне рассказать об испорченных часах. Вспомнился папа Михаил Квирикадзе. Он был уже не так молод, но продолжал донжуанничать, дебоширить, возвращаться домой под утро. Однажды ночью разбудил меня и сказал: “Пойдем искать часы, я подрался, и они с руки слетели”. У нас с отцом были сложные отношения. Он со мной всегда чувствовал себя неловко, так же как и я… Я это понимал, но ничего не мог с собой поделать. В небольшом тбилисском сквере в кромешной темноте мы, пользуясь бензиновой зажигалкой, искали часы. Это были редкие для меня минуты общения с отцом. Разговор каждый раз начинался и обрывался… Под утро часы нашлись. Треснувшее стекло. Папа проводил меня домой, а сам пошел к любовнице. Он протянул мне часы: “Стекло поменяй”. Я носил их много лет, не поменяв треснувшее стекло. Папа ушел из жизни. Я обнаружил его дневник. Историю с часами он описал как желание вызвать меня на разговор и как этот разговор не случился. Каждый из нас охранял свою границу, не позволял другому переступить через нее…

Мы уезжали из Пеннабилли. Тонино Гуэрра в своей заключительной речи вспомнил о полукругосветном путешествии Маро Оболадзе. “Напиши сценарий, сними его сам”. В пути из Пеннабилли в Рим автобус вез нас сквозь дубовые леса. Паола Дмитриевна Волкова спала рядом на затертом автобусном кресле. Хотел показать ей оленя, который выбежал из леса и побежал перед нашим автобусом, покачивая ветвистыми рогами. Но неловко было будить эту замечательную женщину.

…Шел матч “Барселона” – “Ювентус”. Мы смотрели игру в

Берлине в ресторане, где в сигарной комнате собралось десятка три курильщиков сигар. Нападающий “Барселоны” Месси словно плыл в дыму. Зазвонил телефон. Тома протянула мне мобильник. Я спросил, кто. “Это тот, кто заказал тебе сценарий про Маро и ручей Уши Осла…”

Фотография 27. 1967 год



Фотография 27. 1967 год.

Ржавый автобус (1), сотня баранов (2), ночующих на перевале Семь Колоколов. Среди баранов пастух деревни Маффи, двадцатичетырехлетний Тарзан Кобаидзе (3), по прозвищу Пушкин.

Судьба улыбнулась пастуху Кобаидзе в весеннее утро 1967 года, когда тяжелая, сытая пчела, с трудом оторвав уста от цветка миндаля, полетела вверх к окнам анарского райкома партии. Ясон Ясонович Тугуши сидел в кабинете и смотрел на свое беззвучное изображение в телевизоре. С громким жужжанием пчела спикировала на букет белых роз. Тугуши удивленным взглядом проводил нарушительницу тишины кабинета номер один и крикнул кому-то:

– Когда они приезжают?

Вопрос застыл в воздухе, некому было отвечать, пчела беззвучно пила нектар. Открылась дверь кабинета, вбежал помощник.

– Когда они приезжают? – повторил вопрос секретарь райкома.

– Пушкинисты? Двадцатого июня.

– Как мы их встречаем?

– Программу составила Тереза Векуа…

– Позови ее…

– Уехала в Маффет…

Ясон Ясонович поднял кулак и убил пчелу, которая имела неосторожность сползти с лепестков роз… Если вы позволите, я не закончу эту фразу. Пчела умерла, больше она не появится в рассказе, зачем нам знать, куда собиралась она лететь… Из-под кулака Ясона Ясоновича ее маленькая душа полетела к Богу.

…В деревне Маффет школьный учитель географии Леонид Квирикадзе проводил контрольную работу (он замещал больного учителя математики Пачулию). Деревня Маффет была покрыта густым туманом. Во время контрольной работы языки тумана вплывали в открытые классные окна, в белом молоке исчезали фигуры школьников, учителя. Вместе с ними исчезали книжный шкаф, в котором стояли двадцать томов Ленина на грузинском языке и три тома Хо Ши Мина на вьетнамском, а также драное чучело шакала с красными стеклянными глазами. Заполнив класс, туман уползал через открытую дверь в спальню Леонида – учитель был приезжим и жил в здании школы.

– “Из пункта А в пункт Б едет железнодорожный состав…”

Читая контрольное задание, учитель прошел в спальню. На узкой кровати в красной кружевной комбинации сидела третий помощник секретаря райкома Тереза Векуа, та самая, о которой спрашивал Ясон Ясонович за три секунды до убийства пчелы.

– Почему не уезжаешь? – шепотом спросил Леонид.

Обогнув кровать и поцеловав Терезу, учитель вернулся в класс. Зазвенел звонок. Собрав тетради, Леонид вновь поспешил в спальню. Тереза указала на портрет Пушкина в разбитой раме.

– Что мне с ним делать?

– Когда юбилей?

– Не юбилей, а форум “Пушкин на Кавказе”. Международный. В июне. Тугуши требует придумать что-то особенное. А что я могу придумать?

Леонид потянулся к сковородке с остатками форели.

– Хочешь живого Пушкина?

– Как живого?

– Можно устроить вашим пушкинистам встречу с живым Александром Сергеевичем Пушкиным!

– Не понимаю…

– Поехали, поймешь.

…Пастух деревни Маффет двадцатичетырехлетний Тарзан (имя “Тарзан” записано в паспорте) Кобаидзе ловил пиявок особым способом: оголялся, натирал тело какой-то пахучей мазью, входил в болото, заросшее камышом, и стоял по шею в зеленой воде минут десять. Потом выходил на берег, густо облепленный пиявками, сдирал их и складывал в эмалированное ведро. Он сдавал пиявок в аптечную контору, получал деньги, покупал соль, крупу, макароны. Сложив продукты в дерматиновый чемодан и не возвращаясь в Маффет, уходил к своему стаду овец, к своим холмам, где жил в старом автобусе, брошенном кем-то и заржавевшем на перевале Семь Колоколов.

Тарзан вынес из автобуса кресла, загнал в него полусотню овец, готовил еду на примусе, неделями ни с кем не разговаривал, только кричал, подражая голосу Тарзана. Он любил кричать ночами, будил деревню, но деревня не злилась на него. Чуть тронутый умом, Тарзан был услужлив, добр, разбирался в лекарственных растениях, мог сделать бесплодную корову способной к зачатию…

С недавнего времени в автобусе кроме примуса и овец появилась туристка Зося, отставшая от своей группы № 207 маршрута Тбилиси – Пасанаури – Орджоникидзе. Тарзан плохо знал русский, никогда не читал стихов Пушкина, хотя окончил школу, где учитель Леонид Квирикадзе ставил его к стене, на которой висел портрет русского поэта, и все ученики ахали от сходства Тарзана с Пушкиным.

…Машина Терезы Векуа затормозила у болота. На зеленой воде покачивалась кудрявая голова “классика”. Он вышел на берег, облепленный пиявками. Тереза отвернулась. Минут пять ушло на отдирание пиявок. Украдкой взглянув на странную процедуру, в которой принимал участие учитель Леонид Квирикадзе, Тереза изумилась и даже испугалась, увидев огромных размеров инструмент любви Тарзана-Пушкина.

Спустя час Тарзан стоял в кабинете секретаря райкома Тугуши. Тереза держала портрет Пушкина в разбитой раме и с жаром говорила:

– Мы научим Тарзана стихам Пушкина, поставим его на постамент…

Тереза показала рукой на окно, в котором виднелась городская площадь с пустым мраморным постаментом. Не так давно там стоял каменный исполин – Иосиф Виссарионович

Сталин. Памятник снесли, постамент остался.

– Наши пушкинисты приезжают, разглядывают: вроде Пушкин. Вдруг он оживает и начинает читать стихи!

Тугуши смеется, довольный. Потом спрашивает:

– А если они обидятся?

– Не обидятся. Их везут по пушкинским местам: Дарьял – Арагви – Терек… Так? Нас просили устроить им развлекательную программу… Вот мы и развлечем их… Не только же сациви и тосты…

Тугуши взвешивал предложение Векуа:

– Шестьдесят пушкинистов Европы, Америки, Японии. С ними сам Василий Павлович Мжаванадзе едет…

– Василий Павлович первым будет смеяться! Живой Пушкин! И потом, это символ единства грузинского и русского народов… А пушкинисты из Африки как будут рады! Их родной брат…

Тарзан Кобаидзе смущенно улыбался. Он не совсем понимал, что от него хотят.

– Стихи Пушкина читал? – спросил Тугуши.

– Нет…

– Читай, учи день и ночь.

– Я не знаю русского…

Тугуши почему-то продекламировал Маяковского:

– Да будь я и негром преклонных годов, и… что-то там… я русский бы выучил… за то, что им разговаривал Ленин!

Три дня спустя Леонид Квирикадзе писал на школьной доске большими грузинскими буквами русские слова: “Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины…”

Леонид оглянулся на Тарзана, сидящего за партой.

– Читай!

Русские слова звучали в устах Тарзана ужасно. Леонид остановил этот поток абракадабры.

– Сейчас тебе объясню… “Кавказ подо мною. Один в…”

– Не объясняйте…

– Почему?

– Я не люблю русский…

– Тугуши сказал же тебе…

– Сказал. Но я не обезьяна, чтобы стоять на памятнике и…

К маффетской школе подъехала “Волга”. Сторож Шалва посмотрел вслед красивой женщине, затянулся “Казбеком”, выдул дым в пустую бутылку. Тереза Векуа вошла в класс, взяла чистый лист и протянула Леониду:

– Напиши “Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…”

Леонид раскрыл том Пушкина на нужном стихотворении.

– Писать грузинскими буквами?

– Да. Я пойду с Тарзаном в лес, когда мы вернемся, он будет знать стихотворение наизусть…

Тереза улыбнулась Тарзану, который сидел на последней парте и затравленным зверем смотрел на пышногрудую красивую женщину.

…В густых зарослях можжевельника, накрытая мощным торсом Тарзана, стонала, плакала третий заместитель секретаря райкома. Голова ее медленно вползала в лисью нору, около которой они упали час назад. В лисьей норе пахло прелой шерстью, из глаз третьего заместителя лились горячие, счастливые слезы: “Убей меня, Тарзан!”

Солнце ушло за холмы, когда они вернулись к Пушкину.

– Только на танцах на анарской турбазе я жалел, что не знаю русский…

– Читай…

– Но с Зосей я что-то говорю…

– Кто такая Зося?

– Со мной в автобусе живет…

Пчела, может, из того же улья, что и убитая Ясоном Ясоновичем, села на пышную ляжку третьего заместителя. Ее постигла та же участь.

– Читай!

Тарзан читал:

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви…

В Маффет ежедневно стала приезжать “Волга”. Шофер курил “Казбек” со сторожем. Тереза в можжевельнике грызла землю. Тарзан учил стихи Пушкина.

Деревенский милиционер Муртаз Хомерики, обладатель стеклянного глаза, предупредил Тарзана: деревне не нравится, что на утеху “высокопоставленных жоп”, как выразился Муртаз, Тарзан должен кривляться, читать стихи, стоя на памятнике Сталину.

Тарзан не внял предупреждению. Тереза повезла его в ателье индивидуального пошива. Портной Меликян не знал, как шьется камзол и прочие атрибуты одежды начала девятнадцатого века. Но раз партия велит, Меликян снял с Тарзана мерки и обещал через неделю сшить что-то похожее на пушкинские наряды.

В тот день, когда Тарзан примерял камзол, на перевал Семь

Колоколов приехал газик. Два работника райкома посадили туристку Зосю в облепленный грязью вездеход и увезли куда-то, откуда она не вернулась. Тарзан нашел на примусе записку: “Уехала в Арзамас. Буду скучать. Целую. Зося”.

Тарзан разжег примус, стал варить сосиски, купленные в буфете райкома. Засмеялся, вспомнив, как сегодня, свернув с шоссе, они с Терезой поехали короткой проселочной дорогой. Неожиданно Тереза остановила машину, велела шоферу выйти погулять, собрать ежевику, и… Тарзан засмеялся сладким видениям.

Тарзану нравилось ездить на черной райкомовской “Волге”. Ему нравилось бывать в кабинете Тугуши, показывать Ясону Ясоновичу сшитые портным Меликяном наряды. Ему нравилось на виду всего города взбираться на мраморный постамент и репетировать свой номер. Ему нравилось, что заместитель Тугуши давала ему курить египетские сигареты.

Ночами в холодном автобусе он шептал сонным овцам:

Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг… люблю… твоя… твоя!

Приближался день приезда пушкинистов. Анарский райком партии гудел, как встревоженный улей. Надо было организовать застолье на восемьдесят человек. Отряд поваров закалывал баранов, индюков, речка Храмка взрывалась динамитами, серебряные форели падали в плетеные корзины. В лесу был застрелен кабан – Василий Павлович Мжаванадзе, святой отец всех грузинских коммунистов, любил кабаньи шашлыки…

– Что с тобой, Векуа?

– Замоталась, Ясон Ясонович.

Бледная, с бинтами на длинных ногах, с исхудалым задом, который совсем недавно пышно распирал ее платье, Тереза все эти два месяца пропадала в Маффете, обучая долдона-пастуха стихам Пушкина.

– Запри дверь, Тереза…

Тереза заперла дверь кабинета секретаря райкома, села на дубовый стол, через две минуты слезла с него. Открыла задвижку. Тугуши зашел в личный туалет.

Наступил тот день… С утра лил дождь. Гостей ожидали к обеду. Кортеж машин, выехавший вчера из Тбилиси, где завершилась официальная часть всемирного форума “Пушкин на Кавказе”, должен был остановиться во Мцхетах, далее в Пасанаури, там ночной банкет, утром короткий заезд на родину

Важи Пшавелы. Дождь и пшавский завтрак, который мог затянуться, заполняли тревогой душу Тугуши.

В полдень из-под темных туч сверкали молнии, грохотал гром. Тарзан стоял на мраморном кубе, накрытый листом целлофана. Он нервничал, повторял, повторял: “Стою над снегами у края стремнины”. Он смотрел на мокрых пионеров с букетами роз, на оркестр духовых инструментов, на Терезу, шептал ей с высоты куба: “Во тьме твои глаза блистают предо мною”.

…В соседнем Пасанаури пушкинисты, одуревшие от адских выпивок, с трудом несли свои животы к машинам, стоявшим в дубовой роще. Пьяный монгольский пушкинист неожиданно вскочил на местного коня и куда-то унесся вместе с ним. Ждали его час. Вернулся конь один, без монгольского пушкиниста. Нашли его еще через час спящим в поле с одной туфлей. Искали вторую туфлю – не нашли… Долго ждали, когда выйдет Василий Павлович Мжаванадзе. К бронированной машине его вела молодая жена. Святой отец грузинских коммунистов шептал:

– Когда я принимал Александра Дюма, Лаврентий Павлович Берия предупредил: с ним не состязайся в выпивке. Пьет, как верблюд.

Святой отец грузинских коммунистов, когда напивался, путал времена, эпохи – и Дюма, и Берию сажал за один стол воспоминаний.

Мжаванадзе огляделся по сторонам, увидел в машинах головы храпящих пушкинистов: японцев, финнов, англичан…

– Пить не умеете, фраера! Поехали!

Вдоль Арагви вытянулась вереница из черных машин. Спалось хорошо. Через час показалась Анара. Помощник Мжаванадзе повернул голову к заднему сиденью и услышал шепот: “Не останавливайся, проезжай, нет сил”. Чуть приоткрыв глаза, Мжаванадзе увидел памятник Пушкину. Памятник снял цилиндр. “Что за бред”, – подумал Мжаванадзе и упал в глубокий сон. Дождь барабанил по стеклам. Машины одна за другой проехали мимо Тарзана Кобаидзе. Играл духовой оркестр. Какая-то из машин остановилась, вышла молодая поэтесса, посмотрела на памятник.

– Это вы, Александр Сергеевич?

Чья-то рука затащила поэтессу в машину. Она, задыхаясь, говорила что-то бессвязное, ей одной понятное:

– Он ангел, а вы гад… Такие, как вы, задушили его! И он убит… и взят могилой!!!

Машины пушкинистов проехали. Тарзан не мог понять, что происходит: “А мои стихи?” Он спрыгнул на землю, погнался за

пушкинистами, матерясь по-русски и по-грузински… Скатился по травяному склону и оказался впереди кортежа, выехавшего из-за поворота. Тарзан поднял камень. Польский пушкинист Матей Пивовский протер очки и близоруко вгляделся в мокрую фигуру на дороге. Изумился:

– Пушкин! Камни кидает!

…На перевале Семь Колоколов туман. Среди овец, пощипывающих хилую траву, лежал Тарзан Кобаидзе. Его зло высмеяла деревня.

Из тумана выплыла шаровая молния, но Тарзан не видел ее, он спал. Ему снился сон: по снежному полю едет карета. Останавливается. Из кареты выходит Александр Сергеевич Пушкин.

– Здравствуй, Тарзан!

– Здравствуйте, Александр Сергеевич! Куда так рано?

– Еду стреляться с Дантесом…

Скрипит снег под ногами поэта.

– Хотел познакомиться поближе, распить по бокалу, но, видимо, не удастся… опаздываю, жаль.

Во сне появляется Ясон Ясонович Тугуши. Он говорит поэту:

– Александр Сергеевич, вы не поедете на Черную речку! Вместо вас поедет Тарзан Кобаидзе. Вы светоч советской поэзии! Партия не может рисковать жизнью поэта!

– Я еду на дуэль!

На Пушкина набросились двое – те, что увезли Зосю, – оттащили от кареты. Ясон Ясонович подтолкнул Тарзана:

– Езжай! Там, на Черной речке, с этим… как его… с Дантесом не разговаривай! Ты французского не знаешь, он поймет подмену! Постарайся убить его! Это партийное поручение и моя личная просьба!

Карета тронулась. Тарзан оглянулся, увидел в тумане Пушкина, крепко схваченного людьми Тугуши.

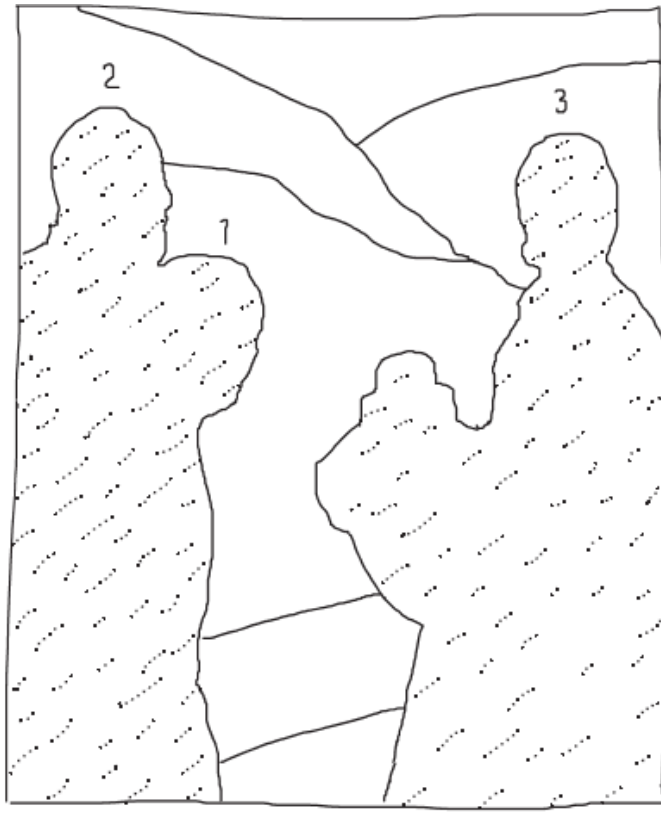
На Черной речке отмерили дистанцию. Выбрали пистолеты. Дантес улыбнулся Тарзану и что-то сказал по-французски. Тарзан молча кивнул. По команде начали сходиться. Шаг, второй, третий…

Тарзан поднял пистолет. Взял на мушку француза…

В это мгновение шаровая молния столкнулась с головой Тарзана. Он открыл глаза, хотел проснуться… Огненный шар расширился, потом сузился в черную точку…

Тарзана Кобаидзе нашли мертвым на перевале Семь Колоколов. Его убила шаровая молния. Рядом лежали четыре мертвые овцы…

Фотография 28. 1985 год



Фотография 28. 1985 год.

Федор Богаевский (1) и я (2) у минерального источника „Боржом №7". Девушка, похожая на Клаудию Кардинале (3) из фильма „Восемь с половиной" Федерико Феллини подает нам теплую воду из источника.

Источник номер семь бьет на Верхнем плато.

Курортники в осенних пальто показывали на нас пальцем и шептали: “Это те типы, которых покусала бешеная собака”.

Мы были известны в Боржоми. По приезде на нас

набросилась огромная собака Дездемона. Меня укусила (стыдно в этом сознаться) в правую ягодицу.

Дездемона, до нашей встречи меланхоличная сучка, то спала у ворот боржомской турбазы, то бегала меж рядов местного базара…

Она покусала не только меня и юриста Федора Андреевича Богаевского, приехавшего в санаторий “Светлый” лечить колит, но еще четверых африканцев, которые в тот день уезжали в свою Африку. Стали ли они бешеными, неизвестно, но я и Богаевский лечились месяц.

Мы встретились с ним в ветеринарном диспансере. Двадцать раз в него и в меня вонзали гигантские шприцы с вакциной от бешенства.

Мы подружились. После уколов вместе возвращались желтыми осенними парками. Здесь до нас гуляли Пушкин, Лермонтов, Толстой, слепой Николай Островский, чью книгу “Как закалялась сталь” в своем пионерском детстве я по наивности любил больше, чем всех названных классиков вместе взятых.

Мы шуршали листвой, вздрагивали каждый раз от собачьего лая и рассказывали друг другу разные истории.

Юрист Богаевский, человек толстогубый, чем-то был похож на светлокожего Луи Армстронга: он так же, как великий трубач, постоянно вытирал платком мокрые губы, хриплым голосом не пел, а рассказывал странные истории своей долгой жизни юриста и любителя женщин.

Я в ответ тоже развлекал его всякими необычностями.

– В боржомских лесах бродил тигр совсем недавно! – сказал я.

Юрист почему-то изменился в лице.

– В Грузии есть тигры?

– Нет.

– Так откуда тигр?

– Забрел сюда из Индии. Такое бывает, редко, но бывает… Они бредут куда глаза глядят.

– Странно. Что ими движет?

– Неразделенная любовь…

Юрист долго молча смотрел на меня.

– Когда это было?

– В тридцатых… Из Индии он побрел в Пакистан, оттуда в Афганистан, потом в Иран и так до Грузии… Его несло на север… Кавказские горы стали ему барьером. Он какое-то время кружил по Грузии. Тигра видели то там, то там… Потом застрелили – жалко…

Мы сидели на веранде столовой “Лакомство” перед входом в

боржомский парк, где сосредоточены все минеральные источники, и во вред лечению колита ели хашламу, макая сочные куски горячего мяса в острую менгрельскую аджику.

Федор Андреевич, чуть заикаясь, произнес:

– Меня преследуют тигры… И всё из-за Цветаевой…

И вновь изменился в лице.

Я не понял.

Федор Андреевич рассказал странную историю. Вначале слушать его было скучновато. Подробный пересказ работы в юридической консультации не предвещал адского развития событий, когда в Золотые Дубы (родной город юриста) вдруг явился тигр.

Чтобы вы не подумали, что два укушенных Дездемоной советских курортника (африканцы не в счет), несмотря на двадцать уколов от бешенства, взбесились и им дуэтом всюду мерещатся тигры, расскажу (перескажу) историю юриста Богаевского.

Когда Федор Андреевич уезжал домой, я попросил у него разрешения написать сценарий по его рассказу.

Сценарий вызвал бурю возмущения в Госкино (Москва, Малый Гнездниковский переулок, дом – не помню).

– Квирикадзе не в своем уме! – кричала Ольга Глебовна К., редактор, которая курировала кино закавказских республик.

Она была похожа на Дездемону. Я имею в виду не боржомскую собаку, а героиню Шекспира. Голубоглазая, тонконогая, белокурая Ольга Глебовна К. В нее были влюблены (тайно) все работники Госкино, в том числе и я – не работник, а автор и режиссер, который из Тбилиси приезжал в Москву на утверждение сценариев, смет, кастинга – всего того, что было связано с кинопроизводством…

– Как вы можете в ваш шизофренический сюжет ввинчивать имя великой поэтессы Марины Цветаевой?! – кричала она.

– Тигр и Цветаева! Бред! – кричали не такие красивые, как Ольга Глебовна, другие редакторши.

Сценарий мой сожгли на костре (шучу!). В действительности он потерялся, исчез в лабиринтах Госкино.

Сегодня я пытаюсь восстановить его в памяти, но у меня получается не моя киноверсия, а рассказ юриста Богаевского, похожего на Луи Армстронга. В ушах звучит его хриплый голос.

* * *

В городе Золотые Дубы на улице Карла Маркса находится

юридическая консультация. В этой консультации работает Федор Богаевский. Посетители консультации – люди с невеселыми заботами: раздел имущества, наследства, тысячи других мелких житейских проблем.

Федор – один из трех мужчин-юристов, сидящих в огромной комнате, где единственная достопримечательность – пальма, стоящая в центре. От пальмы пахнет чем-то кислым…

Федор обычно сбрасывает в кадку чайную заварку (слышал, это полезно), но чахлая пальма продолжает чахнуть и испускать запах кошачьей мочи.

Город раскинулся на берегу большой реки. Белый песок на пляже, белые чайки, белые деревянные дома, белая церковь. Ежегодно проходят ярмарки, есть театр, есть сумасшедший дом.

Начало этой не совсем обычной истории – сороковые годы…

В марте, когда снег только растаял и выглянуло первое холодное солнце, Федора Богаевского вызвали к начальнику.

Состоялся следующий разговор.

– Придется тебе, Федор, один день в неделю сидеть в сумасшедшем доме…

Богаевский удивился. Начальник юридической службы не имел привычки шутить с подчиненными.

Богаевский спросил:

– Почему в сумасшедшем доме?

Начальник объяснил:

– Будешь защищать сумасшедших.

– От кого?

Начальник протянул Федору документ. В нем сообщалось о принятом Верховным Советом СССР решении от 13 января 1949 года засылать работников юридических служб в дома умалишенных для выслушивания жалоб больных пациентов. В документе говорилось, что решение это продиктовано большим количеством случаев беззаконного поведения медперсонала по отношению к обитателям домов умалишенных.

– Но почему я?

– Так решили… Ты человек инициативный…

– Какую инициативу я могу проявить среди идиотов?

– Идиоты в СССР имеют гражданские права, и ты должен будешь их защищать.

Федор Андреевич Богаевский стал по четвергам посещать сумасшедший дом. Ему выделили маленькую комнату в конце длинного коридора. В комнате стояли стол, стул, вентилятор.

Сумасшедшие – смирные, стриженые, в серых халатах – выслушали его речь на встрече, устроенной администрацией. Жалоб никто не высказал. На вопросы: “Обижают? Плохо кормят?

Отнимают деньги?" – дружно, улыбчиво отрицательно качали головами: "Нет, нет, нет". Федор Андреевич прошел по трем этажам дома и ничего подозрительного не заметил.

После первой ознакомительной прогулки по сумасшедшему дому он вернулся к себе в кабинет.

Дел никаких не было. Но сидеть до шести часов и ждать посетителей он был обязан.

Из журнала "Огонек" Федор вырезал ножницами портрет товарища Сталина с пионеркой Мамлакат, кнопкой прикрепил к стене.

В дверь постучали.

Появился мужчина лет тридцати пяти с письмом в руках. Серая пижама, бритая голова и особое выражение глаз значили: "Я сумасшедший". Человек бросил конверт на стол и, резко повернувшись, выбежал из комнаты.

Богаевский прочел: "Федору-тигру". Надорвал конверт, достал письмо. Обращение "Федору-тигру" развеселило его.

Но первые строки письма заставили окунуться в страницы, исписанные мелким, аккуратным почерком.

"…Зачем ты преследуешь меня, Федор-тигр?! Я прекрасно знаю, что ты никакой не юрисконсульт. Ты зверь, который задался целью загрызть меня!..

…Не можешь простить, что я убил ее? А, собственно, почему это я, Гриша Вишняк, убил великую русскую поэтессу Марину Ивановну Цветаеву…"

Федор Богаевский не считал себя большим знатоком поэзии, но имя Марины Цветаевой что-то напоминало… Цветаева – это, кажется, поэтесса, она где-то здесь рядом жила, вроде бы в Елабуге. Там то ли застрелилась, то ли повесилась. Повесилась в начале войны.

"…Я ее не убивал, – продолжал оправдываться автор письма. – Да, я ей сказал, что я из НКВД. Передал то, что руководство поручило передать ей: «Будешь сотрудничать с нами, будешь сыто жить, стишки писать. Иначе – лагерь в Мордовии». «Где?» – переспросила она и что-то записала в блокнот.

Я спросил Цветаеву, что она записала, та молча протянула блокнот, я прочел: «Мордовия».

Потом, когда ее положили в гроб в платье, в котором она шла со мной по лесу, я заметил, что из кармана торчит блокнот, тот самый… Я украл его. Открыл: там много на французском, но на последней странице – та самая «Мордовия» и еще: «У меня нет больше сил жить…»

Послушай, Федор-тигр, все годы я слышу твое холодное дыхание, вижу твои ужасные когти. Я спрятался в этом доме,

изображаю сумасшедшего, все думают, что я безумец. Но я жду только тебя. Я хочу рассказать всё как было…”

Федор углубился в чтение письма. Он еще не знал, что письмо с обращением “Федору-тигру” не единственное, что в следующий четверг ему вновь бросят толстый конверт, и так будет длиться до конца его четверговой службы в сумасшедшем доме. Под конец Федор даже перестанет распаковывать конверты. А когда через год упразднят этот несостоявшийся эксперимент “Юрисконсульт в психбольнице”, развернутся совершенно фантастические события, связанные с именем великой русской поэтессы Марины Цветаевой.

Но не будем опережать события, вернемся в день первый.

“Мне было велено следить за Цветаевой, – пишет работник НКВД, ныне бритоголовый сумасшедший. – Она только что приехала из Европы. Дочь ее Аля и муж Сергей Эфрон вернулись раньше. Их арестовали, шло следствие. Несколько дел, в которых был замешан ее муж, оставались пу́таны и неясны…

Первые слова Цветаевой, обращенные ко мне, были: «Буфета нет на пароходе!» Мы плыли по Волге.

Тигр! Я кормил ее! Я всю дорогу кормил ее сына Мура, этого неприятного красивенького юношу…

Мы плыли ночью, боялись бомбежки. Ехали по Москве-реке, по каналу Москва – Волга, по Каме двадцать дней.

Писатели и их семьи бежали от войны в глубь России. На пароходе Цветаеву все избегали, она была «неблагонадежна», «иностранка», приехавшая из-за границы. В Елабуге, в этой медвежьей дыре, Цветаева осталась одна с сыном без средств…

Я тоже поселился в Елабуге. Понятно почему. Елабуга – это место, где кончается география. Это – конец, пустота”.

Вишняк подробно описывает, как он жил в одном доме с Цветаевой, как следил за каждым ее шагом, посылал рапорты в НКВД. Последние месяцы жизни Цветаевой он был единственным, кому поэтесса читала свои стихи. Ему и больной дочери хозяйки дома.

Жаркий август, девочка просит Цветаеву, чтобы праздник Новый год и Дед Мороз вновь повторились. Марина велит Грише Вишняку пойти в лес и срубить елку. Идет вместе с ним.

Они срубили елку, украсили ее странными предметами: глиняной кошкой-копилкой, жестянкой из-под ваксы, сломанным будильником, пустыми бутылками.

“В тот день после веселого хоровода вокруг новогодней августовской елки я сказал ей, что я человек из НКВД. И почему-то пригрозил ей Мордовией.

Думал, в веселье она проще отнесется к моим словам.

Вечером я пошел в кино. Из кино меня вызвали со словами: «Ваша соседка повесилась»”.

Богаевский дочитал чрезвычайно путаное и странное письмо. Положил его на подоконник. Дождавшись четырех часов, он покинул кабинет юрисконсульта, куда в течение дня никто больше не вошел, разве что молодая женщина, которая распахнула халат и, оказавшись голой под халатом, спросила: “Что с этим делать?”

Федор, молодой мускулистый волейболист, хорошо знал, что делать с тем, что демонстрировала молодая женщина. Но, выдержав паузу, встал, подошел к двери, выглянул в коридор и позвал санитара. Женщина запахнула халат, тускло взглянула на юрисконсульта и молча выскользнула из комнаты до прихода санитара.

Дома жена спросила Федора, как идет работа в сумасшедшем доме.

Он ел, молча кивнул головой: нормально. Потом спросил жену:

– Кто такая Марина Цветаева?

– Буржуазная поэтесса!

Наступил второй четверг.

В дверь постучали.

На мгновение появился стриженый Гриша Вишняк, кинул конверт и исчез. Федор вскочил, распахнул дверь в коридор. Пусто. Он сбежал по лестнице вниз. На втором этаже тоже никого. Стал заглядывать в палаты, спросил у санитара. Тот не знал Гриши Вишняка. Федор вернулся в комнату.

“Тигр! Тебе надо было загрызть ее сына Мура, но он, я знаю, погиб на фронте… Негодный был парень…”

Богаевский читал подробный донос на неприглядное поведение Мура после смерти матери. Цветаева оставила письмо: “Мурлыга, прости меня, я больше не могу, так лучше. Дальше было бы хуже…”

“Все бумаги после смерти Цветаевой оказались у Мура. Этот архив она привезла из-за границы и взяла с собой в эвакуацию. Мне велели осторожно забрать его.

Мур был странным. Если с матерью его я часами ходил по елабугским лесам, она спала на моих коленях без всяких там штучек, просто утомлялась и спала… мы картошку копали, она поэтому и утомлялась… А с Муром завести дружбу мне было невозможно. Ему со мной было неинтересно. Он говорил по-французски. Он считал меня идиотом, я его не интересовал.

После смерти матери он спал на сундуке с рукописями. Потом решил уехать в Ташкент.

Я нашел одну девчонку и подослал ее к нему. Девчонка была на редкость красивая. Девчонка делала с ним, что хотела. Он расплачивался с ней стихами Цветаевой. Тетрадки стихов были девчонке ни к чему, она для меня их брала.

Однажды ночью я стоял у окна и видел, как она ловко крутила этим мальчишкой. Он был крупным, не по годам сильным, а она – худая змея, но грудастая, с маленькой попкой. Эта попка и делала важное партийное дело. Она добыла четыре тетрадки, дневник французский, что самым ценным было для меня… НКВД интересовался, что Цветаева писала в Европе.

Мур неожиданно уехал. Девочка плакала, я расстроился.

Он даже не попрощался со мной. Я поехал за ним в Энск.

Но он не появлялся в писательских домах… Он оказался на фронте… И был убит.

Я отвез в Энск цветаевские тетрадки. Человек, который занимался делами великой русской поэтессы, был арестован. Я испугался заявлять о себе.

…И тут впервые я увидел тебя. Ты был хорошо загримирован под человека…”

На этом кончается второе письмо.

Богаевский отложил листки, заполненные мелким почерком, вышел искать таинственного Гришу Вишняка, так как в голове юрисконсульта родился вопрос: “А где четыре тетради Цветаевой?” Богаевский не нашел Вишняка, фамилии этой никто не знал. Внешне Вишняк был похож на любого больного. Все они в серых халатах, все бритоголовые, а ростом и весом автор писем был среднестатистическим сумасшедшим без особых примет.

В следующий четверг, когда Федор Андреевич открыл дверь, первое, что он увидел, – конверт, лежащий на свежевыкрашенном полу.

“Федору-тигру” – как обычно, было выведено синими буквами.

“…Сожри мужа ее – недобитого белого офицера, который стал краситься в красный цвет, но я-то знаю, кто он. Дневники ее я читал, так что слушай. Где найти его, я подскажу, дам адрес лагеря, где прячется Сергей Яковлевич Эфрон.

«Он очаровательный, благороднейший человек», – пишет она в дневниках. Слушай меня, какой он благороднейший человек…

Они жили в Берлине. Эфрон повез жену к портному. Это был первый случай, когда Цветаева оказалась у портного. Она не обращала на свой внешний вид никакого внимания. Ножницами сама стригла волосы, носила «баранью челку». А тут – модный портной.

В эмиграции им жилось бедно. Эфрон предложил к

литературному вечеру Марины сшить платье. Марину удивил этот широкий жест мужа. У Эфрона непонятно откуда появилось много денег. Потом такси, через весь Берлин к портному. Ожидание в приемной, долгие споры: какой фасон? Эфрон требует: «Как то платье, которое ты купила в Праге». Марина объясняет портному. Эфрон перебивает рассказ Марины, путает. Потом предлагает поехать, привезти «то платье», уезжает. Через полчаса раздается звонок:

– Я не нашел его.

– Сережа, в шкафу.

– Там нету. Ты не стираешь его?

– Нет, Сережа.

– Хорошо, я еще позвоню, как найду…

В приемной портного слушают их разговор. Эфрон вешает трубку. Он звонит не из квартиры, а из бара на окраине Берлина. Поговорив с женой, выходит из бара, идет по улице навстречу человеку, который встречается с девушкой. Девушка пошла с человеком под руку, оглянулась на Эфрона и на черную машину, медленно ехавшую вдоль маленького круглого сквера. В какой-то момент в одной точке сошлись: машина, девушка, человек, Эфрон. Эфрон вынул револьвер и, приставив к тонкой шее человека, нажал курок. Раздался выстрел, человек стал оседать. Эфрон подхватил человека за талию и внес его в машину. Девушка как ни в чем не бывало продолжила путь. Машина уехала.

На улицах вокруг сквера никто не обратил внимания на глухой выстрел.

За углом Эфрон выбегает из машины, вновь звонит портному. Потом садится в ту же машину и едет к жене. В ателье портного он расстроен, что не нашел платье, и молча принимает советы портного, предлагающего свой фасон…

Она ничего не знала о своем муже. Он получал деньги за подобные мелкие услуги…”

Федор прервал чтение. Кто-то постучал в дверь. Вошел врач. С ним – ведомый санитарами человек, похожий на Гришу Вишняка.

Федор мог поклясться, что это тот человек, но, как ни расспрашивал он бритоголового о Цветаевой, о тетрадях, тот не знал или делал вид, что не знает. Больного увели. Врач остался и разговорился с юристом.

– Что вам эта поэтесса далась?

– Да так…

– Знал я ее. Ничем не интересная, неопрятная женщина. Голова седая, морда зеленая. Приходила в санаторий, где я тогда

работал, просилась судомойкой. Ногти грязные, пальцы углем обожженные. Великая русская поэтесса? Смешно!..

Письмо четвертое призывало тигра грызть, рвать берлинскую и парижскую эмиграцию.

В тот день в комнату Федора вновь зашла белотелая бесстыдница с вопросом: “Что с этим делать?” Пышная грудь, соски, как красные горошины, и требование срочного ответа смутили бедного юриста. Он прижался к ее груди, она упала на колени… Он долго успокаивался после того, как вывел из комнаты сладострастницу. Оконное стекло охладило его лоб.

“Да не буду я читать этот бред. Мне только Цветаевой не хватало. Тетка стишки писала, ее не печатали, повесилась, ну и хрен с ней”, – громко отмахивался от письма Богаевский.

Но в листках лежали страницы, написанные почерком, не похожим на почерк Вишняка. Это были стихи Цветаевой.

Федор поднес их к глазам:

Древняя тщета течет по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!
К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда-нибудь
Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела
Вон – хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)
…За потустороннюю границу:
К Стиксу!..

Федор шепотом повторил дважды последнее непонятное слово “К Стиксу”.

Раскрыв письмо, он окунулся в Берлин, Париж, Прагу, Марсель, Ниццу…

С трудом устраивались литературные вечера. Залы были маленькие. Народу собиралось немного. Марину бесило отсутствие слушателей.

Русская эмигрантская колония игнорировала ее. Она не могла ужиться с белой эмиграцией, как не могла ужиться с красными в России.

Цветаева пишет, пишет. Пишет дома, пишет на пляже Ля-Фавьер, куда она ездила летом с детьми.

Эмигрантская пресса продолжала не печатать ее. Она дралась врукопашную в редакциях. Маленькая, хрупкая женщина в кровь разбила нос редактору “Русской панорамы”.

“Тигр! Сожри их! – требовал автор письма. – Не меня, а их!

Они все виноваты перед ней! Перед великой Мариной Цветаевой!..”

Федор заметил неравнодушное отношение автора письма к поэтессе, на которую он при жизни ее регулярно доносил в НКВД, к которой был приставлен для сбора компрометирующей ее информации.

“Тигр! Сожри их! Разорви на части! Высвободи свое полосатое тело из черного пиджака юриста, покажи свои клыки!!! Сожри русских и советских писателей!

Эти сраные писатели в Энске, когда она бежала из Европы на Родину, как они отнеслись к ее мольбе дать ей место посудомойки? Они испугались! А она просила лишь место посудомойки в писательском санатории… Я кормил ее, я копал ей картошку. Цветаева могла не есть, но не могла жить без окружения, без восхищения, без преклонения перед ней как перед великим поэтом! Я восхищался, я преклонялся, я один. Она читала мне свои стихи… Мне одному… Потом я сказал, что я из НКВД, она повесилась…”

В следующий четверг Федор не распечатал конверт. Он стал от случая к случаю пропускать визиты в психиатрическую больницу.

Вскоре вышел приказ об отмене не оправдавшего себя закона о юридических консультациях в психбольницах.

* * *

Прошло двадцать два года.

Федор Богаевский совершенно забыл историю с письмами. Иногда, проходя мимо дурдома, он вспоминал разве что молодую большегрудую женщину “что с этим делать”. Он по-прежнему работал в юридической конторе, где пальма продолжала пахнуть чем-то кислым.

Дочка Катя выросла и, как положено, увлеклась поэзией. Официально разрешенная в СССР Цветаева стала ее любимым поэтом. Фотография Цветаевой с “бараньей челкой” висела теперь в квартире Богаевского в комнате дочки Кати.

…Организованная профсоюзом юристов поездка в Германию стоила недорого.

Немецкий гид Марго, толстая девушка из русских эмигрантов четвертого поколения, была весела и остроумна.

Она пригласила Богаевского в дом: “У меня брат женится, приходите завтра вечером”. Федор удивился приглашению, но потом понял: петь зовут. Он действительно красиво пел. Марго

слышала его пение в парке замка Сан-Суси.

В Берлине за столом сидели одни русские. Федор опоздал. Берлин – город чужой, в метро заблудился. В целлофановом пакете нес бутылку “Столичной”.

Когда он вошел, на него обратили внимание… Невеста в фате и жених улыбались.

– Гость из Москвы, – сказала Марго.

– Тигр! Тигр! Тигр! – заглушая все голоса, закричал кто-то.

Федор увидел человека, не узнал его. Но всё вспомнилось. Было неожиданно встретить в Берлине сумасшедшего из Золотых Дубов!

Человек побежал от стола к окну.

– Ты и здесь меня достал! Нет! Я не дам себя сожрать…

Человек не договорил, выпрыгнул в окно.

Гости вскочили. Раздались крики.

Все опешили, никто не мог понять, что произошло.

Выбежали на улицу. Этаж третий.

На газоне лежал человек.

Федор, растерянный, подавленный, смотрел на него и не знал, что ему делать.

Берлинская скорая помощь увезла человека. Все поднялись наверх. Свадьба расстроилась.

“Что случилось? Почему он выпрыгнул? О каком тигре кричал?” – спрашивали все друг друга.

Федор не решался рассказать свою историю. Он спросил: “Кто этот человек?” – “Тихий, спокойный человек из России. Дочь вышла замуж за немца, океанолога. Года три назад Гриша, Григорий Лукич, приехал к дочери в Берлин и остался здесь жить…”

Богаевский пытался было рассказать гиду Марго историю о письмах, но та не дослушала, умчалась по делам группы. Договорить Федор не решился. Спросил только, как тот человек. Марго сказала, что он жив, но без сознания. Через два дня Федор Андреевич покинул Германию.

Марго в аэропорту подарила ему книгу “Цветаева в фотографиях”. Значит, что-то запомнила из его путаного разговора.

“Какая красивая”, – поражался Федор Андреевич, разглядывая Цветаеву на пляже в Коктебеле. “Какая необычная”, – шептал он, разглядывая Цветаеву на остальных фотографиях сборника.

В Золотых Дубах после поцелуев, раздачи сувениров, когда Богаевский раздевался в спальне, его окликнула дочь, которая листала в столовой привезенную из Берлина книгу.

– Папа, ты какого года рождения?

Федор ответил и стал снимать с рубашки запонки. Почему-то он внутренне напрягся.

Голос дочери из соседней комнаты:

– Папа, по японскому календарю ты – Тигр!

Федор тихо вскрикнул, ему захотелось разорвать рубашку и увидеть в зеркале шкафа тигриные полосы на своем теле.

Но это было мгновение.

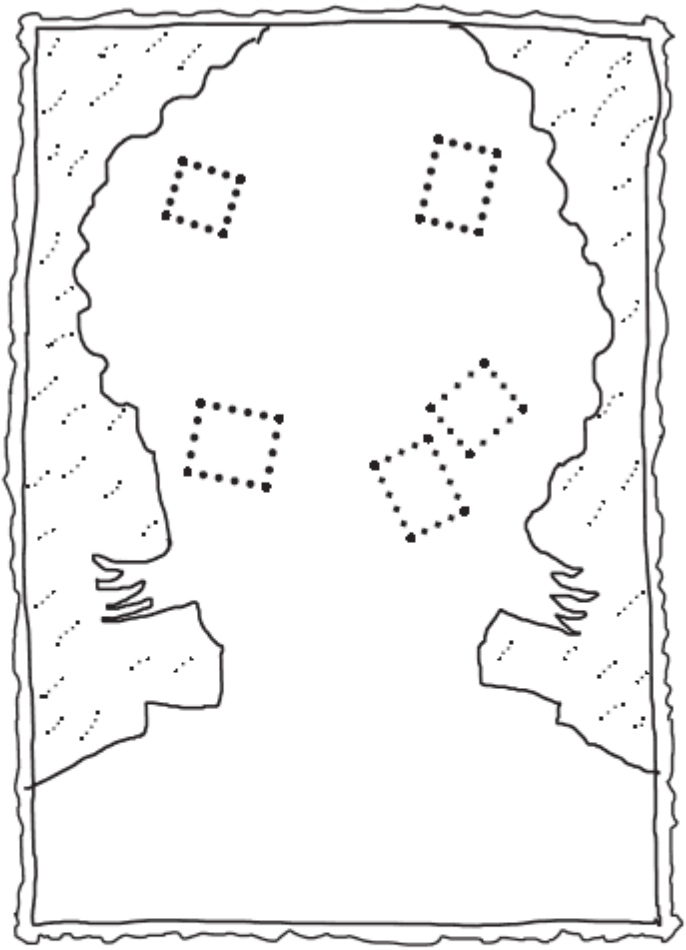
Он сел на кровать и стал капать в ложку сердечные капли.

В окне светила луна.

По реке плыл прогулочный пароход в цветных огнях, на палубе танцевали…

Дочь разглядывала книгу о Цветаевой, молча улыбалась. Федор через открытую дверь спальни разглядывал взрослую дочь, которая стригла челку и слушала сумасшедшую музыку прогулочного парохода…

Фотография 29. 1945 год



Фотография 29. 1945 год.

На снимке мужчина, лицо которого обклеено почтовыми марками. Это Шалва Татишвили, почтальон из Лио.

Когда тебе девятнадцать лет и ты корреспондент газеты “Пожарник Грузии”, а твой главный редактор Рем Джорбенадзе посылает тебя в командировки по большим и малым городам Грузинской ССР, где начальники пожарных команд принимают тебя за столичную шишку, устраивают тебе пышные застолья, не менее пышные, чем в “Сатириконе” Петрония, ты счастлив, чувствуя себя талантливым молодым репортером и немножко Хлестаковым.

Вся моя репортерская карьера рухнула в одночасье, когда, проработав два года в “Пожарнике Грузии”, я написал статью “Так поступают советские пионеры”. В ней я рассказал о пожарнике (фамилию не могу вспомнить), который при тушении пожара в городе Хашури, балансируя на горящей балке, споткнулся, и, пролетев три этажа, упал на тлеющие автомобильные покрышки и потерял сознание. Покрышки почему-то при этом ярко вспыхнули, балка обломилась, пожарник, придавленный ею, лежал, не подавая признаков жизни. Никто не заметил этого падения, так как все пожарное депо во главе с начальником Авксентием Лукаевичем Хорава носилось со шлангами по всем трем этажам, не зная, что их товарищ горит на первом этаже, медленно покачиваясь на покрышках.

Пионер Чаплыгин, похоже, единственный, кто увидел падение неизвестного пожарника. (Кстати, почему я не называю его имя и фамилию? В моей записной книжке тех времен оно зачеркнуто, не разобрать.) Пионер Чаплыгин, увидев, что жизнь пожарника в опасности, смело бросился в огонь, схватил его за брезентовый воротник и поволок, шаг за шагом, к выходу. Пионер с красным галстуком на груди волочил бесценный груз (так я пишу в той статье – “бесценный груз”), обливаясь потом, заглатывая углекислый газ. Он выволок пожарника на воздух. Дальше я пишу, что пионер Чаплыгин сделал искусственное дыхание, даже вдувал воздух по системе “рот в рот” (его учили этому на уроках военного дела), и, когда безымянный пожарник открыл глаза и вдохнул полной грудью, пионер встал, стер с лица сажу и скрылся в толпе. “Так поступают советские пионеры”. Редактору Рему Джорбенадзе понравилась моя статья, он напечатал ее. Проиллюстрировав рисунком горящего дома. Щуплый пионер тащит по траве крупнотелого пожарника, который почему-то в руках держит не отпускает пожарный шланг. Я был счастлив! Всех спрашивал: “Это же не репортаж – это литература?” Все отвечали: “Литература! Хорошая!”

В редакцию пришло гневное письмо из Главного управления пожарной охраны Грузинской Советской Социалистической Республики. “Как вы описываете наших доблестных пожарников?

Они спасают людей, домашний скот: собак, кошек, баранов, коров, верблюдов. Вытаскивают их из огня и дыма, совершают подвиги! А вы что себе позволяете?”

Весь коллектив редакции впал в уныние. Коллектив – это Рем Джорбенадзе, я, Ираклий Квирикадзе, и Эльза Подколокольникова, секретарь, за сердце которой шла тайная битва между главным редактором и единственным штатным корреспондентом. Нас всех вызвали в пожарное управление. Человек в погонах полковника кричал: “Мы прощали вам всякие глупые статейки вроде «Токио вновь порадовал нас грандиозным пожаром»!..” Рем Джорбенадзе прервал полковника: “Вы же сами говорили, товарищ Чичуа, что пожары в капиталистических странах должны радовать нас, а пожары в странах социализма – печалить. В Токио – радовать, в Чикаго – радовать, в Париже – радовать, а в Софии, Бухаресте, Белграде – печалить”.

Полковник посмотрел на Рема Джорбенадзе, помолчал, потом сказал: “Есть приказ разогнать вашу редакцию”. Рем Джорбенадзе хотел что-то сказать. Полковник его прервал: “Ты идиот, она проститутка, а он извращенец”.

Короткостриженая Эльза Подколокольникова перекрестилась: “Почему я проститутка?” Ткнула палец в меня: “А он извращенец? Почему?”

Полковник ответил: “Рот в рот, что это? Не извращение?”

Редакцию разогнали. Не надо было мне нарушать канон: из огня пожарник должен вытаскивать пионера, а не пионер пожарника.

Когда я уехал учиться в Москву, во ВГИК, тетрадь, в которую записывал всякие истории, происходившие во время моих командировок по пожарным депо Кахетии, Имеретии, Гурии, Менгрелии, Раче, оказалась очень ценной, я находил там сюжеты для студенческих короткометражек. В дальнейшем сценарии фильмов “Лунный папа”, “Городок Анара”, “Влюбленный кулинар” взросли из семян, разбросанных на страницах той “пожарной тетрадки”.

И сегодня я ее храню – затрепанную, изгрызенную крысами, жившими в монтажном цехе киностудии “Грузия-фильм” (обычно, когда я монтировал, месяцами ночевал в монтажной на раскладушке). Я плакал (поверьте) и проклинал крыс, набивших желудки моими записями. Но кое-что сохранилось. Вчера перечел короткий рассказ “Человек-письмо”, он не про пожар и совсем не смешной. Хотя нет, он тоже про пожар, который разжигается в человеческих душах, когда вокруг полыхают войны…

* * *

Лиойский почтальон Шалва Татишвили перестал разносить письма. Вторую неделю он сидел в своей комнате, не ел, не пил, молчал. Его жена Кеке, женщина сильная и телом, и духом, мужественно встретила удар судьбы – похоронку на их единственного сына. Мальчика звали Давид. Четыре года он аккуратно слал письма. Сейчас, в самом конце войны, в разгар весны, когда в Лио белым цветом цвела курага, всё кончилось.

Ночью почтальон исчез. Кеке обнаружила его исчезновение утром. Она вышла во двор, заглянула в сарай, подошла к старому тутовнику – в тени его Шалва любил сидеть в жаркие часы и пить чай. Было раннее утро, солнце еще не взошло, и нигде – ни в сарае, ни под тутовником – Шалвы не было.

Кеке пошла по деревенской улице, не обращая внимания на звон колокольчиков, висящих на шеях коров, – их собирал в стадо пастух, – она не спросила, видел ли он Шалву, – она знала, где он должен быть.

Грузная женщина направилась вверх в гору. Двадцать шесть пчелиных ульев – это их улья. Вот деревянная времянка – полудом-полусарай. Больше всего на свете почтальон любил пчел.

– Шалва! – позвала она.

Никто не ответил.

Кеке заглянула в щель. Дверь была заперта. Сквозь щель она разглядела мужа. Он сидел на стуле и чесался. Обеими руками расчесывал шею, лицо, уши.

– Шалва!

Почтальон не посмотрел в ее сторону. Он раздирал себя до крови, до царапин. Кеке могла бы выбить дверь, она даже толкнула ее – дверь поддалась, – но вторую попытку не сделала.

Кеке опустилась на корточки и застыла в раздумье. Взошел красный солнечный диск. Теплый ветер гнал вихри белых лепестков.

Кеке услышала глухие удары о стены сарайчика, еще раз посмотрела в щель. Муж гонял пчел, влетевших в сарай, убивал их. Женщина отошла от сарайчика, пошла вниз по тропе к деревне. У дома фельдшера Сосо Месхи она остановилась и позвала:

– Сосо!

Старый фельдшер, босой, растрепанный, с заспанными глазами, вышел на порог. Фельдшер был другом почтальона.

– Заходи, Кеке!

В комнате пахло травами, пучки которых были развешаны на веревках, на стенах, под потолком.

Фельдшер незаметно от Кеке достал из стакана вставную челюсть, вставил ее в рот.

– Не ест, не пьет с того дня… – сказала Кеке.

– Не пьет?

– Как налила чай, так и стоит в пиале пятый день…

– Не может быть.

– Вот так… а сейчас пчел убивает.

Фельдшер сузил глаза, цокнул языком.

– Убивает?

– Да.

– Пошли к нему.

Фельдшер сделал круг по комнате, растер в ступе какие-то сухие ягоды, все его движения были механические, без особого смысла…

– Пошли, пошли, – повторил он.

Две фигуры: женская – большая, грузная, и мужская – коротконогая, – темнели на тропе, ведущей к пасеке. Сосо крикнул:

– Шалва!

Молчание.

Фельдшер и Кеке посмотрели в щель.

– Шалва, это я, Сосо, открой дверь!

Шалва сидел на стуле и смотрел так, словно позировал фотографу. Спокойно и безучастно.

Взломав засов, Сосо и Кеке ввалились в узкое, душное помещение.

– Мне не нравятся твои глаза, – сказал фельдшер. – Шалва, это же война, она убивает детей, ты это знаешь как никто другой. Сколько похоронок раздал ты?

– Двадцать шесть, – сказала Кеке.

Почтальон отрицательно покачал головой. Жена посмотрела на него.

– Двадцать семь! – поправилась она.

– Мне не нравятся его глаза! – повторил фельдшер. – Ну-ка, закрой дверь!

Кеке закрыла дверь и занавесила покрывалом окно, фельдшер взял со стола свечу и поднес к глазам почтальона.

– Странно…

Шалва сидел всё такой же спокойный и безучастный.

– Странно!..

Фельдшер удалял и приближал пламя свечи к лицу почтальона.

– Зрачки не сужаются от света и не расширяются в темноте – они неподвижны.

Он отошел от Шалвы, скинул с окна покрывало.

– Когда зрачки неподвижны, это значит, человек мертв.

С громким жужжанием в дверь влетела пчела.

– Пошли отсюда, Шалва, – сказал фельдшер.

О том, что у почтальона зрачки неподвижны, как бывает только у мертвых, Сосо рассказал председателю Георгию Патиашвили. Тот разбирался в медицине, когда-то сам учился в ветеринарном техникуме и поэтому не поверил фельдшеру.

Георгий был однорук, носил гимнастерку с пришпиленным к плечу пустым рукавом. Таким он вернулся с фронта год назад.

– Горе у него, врагу не пожелаешь… но живой человек мертвым быть не может… Пойдем к нему.

Вечером в доме Шалвы в темной комнате при свете керосиновой лампы председатель глядел в глаза почтальона. Он так близко подносил лампу к лицу Шалвы, что, казалось, вот-вот опалит ему ресницы. Черные чашечки зрачков не реагировали на свет.

– Значит, так! – с привычной для себя решительной интонацией начал Георгий. – Ты живой человек, ты должен жить ради памяти Давида…

Георгий осекся, сделал паузу, не зная, как продолжить ободряющую речь.

– Завтра, а может, уже сегодня, мы добьем этого шакала, эту фашистскую свинью. Ты – почтальон. Газеты, письма должны приносить теперь только радость… слышишь, Шалва… собери силы… поешь… Верблюд может без воды… но ты же не верблюд, неделю не ешь… Кеке, подай чай… я напою его…

Георгий поднял пиалу, хлебнул, попробовал, не горячо ли, потом поднес пиалу к губам Шалвы. Тот после краткой паузы, оглядев Георгия, Сосо и Кеке, стал пить.

Утром Кеке сказали, что на пасеке ночью гулял медведь.

Она зашла к мужу, тот спал, тихо посапывая. Кеке обрадовалась: “Спит, слава Богу!” Неделю она не видела мужа спящим. Она пошла вверх в гору, к пасеке. Улья были разворошены, сорваны крыши, смяты соты, один улей свалился, лился мед, и гудели зло пчелы. В сарайчике медведь наделал большую кучу, видимо, влез в окно, разбив его, – на острых стеклах остались пучки бурой шерсти.

Кеке села на стул и заплакала. В изгаженном медвежьим разбоем сарайчике нахлынули на нее сдерживаемые при людях слезы.

– Медведь узнал, что тебя нет, мальчик мой…

Она выдергивала волоски с осколков окна, тихо полуплакала, полушептала:

– Как ты его пугнул в то лето, когда это было… Как мы смеялись, когда ты рассказывал…

Надо было наводить порядок на пасеке, и Кеке, прервав плач, стала обходить улья.

И вдруг она услышала выстрелы. Они раздавались снизу, из деревни. Когда Кеке лопатой поддела медвежью кучу, подняла и понесла, она ясно услышала вопивший голос “Победа!!!”

Кеке отбросила лопату, побежала вниз, словно и не было ей шестидесяти лет и не весила она два раза по шестьдесят.

Она споткнулась, упала в траву, и ей расхотелось бежать в деревню. Она сидела в траве, большая, грузная, слушала выстрелы. Потом поднялась, вернулась к пасеке, взяла лопату с медвежьим дерьмом, стряхнула, несколько раз вонзила лопату в землю, очистила ее, потом протерла травой и приставила к стене сарайчика.

Наведя порядок на пасеке, Кеке спустилась в деревню. Вошла в свой дом. Ничто никогда так не удивляло ее, как вид мужа. Перед ней стоял бритоголовый – бритоголовым он был всегда, – но на этот раз вся его голова, лоб, щеки, подбородок и даже затылок были оклеены почтовыми марками.

Марки разные: большие, маленькие, цветные, со штемпелями, без штемпелей.

– Ты что? – спросила Кеке.

Муж не ответил.

– Что это такое?

Он доклеил на голову последние марки, лежавшие на столе. Пораженная, она села напротив мужа.

Тот не видел ее или делал вид, что не видит. Потом встал и вышел из комнаты.

Шалва шел по улице, Кеке попыталась остановить его, но он отстранил жену и пошел дальше. Около дома Самсонии он крикнул:

– Письмо пришло!

Хозяин дома Элиоз выглянул из окна.

– Письмо пришло! – повторил Шалва.

Он зашел во двор, огляделся, заметил жену Элиоза, девочек, которые в изумлении смотрели на почтальона.

– Здравствуйте, дорогие мама и папа! Шлет привет вам ваш сын Лука, – начал почтальон.

Кеке подошла к мужу.

– Шалва, что ты говоришь, замолчи…

Шалва не замолчал, он говорил, словно бы озвучивая чье-то письмо:

– Рана моя зажила. Хоть мучила она меня долго и мучила моих врачей, пулю с трудом достали из живота, закрутила она все кишки, но зашили их, все, все дырочки, теперь я здоров, вы

посмотрите на меня и не догадаетесь, где я был продырявлен пулей. Вот так-то! Спасибо врачам! Не плачьте обо мне, как я уже сказал, я здоров. Скоро выпишут меня из больницы, и поеду я добивать фашистских гадов. А после победы приеду к вам. Так хочется обнять вас. Как там мои сестренки? Выросли уже? Невестами ходят?! Без меня не выдавайте замуж…

Элиоз взял Шалву за плечи:

– Замолчи.

– Из окна моей палаты я вижу провода, на них сидят птицы, они, как мои сестрички, – смешные, красивые… Вот птицы улетели, и я кончаю письмо. Целую вас всех. Ваш Лука.

Шалва освободился от рук Элиоза, повернулся и вышел со двора.

– Он что, сошел с ума? – спросил Элиоз.

– Не знаю, я пришла домой, он весь в марках, потом вот сюда, к вам зашел, я не знаю… – растерянно ответила Кеке.

– А что он за письмо читал? – Элиоз посмотрел на свою жену. – Мы получали такое письмо от Луки?

– Нет.

С гор спускалось стадо. По улице шел человек-письмо. Первыми на него реагировали дети. Один, второй, третий – и вот уже целая толпа детей окружила почтальона. Детские руки тянулись к маркам. Шалва не слышал, не видел, как они отклеивали марки с затылка.

Кеке догнала мужа, который стоял во дворе одинокой вдовы Кетеван Якобашвили.

– Помнишь, как тихо выл филин у наших окон, как он мешал нам спать. Как я ненавидел его тогда. Помнишь, однажды ночью я вышел, чтобы убить его… Если бы ты знала, Кетеван, как я вспоминаю сейчас того филина, как мне хочется, чтобы была ночь, ты, я и филин. По ночам здесь, на Украине, тоже воют филины, не воют, а ухают, воют шакалы, а филины ухают. И вот я слушаю их и вспоминаю наши ночи…

Притихшие дети смотрели на человека-письмо. Молодая вдова стояла в дверях дома и молча, напряженно слушала Шалву.

– Постеснялся бы детей… – шептала Кеке, – не позорь себя…

– Пусть говорит! – возразила Кетеван.

Но Кеке схватила мужа за рукав и потянула. Он не поддавался; она потянула сильнее, сдвинула с места. Человек-письмо стал быстро-быстро удаляться от Кетеван, договаривая на ходу:

– Кетеван, я не всегда был хорошим мужем, мне стыдно вспоминать наши ссоры. Я не взял тебя в Кисловодск, а ты так хотела. Кетеван, вот кончится война, и мы поедем…

Кеке выволокла мужа на улицу, прислонила спиной к стене.

– Очнись!

Шалва дошептывал письмо Кетеван. Кеке отогнала мальчишек.

– Шалва, ну что с тобой случилось… Шалва…

У Кеке от отчаяния опустились руки, она потеряла злость, нежностью и тревогой наполнились ее глаза…

– Ну что с тобой? А? Пойдем домой… покушаешь…

Почтальон покорно побрел за женой.

Но едва они свернули за угол, как он остановился перед домом мукомола Леселидзе.

– Письмо пришло!

Кеке тянула мужа за рукав, но Шалва вырвался и оказался во дворе мукомола. Почтальон закричал:

– Папа, я жив! Я не могу назвать места боев, это тайна, но я жив! Месяц мы выбирались из окружения. Было такое, что и не опишешь в письме…

Мукомол грозно шел к Шалве:

– Это о чем ты?

– Помнишь, ты учил меня на охоте лежать на дне озера и дышать через тростинку, папа, если б ты знал, – это оказалось спасением для меня, я пролежал на дне болота, скрываясь от погони, целые сутки. Немецкие сапоги два раза ступали по моему животу, но я лежал, затаившись…

– Что он говорит? – спросил мукомол Кеке.

– Он читает письмо Петра.

– А где само письмо?

– У него в голове…

Кеке сказала это со смирением в голосе. Она прекратила бороться с мужем.

– Он что, потерял его? Шалва, где письмо? – мукомол обернулся к Шалве.

– В болоте со мной лежали семь человек, они благодарят тебя… получается, что ты спас им жизнь… У меня сломано ребро…

– Какое ребро? Где письмо?

– Это он придумывает, – заступилась за мужа Кеке.

Мукомол понял, что перед ним разыгрывается какой-то спектакль. Он оскорбился, толкнул Шалву, но тот не прекратил декламации. Мукомол зажал огромными ладонями ему рот и так понес почтальона к воротам. Выведя Шалву, он хотел уйти, но голос остановил его.

– Я высылаю тебе фотографию девушки Тамары, она просила, чтобы я сфотографировался рядом с ней, но я этого не сделал,

чтобы вы с мамой не подумали, что между нами всё решено. Вы же знаете – ваше слово решающее! Мне она нравится. Не смотрите, что она выглядит как маленькая девочка. Ей двадцать три года. Она санитарка…

Мукомол слушал Шалву раскрыв рот, ему интересно слушать то, чему нет объяснения.

– Она умная, начитанная, я сказал ей, что у грузин в семье по восемь-десять детей, она сказала, что достаточно иметь двоих, пока это единственное, в чем нет у нас согласия. Если она вам понравится на фотографии, сообщите. Ваш сын лейтенант авиации Петр Леселидзе.

Мукомол закрыл рот и попросил:

– Зайдем в дом, сегодня день такой. Может, ты еще какое письмо моего мальчика найдешь…

Но Шалва уже не слушал мукомола. Он повернулся и пошел по деревенской улице. Кеке шла за ним, покорная и тихая.

Председатель узнал о странном поведении почтальона к концу дня. Когда ему рассказали о говорящем письме, председатель спросил, в каких домах был Шалва. “Это те дома, куда он носил похоронки, – сказал Георгий, – он заболел, не надо его трогать, пусть ходит”.

И в этот момент мимо окон правления прошли почтальон и его жена. Георгий окликнул Шалву, тот даже не посмотрел в сторону председателя; Кеке шла за мужем.

– Целый день ходишь голодный, пошли домой!

Георгий нагнал их.

– Здравствуй, Шалва!

Шалва остановился только тогда, когда Георгий стал перед ним, преградив ему путь.

– Все письма прочел?

Шалва отрицательно закачал головой.

– Много еще осталось?

Шалва подтвердил.

– Почему молчишь?

Шалва не ответил.

– Ты – Шалва Татишвили?

Молчание.

– Ты – письмо?

Шалва подтвердил кивком.

– Ты – много писем?

Шалва кивнул и даже улыбнулся. Георгий не знал, что делать в таком необычном случае.

– Солнце зашло. Почта уже не работает. Может, домой пойдешь, а с утра…

Шалва молчал.

– Знаешь… Мы войну выиграли. С сегодняшнего дня надо залечивать раны. Может, не надо письма читать? Тех, кто их написал, уже нет в живых… а ты ходишь к родным… Ты хочешь сказать, что их дети, мужья живы… да?

Шалва молча слушал Георгия.

– Родным не будет лучше от этого. Они знают, что это письма мертвых. Ты же им уже принес похоронки…

Шалва вскрикнул что-то вроде “да” протяжно-протяжно.

Потом быстро отошел от однорукого председателя.

Дома он поел, попил и тут же заснул. Жена бесшумно двигалась, собирая со стола остатки ужина. Потом и сама легла спать.

В небе светила большая желтая луна. Где-то вдалеке ухал филин. Кеке улыбнулась, вспомнив рассказ о филине… Она встала, пошла босая к ковру, где спал Шалва, залитый ярким лунным светом.

– Шалва, ты письма придумываешь, да?

Шалва поднял голову, сонно посмотрел на жену. Она вспомнила, что забыла во время ужина снять марки с лица мужа.

– Шалва, ты письма придумываешь, да?

– Нет, – ответил муж. Опустил голову и тут же засопел.

Кеке стала осторожно отклеивать марки с его лба, со щек, с затылка. Она положила их в нижний ящик комода, посмотрела еще раз на спящего мужа и вышла.

Утром Кеке проснулась от громкого голоса. Это был голос Шалвы.

– Здравствуйте, дорогие мама и папа! Давно не писал вам. Здесь такое пекло… Вижу Берлин, до него три километра, бьют прямой наводкой. Наша пушка стоит на трамвайных рельсах. Ходят коровы. Точно такие, как наши. Не боятся выстрелов… Напротив дом, там на пятом этаже молодая немецкая женщина стоит в окне и моет стекло. Она тоже не боится выстрелов. Непонятно, почему моет окна. Вокруг такой ад, пекло. Старшина сказал: это значит, скоро конец войне. Женщины это чувствуют первыми.

Дорогие мои папа и мама! Я заговорил о женщинах – значит, скоро конец войне, и еще… главное… Когда нас отправляли на фронт, в Гори я познакомился с девушкой. Папа, в Гори около базара есть тир. Девушка и ее отец работают в нем… Девушка меня попросила, чтобы я пострелял, ей скучно было стоять одной в дождь… Я стрелял, стрелял… Папа, потом эта девушка, звали ее Лиза Абашидзе, приходила несколько раз ко мне, туда, где мы жили, в здание школы… Старшина Хрузин сказал, что я, может

быть, уже отец. Папа, это я, может, уже отец. Я не думал об этом, а старшина Хрузин сказал, что я, может быть, уже давно отец.

Папа, ты знаешь этот тир в Гори… Здесь рядом Берлин, вокруг всё взрывается, горит, а я думаю: “Может, я отец”. Лиза – девочка хорошая. Не подумайте, что она такая… ну, вольная. А эта женщина на пятом этаже всё моет окна. Вся команда нашего орудия смотрит на нее. Я пишу вам письмо в минуту затишья. Но это ненадолго. Стоило мне написать об этом, как началось…

Шалва стоял во дворе дома с наклеенной на лбу маркой. Где-то разыскал еще одну. Замолчал и сел на землю. Кеке подошла к нему.

– А что дальше?

– Дальше ничего, – спокойным голосом ответил Шалва.

– Но это письмо нашего Давида?

– Да.

Муж и жена долго молчали. Он сидел в траве, она склонилась к нему и смотрела на марку, приклеенную на лоб: солдат в шинели, в ушанке, с автоматом бежал по снегу и счастливо улыбался. Щеки солдата были розовыми от мороза.

Шалва вновь исчез. Его нигде не было.

– Может, он поехал в Гори? – говорил председатель Георгий. Кеке рассказала ему о письме Давида. – Да, мы вместе уходили на фронт, и верно, что жили в школе в Гори, верно, что была девочка, не помню, из тира ли, но она приходила к Давиду. Это было четыре года назад… Откуда мог знать о девочке Шалва? Давид писал вам о ней? – спросил председатель у Кеке.

– Нет.

– Странно…

В Лио шел дождь.

Деревья оголились, лепестки покрыли белым снегом всю деревню. Перед домом почтальона стояли Шалва и маленькая девочка. Они только что подошли к дому, пройдя пешком всю деревню, сойдя с автобуса. На улице Шалву спрашивали:

– Кто эта девочка?

– Моя внучка.

– Дочка Давида?

– Да, Давида…

– А где ее мама?

– Рожала ее и умерла.

– Бедная девочка. Какая смешная… Как тебя звать?

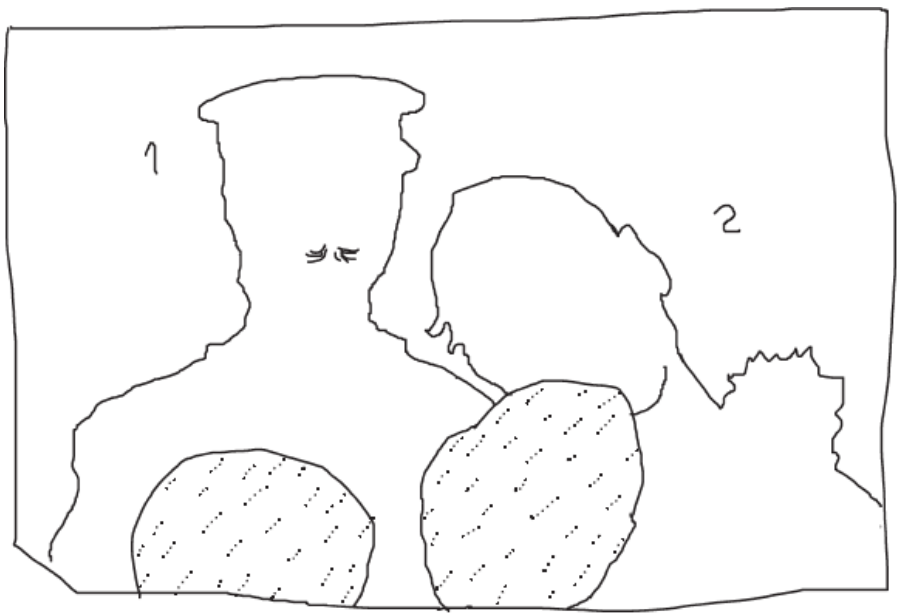
– Лиза…

– Откуда ты ее привез?

– Из Гори.

Шел дождь…

Фотография 30. 1922 год



Фотография 30. 1922 год.
Кристофер Хьюз (1), английский телеграфист в боксерских перчатках. Рядом с ним Сусана Квирикадзе (2). Они молоды, влюблены.

Прошло так много времени, что в Лио вряд ли кто помнит тот трагический выстрел. Но однажды я слышал беседу двух старых лиойцев.

– Помнишь Кристофера Хьюза?

– Не помню…

– Англичанина…

– А, это тот, который убил Нестора Квирикадзе?

– Нет, он не убивал…

– Как же…

– Это Нестор убил Кристофера…

– Да? Путаная история…

– Давно это было.

– А Сусанна?

– У нее был ребенок от англичанина…

– Так кто кого убил?

– Не помню.

Еще я видел тот телеграфный столб, к которому Кристофер Хьюз приковал себя. Читал его письма к Сусанне Квирикадзе. Сусанна Квирикадзе, Чанчур, – моя двоюродная бабушка, я ее хорошо помню. В свои восемьдесят три года она обладала крутым нравом. Способна была огреть любого палкой, выструганной из корневища орешника, палкой, которую я так боялся в детстве…

Часть первая

Анкетные данные:

Имя ..... Кристофер

Фамилия ..... Хьюз

Национальность ..... англичанин

Год рождения 1891

Место рождения ..... Эдинбург

Несколько новых штрихов к портрету Кристофера Хьюза

Аграфина Сихарулидзе, *учительница*:

– Кристофер Хьюз появился в нашей деревне Лио перед самой революцией. Высокий; отнюдь не рыжий и веснушчатый, как многие представляют себе английского мужчину-джентльмена. Кристофер был черноволосым и черноглазым. Волосы набриолиненные. Тяжелый подбородок. Он нравился женщинам. Тяжелые мужские подбородки в те времена были в моде. Я совершенно молоденькой девушкой увидела его впервые…

Хроникер (я, Ираклий Квирикадзе):

– Тяжелый подбородок – боксерский подбородок. Это тоже традиционный атрибут английского мужчины. Но по расхлябанной походке, в которой совершенно отсутствовала координация движений, нетрудно было догадаться, что Кристофер Хьюз не боксер. К тому же он был близорук. Носил очки с толстыми стеклами. В них он чем-то отдаленно смахивал на актера Гарольда Ллойда.

Георгий Гулиев, *коллекционер*:

– В те времена англичане проявляли чрезвычайный интерес к Батуми. Вся бакинская нефть перекачивалась с юга Кавказа в Батуми и оттуда Черным морем вывозилась в Европу. Англичане в Батуми строили порт, причалы, набережную. В городе было множество английских торговых фирм, банков, магазинов…

* * *

Лето 1918 года. Июнь месяц. 26 число. Восход солнца в 6 ч. 13 мин. Температура в градусах Цельсия 27,7.

В этот год, в этот день, в этот час и минуту в батумском порту пришвартовался пароход “Принц Виктор”. На нижней палубе стоял молодой мужчина с набриолиненными волосами. На нем был белый парусиновый наряд служащего Королевского телеграфно-телефонного агентства. Медные гербовые пуговицы блестели в лучах восходящего солнца. Два кожаных чемодана, рулон холста, подзорная труба в чехле.

Почему он приехал в Грузию?

Об этом наш рассказ.

* * *

Взгляните на карту мира. Найдите на ней Англию. Город Лондон. А теперь найдите Индию. Город Дели.

Лондон начала века – это туман, двухэтажные омнибусы, Букингемский дворец.

Дели – это жара, рикши, сладостные струны ситары, невыразимо печальные глаза танцовщиц.

В конце прошлого века был изобретен телеграф. Вскоре – и телефон.

Лондону необходимо было иметь телеграфно-телефонную связь с Дели, а через Дели – со всей Индией, крупнейшей колонией Англии.

Королевская телеграфно-телефонная линия тянулась через множество стран Европы и Азии и соединяла Лондон с Дели.

Часть этой линии проходила по территории Грузии. Английские линейные смотрители прибыли по контракту на жительство в грузинские города и деревни.

Они тщательно охраняли целостность телеграфных столбов, проводов, меняя их в случае порчи, выхода из строя, попадания молний и других незапланированных стихийных бедствий.

Бедствия были не только стихийные. Так, например, на Балканах и в Иране местные жители срывали телеграфные провода и вили из них мосты через горные речки.

Слава богу, в Грузии такого не делали.

Хотя однажды в районе Бахмаро недосчитались семи телеграфных столбов. Но об этом разговор особый. Причина их исчезновения осталась тайной. Как, кстати, и многое другое из того, что будет происходить на отрезке Королевской телеграфно-телефонной линии, находящейся в ведении Кристофера Хьюза, англичанина, прибывшего в деревню Лио в 1918 году 26 июня

вечером на извозчике.

За час до отправления фаэтона Кристофер Хьюз побывал в Батумском отделении агентства.

В большой комнате множество шкафов. На шкафах гирлянды фарфоровых изоляторов. Пусто. Чей-то голос из соседней комнаты:

– Вот эту арию он поет, когда умирает…

Голос начинает неумело петь итальянскую арию.

Кристофер слушает, морщится, смотрит в окно. Виден пустой пляж. Мужчина в белом костюме и шляпе бросает собаке палку. Собака с лаем бросается в воду.

– Где я могу видеть мистера Скроуги?

Ария на мгновение прервалась.

– Он гуляет с собакой.

Кристофер спустился к пляжу.

– Два дня тому назад произошло нечто непонятное. На море появился кит. Вот там…

Мистер Скроуги, начальник Батумского отделения Королевского телеграфного агентства, показал на спокойные воды Черного моря.

– Собралась огромная толпа. На глазах людей кит выбросился на пляж. Он тяжело дышал, медленно шевелил невероятно большим ртом. Его пытались втолкнуть назад в воду. И я пытался… Но наши усилия оказались тщетными, сдвинуть кита хоть на сантиметр к морю нам не удалось. Он лежал весь день. Вечером он издал звук, словно вздохнул, и закрыл глаза.

Мистер Скроуги бросил палку в воду, и собака вне себя от восторга с лаем бросилась ее доставать…

Кристофер Хьюз вышагивает рядом с мистером Скроуги, внимательно слушает его. Они проходят мимо трех персов, сидящих в шезлонгах. Персы безмолвно, с бесстрастными лицами смотрят на море.

– Почему он выбрал такой необычный маршрут? Весело резвился в водах Атлантики, где-то у мыса Доброй Надежды, потом вошел в Гибралтар, Средиземное море – Босфор – Черное море – батумский пляж… Вчера он еще лежал тут… – Мистер Скроуги показал на развороченное место. – Батумцы фотографировались на его фоне…

* * *

Контракты заключались на пять лет.

Жили английские телеграфисты в провинциальных городах и

селах Грузии. Зимой в мороз, летом в жару ежедневно обходили участки протяженностью в пятнадцать-двадцать километров, тщательно обследуя каждый столб, каждый фарфоровый изолятор, каждый провод, по которому проносились тысячи голосов.

Местные жители угощали их хлебосольно и щедро. Англичане пили виноградную водку – запасы шотландского виски, увы, быстро кончались, приходилось переходить на чачу.

Лунными ночами грузины тащили на своих плечах полуживые английские тела до квартир, арендованных Королевским телеграфным агентством для своих представителей.

Оставшись в одиночестве, английские телеграфисты шептали обрывки грузинских слов, только что выученных за пиршественным столом: “Мравал-жамиер, алаверды, сациви, баже”.

В небе мерцал серебристый диск луны.

Холодный свет проникал в комнаты, освещая одинокие кровати. Телеграфисты глядели на луну тоскливыми пьяными глазами.

– Мун! Му-у-ун! – раздавался в ночи вопль одиночества.

Тем не менее утром телеграфисты тщательно бреются. Чистят ботинки, высокие, до колен. Насвистывают. Застегивают френчи, кители на все фирменные пуговицы. Выходят на работу, парадно, торжественно неся достоинство английского джентльмена. Кажется, им не хватает лишь сигары во рту, стека в руке, монокля в глазу и чистокровного арабского скакуна, на котором они совершат утреннюю прогулку вдоль телеграфных столбов.

В действительности же они были выходцами из бедных рабочих предместий задымленных копотью промышленных городов. И покидали они родные края для того, чтобы отслужить пять лет по контракту, скопить деньги и, вернувшись в Англию, купить небольшой участок земли, или пивную, или мебельную мастерскую и стать хозяином, иметь свое дело. А может, просто пропить эти “большие деньги”, пожить с месяц вольготно, с шиком одеться, девочек водить в лучшие рестораны, поить их шампанским и платить за всё: за музыку, за разбитую посуду… И, растратившись в пух и прах, вновь завербоваться на пять лет смотрителем телеграфных столбов в какой-нибудь дыре где-то между Лондоном и Дели.

Вышагивать каждый день двадцать километров – занятие утомительное. Смотрители садились в тени гудящих столбов, прикладывали к ним свои уши и засыпали.

Видения уносили их в далекую страну, где жили их семьи, где ждали их невесты, где ночью горели газовые фонари, гуляли

красивые женщины, такие желанные здесь, в чужой стране.

Кстати о красивых женщинах!

В три месяца раз вдоль линии Лондон – Дели с остановками в городах и селах, где находились опорные пункты английских смотрителей, ехал фаэтон с четырьмя женщинами. Усталые от постоянной тряски по бездорожью, они прихорашивались, подъезжая к очередному пункту, указанному на карте их маршрута. Это были посланцы отдела “Рождественские подарки и другие развлекательные программы” при Королевском телеграфном агентстве.

Иногда “фаэтон любви” запаздывал, иногда вовсе не приезжал. Смотрители негодовали, но продолжали верно служить своему агентству… О, как далеко от них была Англия!..

Одно маленькое утешение.

Просим обратить на него внимание! Вскоре оно будет иметь большое значение в нашей истории.

Королевское телеграфное агентство во всех странах, где проходила линия, закупило землю вокруг каждого телеграфного столба. В радиусе трех метров.

Во Франции, Австро-Венгрии, в Румынии, в Грузии, в Иране, в Афганистане окрестность около столба в трех-пяти шагах была английской землей, английской окрестностью. Сделано это было для того, чтобы вести земельные работы, рыть ямы, менять столбы и т. д., не спрашивая разрешения у местных властей.

Английские телеграфисты радовались наивной радостью, глядя на куст, растущий рядом со столбом, считая его английским кустом. Если полевая мышь рыла нору рядом с кустом, то мышь эта была английской полевой мышью. Если на куст садилась ворона, то и она была английской вороной. Но, перелетев на другой соседний куст, она переставала быть английской вороной и становилась вороной французской, афганской, грузинской.

Несколько новых штрихов к портрету Кристофера Хьюза

Хроникер:

– Внешне, как мы уже отмечали, он отдаленно смахивал на актера Гарольда Ллойда. С той разницей, что знаменитый комик немого кино, попадая в нелепые экранные ситуации, выходил из них победителем. Выражение лица у Ллойда было простака-победителя, выражение же лица у Хьюза – простака-неудачника.

Единственное, что Хьюз умел хорошо делать, это запускать в небо воздушных змеев. В детстве он бегал по пустырям

предместья Эдинбурга и с восторгом следил, как парят они в воздухе, раскрашенные в яркие цвета.

Змеи Хьюза вызывали всеобщую зависть. Они могли с неба спикировать вниз к земле и затем вновь взмыть вверх, совершая сложные фигуры высшего пилотажа.

Хьюз был чемпионом эдинбургских пустырей.

Он мечтал быть летчиком, но врожденная близорукость помешала ему воевать в Первой мировой войне под флагом английского военно-воздушного флота. Четыре года провалялся он в окопах, в грязи, в тифозном бреду, в малярийной лихорадке. Вернулся с фронта с осколком в голове, с тоской по воздушным полетам, так и не поняв, зачем воевал, с кем воевал.

– Ты нужен Англии! Ты нужен королю! – сказали вернувшемуся с войны Хьюзу.

– Готов служить! – ответил он и завербовался в смотрители Королевского телеграфного агентства. Хьюз был чрезвычайно исполнительным. В нем горел гений служения приказам, уставам, параграфам. Отметим два качества его характера. С одной стороны, романтик, наивное дитя, готовый днями напролет запускать в небо воздушные змеи. С другой стороны, дотошный служака, готовый сам стать телеграфным столбом и пропустить через себя провода, лишь бы Королевская телеграфная линия работала бесперебойно, без помех, ныне и во веки веков!

Он был не очень общительным человеком. За два года деревня ни разу не смогла заманить его на пирушки, будь то празднество по окончании сбора винограда или просто случайное мужское застолье, неожиданно разгоревшееся под звуки гармоники. От всех этих приглашений Кристофер вежливо отказывался. В отличие от его предшественника, краснощекого, толстобрюхого раблезианца Джона – заводилы всех кутежей, нового телеграфиста деревня не очень-то любила, но дети деревни его боготворили. С ними он был дружен. Каждому построил по змею, научил запускать и управлять им в воздухе.

Аграфина Сихарулидзе:

– Мне было пятнадцать лет, но я, как маленькая, бегала с мальчишками вслед за Хьюзом, когда он запускал в небо свои “этажерки” – так называл он цветные квадраты, которые парили в воздухе. Они были разрисованы фигурками драконов.

А по ночам небеса окрашивали цветные фейерверки. Кристофер Хьюз был мастером бенгальских огней. Порох, смола и что-то еще неведомое – всё перемешивалось, поджигалось и с грохотом, шипением взвивалось в ночную мглу. Разноцветные гирлянды нависали над деревней Маффет, салютуя детской

радости Хьюза, а заодно мальчишек и девчонок, стоявших на вершине холма.

Догорающие огни опускались в сады, огороды, дворы деревни, возмущая местных жителей, вызывая гневные разговоры о пожарах.

– Это же холодный огонь! – говорили дети своим родителям, без страха беря в руки цветные брызги.

Однажды во время фейерверка я побежала за падающим с неба огнем – мне всегда хотелось поймать в ладонь догорающие искры. Они падали то в речку, то в кусты, и мы, дети, гонялись за ними. И вот в темноте, в кустах я налетела на целующуюся пару. Я увидела Сусанну в объятиях Хьюза. Я была младше нее на три года и помню, как я завидовала их поцелуям…

Потом я видела их на чайных плантациях – это были первые чайные плантации, китаец Цин Лю высадил их.

Я видела, как Хьюз полз на четвереньках меж рядов чайных кустов, не поднимая над кустами головы, а ему навстречу, тоже на четвереньках, ползла Сусанна. На тайное свидание… В деревне встречаться им нельзя было. Я единственная была посвящена в их дела…

* * *

Ранним утром, когда туман только-только начинал сходить с полей, Хьюз отправлялся на осмотр телеграфных столбов. Насвистывая, шел долгие мили до последнего столба своей осмотровой зоны. Там он иногда встречался с другим англичанином, телеграфистом соседней зоны. Кристофер и Ален вежливо здоровались друг с другом, обменивались двумя-тремя фразами и расходились.

Но если Ален был нетрезв, а такое иногда случалось, он заводил долгие разговоры о йоркширских коровах, которых разводил до войны, о жене, которая продала коров и сбежала со священником их деревенской церкви за неделю до его возвращения с фронта. Вспоминал египетских девочек времен службы в Каире. В офицерском клубе, где Ален был кельнером, девочки эти исполняли танец живота. Одна из них по имени Тахия была к нему неравнодушна.

Ален садился на траву у столба, приглашал Кристофера посидеть на их “английской земле”, доставал из кармана письмо, которое прислала Тахия в далекую Грузию из далекого Каира, и читал вслух. В сто первый раз, будто впервые, Кристофер слушал, наперед зная, при каких словах Ален начнет лить пьяные слезы и

целовать письмо.

– Тахия, девочка моя, повремени еще два года, и ты больше не будешь танцевать перед этой офицерской сволочью. Я приеду и увезу тебя в Англию!

Надвигалась гроза мировой революции. В России шла Гражданская война. А два служителя Королевского телеграфного агентства, затерянные в горах, не ведали, что творится в мире.

Один думал о красивом животе египетской танцовщицы, другой – о юной грузинке Сусанне Квирикадзе, которая страстно целовалась с ним на чайных плантациях, у развалин старой церкви и сводила его с ума запретами и табу на свое упругое семнадцатилетнее тело…

* * *

Была сырая осень. В горах выпал снег. Во время очередного обхода телеграфной линии Кристофер Хьюз обнаружил, что около деревни Маффет сорваны провода. Словно чья-то большая острая бритва полоснула по ним, и они разом рухнули на землю. Хьюз с ужасом представил себе Британскую империю, стоящую у онемевших телеграфных аппаратов, кричащую в телефонные трубки, молчаливые и безответные.

Стиснув зубы, соединял он Лондон с Дели. Под вечер тело его гудело от усталости, руки были в кровавых ссадинах, но он был горд собой: он, никому не известный телеграфист Кристофер Хьюз, устранил национальную катастрофу.

Через несколько дней перед изумленным взором Хьюза предстал обрубленный телеграфный столб. Лишь верхний край его с фарфоровыми изоляторами висел в воздухе как крест, как распятие, возносящееся к небу.

Кто совершил это злодеяние?

На другой день длинноухий мул тащил по извилистой тропе новый столб.

Хьюз с лопатой в руках брел за ним по извилистой горной тропе. Подозрительно разглядывал лица встречных. Все они приветливы, пастух предлагает свои услуги, крестьянин с горой хвороста на плечах улыбается ему, семейство местного знахаря вышло из леса с охапками лечебных трав и цветов, вежливо здоровается.

Но кто срубил столб? Кто сорвал провода? Ведь кто-то из них.

* * *

В Батуми и Поти высадилась дивизия шотландских стрелков, прибывшая на поддержку меньшевистского правительства Грузии.

Меньшевики, теснимые Одиннадцатой Красной армией, взмолились о помощи и обратились к Лиге Наций. Лига послала шотландцев. Спасители прибыли в юбках. Целыми днями маршировали они на набережных под унылые звуки волынок. Стрелки в клетчатых юбках выглядели и грозно, и смешно.

Вскоре Одиннадцатая армия большевиков смешала стройные ряды марширующих полумужчин-полуженщин. Они поспешно взобрались на свои корабли и отбыли к далекому туманному Альбиону, прихватив с собой местных меньшевистских лидеров и представителей английского Королевского телеграфного агентства, грузинская зона которого совершенно вышла из строя.

Разладилась, прервалась линия Лондон – Дели.

Телеграфисты, разбросанные по городам и деревням Грузии, были оповещены о досрочном окончании срока службы, и все они прибыли на побережье, кто в Батуми, кто в Поти с чемоданами, сундуками и прочим личным и казенным имуществом. Это был побег. Большевики наступали. Шум, гам стоял на пристанях приморских городов.

Вскоре все стихло.

Недолгую тишину нарушили медные трубы оркестров.

В города и деревни входили красные полки.

Красные знамена, транспаранты, плакаты, гирлянды, трибуны, митинги…

Началась советизация Грузии.

О Кристофере Хьюзе в суматохе забыли. Депеша, которая была ему послана с приказом явиться в Батуми, утонула в реке вместе с пьяным почтальоном, упавшим с моста. Почтальон этот обслуживал несколько деревень. В тот день он вез радостную весть богатому виноторговцу, отцу шестерых девочек: в Кутаиси жена его разрешилась мальчиком.

Виноторговец напоил почтальона, и тот свалился с моста в воду. Взмокшая депеша три дня лежала в кармане утопленника на дне реки, потом всплыла со вздувшимся телом и медленно поплыла вниз по течению, удаляясь от Кристофера Хьюза, который, в свою очередь, удалялся от депеши, вышагивая вдоль никому уже не нужных телеграфных столбов.

Кристофера удивляло, что он перестал встречать Алена, с которым он было сдружился. Кристофер написал ему записку: “Где ты? Что с тобой? Буду в четверг. Жди”. Прикрепил записку к пограничному столбу между его и Алена осмотровых зон. Ален не пришел. Не было его и в следующий четверг.

Когда Кристофер вернулся в деревню, он увидел на площади

грузовик. Рядом стоял человек и громко, с пафосом что-то говорил по-грузински. Деревенские жители сгрудились около грузовика и молча слушали говорящего. Кристофер заметил за спиной оратора развевающееся на ветру полотнище с рисунком гигантского змея. На голове змея – цилиндр с красно-синими полосками английского знамени. Надпись: “Гидра империализма хочет задушить рабочий класс”.

Рядом другой рисунок: рабочий наступил на змея своими тяжелыми ботинками и занес меч. Надпись: “Мы отрубили ей поганую голову”.

Кристофер не понимал речи оратора. Но змея с цилиндром из английского знамени возмутила его чрезвычайно. Кровь ударила ему в голову. Расталкивая слушателей, он пробрался к грузовику, схватил полотнище, разорвал на части. Прокричал в ухо оратору: “Не позволю оскорблять честь Великой Британии!”

Опешивший оратор не понял, чего хочет этот человек, почему он прервал его, агитатора, рассказывающего о положении молодой Советской республики, почему разодрал агитрисунок?

– Кто он такой? – спросил агитатор.

– Английский телеграфист! – ответили агитатору.

Кристофер повесил кусок полотнища перед дверьми своей комнатки, лег, не раздеваясь, на постель, но не смог заснуть. Всю ночь к нему стучались, но двери он не открыл.

Под утро пошел сильный дождь. Потолок в нескольких местах протекал. Кристофер подставил таз, жестяные банки. Перезвон капель усыпил его.

Дождило целую неделю. Промокший, возвращался Хьюз с осмотра, мастерил новых воздушных змеев, разрисовывал их красно-синими полосками английского знамени. Ожидал солнечных дней.

* * *

Однажды под вечер Хьюз услышал голоса. Выглянул в окно и увидел трех мужчин, прыгавших через лужи. Они бежали к дому.

– Кристофер Хьюз?

– Да.

Человек, который задал вопрос, был высок, широк в плечах, на груди его красовался красный бант.

– Я Нестор Квирикадзе, председатель деревенской коммуны!

Человек говорил на плохом английском, но Кристофер понимал его и был рад слышать впервые за долгие дни родную речь. Бог с ним, с произношением.

– Вы говорите по-английски?!

Человек не ответил, посмотрел мимо Хьюза в глубь комнаты, увидел на стене портрет короля Георга и пару боксерских перчаток, оставленных Джоном, бывшим до Кристофера смотрителем линии.

– Сколько вы весите, Хьюз? – неожиданно спросил Нестор.

– Девяносто…

– Де-вя-но-сто! – растянул Нестор. – А я вешу девяносто восемь. Вас это не страшит?!

– А почему это должно меня страшить?

– Я на целых восемь килограмм тяжелее вас!

– Ну и что?

– Нет, ничего. Просто восемь килограмм – большое преимущество.

– Вы что, хотите со мной драться?

– Почему бы и нет?

Наступила пауза. Нестор подошел к боксерским перчаткам.

– А вы владеете боксом? – Квирикадзе подбирал вежливую форму обращения, но по-английски у него получилось: “А вы умеете бокс?”

– Когда-то умел. – Хьюз посмотрел на Нестора и прочел в его глазах вызов. Принял этот вызов. – Но могу и сейчас…

– Очень хорошо! Давно не надевал перчатки…

Пришедшие с Нестором смотрели то на портрет короля, то на воздушных змеев, то на мокрые следы от своих калош.

– А где будем? – спросил Хьюз, натягивая на руки перчатки. – На улице дождь.

– Да прямо здесь…

Девяностокилограммовые мужчины встали друг перед другом в классические боксерские стойки. Комната сделалась маленькой. От первого же удара Нестора Кристофер треснулся задом об пол. Это было неожиданно для него.

– Я бью крепко! – запоздало предупредил Квирикадзе.

Кристофер молча встал и принял исходную позицию. Нестор улыбнулся. Но вот перчатка Хьюза прошла мимо рук Нестора, попала в лицо. Тот пошатнулся, налетел на стол. Медная миска долго позвякивала, упав на пол, а Нестор уже бил глухую защиту Хьюза. Девяностокилограммовые мужчины ожесточились. Они взмокли, улыбались странными застывшими улыбками.

Прошло три минуты. Один из зрителей, предупрежденный Квирикадзе, что должен глядеть на часы и дать знак, вскочил и крикнул:

– Время!

Нестор и Кристофер сели на стулья. Англичанин расстегнул

форменную куртку, грузин стянул рубашку с тела, оголив сильный торс.

– Еще раунд? – спросил Нестор.

– Хоть два…

Вновь стойки. Вновь удары. Нестор стал теснить английского телеграфиста, швырять его от стенки к стенке. И вот Кристофер вновь упал. Губа кровоточила, но он все-таки встал. Нестор как-то нехотя, после паузы, во время которой он будто раздумывал, стоит ли бить, ударил, и Кристофер, с треском разорвав холст воздушного змея, рухнул и бездвижно застыл.

– Время! – закричал секундант.

Нестор наклонился, поднял Кристофера. Дотащил до стула, усадил. Облил его водой из кувшина. Кристофер открыл глаза.

– Вы пришли сюда, чтобы бить меня?

– Да.

– За что?

– За мировую пролетарскую революцию!

Сказав это с пафосом, Нестор, обессиленный, сел на пол, тяжело дыша, растирая ушибленную переносицу.

Кристофер взял со стола очки, надел их и сквозь толстые стекла удивленно посмотрел на человека, который обвинял его в чем-то непонятном.

– Ты его узнаешь? – Нестор указал на одного из своих спутников. Кристофер только сейчас узнал агитатора с грузовика. – Он ночи не спит, с ног валится, разъезжает по деревням, агитируя за новую жизнь, новую веру, а ты рвешь знамена… Кто ты такой, что…

Кристофер не дал договорить:

– Я не знаю вашу новую веру. Я не знаю ваших знамен. Но я никому не позволю оскорблять Великую Британию.

Нестор молча потянулся к рассыпанным по полу сигарам. Поднял одну, надкусил хвост сигары, порылся в карманах брюк, вынул коробок спичек, прикурил, протянул другую сигару Кристоферу:

– Ты сидишь здесь, как мышь в норе. Куришь сигары, пускаешь дым из ноздрей, и чихать тебе на то, что творится в мире…

– Я не знаю, с чем едят эту вашу мировую революцию. И знать не хочу, и плевать на нее хотел…

Нестор глубоко затянулся. Ничего не ответил на грубость. Затянулся еще и еще раз. Потом встал, надел рубашку, мокрую от пота, длинный, до пят, резиновый плащ. В дверях повернулся к Кристоферу, сидевшему на стуле.

– Я был в Великой Британии, – сказал он с подчеркнутой

почтительностью, – учился там ветеринарному делу и правилам хорошего тона. Сегодня мы поговорили по-джентльменски. Завтра, если ты не соберешь свои вещи и не уедешь отсюда, я пинком в зад вышвырну тебя… Ясно?..

Кристофер не шелохнулся. Правый глаз его затек, покрылся синевой…

Утром Кристофер вынул служебное ружье, которым не пользовался в течение трех лет, и пошел на обход линии, напевая детскую песенку о грустном кондитере, живущем на необитаемом острове, где он сам себе каждый день выпекал торт и ел его в одиночестве и слезах. У песенки был смешной припев, Кристофер громко повторял его, вышагивая по деревенской улице, поднимаясь вверх к холмам, пробираясь сквозь ежевичные заросли, двигаясь вдоль телеграфных столбов.

Алена не было. Записка висела чистым листом, дождь смыл с нее все буквы. “Сойдет синяк с глаза – съезжу к Алену”, – подумал Кристофер.

* * *

…Около дома стоял грузовик. Большой плакат с двумя мускулистыми рабочими, бьющими молотом по наковальне, развевался на ветру. Нестор Квирикадзе и его вчерашние спутники курили около грузовика.

– Мы тебя ждем! – Нестор указал рукой на агитатора. – Он едет в Кутаис, отвезет тебя!

Кристофер захохотал.

– Это что, приказ?

– Приказ!

– Я не подчиняюсь приказам ветеринара, так как нахожусь на службе не у ветеринарной революции, а у Английского королевского телеграфного агентства, и только его приказы являются мне законом!

– Послушайте, Хьюз, у меня нет времени состязаться с вами в остроумии. Садитесь в машину и уезжайте.

– Я никуда не уеду.

– Хьюз, не размахивайте вашим ружьем перед моим носом, иначе я вас свяжу. Для этого у меня достаточно сил. Вам всё упаковали, не забыли даже портрет вашего любимого короля! Садитесь, Хьюз, в кузов!

Кристофер заглянул за борт грузовика, увидел кованый сундук-саквояж и рейки воздушных змеев. Он отбежал от машины и вбежал в дом. Пустая комната, забытая миска в углу, голый

пружинный матрац кровати и керосиновая лампа на подоконнике.

Кристофер, обескураженный, растерянный, вернулся к грузовику.

– Что всё это значит?

– Кончилось время английского телеграфного агентства. Садитесь в кузов!

Кристофер поднялся на грузовик. За ним последовали остальные.

– Я провожу вас до соседней деревни! – сказал Нестор.

Грузовик тронулся. Полотнища транспарантов надулись, как паруса. Один сорвавшийся конец бил по лицам. Агитатор поймал его и стал укреплять. Кристофер глядел на телеграфные столбы, медленно проплывающие мимо него…

Внезапно Кристофер вскочил и ловко спрыгнул с грузовика на дорогу. Упал, но через секунду, прихрамывая, побежал к вершине холма, сжимая в руке ружье. Это случилось так мгновенно, что никто не среагировал на его побег. Все смотрели на удалявшуюся фигуру. Но вот грузовик остановился. Нестор, агитатор и другие бросились вдогонку.

Кристофер бежал сквозь колючие кусты. Вот телеграфный столб! Он прижался к нему, повернулся и увидел преследователей.

Когда они приблизились, Хьюз выстрелил в воздух.

Преследователи остановились.

– Ты что, рехнулся?

Запыхавшийся Нестор медленно шел к столбу. Повторил свой вопрос.

Кристофер громко засмеялся.

– Я в Англии!

Кристофер толкнул дулом ружья большой камень, лежащий у телеграфного столба, откатил его на несколько шагов.

– За этим камнем – Англия!

Нестор, не обращая внимания на слова Кристофера, шагнул за камень.

– Назад! – закричал Кристофер. И выстрелил.

Нестор отскочил.

– Что за чушь?

– Это Англия! Дорогой ветеринар, распакуйте мои вещи, и вы найдете там документ, где сказано, что земля вокруг телеграфного столба в радиусе трех метров куплена Англией на всё время. Так что я здесь хозяин!

Нестор, не зная, как реагировать на слова Кристофера, сел на землю. На грузинскую землю, скрестив ноги рядом с пограничным камнем. Достал платок и стал вытирать взмокший

лоб.

– Что он говорит? – спросили его спутники.

Нестор перевел слова Кристофера.

– Такой закон есть. Я знаю о нем, – подтвердил агитатор и тоже устало сел на землю.

– Всё это чушь! Но у него ружье! Не устраивать же нам перестрелку…

Грузины замолчали. В тишине было слышно шуршание травы на ветру. Пограничный конфликт застыл в ожидании решительных действий…

Кристофер громко запел старый марш английских стрелков.

Квирикадзе встал.

– Ладно, Хьюз! Будь в своей Англии! Но знай, за ее территорию я не позволю тебе выходить. В деревню ты не вернешься!

Председатель коммуны и его спутники стали спускаться с холма к дороге. Кристофер видел, как они подошли к грузовику, сгрузили сундук-саквояж, воздушных змеев, о чем-то поговорили, потом подняли вещи и понесли их вверх.

Вещи молча сложили около камня. Ушли.

Кристофер остался один.

* * *

На листке папоротника сидела краснокрылая бабочка. Кристофер глядел на нее бессмысленно и тоскливо. Бабочка взлетела и полетела в Грузию. Кристофер оглядел свою малую английскую территорию. Что делать? В голове не было никаких мыслей.

Под вечер прошло стадо коров, звеня колокольчиками. Каждая несла вздутое от молока вымя. Одна из них встала около столба и начала мочиться, густо орошая английскую землю. Едкий запах мочи долго не испарялся, раздражая ноздри Кристофера. Он вынул из кармана патроны, пересчитал. Их тридцать штук. Объявлять войну? Кому? Этим негодяям, выселившим его из дома? Надо было запереть дверь изнутри, забаррикадировать и стрелять во всякого, кто сунул бы нос в комнату. “Мой дом – моя крепость”! А он безропотно сел в грузовик.

Волна гнева за свое слабодушие подхлестнула Кристофера. Он вскочил на ноги. В нем забурлила древняя кровь Хьюзов, кровь доблестных английских воинов, участников крестовых походов за освобождение гроба Господня, участников множества

других битв на суше, морях, океанах, где Хьюзы дрались как львы. Английские короли награждали их орденами, а один Хьюз был удостоен чести сидеть по правую руку Эдуарда Блистательного на пиру после Эйвонского сражения. Эдуард возвел его в пэры Англии, но на другое утро вражеское ядро оторвало голову пэра. Все Хьюзы помнят его и клянутся его именем.

Кристофер поднял ружье. “В деревню! Я отвоюю свой дом!” Издав клич, он побежал. Острая боль в ушибленной коленке остановила его, и он уже потихоньку, прихрамывая, пошел вниз к деревне. Боль не охладила его пыла.

На дверях дома висел замок.

Хьюз с третьей попытки выбил плечом дверную доску. Вошел в комнату, зажег лампу и лег на голые пружины кровати. Ружье положил на грудь. Дверь была открыта настежь, ночные бабочки кружились вокруг лампы. “Утром соберу мальчишек и принесу сундук”. Незаметно для себя он заснул.

Проснулся Кристофер от яркого солнечного света. Первое, что он почувствовал, – отсутствие ружья. Затем – что кровать его плывет по воздуху. Кристофер рванулся, но толстая веревка сдержала его рывок. Четверо мужчин несли кровать по тропе, ведущей к вершинам холма. Рядом шел Нестор. Заметив, что Кристофер проснулся, Нестор улыбнулся:

– Я же просил вас не возвращаться в деревню!

Кристофер молчал.

– Что, неудобно было спать на английской земле?

Кристофер молчал.

– Сейчас у вас будет кровать!

Тропа вилась между колючих ежевичных зарослей.

Усталые мужчины поставили свою ношу и вошли в кусты освежиться кислой ягодой. Кристофер смотрел, как они срывают ягоды, веточка спелых черных плодов раскачивалась над его головой – у него ссохся язык. Нестор сорвал несколько ежевичин и поднес их к лицу Кристофера. Сам того не желая, Кристофер открыл рот, и ежевичные ягоды посыпались в гортань…

– Скажите, Нестор, у вашей революции нет других занятий, кроме как изгонять меня из деревни?

– Есть. И их множество!

– В чем же я провинился, за что она так жестоко обходится со мной?

– Разве жестоко? Не слезая с кровати, вы из Грузии прибываете в Англию!

Кровать вновь была поднята. Несколько изгибов тропы привели процессию к вчерашнему телеграфному столбу.

Нестор остановил носильщиков и вежливо спросил Хьюза:

– Вы позволите пересечь границу Англии?

– Вы человек с юмором, Нестор!

Поставив кровать и срезав веревки, мужчины отошли за камень. Нестор оглянулся, потер ушибленную переносицу и громко сказал:

– Линия Лондон – Дели на территории Грузинской республики аннулирована! Все телеграфисты отбыли в Англию!

Кристофер подскочил, будто большая оса ужалила его.

– Врете, Нестор! Я вам не верю! Вы просто наслаждаетесь своей силой и издеваетесь надо мной. Вы мстите мне за то, что я разорвал ваши лозунги, за то, что я обругал вашу революцию!

– Хьюз, я вам сказал свое слово. Линия аннулирована. Делайте то, что считаете нужным. Но чтобы ноги вашей не было в деревне!

* * *

Тупая ноющая боль в ноге мучила Хьюза. Он лежал на кровати у телеграфного столба, созерцая пейзаж с горами, лесами, виноградниками, далекими деревнями, белыми церквями.

Что это за страна Грузия? Он никогда не думал, не обращал внимания, не пытался сблизиться с этим народом. Он не принимал приглашений на их свадьбы. Когда в дом его приносили щедрые дары здешней земли – виноградные гроздья, инжир, спелый гранат, – он сухо благодарил, указывая, куда положить корзину или бутыль. Дети и те перестали радостно щебетать во время его молчаливых пробегов с воздушными змеями. Запуск их, его единственное страстное увлечение в жизни, проходил в одиночестве. Он не сделал ни шагу, ни полшага к этим людям, к их песням, которые они пели, стоя в давильнях, голыми ступнями ног давя виноград, он ни разу не остановился возле этих давилен, а его звали, протягивали стаканчик молодого вина…

Однажды по улице деревни с грохотом проехал броневик, потом промчалась конница. У всадников на груди красовались красные банты, как у Нестора. Толпа выгнала на деревенскую улицу человека, сорвала с него золотую цепочку с часами, раздела и обмазала дегтем, обсыпала куриным пухом. Это был Лаврентий Зосимович Мгеладзе, местный коммерсант, скупивший земли Лио, превративший лиойцев в своих рабов.

В тот день у Кристофера попросили пустить в небо фейерверк. Ночью кто-то стрелял. В огороде убили человека…

Зачем убили? Что праздновали? Чему салютовали?

Кристофер не знал и не очень-то стремился узнать. Единственный раз он столкнулся с этими людьми, когда увидел английский национальный флаг на голове змеиного чудища.

Разодрав чудище, он навлек на себя гнев их революции в лице местного ветеринарного врача Нестора – председателя первой деревенской коммуны.

Сейчас, лежа на кровати с распухшей ногой, Кристофер хотел разобраться во всем этом…

Юное девичье лицо Сусанны появлялось и исчезало во время его горестных размышлений. Что он о ней знал? Только имя – Сусанна. Он вспоминал, как смотрел на нее в подзорную трубу, стоя у окна своего дома, когда она садилась в рейсовый фаэтон – уезжала в Кутаиси в институт.

Видения вновь вернули его в ту ночь, когда толпа гнала перед собой человека, обсыпанного куриным пухом. Лаврентий Зосимович Мгеладзе смотрел, как горит дом, выстроенный им. Огонь лизал французские шпалеры, трескались столовые сервизы из севрского фарфора, факелами горела коллекция папах из бухарского каракуля. Лаврентий Зосимович смотрел, не плакал…

Жители деревни Лио рвали векселя.

Лаврентий Зосимович Мгеладзе, в курином пуху, с глазами навыкате, молча смотрел на толпу…

* * *

Ночью Хьюз так и не спал. Над ним летали мерцающие фосфорным огнем светлячки. Утром из сундука достал подзорную трубу, посмотрел в сторону деревни.

На пыльном дворе спаривали лошадей. Конь накрыл кобылицу. Нестор Квирикадзе что-то кричал. Несколько мужчин держали кобылицу, которая вырывалась из объятий коня. В клубах пыли то исчезал, то появлялся силуэт Нестора. Вот он, отдав какие-то приказы, ушел со двора. Кристофер последовал за ним до моста, под который подводили новую опору. Нестор скинул одежду и вошел в воду. Сильное тело напряглось, мышцы вздулись, он сдвинул тяжелую махину опоры…

Весь день Кристофер наблюдал за Нестором. Видел его в разных местах деревни. Всюду тот что-то делал, чем-то командовал.

На следующий день Кристофер Хьюз вывесил на телеграфном столбе английский флаг. Итог его размышлений о ситуации, в которой он оказался, был таков: “Не сдаваться!”

Он не поверил в слова Нестора об аннулировании линии Лондон – Дели. Ревностный служака жил в нем, требовал подчинения строгим инструкциям Королевского телеграфного агентства. Устав гласил: “Несмотря ни на какие помехи, непредвиденные обстоятельства, будь то землетрясения, наводнения, извержения вулканов, смена властей на местах, смотритель обязан в первую очередь следить, держать в исправности свой линейный участок”.

И как бы смешно и нелепо ни выглядело со стороны его пребывание у телеграфного столба, он не сойдет с этого последнего рубежа. Английского рубежа.

“Не сдаваться!”

Надо продолжать обходы телеграфной линии, но этот неистовый председатель коммуны запретил ему ходить по грузинской земле.

Тут Хьюз заметил стадо ослов, которых гнал погонщик.

Погонщик был удивлен, увидев человека на кровати у телеграфного столба под незнакомым флагом.

Хьюз отдал несколько своих вещей, приобрел осла-трехлетку.

Назвал его “мой Пятница”.

Хьюз чувствовал себя Робинзоном Крузо на необитаемом острове с той разницей, что Робинзона окружал океан, а его остров находился среди суши.

Ночи были теплые, звездные. Он смотрел на яркие хвосты метеоритов, сгорающих так близко над головой, что, казалось, протяни руку – и пришельцы далеких галактик, пролетевшие миллиарды километров, упадут на его ладони.

Просыпался он от жужжания диких пчел.

Белесый утренний туман обволакивал кровать, было зябко. Хьюз лежал и ждал, когда солнечные лучи растопят густое молоко тумана, темное фырчащее пятно превратится в осла, пасущегося на территории Грузии.

Однажды, урча и щелкая клыками, из тумана выплыл дикий кабан, обалдело посмотрел на Кристофера маленькими зелеными глазками, крайне удивился джентльмену, под пледом дымящему сигарой. Кабан показал два желтых бивня и растворился в белом молоке.

К полудню от тумана оставались маленькие осколки.

Хьюз взбирался на Пятницу, совершал служебные объезды, затем спускался в деревню за покупками.

– Что это значит? – спросил Нестор Квирикадзе, столкнувшись со всадником на деревенской площади.

– Дорогой Нестор, я подчиняюсь вашим приказам! Вы сказали, чтобы нога моя не ступала по грузинской земле. Как

видите, ноги осла, а не мои (мои болтаются в воздухе) ходят по вашей земле. Приказ есть приказ!

Всадник вежливо поклонился и проехал мимо Нестора, который позволил себе рассмеяться только после того, как осел и восседавший на нем Кристофер покинули площадь.

Кристофер в деревне покупал продукты, не слезая со спины верного Пятницы. Загрузившись, уезжал в свою Англию.

Начались дожди. Хьюз соорудил над кроватью навес. Потом дожди прекратились.

Прошла неделя, вторая, кончался месяц его робинзонады. Хьюз стал сознавать нелепость своего положения. Юмор, азарт, молчаливый спор с Нестором “Кто кого? Кто упрямее? Кто выдержит условия игры до конца? Кто кому докажет свой принцип?” – всё, на чем строилась его робинзонада, начинало терять смысл.

Нестор вроде и забыл об англичанине или считал, что с уходом его из деревни всё стало на свои места. “Побудет-побудет этот чудак у телеграфного столба и уедет, исчезнет”.

* * *

1922 год. 18 сентября. 8 часов утра. Туман.

В этот день, этот час раздался выстрел.

Громкое эхо прокатилось по лиойским холмам.

Вылетел черный дрозд, потревоженный выстрелом.

Улитка ползла по телеграфному столбу. Она была расплющена и превращена в мокрое месиво охладевшим свинцом, окончившим свой смертельный полет в древесине столба.

У телеграфного столба спал, накрывшись пледом, человек.

Раскаленный свинец прорвал плед, опалил шерсть, ворвался во внутренности спящего, промчался огненной болью от ребер до шейных позвонков.

Слабой, вялой рукой Кристофер Хьюз скинул с лица плед.

В глазах – непонимание случившегося.

Открыл рот то ли в крике, то ли в шепоте…

Зрачки застыли.

1922 год. 18 сентября. 8 часов утра. Туман.

* * *

По каменным плитам скользят зеленые ящерицы. Это деревенское кладбище.

Разрисованные в стиле наивной живописи каменные плиты сообщают миру, живым потомкам, случайным путникам, что собрались лежать здесь лиойские виноградари, пастухи, кутилы, девственницы, старухи, утопленники, больные туберкулезом, музыканты, поэты, бухгалтеры.

Над ними бегают ящерицы.

В день поминовения здесь бьют крашеные яйца, капает воск со свечей.

Вот плита с рисунком телеграфного столба. Мужчина с закрученными вверх усами, на голове шляпа, изображает, видимо, иностранца. Ни усов, ни шляпы Кристофер Хьюз не носил, но каменщик, вырубивший его, так представил себе англичанина. Под каменным рисунком даты рождения и смерти:

Кристофер Хьюз
1891–1922 гг.

Часть вторая

Началось всё с того, что недавно мне позвонил доктор Юрий Бузиашвили из кардиологического центра.

– Ираклий, помнишь, ты рассказывал смешную историю про английского телеграфиста, который жил в Грузии, кажется, в деревне Лио…

– Да…

– Очень смешная история. Он объявил английской территорию у столба… Я ее потом пересказывал, большим успехом пользовалась… Никто не верил, что такое случилось в действительности. Он ведь твой родственник?

– Моего деда сестры муж, точнее, возлюбленный.

– Как его фамилия?

– Хьюз.

– Имя?

– Кристофер.

Юрий Бузиашвили громко повторял мои ответы для кого-то, кто слушал его на том конце провода.

– Ираклий, сейчас с тобой будет говорить человек, он приехал из Англии. Фамилия его Хьюз. Хочет тебя видеть…

В телефонной трубке – незнакомый голос с акцентом, типичным для европейца, изучившего русский в лингафонном кабинете.

– Здравствуйте! Моя фамилия Хьюз, имя Филипп…

Вскоре я познакомился с врачом-кардиологом Филиппом Хьюзом, который, как я высчитал, был моим троюродным братом. Его дед – родной брат Кристофера Хьюза. Когда Филипп собирался в научную командировку в Грузию, семейство Хьюзов велело ему разузнать о блудном сыне, исчезнувшем в двадцатых годах на Кавказе. Филипп имел при себе открытки, которые Кристофер присылал из Грузии в Англию, вырезки из газет “Таймс”, “Гардиан”, несколько фотографий самого Кристофера.

Филипп Хьюз собирался съездить на два дня (суббота-воскресенье) в деревню Лио, навести там справки о Кристофере Хьюзе. Сказал об этом своим грузинским коллегам, доктор Бузиашвили познакомил нас.

* * *

Шоссейная дорога. Потом влево. Одолевая один за другим склоны гор, машина взбирается выше и выше.

Осень.

Золотистые початки кукурузы, красное вино, зеленый чайный лист.

Вершится великое чудо: природа вручает свои дары.

Доктор Филипп Хьюз смотрит в окно машины. Он сидит на переднем сиденье, разглядывает проносящиеся пейзажи. Хроникер за рулем.

Этой же дорогой до нас в 1956 году ехал рейсовый автобус, крытый брезентовым тентом. В пятидесятых годах такие автобусы назывались “Союзтранс”.

В первом ряду сидел старый человек, на коленях держал деревянный чемоданчик. Каракулевая папаха спущена к бровям. В автобусе оживленно, несмотря на густые облака.

Пыль проникла даже под стекло часов автобуса, стрелки остановились.

На перевале автобус задержался у родника. Сошли напиться холодной-холодной воды.

Старику в папахе первому подали жестяную кружку. Он выпил и стал медленно оседать. Его подхватил водитель автобуса. С головы старика упала папаха, оголился череп. Водитель осторожно уложил старика на траву рядом с родником. Старик не дышал. В руках сжал кружку, не отпускал…

Пассажиры, удивленные, растерянные, смотрели в открытые немигающие глаза.

– Умер?! – то ли спросил, то ли констатировал факт один из пассажиров, убрав ухо от груди старика.

В паспорте умершего было записано: Байрам Курбан-оглы, год рождения 1879-й. Место жительства – город Баку. Что ему надо было в Лио? К кому он ехал? С кем был знаком?

Старик лежал на носилках во дворе медпункта. В здание его не занесли, так как приезжий из районного центра врач принимал тяжелые роды.

Байрам-Курбан-оглы сжимал в руке жестяную кружку, сцепив неживые пальцы так сильно, что, казалось, они припаялись к ней.

В деревянном чемоданчике обнаружили будильник, галоши, резиновый плащ, книгу “Декамерон” на грузинском, детскую куклу, видимо, для подарка, фотографии человека в папахе, лет на тридцать моложе себя же, мертвеца. Большое количество денежных купюр. Под пачками денег лежала тетрадь в синем коленкоровом переплете. Мелким почерком грузинскими буквами были заполнены почти все ее страницы.

По фотографии признали, что это Лаврентий Зосимович Мгеладзе, скрывавшийся под именем Байрам Курбан-оглы.

В тетради записывалась жизнь Лаврентия.

Интересующие меня и Филиппа темные пятна в биографии Кристофера Хьюза высветила эта синяя тетрадь.

Хореограф дома культуры Вахтанг Горкин свел нас с Ильей Ильичом Мгеладзе. В его доме долго искали синюю тетрадь. Искали в шкафу, потом в сундуке, нашли в пыльной картонной коробке из-под обуви “Красный богатырь”. Илья Ильич, довольный, что тетрадь нашлась, стал говорить быстро-быстро. Филипп понимал не всё.

– Следователь дал мне эту тетрадь после того, как выяснил всё про умершего в автобусе Лаврентия Мгеладзе. Вроде он ко мне ехал из Баку, где скрывался много лет.

Честно говорю, вначале мне очень хотелось получить деньги, которые после него остались в том чемодане. Я доказывал, что я его единственный родственник. В Баку у него, как выяснилось, не было никого. Работал один в мастерской по ремонту музыкальных инструментов – дайры, зурны, доли и т. д. Но когда я узнал, что он за человек… И какие дела совершил… Не надо! Жена, дети, внуки все здоровы. Сам я… Дай пять копеек… Хочешь английские, хочешь наши…

Ираклий и Филипп ищут в карманах. Илья Ильич сам достает пятак, кладет между пальцев и тут же показывает его согнутым. Отдает внуку: “Пойди постучи по нему молотком”, – а гостей зовет к столу.

“Стамбул, 1922 г. Гостиничный номер, – читаем мы отрывки из синей тетради. – Я хочу кончить жизнь самоубийством. Стою на стуле. Моя голова – в веревочной петле. Еще мгновение – и я толкну стул. Случайно взгляд падает на зеркало шкафа. Вижу свое отражение. Мне становится смешно. Я, Лаврентий Зосимович Мгеладзе, должен висеть в грязном гостиничном номере на окраине Стамбула, этого жуткого города, где я пошел на дно (Боже, как смешно смотреть на себя в зеркало).

Неожиданно ноги мои соскользнули, и я повис в воздухе. Судорожно стал бороться за жизнь, я уже не хотел умирать. Но я не мог крикнуть, позвать на помощь, веревка сдавливала шею, я терял сознание. В последнюю секунду, пока я мог действовать, правая нога нащупала стул, он был свален набок, я подцепил его левой ногой и подтянул поближе. Я был спасен.

Но этот случай не прошел даром, я не могу с тех пор остановить дрожь в руках.

Я поклялся вернуться в Грузию, откуда был изгнан, отомстить Нестору Квирикадзе, бывшему другу, ныне врагу…

Мне стало радостно жить, у меня появилась цель”.

“…Я нанял платного убийцу. Это молодой человек, скромный, обходительный, по имени Еввул. Национальности

непонятной. То ли грек, то ли перс, то ли еврей”.

“…Ночью удачно перешли границу. Утром смотрю на Лио. Как красива моя деревня. Моя?”

“…В полдень сбежал Еввул. Я остался один…”

* * *

…На телеграфном столбе развевается английское знамя.

В кровати лежит Кристофер. Спит.

– Доброе утро, господин Хьюз!

Голос приветствовал на чистом английском.

Кристофер проснулся. Выбрался из-под пледа. Выглядит он неопрятно. Лицо заросло щетиной – робинзонада наложила на него свой отпечаток.

Хьюз растер мятое лицо. Вконец проснулся.

Перед ним стоял человек с глазами слегка навыкате.

Точнее, перед кроватью стояла лошадь, серая в яблоках, машинально отметил про себя Хьюз, а на лошади в дорогом, инкрустированном серебром седле сидел человек с глазами слегка навыкате.

Кристофер обратил внимание на руки, державшие повод, – они дрожали. Так дрожат руки профессиональных алкоголиков; но значительность фигуры, жестокое выражение глаз, закрученные вверх пышные усы, узкий с горбинкой нос, каракулевая папаха, спущенная на брови, делали всадника похожим на Осман-бея, героя турецкой войны.

– Мое имя Лаврентий Мгеладзе!

Всадник поднял трясущуюся руку к груди и стал расстегивать защитного цвета френч. Пальцы с трудом высвобождали пуговицы из петель. Создалась неловкая пауза.

Всадник молчал.

Пятница фыркнул. Кристофер скосил глаза на своего осла. Когда он вновь посмотрел на всадника, у того в руках прыгал револьвер.

Кристоферу стало не по себе от этого зрелища.

Лаврентий Мгеладзе, не меняя жесткого выражения лица, бросил револьвер на кровать.

Кристофер подхватил скатывающийся с пледа револьвер, инстинктивно положил палец на курок.

– Оружие делает человека храбрым! – сказал Лаврентий.

Его английский звучал грамотно, почти без акцента. “Что всё это значит? Как это понимать?” – хотел спросить Кристофер. Но всадник выпрямился, стал еще более помпезным (“Если не

обращать внимания на дрожащие руки”, – подумал Кристофер Хьюз). Телеграфист посмотрел на револьвер. Бельгийская марка, восьмизарядный барабан. В каждое гнездо вложена пуля.

Кристофер чувствовал себя неуютно под тяжелым взглядом всадника. “Что хочет этот человек?”

Большая черная птица с желтым клювом села на куст рядом со столбом и залилась трелью.

Лошадь тихим шагом стала удаляться от телеграфного столба.

– Ваш револьвер!

Лаврентий оглянулся:

– Он твой!

Всадник и лошадь скрылись в кустах.

В руках Кристофера остался револьвер с номерным знаком 2056. Кристофер прицелился. Обратил внимание на то, что целится в сторону деревни. “Бах, бах!” – по-детски озвучил мнимый выстрел. Вспомнил о ружье, отобранном Нестором Квирикадзе. Приятное ощущение защищенности шло от ладони, которая сжимала рукоятку револьвера.

Появилось желание съездить в деревню.

Он встал. Оделся. Револьвер не умещался в кармане брюк. Заложил его за пояс, затянул ремень. Холодная сталь будоражила душу, делала ее воинственной.

* * *

Перенесемся мысленно лет через тридцать. Заглянем в мастерскую по ремонту восточных музыкальных инструментов.

Маленькая комнатка. Железная печка с длинной трубой через всю комнатку. На стенах висят дайры, барабаны, множество струнных инструментов, названий которых хроникер не знает. Некоторые похожи на грузинские трехструнные чонгури, другие с более крутыми боками, пузатые, плоские…

На столе мотки струн, гвозди, проволока, пилки, зажимы, канифоль, паяльник, куски кожи для натяжки на барабаны. Настольная лампа. Патентное удостоверение в рамке. Актриса Любовь Орлова с обложки “Огонька”, кнопкой к стене. Плакат со счастливо улыбающейся парой, которая на вытянутых руках держит сберкнижку. Надпись типа “Деньги скопили – на курорт укатили”. За спиной улыбающейся пары – Черное море, пальмы, белый пароход, горы, ресторан на вершине горы.

Под плакатом сидит Байрам-Курбан-оглы. Ему семьдесят шесть. Он держит один из музыкальных инструментов,

настраивает его. Рука умело перебирает струны. Поднимает голову и говорит, глядя прямо нам в глаза:

– Когда сбежал Еввул и я остался один, мне пришла в голову идея использовать англичанина… для своих целей. Я не мог заплатить ему, так как все деньги украл Еввул, но я понял: Хьюз – обиженный человек, и зерно обиды надо взрастить в его душе до ненависти.

Байрам-Курбан-оглы затянулся самокруткой из газетного листка, пустил густой дым и продолжил:

– Почему я сам не хотел расправиться с Нестором? Мои руки… они дрожали. Если бы я промахнулся, Нестор не упустил бы такого случая, он ходил всегда при оружии… В деревню я войти не мог, каждый знал меня. Неделю караулил, когда Нестор в одиночку войдет в лес… Не входил.

Байрам-Курбан-оглы вновь глубоко затянулся. Дым пускает при разговоре – привычка курильщика-профессионала.

– Англичанина было легко обрабатывать. Наивным был невероятно.

* * *

…На кровати сидят Лаврентий и Кристофер. Поодаль щиплют траву Пятница и лошадь. Серая в яблоках.

– Эти красные дьяволы хотят перевернуть весь мир, хотят разрушить его. И на обломках всего ценного, что есть в этом мире, построить свой мир, со своими законами. Они это сделали в России, Грузии, завтра это случится в твоей Англии… Они плюют на существующие веками законы, будто их нет вовсе…

Кристофер встрепенулся:

– Нестор уверяет меня: линия Лондон – Дели аннулирована…

Лаврентий подливает масла в огонь:

– Дай ему волю – он аннулирует саму Англию!

* * *

– При первой встрече я дал ему револьвер, – продолжает рассказ Байрам-Курбан-оглы, – и этим ограничился. Потом стал убеждать его, что в Несторе Квирикадзе всё от дьявола. Револьвер стал жечь ему руки, настал день, когда он сказал: “Я убью его”.

Хьюз ушел в деревню. Я смотрел в подзорную трубу…

В большом круге были видны три фигуры: Нестор, осел и на осле Кристофер. Окуляр подзорной трубы сопровождал

собеседников, как оптический прицел винтовки. Широкая спина Нестора – прекрасная мишень для выстрела. Лицо Кристофера напряжено, но разговора не слышно.

Он не решился на выстрел. В один момент я видел, как он вынул, но тут же спрятал револьвер.

А ведь ситуация была удачнейшая. Нестор ни о чем не подозревал. Они шли через пролесок к мельнице.

Когда Хьюз вернулся, я не сдержался и назвал его трусом…

Через несколько дней горела столовая красной коммуны. Хьюз догадался, что это было делом моих рук!

Байрам-Курбан-оглы поперхнулся дымом самокрутки. Глаза наполнились слезами. Успокоился. Восстановил дыхание.

– Вы, наверно, думаете, как просто я рассказываю о своих, – улыбается, – злодеяниях. Я молчал об этом десятки лет. Сейчас я счастлив, мне хорошо, я говорю вслух. И мне неважно, что вы думаете обо всем этом. Может быть, всё это и не интересно вам. Все преступления того времени так похожи друг на друга: поджоги, убийства из-за угла… Вы об этом слышали, читали в учебниках истории, смотрели в фильмах – а я это делал. Потом я превратился в Байрама-Курбан-оглы. Всю жизнь просидел в этой музыкальной комнате и играл. Хотите послушать, как я играю?

Байрам-Курбан-оглы перебирает струны восточного инструмента. Улыбается. Тоскливая музыка. Тоскливая улыбка.

* * *

За три дня до пожара в столовой красной коммуны шло собрание.

Длинный стол. Пальмы в кадках. У стены кинопроектор. Механик заряжает ленту.

За столом сидят жители деревни, монахи в черных сутанах, мусульманский мулла. В дверях детишки. Нестор жестом зовет детей, те входят, рассаживаются на полу.

Нестор поднимает руку, требуя внимания.

– Я пригласил сегодня вас, чтобы ответить на вопрос: “Какое всех нас ждет будущее?” Я с уверенностью говорю: оно будет прекрасным! Мы строим это будущее! И каждого, кто придет в коммуну, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, с желанием объединиться с нами, мы примем его…

Нестор оглядел присутствующих.

– Иосиф Чхаидзе, – показал на киномеханика, – служит чуду, которое зовется кино! Сейчас мы увидим наше прекрасное

будущее!

Монахи, крестьяне, мулла, дети смотрят хронику двадцатых годов.

Летят дирижабли. По морю плывут пароходы. Ледоколы разбивают льды. С плотин гидростанций падают водные каскады. Толпы счастливых людей. Взрывают динамитом горы. Проводят в пустынях каналы. Цветут яблоневые сады. Праздничные парады. Льется сталь из доменных печей. Пирамиды физкультурников. Тысячи детей машут бумажными цветами. Поднимается в небо аэростат, на гондоле надпись: СССР. Танцоры в черкесках пляшут лезгинку…

– Я замешался в толпе монахов, когда они спускались с гор, – продолжает рассказ Байрам-Курбан-оглы, – это было делом нетрудным. Я смотрел на экран и видел, как сказал Нестор, “прекрасное будущее”. Я не понимал его. Кто они, эти пляшущие люди? Куда бегут? Что взрывают? И почему они всё время смеются? Чему беспрестанно радуются?

Я перестал глядеть на экран. Меня гипнотизировала спина Нестора. В двух шагах. Револьвер под сутаной. Но я не мог поднять руку. Мысленно я видел, как после выстрела выбегаю во двор, вскакиваю на лошадь и исчезаю. Но, глядя в темноте на Нестора, я ослаб от страха, от него шла адская сила, она задавила меня.

А на экране бросали цветы балеринам, кормили обедами бритоголовых беспризорников и сирот, включали электрические лампочки, строили фабрики, небоскребы…

“Прекрасное будущее” кончилось на высшей мажорной ноте. Нестор вновь вышел в центр комнаты. Он переступал через головы детей, заполнивших всё пространство столовой:

– Если бы здесь, с нами, сидел Иисус, а рядом с ним сидел Магомет, они сообщили бы вам, что именно такое будущее желали они человечеству! Справедливость – вот как называется это будущее! Всюду в мире должны объединяться люди добра, должны вместе строить, вместе чинить, вместе выгребать старую грязь… Если бы здесь, с нами, сидели Иисус и Магомет, они бы сказали то же самое!..

* * *

После собрания в столовой красной коммуны священник Евгений и Нестор Квирикадзе шли рядом.

Вот они спускаются по склону холма. Священник говорит:

– Когда мы подходили к Лио, то увидели человека у

телеграфного столба. Мы разговорились с ним, он показался нам несчастным…

Нестор чуть смутился:

– Он чудак. Но я тоже виноват, что он приковал себя к столбу. Мы затеяли игру между собой… которая затянулась…

– Он ни на что не высказал обиды…

– Да, я знаю. Он очень упрямый, очень английский человек… Я схожу к нему.

* * *

В ту ночь началось настоящее светопреставление.

Начался вселенский потоп.

В первую же ночь по приезде Сусанны в Лио с громом, с молниями зародилась жизнь в ее чреве. В эту же ночь были убиты Кристофер Хьюз и Нестор. Всё произошло как в плохом кино. Как в средневековом готическом романе. Как в синей тетрадке Лаврентия Зосимовича Мгеладзе.

Любовь, жизнь, смерть переплелись друг с другом!

Распутаем клубок.

* * *

Кристофер Хьюз был убит не на рассвете 18 сентября 1922 года, а ночью, точнее, под утро 19 сентября.

В ту ночь в деревню приехала Сусанна. Повзрослевшая, коротко остриженная по моде, эмансипированная – тоже дань моде. Узнав, что Кристофер Хьюз вот уже третий месяц изгнан из деревни и живет (прозябает) у телеграфного столба (и всё это благодаря ее брату), она громогласно заявила о своей любви к Хьюзу: “Я люблю его, полгода в Кутаиси я только о нем и думала, Нестор, ты мне не брат, где твоя любовь к людям, если ты так поступил с ним? Не объясняй, совсем это не смешная история! Где он? Нет, именно сейчас, никаких завтра. Дождь мне не страшен!”

Нестор смотрел на сестру, поражался ее виду, ее откровенности, ее решительности. “Ты не боишься моего запрета? Для тебя не имеет значения, как я отнесусь к твоей любви? Вообще, что это за любовь? Какой-то англичанин! Завтра духу его здесь не будет!”

Сестра превратилась в тигрицу. Из красивой Сусанны – в когтистую, готовую разодрать в клочья всех тигрицу!

Нестор отступил. На эту ночь. Чтобы выиграть время, разобраться в ситуации.

Он уговорил сестру лечь спать. Утро вечера мудренее.

– С Кристофером ничего не случится. Дождь ему не страшен. Я не раз был на Свиной горе (проговорился), видел его “Англию”. Там навес, живет в нормальных полевых условиях.

Сусанна, усталая с дороги, заснула.

Дом затих. Все свидетели спора сестры и брата разбрелись по своим углам.

Заснули родители, младшие сестры, Нестор.

Вначале молния, потом гром будто взорвались в доме.

С небес несся потоп.

Сусанна выглянула в окно.

Сплошная стена дождя. Темнота через каждые двадцать секунд высвечивается электрическим светом молнии, и тут же гром.

“Свиная гора”, – вспомнилось.

Как была, на босые ноги калоши, на ночную рубашку брезентовый плащ брата – и на улицу.

* * *

Спит… Вокруг мокро, сыро. Села на кровать. Молния высветила лицо спящего. На мгновение.

Тут же всё ушло во мрак. Не выдержала, нагнулась и поцеловала.

Вскочил. В темноте никого не увидел. Но руки обнаружили мокрое женское тело.

Руки жадные, тело податливое.

Молния высвечивает тайну.

Голоса тонут в шуме дождя и треска грома.

Трудно придумать более неподходящее место для первой ночи любви.

Молнии ускорили интервалы вспышек, любопытство разгорелось в них: что там происходит у телеграфного столба?

Девственница и мужчина, позабывший технику любви, сплели свои тела.

Вот и всё, что там происходит.

“Сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье…”

Потом лежат, утомленные от барахтанья на узкой кровати. Как две большие рыбы.

Глубоко вбирают воздух, сырой и мокрый.

Глядят в темноту.

“Я так скучала по тебе. Я так хотела тебя. В Кутаиси многие за мной ухаживали. С одним я даже целовалась… Кристофер, я не могу жить без тебя! Почему? Я не знаю! Ты чудо! Или чудовище? Теперь ты весь мой…”

На английском шептались такие слова:

“Я помню твое имя, твои губы, но не помню цвета глаз, я и сейчас не знаю, какого цвета твои глаза. Какого цвета твои глаза? Ладно, завтра увижу… Какая красивая грудь (блеск молнии), синяя грудь…”

Разговор утихает. Они лежат, прижавшись друг к другу, и смотрят на сумасшествие природы.

Очередная вспышка высветила неожиданно сине-электрический силуэт.

У кровати стоит мокрый сине-электрический Нестор. Он говорит:

– Я позволил себе переступить границу Англии. – Странно, но он говорит спокойно. – Каждый нормальный грузин в подобной ситуации обязан пристрелить вас, Хьюз. Но я этого не сделаю! Я уважаю право выбора моей сестры, хотя с удовольствием надавал бы этой бесстыднице пощечин. Вставайте! Собирайтесь! Пойдемте в дом…

Нестор отошел к кусту. Звук выстрела. Нестор Квирикадзе упал лицом в грязь.

* * *

– Я скрывался как зверь в лесу, в котором совсем недавно каждое дерево, каждый куст, каждая травинка, каждая ягода принадлежали мне. И всё это у меня отняли! В ту ночь нору мою затопило. Я ехал к Хьюзу, под его навес. В блеске молнии я увидел троих, узнал их. Слез с лошади и осторожно пробрался к телеграфному столбу, застыл в кустах рядом с ними на расстоянии вытянутой руки.

Байрам-Курбан-оглы вытянул руку, пощупал пальцами пустоту.

– Нестор отошел от кровати и пошел в мою сторону. В темноте я не заметил этого. Вспышка молнии столкнула нас лицом к лицу. Я выстрелил. Непроизвольно, неожиданно даже для себя…

Выстрел… Недоумение на синем лице Нестора Квирикадзе. Стал оседать.

К кустам в два прыжка летел полуголый, в одной нательной рубашке Кристофер Хьюз. Выстрел… Еще и еще…

Я стрелял в истерике. Хьюз был ни при чем. Но я стрелял и стрелял. Когда ко мне рванулась Сусанна, я тихо сказал ей (помню, что голос мой был не моим): “Девочка, не тронь меня…” Я повернулся и побежал. Какое-то время слышал за спиной ее бег. Потом я остался один. Сел на землю. Было холодно, сыро, но руки мои не дрожали.

* * *

Мы складываем в багажник корзины с фруктами, плетеные бутыли вина, связки виноградных гроздьев. Жители Лио (родственники, знакомые, полузнакомые) несут и несут дары осени.

– Забыли подзорную трубу Хьюза! – сказал Филипп, вбежал в дом, вынес инструмент.

Машина тронулась.

– До свидания!

На повороте дороги Филипп остановил машину.

– Я еще ни разу не смотрел в подзорную трубу, – сказал я, то бишь хроникер.

Приложил окуляр к глазу.

Зеленые холмы. Телеграфные столбы. Фарфоровые изоляторы. Но что это?

В кругу подзорной трубы появилась кровать. На ней сидит мужчина в парусиновом костюме. Мужчина держит подзорную трубу и смотрит в нашу сторону. Вот он махнул рукой, отвел от глаза свою подзорную трубу и улыбнулся. Это Кристофер Хьюз!

Он нас приветствует!

Хроникер и Филипп подняли руки и шлют привет Кристоферу Хьюзу.

Кристофер заглянул под кровать и вытащил воздушного змея.

Встал, побежал, подняв над головой цветной квадрат.

За ним подростки.

В толпе Аграфина, а вот Сусанна, юная, гибкая…

Из-за кустов выбегает осел по имени Пятница, вдоль реки бежит Нестор Квирикадзе.

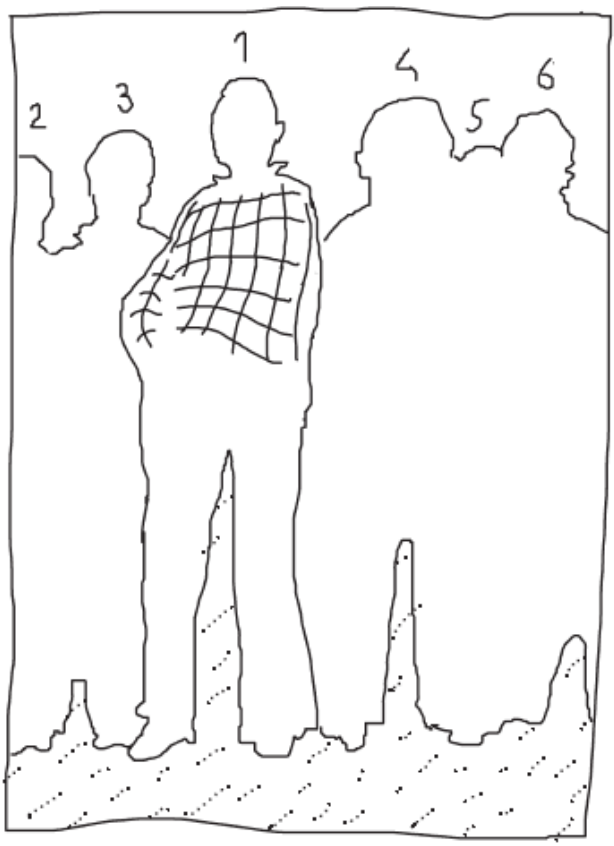
Вот Ален-телеграфист. Тахия, египетская танцовщица, которую мы не видели, но по наряду, по красивому голому животу догадываемся, что это аленовская возлюбленная. Монахи в черных сутанах. Все бегут за взлетающим в небо воздушным змеем.

Мы не слышим их голосов, они пробегают в тишине.

Оторвав глаз от подзорной трубы, хроникер поднимает

голову и видит воздушного змея, который в одиночестве парит над сегодняшним лиойским пейзажем.

Фотография 31. 1996 год



Фотография 31. 1976 год.

Я (1) стою рядом с моими маффетскими родственниками (2–6), – худой, тридцатисемилетний, в клетчатой рубашке, смелость. Никто из них не знает, как фурно обошлись со мной в Государственном Комитете СССР по кинематографии.

Мой фильм “Городок Анара” был отобран на фестиваль в Локарно (Швейцария). Мне звонят из Госкино: “Вы едете в

Локарно. Оформляйте документы на загранпоездку!” Я предстал перед выездной комиссией Тбилисского райкома партии. Задают вопросы: “Как фамилия генерального секретаря Швейцарской коммунистической партии?” Я заученно отвечаю: “Товарищ Томас Коэрфел”. “Сколько коммунистов в швейцарской партии?” Я заученно отвечаю: “Семь тысяч шестьсот четырнадцать человек”. Никакого просветления на лицах членов выездной комиссии. По их информации, в компартии Швейцарии семь тысяч шестьсот девять коммунистов. На пять человек меньше, чем я назвал. Но моя неточность прощена, видимо, потому, что я не уменьшил, а увеличил количество членов швейцарской компартии. Председатель отборочной комиссии Левон Штоян, актер киностудии “Грузия-фильм”, известный своим криком Тарзана, который звучал в голливудском фильме, покорившем всех зрителей СССР, не знающих, что они подражают крику не Тарзана, а Левона Штояна (эта информация не имеет никакого отношения к коммунистам Швейцарии). Штоян смилостивился и позволил мне лететь в Локарно.

Я с легким сердцем прилетаю в Москву. Надеюсь пересесть на швейцарские авиалинии, но в Москве мне сообщают: “Представлять фильм «Городок Анара» едете не вы, едут Иванова, Петров, Сидоров (не помню фамилии чиновников Госкино)”.

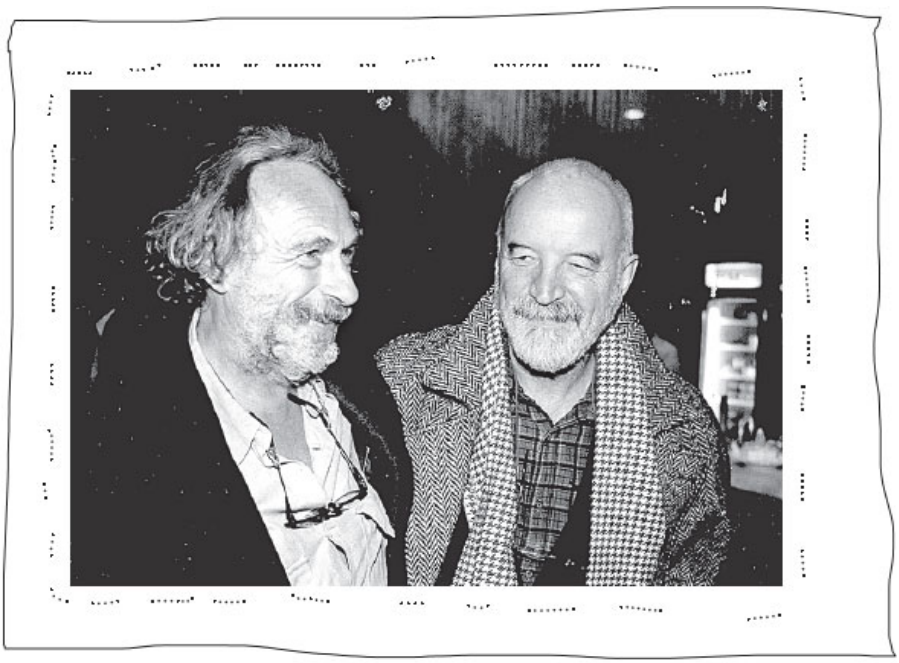
Я попытался возмутиться: “Это же мой фильм!” Меня вызвали к большому начальству. Начальство спрашивает: “Кто есть Коэрфел?” Я отвечаю: “Генеральный секретарь Коммунистической партии Швейцарии”. – “А тогда кто такой Баумгартнер?” Я не знаю такого. “А жаль! С июня месяца товарищ Баумгартнер возглавляет Коммунистическую партию Швейцарии. Сейчас август. Уже второй месяц, как Баумгартнер, а не Коэрфел стоит за штурвалом, точнее, возглавляет Швейцарскую коммунистическую партию… а вы, Квирикадзе, не знаете этого!” Так мне дали понять, что идеологически я не готов представлять свой фильм на фестивале в Локарно.

Я уехал из Москвы и блуждал один в горах Кавказа – “печальный Демон, дух изгнанья”: рюкзак, кеды, спальный мешок, пастушьи тропы, усеянное звездами ночное небо, – истязая себя: как я не узнал, что Коэрфела сменил Баумгартнер?!

Через две недели я спустился с гор успокоенный. К черту эти фестиваль, призы, награды – вся эта ярмарка тщеславия! Забрел в деревню Маффет к родственникам. Они искренне обрадовались моему внезапному появлению. Застолье. Я чем-то отравился. Диарея. Понос. Бегу в огород. Запираюсь в деревянной туалетной будке. На ржавом гвозде наколоты рваные газетные листки. Срываю первый, глазами пробегаю по строчкам газеты “Правда”:

“Вчера завершился международный кинофестиваль в швейцарском городе Локарно. Фильм советского режиссера Ираклия Квирикадзе «Городок Анара» получил приз «Серебряный леопард». Поздравляем молодого дебютанта…” Я закричал, вспугнув рой зеленых мух, выскочил из туалета с криком: “Я серебряный леопард! Я серебряный леопард! Я серебряный леопард!”

Фотография 32. 1996 год



Фотография 32. 1996 год.

Пьер Ришар и я перед началом съемок „1001 рецепт влюбленного кулинара". Мы еще не знаем, сколько приключений готовит нам судьба.

Мой Чанчур!

Хроникер из меня не очень объективный. Какие-то события я рассказываю с мельчайшими подробностями, в каких-то скольжу по поверхности. Блуждая по лабиринтам памяти, я натыкаюсь и на персонажей, которым вроде бы не место в моих хрониках. Вот Марсель Ишак – французский повар. Он попал в Анару в начале прошлого века. История, посвященная Ишаку (не смейся над звучанием старинной французской фамилии), стала повестью об изысканной кухне, любви и войне.

Марсель Ишак полюбил Сесилию Миндадзе, мою троюродную бабку (назову вежливо – “троюродную бабушку”). Я не застал Сесилию живой. Знаю, что она была очень красива, знаю, что вокруг нее увивался Лаврентий Павлович Берия. В коробке из-под сигар была фотография брюнетки с большущими глазами и строгого француза с улыбкой наивной и беззащитной…

Моя мама хорошо знала Сесилию. Я знал ее сына Антона. Он был виоленчелистом, дружил с Сергеем Параджановым, увлекался персидской литературой, много переводил как любитель.

Однажды Антон принес тетрадь и сказал: “Ираклий, прочти, только не говори Параджанову. Он засмеет меня… Это сценарий. Не могу придумать название. Есть одно, но очень длинное, в персидской прозе это принято. У меня оно звучит так: «Повесть о французском поваре, накормившем революционеров во главе с Серго Орджоникидзе жареными воронами, в результате чего у них начался жуткий понос». – Троюродный дядя посмотрел на меня. Я улыбался. – Здесь много про Сесилию и про… Хотя нет, прочти… Может, придумаешь название покороче? И… Если хочешь, забирай себе… кино – не мое дело…”

Он оставил тетрадь и пошел пить кофе с моей мамой. Я перечел название, оно мне понравилось своим наивом и хулиганством. Я не могу вспомнить, кто говорил, что воронье мясо действительно вызывает жуткий понос. Но текст, который я начал читать, увлек меня.

Я взял его за основу, кое-что изменил, кое-что прибавил из разговоров с родными, кое-что от себя и рассказал эту историю по-своему. Ей заинтересовалась одна французская кинокомпания, нашлись деньги у европейских кинофондов, Александр Роднянский вошел в дело… Кто должен был играть главного героя? Конечно, Пьер Ришар.

С Пьером Ришаром мы мерзли на съемках в горах Грузии, согревая себя красным кахетинским вином в Гурджаани, Мукузани, Манави, Хванчкаре. Любовь грузин к Пьеру Ришару мешала съемкам, так как все, начиная с президента Шеварднадзе и кончая мэром захолустного городка, присылали к нам своих гонцов, парламентариев, группу захвата, не знаю, как точнее назвать, бравых мужчин в черных костюмах, которые врывались на съемочные площадки и, обрывая работу киногруппы (не прерывая, а именно обрывая), объявляли всеобщую мобилизацию и массовое перемещение к заповедным застольям типа ресторана “Сам пришел”. А это значило, что половина съемочного дня коту под хвост. И там, у кота под хвостом, вино лилось не час, не два, не три, а до следующего утра. Но каким-то странным образом

фильм все-таки был снят.

Снимать фильм пришлось в очень тяжелых условиях. Только что кончилась война с Гамсахурдией, если кто-то помнит такого президента. В стране не было света, в гостиницах, где останавливались французы (вместе с Пьером Ришаром приехали его продюсеры, его агент, его возлюбленная марокканка Айша), не было горячей воды, ее грели в кастрюлях… Французы и марокканка тихо роптали, часто громко матерились по-французски, но Пьер, одержимый работой, успокаивал своих, показательно лез под струи холодного душа, показательно спал в гостиничных номерах, где изо рта шел пар и на себя приходилось надевать все свитера. “Я чувствую, мы снимаем стоящее кино, поэтому надо все вытерпеть”, – шептал Пьер своей красивой марокканке, надушенной духами “Красная Москва”, которые она обнаружила в тбилисском привокзальном ларьке и скупила все двадцать флаконов. То ли она ночами пила одеколон, то ли знойное тело североафриканки позволяло вытерпеть гренландские морозы, по ошибке забредшие той зимой в Грузию. Но терпели все, даже те французы, у которых не было подруг марокканок. В двух шагах от нашей съемочной площадки взорвался “Мерседес” президента Грузии. Взрыв был оглушительный, вылетели все стекла на нашем кинообъекте, завалились декорации. Мы выбежали на улицу, увидели кошмарные дымящиеся обломки того, что минуту назад было “Мерседесом-600”, бронированным, огнеупорным. Из машины выбрался президент Шеварднадзе, с него сыпалась стеклянная стружка, сам он был в рваной майке… Хотелось подойти, сказать: “Как хорошо, что вы живы”, но охранники гипнотизировали, не позволяли пересечь невидимый запретный круг. Президент узнал Пьера Ришара и нашел в себе силы улыбнуться ему и сделать неприметный жест рукой. Охрана чуть расступилась. Двое очень немолодых мужчин встретились и что-то сказали друг другу. Один – в майке, царапинах и дымящихся волосах, второй – в гриме, с кровоподтеком под левым глазом (это для кадра). Думаю, Пьер Ришар шепнул президенту: “Надо все вытерпеть”. Война, разруха, холод, но виноградник осенью, несмотря на все беды, созревал, гроздья набухали. В несобранных ягодах бурлил сладкий сок… Ночами гудела Алазанская долина. Поросята бегали. Точились ножи… И вновь с громкими автомобильными гудками врывались на съемочную площадку черные “Волги”, крупнотелые мужчины выскакивали из них и кричали: “Кто здесь Пьер Ришар?” И вновь прерывались съемки, и вновь духан: “Сам пришел. Я тебя не звал”…

В 1997 году “Влюбленному кулинару” очень повезло: в Лос-

Анджелесе академия “Оскар” в номинации “Лучший иностранный фильм года” среди пяти других назвала нашего “Кулинара”. В день, когда номинантам положено сидеть в огромном зале “Кодак” (обязательно в смокингах) и ждать, когда на сцену выйдет некая кинозвезда, на глазах полутора миллиардов зрителей разорвет конверт и прочтет название фильма, выигравшего “Оскар”, мы все, авторы (режиссер Нана Джорджадзе, продюсеры Марк Рюскар, Темур Баблуани, главный герой Пьер Ришар, я – сценарист Ираклий Квирикадзе), стиснув зубы, ждали, объявят нас или соседей, сидящих справа и слева от нас в зале “Кодак”. Разорвать этот таинственный конверт вышел на сцену великий Джек Валенти, президент гильдии режиссеров Америки. Это был старый человек в личном смокинге, который очень аккуратно сидел на хозяине; он, видимо, не раз выходил в нем на эту оскаровскую сцену. Я подчеркиваю “в личном смокинге”, так как на всех нас были смокинги, взятые на прокат. Еще утром в специальном прокатном пункте нам их удлиняли, укорачивали, расширяли… Мы – грузины, претендующие на “Оскар”, – чуть не ввязались в драку с итальянским хозяином смокингового ателье. Он прятал от нас качественные брюки, жилеты, лакированные ботинки, подкидывая рваную продукцию; при этом обвинял нас, что мы пришли в последний момент, что его прокатным пунктом пользуется ползала оскаровских номинантов и гостей выдающейся киноцеремонии. Огромный итальянец разорался до того, что, тыча полуметровый палец то в нас, то в потолок своего заведения, объявил: “Я не знаю, где находится ваша Грузия! Знаю, Сталин был грузин, но он не носил смокинга! (Что он хотел сказать этим, было непонятно.) А остальные грузины пасут баранов, и смокинги им не нужны!” Закончил он свой монолог так: “Поэтому то, что я даю вам, берите и целуйте мне задницу!” Все это было несмешно и немножко нервно. Настолько нервно, что я, сценарист фильма “Влюбленный кулинар”, разбил дверцу шкафа, в котором обнаружилась дюжина смокингов фирмы “Шеппард”. В них ходили Уинстон Черчилль, принц Монако, ходит Джордж Клуни. Все они “шеппардисты”. К этому блистательному списку присоединились и мы. Пьер Ришар хохотал, когда мы рассказывали историю об ограблении прокатного пункта. На самом Пьере сидел его “личный смокинг” (вполне качественный, но не “Шеппард”), который, он сознался, десять лет жаждал надеть, но случай не представлялся. И вот мы шествуем по красной оскаровской дорожке, разодетые в “Шеппарды”, озираемся по сторонам: как бы из орущей толпы не выскочил огромный итальянец с дюжиной полицейских и не стал нас

раздевать (нечто подобным он грозился, когда мы покидали пункт смокингового проката). В зале “Кодак” нас посадили довольно-таки близко к сцене, сюда сажают тех, кому, возможно, придется выбежать на сцену, судорожно схватить статуэтку и нервным, сбивающимся голосом поблагодарить всех, кого удастся вспомнить. Уже роздано полтора десятка “Оскаров”, неумолимо приближается момент объявления “Лучший иностранный фильм года”. В горле, словно олово раскаленное, или, как сказал Габриэль Гарсия Маркес по другому поводу, “накакали триста кошек”, сравнение грубое, вычеркиваю. У Маркеса оно к месту, там человек выкурил к ночи четыре пачки сигарет и проснулся утром с чувством, что его горло посетили триста кошек. Великий Маркес умер 17 апреля 2014 года. Если бы я был Джамбул Джабаев, казахский народный поэт, который пел обо всем, что видел, я рассказал бы в память о Маркесе, наилюбимейшем моем писателе, как я в том же самом Казахстане снимал фильм “Возвращение Ольмеса”, где не играл Пьер Ришар, но которому я поведал эту историю… Если ты, Чанчур, еще не отбросил мои путаные воспоминания о смокингах, о президентах, о марокканских красавицах, о пьяных хозяевах маленьких кахетинских городов, которые пили вино из большущих рогов за здоровье Пьера Ришара, их гостя, то позволишь мне, своему отцу, сказать, что в казахской пустыне я прожил в ауле Караой четыре месяца в 1983 году. Это двести километров от озера Балхаш, там постоянно дуют пыльные бури. Аул был оторван от мира, после съемок наступала ночь, надо было или спать, или пить портвейн “Солнцедар”. В поселке мы частенько встречали подвыпившего пионера лет двенадцати. Когда он был трезв, то помогал нам на съемках, даже снимался… Звали его Азат. Надо сказать, что в центре Караойя находилась и почта. Я хотел читать прессу, газеты, журналы, но на почте ничего, кроме бланков телеграмм, не было. И еще там была комната под большим амбарным замком с надписью “Библиотека”. Папа Азата был библиотекарем, но он пас овец на летних пастбищах. Я ждал, когда вернется папа. И дождался. Вбежал в крошечную комнату, в библиотеку, жадно снимаю с полок книги, они все на казахском языке. Буквы – русским шрифтом, слова мне не прочесть. Оглядываю узкое помещение. Вижу полку: классики марксизма-ленинизма. Книги на русском. Но авторы – Брежнев, Ким Ир Сен (двенадцать томов), Ленин (сорок томов), три тома Косыгина, Фридрих Энгельс, Карл Маркс (шестнадцать томов). Глаза мои мрачно продвигаются по корешкам томов Маркс, Маркс… Маркес!!! Маркес!!! В безумном счастье хватаю том, действительно Маркес! Однотомник из серии “Мастера современной прозы”. “Сто лет

одиночества”, “Осень патриарха”, “Полковнику никто не пишет”. Каким образом? Почему в Караой завезли и поставили на полку классиков марксизма-ленинизма рядом с шестнадцатью томами бородатого Карла один семнадцатый том – Габриэля Гарсия? Как это могло случиться?

Чанчур, мне нравится коллекционировать странные, необычные истории. Пьер Ришар, вся его жизнь, есть одна необычная история.

16 августа 2014 года Пьеру Ришару (у которого в паспорте кроме Пьера записано еще четыре имени: Морис, Шарль, Леопольд, Дефе), знаменитому французскому актеру и режиссеру, исполнилось восемьдесят лет. А он, словно юнец, на своем огромном чудище по имени “Харлей Дэвидсон” носится по Парижу, пугая прохожих каской средневекового викинга. Но не думайте, что на нем черная куртка мотоциклетного братства “Ночные волки”. Он, Пьер, всегда сам по себе. Как и в жизни, общительный обожатель красивых женщин, хорошего вина, он всегда сам по себе. Пример: снимаясь в комедиях, легких, беззаботных, делающих кассовые сборы по всему миру, он вдруг сорвался, отказался от огромных гонораров и сбежал в загадочное путешествие на Кубу. Провел там со съемочной группой (очень малочисленной) полгода, бродил по кубинским джунглям, выискивал людей, которые лично знали легендарного Че Гевару. Снимал и записывал их рассказы. Нашел малоизвестные хроникальные кадры, где Че не похож на свою легенду, он там сложный, разный… Ришар вернулся с интересным кинодокументом, как режиссер получил премии на международных кинофестивалях и тут же вновь окунулся в комические фильмы. Где-то случайно прочел мой сценарий “1001 рецепт влюбленного кулинара”. Связался с режиссером Наной Джорджадзе и кричал ей по телефону, что ему понравилась история и он готов сниматься бесплатно… “Но история ведь не очень смешная…” – засомневалась режиссер. “Я всю жизнь мечтал сыграть в трагикомедии. Поверьте, никто не сможет сыграть вашего влюбленного кулинара лучше меня!”

Так я попал в небольшой родовой замок Пьера Ришара. Была весна 1996 года. Пьер лежал на диване с ногой в гипсе: то ли мотоциклетная авария, то ли упал с дерева. Когда мы шли к замку сквозь заросший грушево-лимонно-ореховый сад, какая-то немолодая женщина в затертом халате перебегала по натянутому канату с одного орехового дерева на другое. На ногах ее я заметил ботинки “Доктор Мартенс”. Пьер хотел встать, но гримаса боли и куда-то исчезнувшая палка-костыль вернули его на диван. Мы стали вести разговор обо всем, кроме сценария. Та

самая канатоходка в халате принесла вино, о котором Пьер сказал: “Грузин, посоветуй, предлагают купить виноградник, когда-то знаменитый, сейчас одичавший, стоит покупать? Вы, кавказцы, известны в мире как прародители вина, это так?” Даже если это было не так, кто бы отказался от титула первого в мире винодела? Но вино было действительно горьковатое, терпкое. Я произнес умную фразу: “В нем много танина!” Пьер подтвердил. Дикий виноград развязал нам языки. Пьер оказался талантливым рассказчиком смешных историй, анекдотов. Не анекдотов о Чапаеве, Анке-пулеметчице, Брежневе, Штирлице, чукче, еврее, армянском радио… Пьер копил истории абсурдные, сюрреалистические, произошедшие с ним и его друзьями, с друзьями друзей. Как пример: “Одетый в шкуру медведя Арман Сартр (фамилия актера) перекрестился и бросился с четырехметровой высоты”. Чарли Чаплин, в жизни мрачный, склонный к депрессиям, часто молчащий сутками, своей профессиональной работой заставлял хохотать весь земной шар. Он держал штат людей, около ста человек мужчин и женщин, которые собирали для него тысячи смешных. Они записывали их, они составляли картотеки: “Смешная история, произошедшая в театре”, “Смешная история, произошедшая на палубе прогулочного парохода”, “Смешная история, случившаяся в прачечной”. Были и такие: “Смешная история, после которой сгорел дирижабль”. Когда Чаплин придумывал сюжеты, он пользовался этой картотекой… Пьер Ришар один трудился за сотню коллекционеров смешного и щедро транслировал истории в мои коварные уши-ловушки. Несколько из них я внес тут же в готовый для съемок сценарий “Тысяча один рецепт влюбленного кулинара”. Пример: “Монолог Паскаля (имя героя) с помидорами”. Это воровство сюжета пошло на пользу фильму. В тот первый день нашего знакомства я услышал десятка два замечательных историй и рассказал дюжину своих. Появляющиеся и исчезающие слушатели, которые пили вино с танином, пьяно смеялись, мое авторское честолюбие ликовало.

Но тут случилось короткое замыкание. Пьер рассказывает: “В Стамбуле я с друзьями иду ночью по бульварам, там, где вкусные маленькие ресторанчики, и мой друг толкает меня в бок и говорит: “Пьер, хочешь посмотреть на себя?” Я удивился вопросу. Друг показывает пальцем на открытый стамбульский дворик, где расставлены столы, висят цветные фонари, дымят мангалы… На крошечной сцене три музыканта: флейта, барабан и контрабас; контрабасист – это я. Он не похожий на меня… а именно я! Рост, фигура, глаза, нос, подбородок, курчавые волосы, улыбка. Я стою и тупо смотрю на себя, играющего на контрабасе. Хотелось зайти,

подняться на сцену и потрогать себя… Почему-то этого не сделал”…

Когда я услышал эту историю, я встал со стула, подошел к окну. Танин действовал, но не настолько, чтобы объяснить и понять как же так. Я в 1985 году писал сценарий вместе с Никитой Михалковым и Сашей Адабашьяном “Жизнь и смерть Александра Грибоедова”. Нас позвали в Стамбул, искать натуру для съемок Тегерана, где был, как мы знаем Грибоедов, где он работал в российском посольстве, где был трагически убит во время бунта. Но почему Стамбул? В те годы началась смута в Иране: Аятолла Хомейни изолировал Иран от всех иноверцев. И нам предложили искать Тегеран в Стамбуле. Однажды ночью мы шли по бульварам, где много маленьких ресторанчиков. Никита Михалков толкнул меня в бок и сказал: “Ираклий, хочешь посмотреть на себя?” Я удивился вопросу. Никита показал пальцем на ресторан, мимо которого мы только что прошли, вернул меня чуть назад, и я увидел небольшую эстраду и трио музыкантов: флейта, барабан, контрабас… Контрабасист был я, Ираклий Квирикадзе. Не человек, похожий на Ираклия, а я! Мы стояли и тупо смотрели на него. Особенно тупо смотрел я. Как сомнамбула, я вошел во двор, подошел к эстраде. Контрабасист меня заметил, улыбнулся и продолжал играть. Я смотрел на него, потом, не зная, что делать, оглянулся. Никита и Саша стояли рядом. Никита предложил: “Он кончит играть, познакомимся?!” Я махнул рукой: “Пойдем”. Мне не хотелось знакомиться с самим собой.

Я в рассказе о Пьере Ришаре, может, не упомянул бы этот странный случай раздвоения (я даже не знаю, как назвать этот феномен полной синхронности), думаю, не я один встречал в жизни двойников: я своего, Пьер Ришар своего, Никита Михалков своего… У Хемингуэя есть целый батальон Хемингуэев. Но почему Стамбул, ресторан, эстрада, контрабасист Квирикадзе и контрабасист Ришар? Весь год, снимая фильм то в горах, то в декорациях в Париже, то в тбилисской опере на записи музыки, то в придорожной кахетинской харчевне в сцене, где французский кулинар Паскаль скормил коммунистическим лидерам сациви из ворон, и у них началась коллективная диарея, в перерывах между работой, едой, мертвым часом мы с Пьером иногда увлекались рассказами случаев из жизни, как бы состязаясь в абсурдизме, сюрреализме, фантасмагоризме, магическом реализме наших историй. Незримые судьи: Маркес, Борхес, Кортасар, Льоса, Амаду, Астуриас. Незримые, так как они отсутствовали, а если и были бы с нами, вряд ли бы вслушивались в наши бредни… Все они удивились бы и не смогли бы объяснить, почему в череде

историй появлялись двойники. Двойники не люди, а двойники истории.

Вот пример: в аэропорту Шереметьево опаздывает самолет. Я рассказываю: “В пятом классе мне поручили нарисовать в стенной газете портрет Александра Сергеевича Пушкина. Праздновался пушкинский юбилей – стопятидесятилетие поэта. Учительница Марья Владимировна Бухаидзе велела на следующий день принести в школу мне рисунок курчавоволосого лицеиста-поэта, а моему другу Омару Плиеву – тексты, написанные каллиграфическим почерком. Всю ночь мы готовили стенгазету. Нам помогала сестра Плиева глухонемая рыжеволосая девочка старше нас лет на пять. В доме моего друга все спали, заснул и Плиев, положив голову на стол. Пушкин у меня не получался. Я пошел на кухню менять воду для акварельных красок. На кухне в темноте на меня набросился тигр, впился в меня накрашенными губами, рычал, лязгал зубами, дышал, кусал мои щеки, шею, губы. Это была глухонемая сестра Плиева. Первый раз в жизни меня целовала девочка-женщина. При этом она рычала. Мне, десятилетнему мальчику, было страшно и как-то сладко. Когда глухонемая перегрызла горло (так мне показалось), она исчезла в кухонной темноте. Я вернулся к Пушкину. Рисовал и думал, что же случилось со мной на кухне? Пьер слушал меня, молчал, потом сказал: “Как называется этот аэропорт? Шереметьево?” Мы сидели в зале ожидания. У меня были фотографии нашего шереметьевского ожидания, там мы почему-то поем, обнявшись. Виной тому вино “Мукузани” с высоким танином. Пьер продолжил: “Я рисовал портрет Оноре де Бальзака, и меня на кухне словила рыжая глухонемая и рычала…” Не знаю, как комментировать такие совпадения, вплоть до поцелуев двух глухонемых девочек.

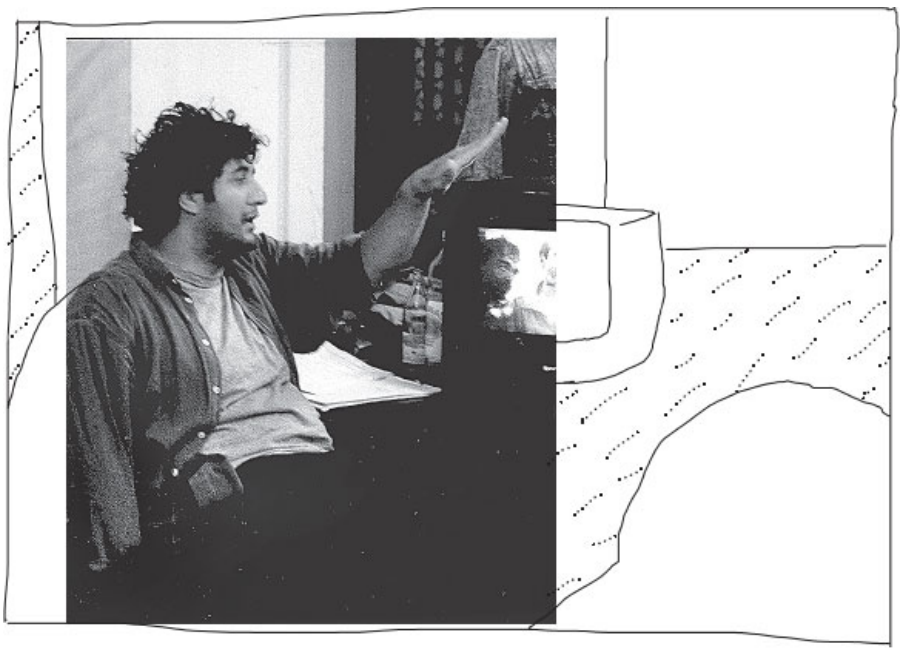
Что еще рассказать тебе, Чанчур, о Пьере Ришаре? В интернете все сказано: какое у него семейное положение, чем он знаменит, даже какой у него рост, вес, что с ним сейчас не марокканка Айша, а бразильянка Сейла. Там же длиннющий список фильмов, в которых он играл. Все эти желтые ботинки… Я рассказал от себя несколько историй, но вот что еще важно.

Когда Джек Валенти, президент гильдии режиссеров Америки разрывал на сцене оскаровской церемонии конверт, он извинился, что чрезвычайно простужен, взглянул на бумажку и медленно начал читать: “Сегодняшний победитель в номинации “Лучший иностранный фильм года” – фильм “Ше…””. Джек Валенти закашлял громко, глухо, простудно; мы, сидящие в смокингах авторы, переглянулись… Я увидел ликование на лицах моих друзей, Пьер Ришар, самый эмоциональный из нас, открыл рот и

беззвучно кричал на весь оскаровский зал. По-английски наш фильм “Влюбленный кулинар” называется “Шеф ин лав”, и Джек Валенти перед кашлем уже назвал первые две буквы “Ше…”. Кашлял он секунды четыре. За эти четыре секунды каждый из нас увидел себя с золотой оскаровской статуэткой в руках… Я представил, как самолет приземляется в аэропорту Тбилиси, мои друзья, не друзья встречают нас, победителей, как президент Шеварднадзе просит подержать Оскара и говорит, что-то вроде: “А они хотели меня взорвать, нет уж! Мы живем и будем жить!” Я даже успел представить, где должен стоять Оскар, на моем книжном шкафу, в столовой, а может, в спальне держать его под подушкой, чтобы видеть яркие сны победителя. Четыре секунды кашлял Джек Валенти, потом закончил фразу. “Сегодняшний победитель в номинации “Лучший иностранный фильм года” – фильм Чешской республики…” – и назвал нашего конкурента в оскаровской лотерее. У Валенти “Че…” прозвучало как “Ше…” Не знаю, как этот ни кем не замеченный акустический казус вами прочитан, но получить “Оскар” и через четыре секунды потерять его?! Думаю, даже у Пьера не было сил произнести свое традиционное: “Надо все вытерпеть”. На другой день мы отвезли смокинги фирмы “Шеппард” и сдали их огромному итальянцу… Можно ставить точку. Я все рассказал… Но Джамбул Джабаев, казахский поэт “что вижу о том пою”, шепчет мне в ухо: “Доскажи историю о Маркесе. В ней финал рассказа о Пьере”.

Габриэль Гарсия Маркес приехал в Москву на кинофестиваль в составе мексиканских кинематографистов. Была середина восьмидесятых. Двое моих вгиковских сокурсников – мексиканцы Серхио Ольхович и Гонсало Мартинес – обняли меня и представили: “Познакомься, Гарсия Маркес”. Я проглотил язык. Вечером мы оказались за общим столом. Молчу. Очень-очень хочу рассказать казахскую историю о классиках марксизма-ленинизма, но… А вдруг не поймут… Как бы в лужу не… Все же рискнул, виновата в этом была текила. Серхио Ольхович переводит. Когда я дошел до полки “классики марксизма-ленинизма” и нашел там книгу Маркеса, классик захохотал. Громко на весь ресторан пресс-центра. Три дня мы встречались то в коридоре гостиницы “Россия”, то в фойе, то в ресторане. Маркес, увидев меня, кричал: “Я – классик марксизма-ленинизма!!!” Бил себя в грудь… Мне повезло в жизни на хороших классиков. “Пьер, – кричу я из Парижа в Марсель, – мы снимем все наши истории про двойников и про одиночек. Оп-ля! Мы живы!!!”

Фотография 33. 1998 год



Фотография 33. 1998 год.
Бахтияр Худойназаров на съемках фильма „Лунный папа."

Утром 21 апреля 2015 года в берлинском госпитале кинорежиссер Бахтияр Худойназаров, страдающий неизлечимой болезнью на букву “Р”, сказал маме, которая приехала из далёкого Таджикистана ухаживать за сыном: “Мама, всё”… Это были последние слова 49-летнего автора фильмов “Братан”, “Кош ба Кош”, “Лунный папа”, “Шик” и многих других. Его берлинский дом полон золотых, серебряных, бронзовых львов, леопардов, русалок, означающих победы на престижных кинофестивалях в Венеции, Токио, Локарно, Мар-дель-Плата, Карловых Варах…

Бахтияр был гражданином мира, жил в Европе, но лучшие свои фильмы снимал на родине, в Таджикистане, с таджикскими актерами, с таджикской съемочной группой… Мусульманин по

роду и крови, он принял христианство, был похоронен на православном берлинском кладбище, где под столетними дубами лежат люди со старорусскими фамилиями Шаховские, Жуковские, Потемкины…

Бахтияр был (нелепо произносить это слово “был”) веселым, жизнерадостным, с вечно лукавой и в то же время беззащитной улыбкой на восточном лице. Своим мощным торсом, смуглой кожей, копной густых черных волос он походил на фенимор-куперовского индейского вождя. Еще он был похож на тигра, которых рисовал Сальвадор Дали (знаю, что сравнение это удивит многих). Бывают беззащитные тигры? Нет? Тогда я не прав.

Мы были друзьями. Разница в годах была большая. Но какое это имело значение, когда при первой же встрече в Берлине мы решили, что я пишу сценарий “Лунный папа”, а Бахтияр снимает его! Нас свел продюсер Карл Баумгартнер, полунемец-полуитальянец. У Баумгартнера в тот год была беда. Фильм “Андеграунд”, который он сделал с Кустурицей, завоевал в Каннах “Золотую пальмовую ветвь”, но не заинтересовал зрителя. Кинозалы были пусты. Кустурица, снимая фильм, “съел” три бюджета. Баумгартнер, доставая деньги, разве что не грабил банки. Его обожали старые итальянские аристократки. Он “одалживал” у них бриллиантовые диадемы, закладывал в ломбарды, продал свой дом, машину, мотоцикл, надул собственного деда: тот выиграл лотерейный билет, Баумгартнер подменил его. Он сделал все, чтобы “Андеграунд” был снят. Объяснить прокатный провал можно. Фильм “Андеграунд” о войне в Югославии, мир смотрел эту войну ежедневно по телевизору. Зритель сказал: “Не надо, спасибо, покажите нам что-нибудь другое”. Баумгартнер преклонялся перед Кустурицей, но прогорел на “Андеграунде”. И тут он увидел фильм “Братан” Бахтияра Худойназарова. Черно-белый, полный молодой энергии, снятый за пять копеек. Бахтияр получил грант берлинской “Нипков программ” (жить год в Берлине, получать стипендию, готовить новый кинопроект). Новым проектом оказался сценарий “Лунный папа”. Баумгартнер то шептал, то кричал нам: “Сделайте что-то несложное, съемки в Таджикистане, и почти бесплатно!”

“Лунный папа” – история, случившаяся в городке, где я провел грузинское детство. Наш сосед, милиционер, один воспитывал дочь Лауру, мою одноклассницу. Девочка не по годам расцвела в свои шестнадцать лет. Мой дядя Василий, глядя на нее, развешивающую белье на соседнем балконе, шептал: “Инжир, вот-вот лопнет”. Я не понимал, почему Лаура должна “лопнуть”. Папа-милиционер сопровождал дочь всюду – на дни рождения ее подруг, в кино, в дом культуры, куда заезжали театральные

труппы, как правило, халтурить: спеть арию Ленского на дуэли, задушить Дездемону в постели, произнести монолог Ленина на броневике. Все это с танцами, песнями, клоунадой. Вот на такой концерт заезжих артистов милиционер отвез дочь, сам пошел кутить с друзьями, договорившись, что подъедет к концу представления. Всегда пунктуальный, папа в этот раз опоздал. Дочь ждала-ждала и пошла домой коротким путем через овраг. За ней увязался кто-то, назвавшийся артистом, и совершил то, что девочка не очень-то и поняла. Светила луна, благоухали травы, ей было хорошо. Вскоре стал у Лауры расти живот. Папа-милиционер в ужасе. Он посадил дочь на мотоцикл, и они стали объезжать все провинциальные театры. На спектаклях, куда милиционер с дочерью попадали, они смотрели на сцену в надежде узнать того “лунного папу”.

Но это Грузия. Я не был в Таджикистане. Бахтияр уверял меня, что все из моей истории могло произойти и в Таджикистане. Ребенок, рожденный вне брака, – позор семьи! И все грузинские комичные ситуации – абсолютно таджикские. Бахтияр говорил: “Все люди южных земель, согретых солнцем, все виноградари, хлопкоробы, пастухи, каменщики, кто плетет корзины, сколачивает гробы (черт побери, помню эту профессию в его перечислении), – все похожи характерами, что таджики, что узбеки, что грузины”. Скажу, что схожие характеры можно легко разыскать среди виноградарей, хлопкоробов, но среди режиссеров и сценаристов, снимающих фильмы, – дело чрезвычайно редкое.

Я, как классический графоман, написал много сценариев. Они попадали к разным режиссерам, с которыми мы говорили ночи напролет, обсуждая общие проблемы, потом оказывалось, что глаза режиссера видели совсем другие картины, уши слышали совсем другие звуки, диалоги. Посмотрев ими снятое, мне часто хотелось выкрасть у соседа-полковника Абашидзе именной пистолет и разрядить всю обойму в ненавистный живот режиссера. Худойназаров – один из немногих, кто снял фильм, который я как бы снимал в своем воображении, когда писал сценарий.

Мы подружились на почве обоюдной любви к Сальвадору Дали. “Как он рисует пустыню!” – сказал Бахтияр, и я увидел, что Дали действительно в своих пейзажах часто изображает пустыню, пески. Я рассказал ему, что мой друг Тенгиз Семенов, режиссер-документалист, оказавшись давным-давно на съемках в Нью-Йорке в гостиничном лифте, встретил старика в шубе, летом, и сказал своему оператору: “Этот сумасшедший старик похож на Сальвадора Дали”. Стоящая рядом женщина вдруг ответила на чистом русском языке: “Этот сумасшедший старик и есть

Сальвадор Дали". Гала Дали и Сальвадор Дали пригласили Тенгиза и его оператора в ресторан (это было время до нашествия россиян на Запад), Гала наслаждалась разговором с русскими, Дали подарил им свой знаменитый "золотой альбом", дорисовав тушью несколько страниц.

Много лет Бахтияр спрашивал меня, когда сходим к Семенову. Почему это не случилось? Не знаю.

Худойназаров не меньше Дали страдал гигантоманией. Когда он снимал фильм, строил декорации, он исходил всегда из чего-то грандиозного. В фильме "Лунный папа", я уже сказал, действие происходит в провинциальном городке. Баумгартнеру, оператору, постановочной группе казалось, что найти таджикский провинциальный городок – несложная задача. Осмотрели один, не идеальный… Другой… Вдруг Бахтияр говорит: "Мы сами построим город". И построил на берегу старого водохранилища восемьдесят домов – не фанерные фасады, как в голливудских ковбойский городках, а настоящие, каменные, с фундаментом, с балконами на все четыре стороны. В городе столовая, где официанткой работает героиня Чулпан Хаматовой. Причал, от которого отправляется плот на другой берег водохранилища. Летний кинотеатр, где выступают актеры-аферисты. Маяк, в котором ночью крутятся прожектора. Все настоящее, все действующее. Рядом выстроил провинциальный аэродром, где приземляется самолет-кукурузник. Баумгартнер вначале выл! Потом, когда узнал, что таджикский каменщик, плотник, кровельщик просят за работу один доллар в день, успокоился. С близких и далеких аулов пришли чудесные рабочие люди. Построили за полтора месяца вручную целый город.

Бахтияр увлекся строительством, стал похож на фараона Хеопса, который строил свою пирамиду. Весь в цементе, сам готовил цементный раствор, строгал доски. Я по ошибке подумал: "Он не хочет снимать фильм, он хочет строить свой город. Может, боится снимать?" Но как только восемьдесят домов построили, каналы вырыли, на лодках можно плыть от дома до дому (почти Венеция), конный табун пронесся по главной улице, начались съемки.

Актеры были подобраны идеально. Тут были таджики, тут был немец Морис Бляйтроп (теперь мировая звезда, обладатель "Оскара"), надевший таджикский халат и ставший "чокнутым" братом Чулпан Хаматовой. Знаменитый сегодня Мераб Нинидзе (в те игравший на австрийских сценах). Боюсь забыть Николая Фоменко в роли летчика, сбросившего с неба быка – быка, который изменит жизнь героини.

Бахтияр – фокусник и маг. Он сочиняет странные

мизансцены, многоплановые переходы, где камера то следит за актерами, то бросает их, увлекшись разглядыванием верблюда, потом вновь догоняет актеров, которые садятся на паром и уплывают, теряясь в тумане…

Я уехал в Лос-Анджелес. Там писал сценарий для Джулии Робертсон (не путать с Джулией Робертс, голливудской звездой). Вдова канадского бизнесмена, кинорежиссер-документалист, пожелала снять игровое кино. Заказала мне сценарий “Красные ангелы” о девушках-летчицах Зое и Шуре, опыляющих поля химическими удобрениями. Они летают на разбитом самолете “У-2”, а до этого бомбили Берлин. Действие фильма – конец 1945 года. Урал. Сижу в Лос-Анджелесе. Пишу. Ночью звонит Бахтияр.

– Ираклий, у нас тут утро. Сейчас все садятся в автобус, ехать до нашего водохранилища час двадцать… Сцены, когда Чулпан должна признаться папе, что беременна, ни тебе, ни мне никогда особо не нравились. Может, придумаешь что-то интересное? Какое-нибудь действие, а? Чулпан просит. Я прошу!

– Когда это надо? – спрашиваю.

– Сегодня снимаем. Пока мы доедем до объекта, придумаешь, а?

Я крою его мысленно матом. Завтра утром в офисе Джулии Робертсон у меня сдача первого варианта сценария “Красные ангелы”, а мне еще писать и писать. И на тебе – Бахтик с беременной Чулпан как снег на голову! Где они были до этого?

– Хорошо, Бахтик, – говорю я вслух.

Лос-анджлесская ночь. Район Венис-Бич. За окном океан. Огромные волны. Минуту назад океан меня бодрил. Сейчас грохот действует на нервы. Что придумать? Что делает Чулпан? Может, у нее в руках мешок химических удобрений? Мотивы “Красных ангелов” вползают в “Лунного папу”. Автобусы со съемочной группой там, в далекой таджикской пустыне, приближаются к бахтияровскому городку… Черт, о чем я думаю? Вышел из дома. Иду к огромным волнам с чашкой горячего кофе. Темно. Какая-то птица, похоже пеликан, орет так, что перекрывает грохот волн. Жутко неуютно. И вдруг чашка горячего кофе, которую я взял к океану, напомнила мне историю, из нее можно что-то выудить для Бахтияра.

В детстве я разбил любимую дедушкину чашку. Мой дедушка Давид Алексеевич Миндадзе всю жизнь пил чай из этой чашки с рисунком пеликана. (Пеликан пролетел, каркая). Как дедушке сообщить, что я разбил чашку? Я просил маму: “Ты скажи”. Мама отказалась. Захожу в комнату дедушки. Давид Алексеевич любит меня, но чашку, кажется мне, шестилетнему, любит еще больше. Дедушка сидит в кресле. Читает газету “Заря Востока”.

– Дедушка, я что-то тебе должен сказать.

– Что, малыш?

– Боюсь сказать…

У Давида Алексеевича хорошее настроение – он улыбается: – Не бойся!

Я оглядываюсь, вижу в шкафу дедушкины галстуки.

– Можно я сперва галстуком свяжу тебе руки? И потом скажу…

Дедушка согласился, это было неожиданно, я быстро связал ему руки, вторым галстуком ноги… Дедушка улыбается.

– Ну говори…

– Я разбил твою любимую чашку.

Давид Алексеевич взревел, хотел вскочить, но не смог. Я бежал и слышал вслед вопли и ругань.

Я допил кофе, вернулся с океана. Звонит Бахтияр.

– Придумал?

Я рассказываю, как связал руки-ноги дедушке перед тем, как сознаться в страшном преступлении. Ему история понравилась. Чулпан Хаматова смеется. Мы все довольны. Я послал факсом диалоги… В таджикской гостинице у немецкого продюсера была эта техноновинка – факс. Бахтияр снял эту сцену, где Чулпан говорит отцу, который белит стены дома: “Можно я свяжу тебе руки?” – и потом сознается, что забеременела.

Бахтияр срежиссировал и смонтировал эту сцену так, что в зале всегда хохот. Замечательный образец трагикомедии. Сейчас, увы, куда-то из фильмов испарилась эта трагикомичность. Сейчас только ржач и зубоскальство. Великие трагикомедии творили большие мастера – Чарли Чаплин, Бастер Китон, Жак Тати, Федерико Феллини, Витторио Де Сика. Перестал делать трагикомедии Георгий Данелия. Вспомните “Осенний марафон”, “Мимино”, “Не горюй!”, “Афоня”. В Америке блистают братья Коэн (не всегда), Вуди Аллен. Ушел из жизни Балабанов, который умел в черных сюжетах тонко, иронично смеяться. И вот Бахтияр Худойназаров сказал своей маме в берлинском госпитале: “Мама, все”…

У него был свой стиль. Свое чувство комического. Он рос от фильма к фильму и, казалось, подбирался к чему-то главному. Любимец многих фестивалей (есть определенная каста режиссеров, фильмы которых желают иметь в своих программах директора кинофестивалей: КимКи-Дук, Паоло Соррентино, Ульрих Зайдель, Эмир Кустурица). Бахтияр входил в этот шорт-список, хоть его имя не было столь знаменито, как имена, названные выше. Знаю, что директор Берлинского фестиваля Дитмар Козлик боролся за бахтияровский фильм “В ожидании

моря”, но он достался Марко Мюллеру директору Венецианского фестиваля, который открыл этим фильмом свое новое детище – Римский кинофестиваль. Во всей этой суматохе, суете, битве амбиций Бахтияр был всегда спокоен – оголенными нервами он творил, а после, как фильм был сделан, он словно впадал в зимнюю спячку и вновь становился похож на фенимор-куперовского индейского вождя, а может, и на фараона Хеопса, чей портрет никто из нас не видел.

Хочу рассказать, как мы монтировали “Лунного папу”. Австрийцы вложили в производство фильма небольшие деньги, поэтому монтировать Бахтияр обязан был в венской монтажной. Он работал там пару недель, позвал меня. Всю жизнь я мечтал увидеть Вену – детское потрясение от фильма “Большой вальс”, золотой бюст Иоганна Штрауса в парке, дом, где жил и творил Вольфганг Амадей Моцарт, венские кафе, сладости, венская опера. Все это – моя мечта о Вене. Я приземляюсь в венском аэропорту. Меня встречает машина и по окружной дороге везет на окраину австрийской столицы, где большой комплекс постпродакшн с монтажной. Живу я этажом ниже монтажной, там что-то вроде гостиницы. С первого дня приезда монтируем. В воскресенье монтируем. Едим в небольшой закусочной при монтажной: сосиски венские, пюре, пиво. Так три недели. Вижу, что Бахтияру неловко. Но австрийские продюсеры считают каждый человеко-час. Фильм с каждый днем обретает силу. Но мы выдыхаемся. В монтажной одно окно и одна для нас радость. Напротив монтажной метрах в семи распахнуты окна венской бани. По четным – женские дни, по нечетным – мужские. По четным сперва робко, потом смелее и смелее мы смотрим на обнаженных венок. Это чрезвычайно увлекательно, не мешает работе. Бахтияр обнаружил в соседней комнате телескоп. На нем надпись: “Лунный”. Мы перетащили его в монтажную, направили на окна бани и в упор рассматриваем девушек и пышных матрон. Мы смонтировали фильм, несмотря на великие визуальные соблазны. Меня посадили в машину (Бахтияр остался на другие постпродакшн-работы), я молил дирекцию: проедем через центр, посмотрим хотя бы золотого Штрауса. Мне обещали, но, как всегда, долго готовили материалы, которые я кому-то должен был в Москве передать. И вновь мчимся по окружной, опаздываем на рейс…

На фестивалях, в европейском прокате фильм “Лунный папа” имел большой успех (был выдвинут на “Оскара”). В России в те годы (конец девяностых) существовали прокатные проблемы. О фильме писали, но видеть его почти не видели. После “Лунного папы” мы с Бахтияром постоянно строили совместные планы. Я

написал для него “Восточно-западный диван”. Он оказался дорогим проектом. Мы замечательно дружили. Приезжая в Берлин, мы пили по всяким смешным поводам, то день рождения Карла Маркса, то к нему на квартиру ночью нагрянул муж его возлюбленной, не обнаружив неверную, по странной немецкой логике пошел за ящиком пива. Бахтияр звонит мне “приходи”, и мы до утра с рогоносцем пели что-то вроде “Интернационала”.

Бахтияр стал снимать телевизионные сериалы. В них он вновь и вновь проявлял себя отличным кинорежиссером. Сериалы Худойназарова делались без примеси телевизионных штампов. Он как бы нарочно разрушал механизм телевизионного восприятия. Актеры, привыкшие в сериалах играть как бы внутренне зевая, заряжались энергией, как зайцы в популярной рекламе о батарейках. Но зрителю не особо нравились его сериалы. Они своей непривычностью мешали смотреть на экран и потягивать пиво. В творчестве Бахтияра Худойназарова появились затяжные паузы.

Бахтияр женился раз, два, три. Все его жены были очень красивые. Но что-то не случалось. Он мечтал о семье, о детях. Как-то спросил меня об одном моем рассказе, который я читал ему еще во времена поиска сюжета для Карла Баумгартнера, “Огнеупорный Одиссей”. В нем я описывал начальника пожарной команды города Батуми. Рассказ я потерял… Благодаря настойчивости Бахтияра написал заново. Мы перевели его на английский. Дали почитать Баумгартнеру, тот загорелся делать его. Но история вновь грузинская. Каждый из нас понимал, что переадресовывать, как “Лунного папу”, в Таджикистан будет трудно. После ряда приездов Баумгартнера в Москву, моих – в Берлин Бахтияр задал простой вопрос: “А я, таджик, не смогу снять грузинский фильм с грузинскими актерами на немецкие деньги?” Мы пили вино в знаменитом KDB. “Можешь”, – сказал я уверенно. Мы втроем засмеялись. Баумгартнер соединил свой и наши кулаки. Так мы принимали решения. Позвонили Морицу Бляйтропу, чтобы предложить ему главную роль. Но не застали его. Он стал слишком знаменит, его полюбил Голливуд. Потом какие-то события в мире стали мешать начать работу. Экономические кризисы, лихорадка доллара и евро. Болезни коварно подкрались, сначала к Баумгартнеру, потом к Худойназарову. Встречаясь с Бахтиком, мы говорили об “Огнеупорном Одиссее”. “Я сам бы сыграл пожарника”, – сказал он как-то.

Вот краткое содержания сценария “Огнеупорный Одиссей”, который хотел снять Бахтияр.

“Одиссей Пипия, начальник пожарной команды города

Батуми, снился Амалии Пипиcмедовой каждую ночь с гигантским брандспойтом в руках. Из брандспойта лилось что-то горячее, что обжигало ее…

Пипия был нашим соседом по дому на улице Осоавиахим, 17. Дом был знаменит. Но не тем, что в нем жил Одиссей, жил я, жила Амалия Пипиcмедова. Мраморная доска с широкой трещиной посередине сообщала, что в начале двадцатых годов на улице Осоавиахим, 17 недолгое время жил поэт Сергей Есенин, который однажды проиграл в карты бабушку Амалии Пипиcмедовой, Шаганэ, и отыграл ее обратно с воплем: “Шаганэ ты моя, Шаганэ!”

Чтобы искупить свою вину перед бабушкой, поэт быстро сочинил стихи, ставшие потом всемирно известными. Прожив долгую жизнь, взбалмошная старуха кричала постоянно, что Есенин украл у нее кольцо с изумрудом и отравил мышьяком турецкого консула, главного ее любовника. В голове старухи смешалась правда с вымыслом.

Отец и трое братьев Пипиcмедовых в течение многих лет не подпускали к Амалии мужчин, отказывали лучшим городским женихам. Амалия из девушки кровь с молоком стала превращаться в старую деву, страдающую головокружениями. Когда светила полная луна, батумцы видели ее белую ночную рубашку то на крыше дома, то в ветвях цветущих магнолий. Братья Пипиcмедовы молча стояли под деревьями с натянутой простыней…

…В те годы в Батуми свирепствовал культ немецкой революционерки Розы Люксембург: дворец пионеров, нефтебаза, общество слепых, кожно-венерологический диспансер носили ее имя. Люксембург хромала на левую ногу, но, несмотря на это, атлетический клуб, куда ходил Одиссей совершенствовать мышцы, гордо носил имя выдающейся немки-хромоножки. Одиссей Пипия был чемпионом Батуми по приседанию с весом.

Адски сильный, малословный начальник пожарной команды имел большого недруга, штангиста легкого веса Брегвадзе. Однажды зимой, когда Одиссей по обыкновению приседал с весом, желая приблизиться к рекорду знаменитого американца Пауля Андерсена, Брегвадзе прокрался в раздевалку и вложил в рваную подкладку пальто Одиссея 15-килограммовый диск от штанги. Шелковая подкладка затрещала, но вес выдержала. Одиссей Пипия закончил тренировку, принял душ, оделся, но не почувствовал утяжеления пальто. Неделю он ходил по Батуми. В воскресенье утром раздался крик Клары Пипия, одиссеевской мамы. Старая женщина сняла пальто с вешалки, желая почистить, и оказалась придавленной стальной тяжестью. Два месяца в

гипсе, год хромоты, точь-в-точь как Роза Люксембург в старости, – вот во что обошлась шутка Брегвадзе. Узнав, кто сыграл эту шутку, Одиссей позвал Брегвадзе выпить пива в буфет Батумского театра драмы и комедии. Осилив ящик черного чешского, Одиссей так и не смог сказать негодяю: ты негодяй! Говорили о водолазе Пипия – папе Одиссея, утонувшем в Черном море, но ни слова о пальто, подкладке, диске, штанге. Расплатившись за ящик пива, Одиссей ушел. На улице Тельмана (еще одного немецкого революционера) Одиссей кулаком разбил водосточную трубу. “Зачем я такой дебил?” – шептал он кирпичной стене. “Зачем я такой дебил?” – шептал он товарному вагону, который столкнул с места, переходя железнодорожные пути… Но в пламени пожаров Одиссей преображался. Он превращался в саблезубого тигра! Смотреть, как Пипия тушит пожары, собирались со всего города дети, городские бездельники, заезжие командировочные, курортники, местный сумасшедший Зипо, о котором женщины шептали такое, что вызывало зависть у батумских донжуанов, простаивающих дни и ночи перед воротами турбазы в ожидании автобусов с пышнотелыми туристками. Донжуаны сокрушались: “Зачем придурку Зипо такой инструмент?”

В Батуми не существовало тайн. О начальнике пожарной команды было известно, что он девственник, в свои тридцать пять лет ничего, кроме тушения пожаров, не умеющий делать. Пипия вбегал в огонь играючи, смотрел не вперед, а назад, на своих подчиненных, чтоб никто не глотнул ядовитого угарного газа. Только однажды Одиссей сплоховал. Вызволяя из огненного пекла пионера Павлика Медведева, он должен был поднять дубовый шкаф, упавший на цементный пол дверками вперед. Заточенный в шкафу пионер орал и жутко матерился. С третьей попытки Одиссей сумел оторвать от пола дубовую громаду, открыть дверцы и… потерял сознание. Пионер Медведев, увидев, как его спаситель упал, охваченный пламенем, вспомнил о пионерской клятве помогать всем попавшим в беду, схватил бездыханное тело начальника пожарной команды за сапоги и сантиметр за сантиметром стал выволакивать на лужайку за горящим домом.

Даже Зипо, безучастно смотрящий на мир голубыми глазами придурка, расхохотался, увидев как Павлик делает дыхательные упражнения гигантскому полумертвому телу начальнику пожарной команды. Но это был единственный раз, когда Пипия дал слабинку. Именно в этом плачевном для Одиссея состоянии в него и влюбилась Амалия Пиписсмедова. Подруги Амалии одна за другой выходили замуж, становились многодетными матерями, любовницами, валютными проститутками, кто во что горазд.

Одна подруга даже уехала в Африку, в гарем либерийского принца. Амалия же чахла и сохла. Отец и три брата заиграли-заездили до бессмысленности пластинку “Прочь, недостойные женихи!”.

В длинном списке недостойных оказались: директор бани Мирзоев (армянин), зубной врач Берия (бабник), лектор общества “Знание” Фелькельман (пятый пункт), поэт Вегин (что это за профессия?), даже секретарь комсомола Зестафонского марганцевого завода Виссарион Месхишвили, которого метили в директора (по непонятным причинам).

Старая дева Пипиcмедова изнывала, словно виноградная гроздь, которую забыли во время сбора винограда. Сок бродит, кипит, хочет разорвать кожуру, но не может. Гроздь молит ворон, кружащих над виноградником: “Заклюйте меня, раздерите на части!”

Знойным августом, в полдень, к батумскому базару подъехал автобус “Икарус”, полный немецких девушек в синих майках с рисунками восходящего солнца. Комсомолки ГДР обступили продавца арбузов. Зипо, сидя на ковре недалеко от арбузов, пил чай. Два таджика, торгующих грушами дюшес и дефицитными утюгами, поили идиота байховым чаем из маленьких хрустальных стаканчиков. Посмотрев на комсомолок, мусульмане покраснели, лица их покрылись испариной, они опустили глаза и зашептали молитву. Зипо оторвал от губ хрустальной стаканчик, глаза его остекленели… Одна из девушек наклонилась к арбузам, из-под синей юбки на мусульман и идиота посмотрели две голые белые арийские ягодицы. Зипо издал какой-то адский звук, от ширинки брюк отлетели маленькие пуговички, закатились за груши дюшес. Идиот вскочил, помчался к юной немецкой комсомолке и… Ужас!!!

Амалия случайно оказалась в непосредственной близости от этого печального инцидента. Печального потому, что инцидент на батумском базаре стал еще одним негативным мазком в коллективном портрете “Все кавказские мужчины – насильники”. Милиция пыталась отнять у идиота немецкую комсомолку, но безуспешно. Их повалили на арбузы, накрыли ковром, закрутили и закинули в милицейский “черный ворон”. Фельдшерица психоневрологического диспансера сделала Зипо усыпляющий укол. Так однажды поступили с тигром, сбежавшим из бродячего зоопарка, гулявшим по бульвару имени Иосифа Виссарионовича Сталина.

После жуткой базарной истории Амалия пришла домой задумчивая, взяла с полки том медицинской энциклопедии и долго изучала какой-то рисунок и схему. Братья поняли, что

перегнули палку, когда их единственная сестра и дочь заорала за ужином: “Раз вы никого ко мне не подпускаете, лягу под Зипо!” Позвали сводника. Тот пришел с женой-сводницей. В их портфеле оказалось двадцать семь мужских фотографий. Последняя была фотография Одиссея Пипия. “Это ж наш сосед!” – Амалия, счастливая, ткнула пальцем в портрет пожарника. “Устроим смотрины?” – спросили муж и жена Шиллеры. Сводники были огрузиненными немцами из поселка Нефтебаза имени Розы Люксембург. Там жило много немцев, внуков и правнуком нефтепровода Баку – Батуми 1913 года. “Зачем смотрины? На что смотреть? Мы хорошо знаем друг друга!” – крикнула Амалия, но по холодным взглядам четы Шиллеров поняла, что сморозила глупость.

Смотрины были устроены в Батумском городском театре. Этого требовала местная традиция. Супруги Шиллеры купили билеты на спектакль “Испанский священник”. Амалия и все ее родственники, включая Шаганэ, моих родителей, меня, моих сестер, заняли лучшие места в партере. Рядом с Амалией пустовало кресло. В него словно бы случайно должен был сесть Одиссей Пипия. По правую сторону от кресла Одиссея восседали его родственники. Все с любопытством разглядывали друг друга, ждали, когда появится Ромео сегодняшнего вечера. В люстре медленно стал гаснуть свет. В темноте заблестели перламутры биноклей. Ромео не появлялся.

Устраивать в театре смотрины вошло в моду где-то в начале шестидесятых, когда директором театра пришел работать Дмитрий Пушкарь. Это он собрал всех батумских сводников и сводниц и предложил использовать для смотрин зрительный зал театра. Годами полупустовавший зал стал наполняться нарядными родственниками женихов и невест. Талантливый организатор Пушкарь для привлечения зрителей устроил в буфете театра бесперебойную поставку чешского пива. Многие годы театральный буфет был единственным местом в Батуми, где можно было выпить пльзенское пиво. Там же можно было съесть горячие сосиски. Для того чтобы выпить пива, надо было приобрести билет на спектакль (только в буфет, без спектакля, никого не пускали). По пути в зал можно было заглянуть к буфетчику Барамидзе и заказать порцию сосисок. Барамидзе записывал, в каком ряду сидят заказчики. Каждые семь – десять минут в зрительный зал батумского театра вбегал мальчик, который складывал ладони и громко шептал: “Семнадцатый ряд, место десятое, одиннадцатое, двенадцатое! Ваши сосиски готовы!” Сидящие на этих местах батумцы, переступая через чужие колени, шли в буфет. После третьей выпитой кружки мало

кого интересовало, задушит Отелло Дездемону или нет.

Апофеозом увлечения театром стало странное действо, которое было связано с маленьким человеком по имени Савелий. Он появился в Батуми зимой. Говорят, приехал из Сыктывкара. Милиционер нашел его спящим у стены вокзального ресторана. Лежал Савелий в оранжевой майке, храпел. Три пустые бутылки “Солнцедара” объясняли причину детской улыбки на губах. Милиционер не смог его разбудить, нашел в кармане паспорт на имя Табуреткина Савелия Марковича. Сыктывкарского гостя окрестили кличкой Табуретка.

Табуретка подружился с буфетчиком Барамидзе. Кто-то из завсегдатаев буфета предложил Табуретке крикнуть в театральный зал заранее заученную фразу по-грузински. Табуретка согласился за 25 рублей. Он поднялся на галерку и крикнул вниз, партеру: “Все вы идиоты, кроме сидящих в седьмом ряду на девятом, десятом местах!” Зал опешил. Потом захохотал. Зрители стали смотреть, кто сидит в седьмом ряду на девятом, десятом местах. Это были Ромео и Джульетта смотрин того дня. Странная шутка имела успех. На другой вечер Табуретка вновь орал с галерки: “Все вы идиоты, кроме…”

В городе появилось новое развлечение. Каждый мог пригласить в театр невесту, любовницу и, заплатив 25 рублей Табуретке, дождаться мгновения, когда тот восславит тебя, крикнув в разгаре спектакля с галерки: “Все вы идиоты, кретины, онанисты, кроме четвертого ряда, тринадцатого, четырнадцатого места!”

Одиссей Пипия собирался в театр, когда пришло известие о пожаре в доме бухгалтера ткацкой фабрики Папуашвили. Одиссей сорвал с себя галстук и вместо смотрин в театре через десять минут мчал свою команду на битву с огненным драконом. Прибыв к месту пожара, размотав брандспойты, он вспомнил, что не сообщил о причине своего отсутствия в театре. Одиссей ворвался в горящий дом, нашел телефон и набрал номер театра. Дмитрий Пушкарь выслушал Пипия, обещал передать Амалии слова любви и извинения. “Может, ее позвать к телефону?” – предложил Пушкарь. Вокруг Одиссея кружились огненные смерчи, падали многопудовые балки, рушились стены, но он терпеливо ждал, когда к телефону на том конце провода подойдет его Амалия.

– Одиссей, где ты?

– Я в огне! Я люблю тебя!

– Милый, я приеду сейчас же…

Со второго акта “Испанского священника” ушла вся команда родственников Амалии.

Табуретка прокричал свое знаменитое “Все вы идиоты…” в пустые ряды.

Одиссей Пипия, заметив Амалию у горящего дома, удесятерил свой пыл. Он врывался в огонь, выволакивал то стенные часы, то горящий контрабас, на котором в допожарное время играла дочь бухгалтера ткацкой фабрики. Амалия, прижав к лицу букет белых лилий, восхищенными глазами смотрела на своего возлюбленного.

И вдруг Одиссей исчез. Умолк его зычный голос, которым он давал команды своим подчиненным, и те, привыкшие действовать под его руководством, застыли, как механические игрушки, у которых кончился завод. Где главный пожарник Батуми?

Туалетная будка, стоявшая во дворе, сгорела еще в те минуты, когда Одиссей примерял дома галстук. Злоумышленники, облившие бензином дом бухгалтера Папуашвили, не пожалели и туалетную будку. Чем она им помешала? Понятно, когда сводишь счеты с бухгалтером, можно поджечь его дом, взорвать его машину, но зачем обливать бензином и поджигать туалетную будку?

Тлел настил туалета. Одиссей наступил на тлеющие доски своим весом, пробил их, и – о ужас! о ужас! о ужас! – пролетев два зловонных метра, он плюхнулся в содержимое выгребной ямы. В глубину жижи ушли резиновые сапоги, живот, мощная грудь, накачанная гирями, шея, ноздри, глаза, лоб, курчавые рыжие волосы и медная каска. Хотя нет, до медной каски дело не дошло. Сапоги уткнулись в дно. Выбраться из ямы оказалось делом трудным. Звать на помощь было стыдно. Снаружи стояли его возлюбленная, ее родственники. Собрав все свои силы, Одиссей ухватился за край обугленной доски, подтянулся, доска с треском обломилась, и он вновь, на этот раз с головой, ушел в жижу. Хочу остановить перо, чтобы не описывать кошмары бедного Пипия.

Господь Бог вместе с ангелами любви, сжалившись над ним, подхватили его за дурно пахнущие кудри и выволокли из туалетной ямы.

Перед зрителями в зареве пожара появилось нечто. Это нечто подняло руки и, уподобившись персонажу из фильма ужасов, крикнуло: “К е…й матери огонь! Все брандспойты на меня!” Пожарники, тушившие пожар, тут же повернули шланги, чтоб отмыть своего начальника.

Братья Пиписмедовы втолкнули Амалию в машину, и отец ее произнес приговор: “Моя дочь никогда не выйдет замуж за говнюка!”

В марте месяце, когда кошки воют на крыше в страстной любовной истоме, Амалию нашли в парке пионеров и школьников

в объятиях идиота Зипо. Она стала первой женщиной, от которой устал Великий Батумский Казанова.

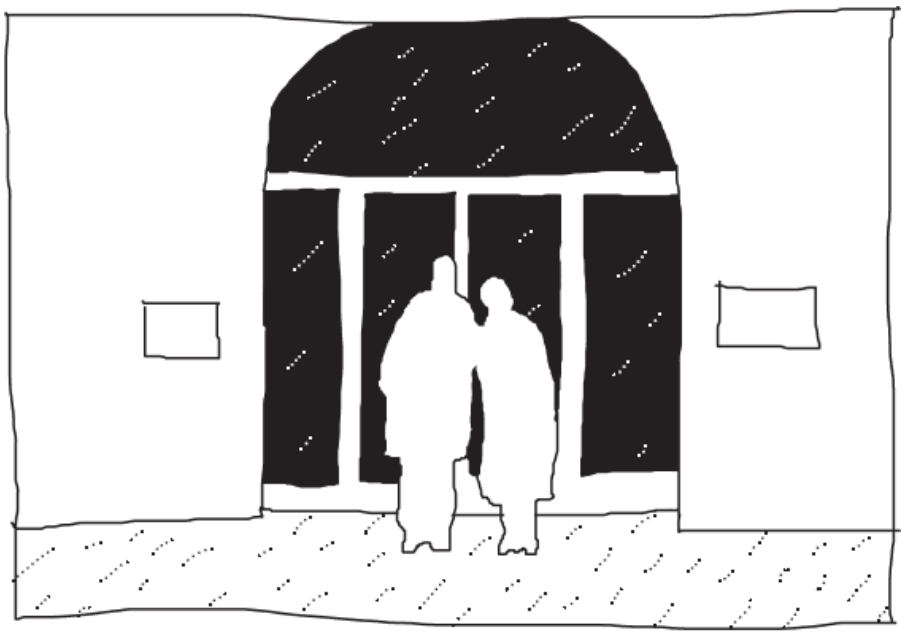
История грустная. А хочется веселого конца. Но как сочинить веселый конец, если чешское пиво в театре кончилось, Пушкарь в Иерусалиме, кавалеры батумской турбазы разъезжают на бэтээрах, супруги Шиллеры на чьей-то свадьбе отравились рыбой и в один день и один час отправились заниматься своднями на небеса… Пионер Павлик Медведев, который выволок Одиссея из огня, сидит в тюрьме за торговлю наркотиками, только Зипо счастливыми идиотскими глазами смотрит на восходы и заходы солнца субтропиков. Он стар, но средних лет проказницы до сих пор без ума от него.

В батумском парке пионеров и школьников ночами происходят престранные вещи”.

* * *

P. S. Бахтияр Худойназаров снял бы эту историю смешно, изящно, без эротических перегрузок, которыми страдает мой краткий пересказ неснятого им фильма.

Фотография 34. 1955 год



Фотография 34. 1955 год.
Ленинград. У входа в гостиницу „Астория"
мои папа Михаил Квирикадзе (1)
и мама Софья Миндадзе (2). Смеются.

Пить из блюдца горячий чай, слушать сердитые замечания старой мамы: “Мальчик, не хлюпай”, – знать, что у тебя ангина, что никуда не надо идти. Ты болен, мама тебя лечит малиновым вареньем – вот истинное счастье!

Ты, запутавшийся в хаосе жизни взрослый сын, прячешься в маминой крошечной квартире – она сидит за швейной машинкой, перешивает тебе брюки: “Ты располнел, мальчик”. На твоих плечах затертый мамин халат – какое счастье! Хочется всю оставшуюся жизнь болеть ангиной, сидеть с мамой, пить чай с вареньем…

На стене висит та самая фотография: молодая мама, молодой папа и я. Год 1955. Мы поселились в “Астории”. Цель поездки: “Мальчику надо показать Эрмитаж”. Вечером я надел папин пиджак, там лежал сверток из крупных купюр – также надо купить спальный гарнитур, – вышел из гостиницы.

Я шел по ночному Ленинграду, заглядывал в глаза каждой медленно идущей по улице ленинградке и чувствовал себя тигром в зарослях папоротника. Индия, штат Пенджаб.

На Кировском проспекте столкнулся с киносъемочной группой. Увидел человека с мегафоном в руках, который кричал: “Внимание, мотор, камера!” Кто-то в кого-то выстрелил. Я понимал, что кровь не настоящая, что это малиновое варенье. Впервые в жизни я увидел киносъемку.

Странная женщина с вуалью на шляпке шепнула мне: “Я статистка, а ты грузин”. Откуда она узнала, что в этот день я приехал из Тбилиси?

Она ушла со съемок, взяв меня под руку, и мы до утра бродили по ночному Ленинграду. Целовались в крошечном сквере.

“Ираклий, в этом сквере во времена нэпа полковник Аристов сказал мне…”

“Во времена нэпа?” – переспросил я. Подсчитать ее возраст было нетрудно. Я умел считать в уме.

Мы молчали до трамвайной остановки. Она скинула с плеч и вернула мне папин пиджак, в котором утром родители не обнаружили сверток с деньгами для покупки спальни “Птичий глаз”.

Много лет спустя, когда я познакомился и подружился с питерским режиссером Аристовым, мне всё время хотелось спросить, кем приходится ему полковник Аристов. Не успел. Аристов как-то быстро исчез.

Остался потрясший меня фильм Аристова “Порох”. Первый кадр фильма снят в том самом ночном трамвае, в котором, прихватив деньги для мебели “Птичий глаз”, уехала статистка в шляпке с вуалью. В фильме в трамвае сидят четыре человека. На переднем плане две женщины и маленький ребенок, не помню, то ли девочка, то ли мальчик. В глубине трамвая сидит мужчина. Спит. Минуты три держится этот кадр. Внимательно разглядываешь женщин и ребенка. Понятно, что это герои фильма. Они оживленно говорят. Трамвай останавливается. Сидящий в глубине кадра мужчина встает, камера неожиданно покидает женщин и выходит вместе с мужчиной в ночь. Трамвай, громыхая, исчезает. Меня обманули, герой фильма – мужчина. Он сидит всё время в углу как статист, я решил, что он нужен лишь

для заполнения левого угла кадра. Браво, Аристов!

Иосиф Чхаидзе, замечательный грузинский режиссер, снявший “Пастухи Тушетии”, тоже один из “быстро исчезнувших”.

Как-то очень холодной зимой в городке Моссовета Динара Асанова, Иосиф Чхаидзе и я возвращались в общежитие с ВГИКовского просмотра фильма “Аталанта” Жана Виго. Шли ошеломленные виденным. “Феллини вышел из Жана Виго…” В три ночи мы не говорили, а кричали. С нами выла пурга. Вдруг с шестого этажа из авоськи, висевшей на оконной форточке, срывается замороженная голландская курица. Случилось прямое попадание в мой бесшапочный лоб (истинные грузины не носят зимой шапок). Я в нокауте падаю в сугроб. Иосиф и Динара меня, окровавленного, везут в больницу, не забыв прихватить дефицитную курицу-убийцу.

Врачи залили рану йодом, забинтовали голову и отпустили. Хотели отобрать курицу, но Динара и Иосиф не отдали: “Раненому нужен бульон”.

В общежитии мнения разделились. Динара и я хотели зажарить курицу быстро, на сковородке. Иосиф по природе гурман. Пошел по коридору общежития, в четыре ночи стучался в комнаты и спрашивал лавровый лист и специи для сациви. Гурман хотел оприходовать голландскую курицу по полной программе: на первое бульон, на второе сациви.

В ту ночь мы заснули голодными. Курицу оставили на подоконнике меж оконными стеклами. Прошло три дня. Лекции, просмотры, суета… Динара зашла к нам, робко спросила:

– Может, всё-таки зажарим?

Иосиф рявкнул:

– Завтра сациви! Надо купить грецкие орехи!

Прошло еще три дня. Вновь вошедшая в нашу комнату среднеазиатская принцесса молча понюхала голландскую дичь и сказала:

– Пахнет.

Понюхали и мы:

– Воняет.

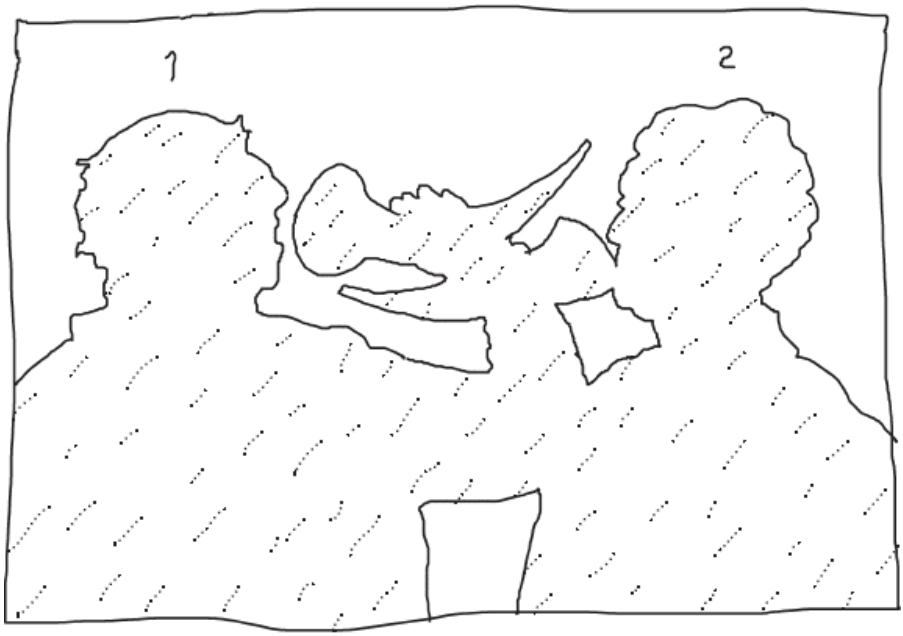
Динара открыла форточку, и курица полетела в снежную пургу. Снизу раздался истошный крик. Вскочив на подоконник, мы сквозь форточку увидели жителя городка Моссовета, лежавшего в снегу. “Убила!” – прошептала Динара. На жителе Моссовета была заячья ушанка, она, видимо, его и спасла. Он встал, поднял целлофановый снаряд и, шатаясь, пошел, не выпуская курицу из рук.

– Летучий голландец, – сказал Иосиф, – он вечно падает и будет падать на наши головы…

– Летучая голландка, – поправила Динара.

Странно, все описанные мною люди исчезли из моей жизни. Нет мамы, нет Бахтияра, нет Феллини, нет Аристова, нет Чхаидзе, нет Асановой… Нет многих других, которых я очень любил и люблю и которые “быстро исчезли”. От каждого из них я так много получил… Даже статистка, похитившая из папиного пиджака в 1955 году пачку купюр для спальни, сделала свое доброе дело. Она привела меня на съемочную площадку. На другой день я, разыскивая воровку, пришел на съемки, где, прождав весь день, на всю жизнь полюбил безумную, бессмысленную (на непосвященный взгляд) суматоху киносъемок. С тех пор не могу жить без трех слов: “Внимание, мотор, камера!”

Фотография 35. 1984 год



Фотография 35. 1984 год.

Теймураз Миндадзе, мамин двоюродный брат (1), вместе со знаменитым режиссером Чухраем (2) пьют на брудершафт из винных рогов. Деревня Лио, сбор винограда.

Чухрай – мой мастер по ВГИКу, я учился в его мастерской, но рассказ этот о Теймуразе Миндадзе, которой осенью сорок третьего года, в самый разгар войны с фашистской Германией прыгнул с самолета и обнаружил в воздухе, что парашют его не раскрылся. Теймураз камнем летел к земле, но сориентировался и нацелился на одиноко стоящее в поле дерево. Ворвавшись в листву, сбив множество мелких и крупных веток, Теймураз Миндадзе свалился на подмерзшую землю. Не знаю, можно ли

верить его словам, но после недолгого обморока он встал, отер кровь с рассеченной губы и пошел искать партизанский отряд (дядя Теймураз говорил мне, но боюсь ошибиться) то ли Кузнецова, то ли Ковпака. Пролетев семьсот метров, дядя Теймураз стал хромать, обрел кличку Кочли Темо (хромой Темо). После войны лейтенант вернулся в свою грузинскую деревню Лио, женился на Лизико Торошелидзе. Никто, даже Лизико, не знал, что Теймураз в украинско-белорусских лесах пускал под откос фашистские эшелоны, взрывал и поднимал в воздух мосты. Кто в это мог поверить, глядя на низкорослого мужчину с густой щетиной на щеках, в затертой гимнастерке со значком Осоавиахима на груди? Ни одной боевой награды!

Правда, какое-то время Теймураз носил медаль “За взятие Берлина”, купленную на кутаисском базаре у вора-карманника. Благодаря этой медали я и выделял дядю Теймураза среди многочисленной маминой родни. Работал Теймураз Миндадзе бригадиром виноградарей в колхозе имени Надежды Крупской. с Лизико Торошелидзе сотворил четырех детей. Трех красивых, как мама, одну дочь, похожую на папу.

Дядя Теймураз появлялся в нашем доме по особым случаям, когда приезжал в Тбилиси получать почетную грамоту “Лучший бригадир Грузинской ССР”. Помню групповую фотографию, на которой сотни три лучших бригадиров Грузии любовно прижимаются к главному коммунисту республики Василию Павловичу Мжаванадзе. На этой фотографии Теймураз стоит рядом с Мжаванадзе и словно хочет о чем-то спросить его. Я даже знаю о чем, помнит ли Василий Павлович Мжаванадзе ту пустую бутылку.

Мжаванадзе во время войны был боевым генералом, знался с Иосифом Виссарионовичем Сталиным и мог себе позволить то, что не могли позволить многие маршалы и командующие армий. Однажды генерал Мжаванадзе со своей дивизией вышел к Азовскому морю и закрепился на его берегу. Генерал взял бутылку из-под кахетинского вина, окунул ее в воды Азова, заполнил и велел отослать в Москву, в Кремль, генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину, сообщая этим, что немцы отбиты и воды Азова наши. Иосиф Виссарионович получил подарок, оценил юмор генерала по достоинству, но велел спрятать бутылку на кухне. “Не выливать азовскую воду”, – был приказ вождя.

Прошло немного времени. На южных фронтах случились перемены не в пользу генерала Мжаванадзе. Дивизия, которой он командовал, была вынуждена отступить от берегов Азова километров на пятьдесят. Узнав об этом, Сталин приказал

принести с кухни бутылку. “Отошлите генералу Мжаванадзе и передайте, что я требую эту воду вылить назад в Азовское море немедленно по прибытии бутылки в его распоряжение”. Мжаванадзе в расстроенных чувствах принял бутылку. Вызвал Теймураза Миндадзе и велел тихоне-партизану пробраться через занятые немцами территории к Азовскому берегу. Там раскупорить бутылку и вылить содержимое. “Но почему Мжаванадзе именно тебя попросил это сделать, дядя Темо?” – спросил я. Теймураз улыбнулся, не ответил мне.

Пять дней, пять ночей пробирался дядя по немецким тылам. Он рассказал мне об ужасах, пережитых им. Немецкие овчарки хотели выгнать его из болота, где он спрятался на дне и весь день дышал через тростинку, – немцы не могли понять, что за зверя облаивали собаки. Прожорливые пиявки облепили лицо дяди Теймураза, прокрались под гимнастерку, сапоги, кальсоны и наслаждались дядиной кровью. Ночью, обескровленный, он продолжил путь к Азовскому морю. К концу пятого дня дядя подошел к берегу. Азов цвел. Зеленые водоросли поднялись со дна. В небе пели птицы. Теймураз опустился на колени, откупорил бутылку, слил воду в море. Я спросил дядю: “Зачем ты шел до Азова? Ведь мог, уйдя от генерала Мжаванадзе на сотню шагов, вылить эту воду в любом ручье. На неделю залечь в стогу сена, отоспаться и вернуться к генералу с выполненным заданием”.

“Ты ничего не понимаешь, мальчик”, – сказал мне Теймураз.

Нарисовав портрет Теймураза Теймуразовича Миндадзе, я предлагаю совершить небольшое путешествие по пространству, называемому Алазанской долиной.

Ночь. Луна. Деревня Лио. Шестидесятые годы.

В доме председателя колхоза Арчила Метревели звонит-барахлит телефон. Голос в трубке раздваивается:

– Тринадцать французских виноделов приезжают десятого ноября… Все тринадцать – коммунисты…

– Плохо слышно!

– Свезешь их в винные подвалы князя Чавчавадзе, потом устрой ужин в ресторане… Ты слышишь меня?

– Да, да, ужин в ресторане…

– Смотри, Метревели, если что не так будет, яйца оторву и не дам переходящего Красного знамени…

Телефонный разговор длится еще минут пять. Слышимость плохая, но председатель колхоза Метревели понял, что приезжают тринадцать французов, посетят колхоз и он должен встретить их по высшему разряду, иначе инструктор сельскохозяйственного отдела Центрального комитета партии

Грузинской ССР Павел Павлович Козырев не даст переходящего Красного знамени… Метревели ворочается в постели. Не спит. Проклинает всех французов вместе с их де Голлем, д'Артаньяном, Жераром Филипом и Пиаф…

Откуда взялись эти чертовы тринадцать французов?

Жизнь в Лио вымеряется ростом, созреванием винограда. Виноград – святыня! В осенние дни и ночи, когда его собирают, заливают в глиняные кувшины, зарытые в земле, деревня гудит, как доменная печь. Это бродит, вырывается из кувшинов молодое вино… И вот в это авральное время приезжают французы. Да еще коммунисты.

Деревня Лио, хоть ее лучшие сыны получают почетные грамоты, непозволительно аполитична. Разве что по праздникам Первого мая и Седьмого ноября деревня собирается на своей единственной улице и ждет, когда председатель колхоза Метревели вынесет на улицу стул, встанет на него, достанет из кармана листок, заглянет в него и с деланым энтузиазмом в голосе крикнет: "Да здравствует единственное в мире государство свободных рабочих и крестьян!" Так обычно начинаются парады местного значения.

Деревня проходит маршем мимо стоящего на стуле председателя и кричит "Ура!" В конце улицы разворачивается и вновь шагает к Метревели. Председатель выкрикивает новый лозунг, лиойцы, они же колхоз имени Надежды Крупской, отвечают: "Ура!" Высоко к небу поднимается густая пыль.

…Уже вторую неделю тринадцать французских виноделов путешествуют по Советскому Союзу, четвертый день они в Грузинской ССР. Перед глазами французских виноделов мелькают районные секретари партии в черных костюмах, черных галстуках, рестораны, где шашлыки обжигают пальцы, где секретари осушают фужеры вина после здравиц в честь товарищей Никиты Хрущева, Василия Павловича Мжаванадзе, Владимира Ильича Ленина, Мориса Тореза. Кое-где негромко, несмело произносятся здравицы в честь опального Иосифа Виссарионовича Сталина.

Французские виноделы одурели от секретарских застолий. Когда в очередном географическом пункте под названием "деревня Лио" сопровождающий их инструктор партии Павел Павлович Козырев объявил: "Сейчас мы осмотрим винные подвалы князя Чавчавадзе, отца Нино Чавчавадзе, жены великого русского поэта Александра Сергеевича Грибоедова, автора бессмертной поэмы «Горе от ума», потом ужин в ресторане…" – глава виноделов Жоэль Годар воскликнул: "Нет!" Годар, высокий, седой, пышнотелый, похожий на Оноре Бальзака, размахивая

руками, кричал:

– Больше не хотим ресторанов! В Москве рестораны, рестораны, в Тбилиси рестораны… Тоска и скука! Покажите нам дом советского крестьянина! Мы хотим знать, как живут простые виноградари! Не секретари райкомов, а простые виноградари!

Все тринадцать французов кричали в унисон Жоэлю Годару: “Хотим дом грузинского крестьянина!”

Павел Павлович Козырев прижал руки к вискам. “В какой, на хрен, дом я их введу?” – судорожно думал инструктор.

Он отозвал в сторону председателя колхоза Метревели и зашептал:

– Срочно найди хороший крестьянский дом. Из ресторана свези в этот дом всё жареное-вареное-пареное, хозяева дома должны быть красивые, их дети не сопливые. Устрой французам дом советского труженика земли! Чтобы знали: у нас лучше, чем в Монте-Карло (непонятно, зачем Козырев упомянул Монте-Карло)!

Павел Павлович взглянул на часы:

– У тебя всего три часа, действуй!

Французы уехали осматривать знаменитые винные подвалы князя Чавчавадзе, а председатель стоял растерянный, не зная, куда идти, что делать? Неожиданный ветер пригнал мокрый снег, снег закружил над виноградниками, над головой Метревели, стоящего на вершине холма, пристально разглядывающего лиойские дома, решая, в какой из них можно ввести французских виноделов. Вот дом бригадира. Он отличается среди других домов деревни, как дом Наф-Нафа от домов Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа (помните сказку “Три поросенка”?) Двухэтажный каменный дом, жена – красавица. Но сам бригадир – низкорослый (метр шестьдесят восемь), хромающий на правую ногу. Глаз левый полузакрыт – это след от взрыва (у партизана в лихие военные годы взорвался заряд).

…Кружит снег, первый в этом году, председатель колхоза стоит на холме, как генерал Бонапарт, в голове с космической скоростью проносятся мысли одна неудачнее другой.

Председатель не мог допустить ошибки. Козырев ясно выразился: “Хозяева дома должны быть красивыми…”

И вдруг Метревели видит велосипедиста в желтом резиновом дождевике с длиннющим капюшоном. “Что за желтый куклуксклановец?” – подумал Метревели. Кто скрывается под капюшоном? Так это же Петр Чичуа по кличке Домино – житель Лио, уехавший три года назад из деревни, футболист, не сделавший карьеру, ныне карточный шулер, играющий в поездах и обыгрывающий наивных пассажиров. Метревели мог бы от себя добавить: возмутитель спокойствия лиойских девушек на

выданье.

Но… и тут Метревели залихорадило… Домино знает то ли английский, то ли немецкий, – летом на пляжах Черного моря выдает себя за иностранца. Высокий, красивый, пышноусый, курчавый, снимался даже в кино. Украл у режиссера солнечные очки, был арестован за мелкую кражу, но в фильме остался. Лиойцы видели на экране танцующего Домино.

– Петр, Петр! – побежал председатель колхоза за желтым куклускласновцем.

Через полчаса Петр Чичуа по кличке Домино, облаченный в темную черкеску, взятую в клубе колхоза, стоит во дворе дома Теймураза Миндадзе, сверкая белозубой улыбкой.

Тут история после недолгого зигзага вновь встречается с моим дорогим дядей Теймуразом, когда-то вручившим мне медаль “За взятие Берлина”.

Метревели сообщает Теймуразу странную весть: сегодня он должен отдать свой дом, свою жену, своих детей Петру Чичуа (Домино).

Обалдевший Теймураз не понимает слов Метревели. Тот повторяет:

– Чичуа и твоя Лизико будут как бы муж и жена. К ним приедут иностранцы. Чичуа и Лизико устроят ужин, доставят им удовольствие. Потом иностранцы уедут к чертовой матери, и всё встанет на свои места. Понимаешь меня?!

Теймураз громко выматерился и, не скрывая возмущения, заорал, тыча пальцем в Домино:

– Но почему этот говнюк должен быть мужем моей жены?

Домино только улыбался, разглядывая пышные груди Лизико, верной жены «некрасивого лейтенанта», народившей ему четверых детей.

– Случилось ЧП! Объясню всё по порядку, но потом… И вообще это решение Центрального комитета Коммунистической партии Грузии, – чуть приврал Метревели.

Мой дорогой дядя, партизан, пускавший под откос фашистские поезда, стих и присмирел. Он был человеком особой дисциплины.

Мимо него проносят стулья, фаянсовые блюда с курами, индюшками, сациви, хачапури, хашламой… Метревели глазом опытного селекционера оглядел Теймуразовых детей. Указал на дочь, похожую на папу.

– Возьми ее и погуляйте, пока иностранцы будут здесь. Уедут – возвращайтесь.

Грузный автобус с гостями медленно въезжает в ворота дома. Под старыми яблонями стоят красавица Лизико, красавец Домино

и их красавцы дети.

Французы заахали. Защелкали фотоаппараты. Домино произнес на ломаном французском приветствие и жестом хлебосольного хозяина пригласил гостей в дом, где стол ломится от яств.

Французские виноделы не спускают глаз с хозяйки дома.

Лизико улыбается им, смеется пышногубым ртом. Потом Лизико запела. Дети забили в бубны. Апофеоз вечера наступил, когда Домино перепрыгнул через стол и закружился в огненном танце. Хрустальная люстра звенела в грохоте аплодисментов.

Хозяйка дома пригласила на танец Жоэля Годара. Старый француз почувствовал то, что не чувствовал последние лет шесть, в клетчатых штанах кому-то стало тесно. Неожиданно Годар запел. Песню подхватили краснощекие жители французских виноградных долин.

А на окраине деревни Лио желтая луна высвечивает две одинокие фигуры – некрасивого лейтенанта и его некрасивую дочь. Девочка взяла отца за руку. Они идут и слушают шелест первых в этом году снежинок, далекие голоса поющих. В реке плеснул хвостом сонный сазан.

– Папа, а когда нам можно домой?

– Не знаю…

– Мне скучно, а там весело…

На кухне Лизико готовит к выносу жареного поросенка.

Чьи-то руки зажали большие груди Лизико, чьи-то ноги толкнули ее ноги к стене, чьи-то губы зашептали:

– Дверь на задвижке, никто не войдет…

– Домино, это ты?

– Да, Лизико.

– Отпусти, поросенок стынет!

– Двадцать лет хочу съесть тебя! с восьмого класса.

Лизико резким ударом коленкой в пах оттолкнула Домино. Вынесла к гостям жареного поросенка, обложенного айвой.

В третьем часу ночи французы, целуясь с Лизико, Домино, Метревели, детьми, садились в автобус… Домино под шумок увел с пьяного Годара цветастые подтяжки.

Наконец уехали гости. Домино, одной рукой обнимая Лизико, другой машет вслед автобусу. На окрик: “Эй, говнюк, убери руку!” реагирует ленивой улыбкой: “А, это ты, лейтенант! Получай свою недотрогу”, – и, перекинув через плечо подтяжки, покидает двор…

Утром Лизико и дети разглядывают французские подарки. Некрасивой Соне было завидно, что у нее нет своих подарков. С ней нехотя поделились жвачкой…

Через три дня из Тбилиси председателю колхоза имени Надежды Крупской позвонил инструктор ЦК Козырев:

– Французы в восторге! Говорят только о вечере в доме Петра Чичуа, ну Домино! В Тбилиси их принимал сам Мжаванадзе! Они ему о Домино! Завтра приезжает делегация сталелитейщиков из ГДР! С ними племянник товарища Хонеккера. Личная просьба Первого: обязательно устроить для них ужин у Домино!

Метревели вызвал в правление колхоза некрасивого лейтенанта. От него потребовали, чтобы он вновь уступил на вечер и, может, на всю ночь свою жену, свой дом. Некрасивый лейтенант согласился.

Приехали сталелитейщики из ГДР с племянником Хонеккера. Племянник знал грузинские песни, которые были любимыми песнями товарища Сталина: “Лети, черная ласточка”, “Сулико” – пел их и требовал, чтобы пели все сталелитейщики.

Через две недели в разгар застолья принц то ли Замбии, то ли Бурнао снял с пальца сапфировое кольцо и надел его на палец Лизико. На другой день черный человек, назвавший себя пресс-атташе принца, встревоженный, приехал в Лио и потребовал кольцо назад, объясняя, что принц от красоты Лизико потерял голову, а кольцо принца – государственная печать страны.

Шестидесятые годы, оттепель, Советский Союз перестал выглядеть мрачным истуканом, улыбается миру. Иностранные делегации, похоже, становились в длинную очередь, чтобы посетить дом моего дяди Теймураза Миндадзе. Для иностранных гостей дом звался домом Петра Чичуа. Раньше Лио была в стороне от маршрутов важных правительственных гостей, сейчас Метревели не мог нарадоваться: дела колхоза круто шли вверх.

Домино оставил свои поездные аферы. Партнеры были на него в обиде, но, когда узнали, чем он ныне занимается, благословили: “Святое дело делаешь! Престиж Грузии поднимаешь! С тобой Бог!” В будние дни Домино отсыпался в доме тетки. Та души не чаяла в племяннике. Домино пил особые отвары трав, лесных ягод, клубней, готовясь к субботне-воскресным международным кутежам.

Лизико не скрывала радости от участия в спектакле “Образцовый советский колхозный дом”. Ей нравилось внимание выдающихся мужчин всех пяти континентов. Нравилось получать самые разные и неожиданные подарки, вплоть до презервативов с головками диких зверей. Теймураз Миндадзе, правда, отверг попытку примерить резинового дикобраза, а когда жена попыталась воспользоваться упавшим в глубокий сон мужем, то получила от проснувшегося сильную затрещину.

Теймураз и его дочь Соня коротают праздничные вечера и

ночи в разрушенной церкви. Разводят костер, греются и слушают треск горящих поленьев. В не очень морозные ночи сидят на ветке дуба и поочередно смотрят в бинокль, который приближает окна их дома.

В лесу ухает филин, далеко в горах воют голодные волки.

…Теймураз приник к окулярам бинокля. Увидел, как Лизико пошла на кухню, сняла с плиты дымящуюся кастрюлю. Крадучись, на кухню вошел Домино и просунул руку в разрез платья Лизико…

У бывшего взрывника потемнело в глазах.

Лизико не отвела руку наглеца… слила на свою ладонь соус ткемали. Поднесла ладонь к губам Домино. Тот слизнул соус…

– Убью! – закричал диким голосом Теймураз. Он спрыгнул с дерева, побежал к дому, на ходу выдернув из забора тяжелое бревно. Через мгновение иностранные гости увидели смерч! Назвать его человеком с дубиной было бы неверно. Смерч пронесся мимо удивленных то ли бразильцев, то ли венгров и ворвался на кухню. Там налетел на карточного шулера, на мелкого вора, на обольстителя чужих жен!!! Дубина свалила Домино с ног и бросила на кухонный пол. Некрасивый лейтенант схватил Домино за волосы и выволок в зал. Пораженные иностранцы, Павел Павлович Козырев, Арчил Метревели смотрят, как по паркету тащат “хозяина дома”, как он, на мгновение застряв в дверях, тут же вышвырнут во двор, в снег. Гнев обычно кроткого Теймураза удивляет и пугает председателя Метревели.

Когда мой дядя вновь вошел в дом, он сказал:

– А вы все убирайтесь к е…ой матери!

В руке Теймураз Миндадзе держал гранату-лимонку. “Кольцо выдернуто”, – прошептал Козырев. “Террорист?” – спросили испуганно иностранцы. “Партизан!” – нервно ответил Метревели.

– Все вон!

Повторять Теймуразу не пришлось. Первыми бежали то ли бразильцы, то ли венгры.

Теймураз спустил с ветки Соню, вернулся с ней в дом, сел с некрасивой дочерью за стол, налил в стакан красного вина, спросил девочку: “Тебе хорошо, Соня?” Соня огляделась по сторонам: “А где мама?” Теймураз позвал: “Лиза! Дети! – Все собрались в большой комнате. – Садитесь”. С опаской смотрят на гранату, которую некрасивый лейтенант положил на стол, хоть кольцо было выдернуто. Теймураз рассмеялся: “Пустая, в винограднике нашел”.

Потух свет, они зажгли свечи. В пламени свечей красивыми были все: и Лизико, и Теймураз, и Петр, и Давид, и Ольга, и Соня.

Ночью Теймураз неистово любил свою жену Лизико. Он

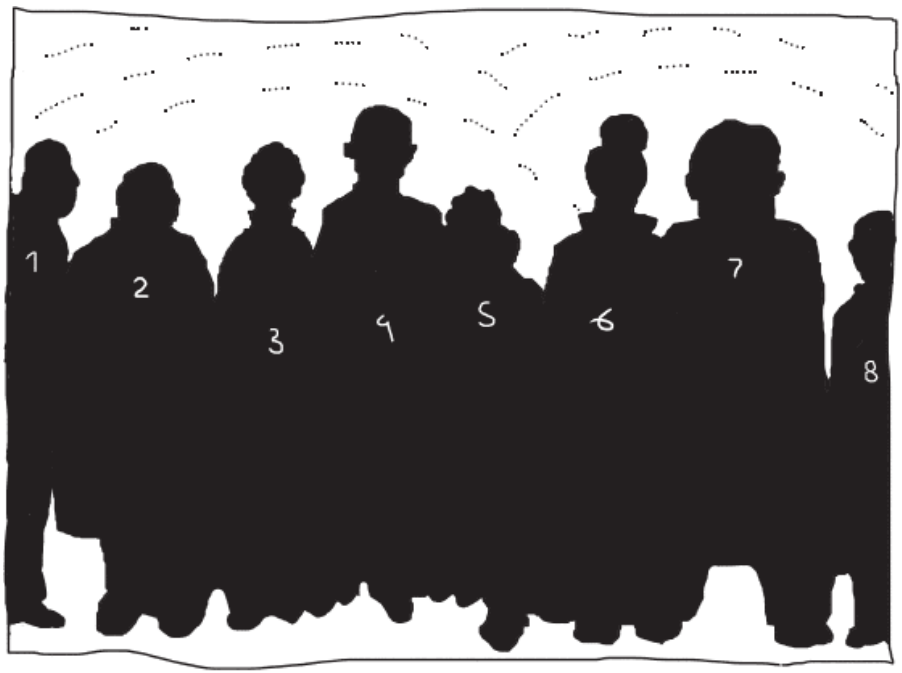
позволил перепробовать ей всех резиновых зверей: и тигра, и дикобраза, и гориллу. Дикая свинья с огромными клыками понравилась Лизико больше других.

Утром Теймураза Миндадзе забрали. В камере предварительного заключения он снял туфли, увидел в правой туфле презерватив с головой дикой свиньи и расхохотался.

Учась во ВГИКе, я рассказал эту историю своему педагогу, замечательному режиссеру Григорию Наумовичу Чухраю, автору фильмов “Баллада о солдате”, “Сорок первый”. Она понравилась ему: “Сочинил ведь, Квирикадзе?” Я поклялся, что всё правда, что Теймураз Миндадзе – мамин родственник.

Как-то Чухрай приехал в Тбилиси на кинофестиваль, я повез его в Кахетию, в деревню Лио. Нас принимал Кочли (хромой) Темо. Чухрай поверил во всё. Даже в падение с семисот метров без парашюта. Даже в приказ Сталина вылить воду из бутылки в Азовское море. Я снимал их – двух уже немолодых фронтовиков, пьющих вино из рогов на брудершафт. Но… почему всегда теряются такие значимые фотографии?..

Фотография 36. 1985 год



Фотография 36. 1985 год.

Нью-Йорк. Перед входом в Центральный парк. Я (1) и все семейство Базилевичей: Соломон (2), Суламифь (3), Карузо (4), старая Генриетта (5), красотка Флора (6), огромный Иосиф (7) и мальчик Дэвид (8).

В городе Анаре они были наши соседи, жили на улице Челюскинцев, дом 18. На фотографии все улыбаются: Соломон, Суламифь, Тариэл по кличке Карузо, старая Генриетта, прелестная Флора. Рядом с Флорой стоит здоровенный Иосиф, видно, как он раздувает ноздри, вдыхая аромат, струящийся от Флориных волос, щек, ушей… Я случайный в этой компании. В тот день я встретил бывших земляков у входа в Центральный парк. Мы обрадовались, увидев друг друга, сфотографировались.

Рядом с Иосифом стоит Дэвид Бази, он американец с грузинскими корнями. Дэвид Бази плохо говорит по-грузински, но очень живо, смешно комментирует нашествие родственников из далекой Грузии.

– Из окон нашего дома на Седьмой улице, – рассказывает Дэвид, – можно видеть поезда сабвея, мчащиеся друг другу навстречу, соседние балконы. На одном из них часто появляется девушка, которую я почему-то прозвал Ван Гог, может, потому что она рыжая. Она смотрит в мою сторону в бинокль и поднимает вверх руку, когда видит гримасу на моем лице. Я обожаю кретинские гримасы. Обожаю кретинские поступки.

* * *

Немного о себе, моей маме Дэзи и покойном папе Бази. Меня зовут Дэвид Бази. Мне шестнадцать лет, я хочу стать писателем. Фамилия Бази – сокращенное от Базиашвили – досталась мне от папы Авессалома, грузинского еврея, лет семнадцать назад женившегося в Москве на студентке из США и уехавшего с ней на ее родину. Папа был невероятно близорук, он работал много лет аккомпаниатором в балетной школе.

Наша квартира заставлена псевдоготической мебелью. В детстве я любил сидеть в шкафу с цветными витражами, особенно во время уроков грузинского. Папа усиленно учил меня своему родному языку. Грузию – родину папы – я с трудом находил на карте Европы где-то между Черным и Каспийским морем. Папиного города Анары там нет, а он прожужжал нам с мамой все уши: в Анаре самая вкусная вода в мире, самое вкусное вино, самый вкусный хлеб.

Год назад папа неожиданно умер. Проснулся ночью, спел на своем языке песню и навсегда покинул меня и любимую жену Дэзи.

Мама работала в области баллистики. Недавно она потеряла работу, но ежедневно продолжала садиться за компьютер и решать проблемы хитроумных завихрений артиллерийских снарядов. Для своего удовольствия и чтобы не думать о “снаряде Авессалома”, как сказала она по телефону своей коллеге. Я слышал и понял, что имела в виду моя сорокатрехлетняя мама.

По пятницам к маме приходил немец Ульрих Штраубе. Он звонил в нашу дверь ровно в семь сорок вечера. Мама готовила ему чашечку кофе, они уединялись в ее комнате. В двенадцать ноль-ноль Ульрих Штраубе уходил. По нему можно было проверять время.

Однажды днем раздался звонок в дверь. На пороге стояли трое. “Мадам Базиашвили?” Это были первые люди в нашей жизни, которые произнесли фамилию Базиашвили без ошибок, и мы с мамой поняли – это кавказские родственники.

Ближе к дверям стоял старый хромой человек по имени Соломон. Рядом – Карузо, высокий мужчина в белых штанах. За ним маленькая женщина с испуганными глазами – Суламифь. Мое внимание привлекла татуировка на правой руке Карузо – заглавная буква “К”. Дело в том, что утром по телевизору объявили приметы убийцы русского антиквара: “Высокий, голубые глаза, волосы темные, на руке наколка – буква «К»”. Передо мной стоял точный портрет разыскиваемого.

Только что рухнула Берлинская стена. Люди из Восточного лагеря стали передвигаться по миру. Мы обняли родственников…

Карузо оказался тихим, как пасхальный барашек, мужем запуганной Суламифь. Они приехали к нам прямо из аэропорта. Заехать по дороге и убить русского антиквара Карузо Базиашвили никак не успел бы – я посмотрел в его билете время прибытия самолета.

Еврейские родственники, первый раз оказавшиеся за границей, выходить на улицу побаивались, особенно после моего рассказа о розыске преступника с татуировкой на руке “К”. Новоприбывшие объяснили, что приехали они как туристы, но хотят в Америке подать документы на постоянное жительство. Пока их вопрос решается, им надо где-то пересидеть буквально недельку-другую. Они искренне и наивно верили в эти сроки, мы же ничего не знали об иммиграционных законах.

Гости внимательно выслушали ряд маминых условий типа “не кидайте в унитаз ненужного, пользуйтесь горячей водой в ванной в меру – у нас стоит счетчик, в пятницу вечером, с семи сорока до двенадцати желательно быть вне дома” – и после этого получили разрешение дней десять пожить у нас.

Соломон, Суламифь и Карузо возвращались только после ухода Ульриха Штраубе. Но он все равно почему-то невзлюбил пришельцев, хотя в глаза их не видел.

Прошло десять дней. Маме настолько понравились небритые кавказские родственники, что она позволила им жить до разрешения их иммиграционных вопросов, тем более что разрешение это, казалось, не за горами.

Мама говорила своей подруге Марион по телефону: “Они такие милые люди – словно дух моего дорогого Авессалома вернулся в дом. Ульрих? Он ушел от меня. Он говорит, от их вещей в квартире пахнет овцами и керосином”.

Я ходил по квартире, нюхал воздух, но не обнаруживал этих

запахов. Как пахнет керосин, я, правда, не знал.

Следом за первой волной набежала вторая. Неожиданно приехали еще трое кавказцев: Зипо Базиашвили, подслеповатая Генриетта, родная тетка Авессалома, и дальняя родственница – Флора, в которую я влюбился с первого взгляда.

Как-то я вошел в ванну, двери которой были открыты, и опешил, увидев чудо, принадлежавшее кисти Энгра. Помните его купальщиц в турецких банях? Флора под душем была одной из этих купальщиц. Она дружелюбно улыбнулась мне. Я упал в обморок, ударившись головой об унитаз.

Последним родственником из далекой Грузии был Иосиф.

Иосиф Базиашвили был борцом-профессионалом. Сто сорок килограммов мышц, слегка покрытых жирком, римский профиль и размах плеч вызывали восхищение. Сердце Флоры, моей тайной возлюбленной, было отдано этому гиганту.

С появлением Иосифа я стал испытывать дефицит пространства и, что скрывать, дико ревновал.

Раньше Флора иногда вставала в шесть утра, когда перед школой я в одиночестве завтракал на кухне. Она садилась напротив меня, наливала себе кофе. Петли на ее халате натягивались, открывая неожиданные фрагменты упругого женского тела. Теперь это прекратилось.

Во время обедов, которые собирали всех жителей “красной коммуны” (шутка мамы) за один стол, Флора не сводила глаз с борца. Тот рассказывал несмешные анекдоты, однажды выпил в один прием бутылку водки и сделал Флоре предложение. Она тут же дала согласие.

В нашем доме все заговорили о свадьбе. Не знаю, видел ли кто, как я мучительно переживал эту новость. Кажется, только Флора понимала мое состояние.

Как-то мы поехали купаться на Лонг-Айленд. Карузо уже работал где-то шофером и по субботам брал микроавтобус из своего офиса. Эта суббота была пасмурной. Стоял туман. Но океан был теплым. Перед возвращением, собравшись выжать плавки, я пошел в кусты и вторично наткнулся на голую Флору. Она занималась тем же, чем и я, – выжимала купальник. Удивительно, но она разрешила мне потрогать свою грудь. Но не более. Я был девственником и не знал, что надо делать с голой богиней в кустах…

Девочка Ван Гог заманила меня в свою квартиру. Я встретил ее у подъезда, мы разговорились, поднялись к ней на пятый этаж. Я сказал, что буду писателем. Она меня высмеяла. Я оскорбился и ушел, хотя Ван Гог стояла у кровати в одном лифчике…

Свадьбу сыграли шумно. Чем-то она походила на свадьбы из

старых черно-белых фильмов. Невеста была в белой фате, подаренной моей мамой. Жених почему-то побрился наголо и стал похож на Бенито Муссолини.

“Коммунары” веселились, пели, танцевали свои кавказские танцы. Хромой Соломон взлетал в воздух, в совершенно невероятных прыжках демонстрируя огненную лезгинку. Прекрасная Флора кружилась среди мрачной готической мебели. “Коммунары”, живя третий месяц в чужой стране без языка, без денег, в напряжении и боязни, сейчас сбросили с себя все комплексы, бурно, по-детски радовались и веселились. Чувство родства, чувство племени объединило далеких кавказских родственников. Как красиво они пели! У полуслепой Генриетты оказался голос Марии Каллас.

“Где спать молодым?” Этот вопрос дискутировался задолго до свадьбы. Семь родственников, мама и я с трудом размещались в обычные дни на кроватях, раскладушках, на огромном кожаном диване. Этот диван и был втащен в маленькую комнату. На нем должна была состояться первая брачная ночь моей тайной возлюбленной Флоры.

Невеста нервничала. Жених скрежетал зубами. Видно было, как ему не терпится уединиться с белым лебедем на шелковых, времен Франклина Рузвельта, простынях. Зачем мама постелила семейное постельное белье с вензелями?

Выселенные из комнаты Карузо и Суламифь легли в коридоре. Через них ходили те, кто спьяну не мог угомониться. Наконец с песнями, с осыпанием горохом и ячменем проводили спать жениха и невесту. Опустел длинный стол. Наступила тишина. Я старался уловить звуки из комнаты молодоженов. Но звуков не было.

Я вышел на балкон. Нью-Йорк спал под желтой луной. Молчали улицы, молчали рельсы сабвея, молчали рекламы, молчала витрина арабской закусочной. За ней два араба играли в нарды. Что делают Иосиф и Флора? Мне хотелось заглянуть в стеклянную дверь, но я не решался. Появилась хромающая тень Соломона, но он не заметил меня и припал к стеклу…

Утром до появления молодоженов за общим столом в глазах всех присутствующих прочитывался нескрываемый интерес. “Случилось. Но почему так бесшумно?” О том, что Флора была девственницей, было известно со слов Суламифи. От нее же все узнали, что борец-профессионал не смог освободить Флору от этого бремени. Не получилось у него. Впервые Иосиф выглядел таким тусклым, погасшим. Он жаловался на тяжелое похмелье, погнал меня в аптеку принести “Алка-зельтцер”.

Вторая ночь была похожа на первую. На этот раз не спала вся

коммуна. Уши всех превратились в антенны. Полуслепая Генриетта, слух у которой был как у собаки, шептала Зипо: “Он говорит: «Девочка, у тебя там всё забетонировано»”.

Зипо передавал Соломону, лежавшему рядом на матрасе: “Этот фраер не может проткнуть ее”.

Неделю не было сна на Седьмой улице. Суламифь, которой исповедовалась девственница, сообщила остальным: “У него вроде всё на месте, только эрекция чуть вялая”. Генриетта не поняла, что значит “эрекция чуть вялая”. Соломон объяснил ей попросту – “как лапша вареная”. Суламифь, самая осведомленная, продолжала выступать на семейном совете: “Беда в том, что Флора не может впустить его в себя”.

Соломон ходил по коридору злой, с красными от бессонницы глазами, хлебал чай из кружки и шептал: “Таких девочек я драл в летний сезон по двадцать-тридцать штук…”

Маму возмущала дикость подхода к этой теме. Она взяла Флору к врачу. Врач осмотрел ее и сделал заключение: “Девственная плева редкого вида. В медицине это называется «барабан носорога». При отсутствии физически сильного партнера требуется хирургическое вмешательство. Операция не серьезная, но и не простая. Это не гланды, – сказал врач и назвал цену: 1300 долларов. – А иностранке без страхового полиса и того дороже”. “Сколько?” – спросила мама. Секретарь врача подсчитала: вместе с анализами и предварительным обследованием 2255.

Когда Флора и мама, вернувшись домой, назвали эту сумму, все впали в шок.

Соломон: Две тысячи двести пятьдесят пять долларов?! И это самая демократическая, самая человеколюбивая страна в мире?

Мама: Я хорошо зарабатывала, но счастливые времена баллистики прошли!

Кончились счастливые времена и на Седьмой улице. Иосиф уходил утром, приходил ночью. Часто был пьян. Однажды устроил дебош, орал на Флору: “У тебя между ног вообще ничего нет! Ты уродина, тебя надо в цирке показывать!”

Полуслепая Генриетта решила заплатить за операцию. Она хотела достать из тайника деньги, которые припасла на черный день. Деньги эти Зипо давно уже проиграл в казино Атлантик-Сити. Генриетта только рассмеялась, когда Зипо сознался в хищении. “Ну тогда сами лишайте ее девственности!”

Собирать по частям, у кого сколько есть, не получалось. Карузо, обычно молчаливый, разразился гневным монологом:

– Я работаю как осел, получаю копейки, почему я должен платить за то, что здоровенный болван, бездельник и пьяница не

может трахнуть жену?

Карузо сказал, что ему надоело спать с Суламифью в коридоре, тем более что он лично регулярно выполняет свои супружеские обязанности. Суламифь киванием головы подтвердила правоту мужа. И напомнила, что они уступили диван всего лишь на три брачные ночи. “А уже вторая неделя, и ни брачной ночи, ни дивана…”

– Если у нее там “барабан носорога”, – продолжал Карузо, – уложите с ней Соломона! Он и ее, и носорога, и диван продырявит в минуту! Я его знаю. Говорю серьезно. И девочке будет приятно, и денег не надо платить… Две тысячи двести пятьдесят пять долларов! Которых у нас нет…

В микроавтобусе Карузо (когда не было занятий в школе, я иногда сопровождал шофера, помогая найти сложные адреса) я узнал некоторые подробности о личности Соломона Базиашвили, моего двоюродного дяди и ближайшего друга детства папы Авессалома.

Шестидесятитрехлетний Соломон, несмотря на свою хромоту, был в молодости величайшим донжуаном Черноморского побережья. Многие годы он работал лодочником-спасателем на пляже санатория ЦК КПСС. Сюда приезжали большие и маленькие вожди партии, здесь они отдыхали, заводили курортные романы, набирались сил и бодрости. Лодочника Соломона знали четыре поколения высокой номенклатуры эпох Хрущева – Брежнева – Андропова – Горбачева. Особенно хорошо хромого бога любви знали жены, сестры и дочери коммунистических боссов. За Соломоном был грех – любовью он занимался по расчету. Директор санатория, небезызвестный Бари Галустович Галустян, давал ему задание, кого из отдыхающих женщин увозить на лодке в открытое море и там дарить им невиданную любовь. Галустян использовал курортные похождения партийных жен для своих хитроумных интриг. Крушение коммунистической партии потопило огромный корабль номенклатуры и маленькую лодку любви.

…Карузо вновь стал развивать проект лишения девственности Флоры с малыми финансовыми затратами. Я смотрел в окно микроавтобуса на серые небоскребы. На душе скребли кошки. Я попросил Карузо остановиться, сошел и не вернулся к автобусу. Я плакал один в каменном лесу. Почему я так влюбился в эту дуру, в ее шелковую кожу, в голубые бездумные глаза, в идиотскую провинциальную прическу, в постоянно чуть мокрые подмышки, в неизвестную мне промежность, где таится загадочный “барабан носорога”? Хотя нет, именно это место я не любил, я ненавидел свои навязчивые

ночные видения, как Иосиф совершает свою сто первую попытку, как покорно лежит под беспомощным импотентом моя любовь.

Я возвращался домой пешком и думал: “Долой всех еврейских родственников! Это бред! Моя мама покупает дуре Флоре подвенечную фату, я мальчик на побегушках у стасорокакилограммового динозавра-импотента! «Дэвид, дорогой, купи мне ‘Алка-зельтцер’». И я, будущий великий писатель Дэвид Бази, сажусь на велосипед и гоню в аптеку. Все, хватит, долой!!!”

Переполненный жаждой битвы, я шел по улице и вдруг увидел такую картину: Иосиф шел по переходу, за ним выстроились в цепочку четыре уличных клоуна, копирующих походку и мрачное выражение лица гиганта. Зрелище было смешным. Иосиф, конечно, не подозревал о хвосте и не понимал, чему смеется толпа. Трагедия Иосифа читалась не столько в его лице, сколько в лицах копировавших и утрировавших его состояние клоунов. В толпе я увидел тощую фигуру Ван Гога. Она бросилась ко мне и смачно поцеловала.

– Послушай, дуралей, я разделась перед тобой, думала, займемся любовью… Хотела удивить тебя. Волосы покрасила в зеленый цвет…

Я посмотрел на Ван Гога. Она была, как всегда, рыжей.

– Писатель, ты совсем не наблюдатель! Волосы не на голове, а… – Ван Гог хлопнула себя по джинсам чуть ниже полурасстегнутой змейки. – Угости меня мороженым.

Хвост за Иосифом сам собой отпал, так как зрители потеряли интерес к гиганту. Я купил мороженое и почему-то рассказал Ван Гогу всё об Иосифе и Флоре. Ван Гог оказалась не в меру начитанной. Стала рассматривать вопрос избавления от девственности в историческом ракурсе.

* * *

В древнем Китае монахи блуждали от деревни к деревне и за деньги лишали девиц девственности. Если на свадьбе невеста оказывалась девушкой, в представлении китайцев это большой грех. Возмущенный жених вызывал дежурного монаха, тот делал эту грязную работу и брал двойную плату…

Мы ели мороженое и смеялись. Я представил хромого Соломона, сидящего на осле в кимоно с китайским зонтом… Потом увидел себя на осле в кимоно… Увидел, как Генриетта и Суламифь купают в медном тазу Флору, готовят постель к моему приезду.

Я со значением вынул тетрадь, куда заношу нужные мне

фразы, зарисовки, и написал: “Китайский монах держит член в настое ромашки, эвкалипта и лаванды”. Приписал: “Кимоно, осел”.

Ван Гог зашла в магазин “Дизель”, купила какие-то пуговицы и продолжила тему:

– А в древней Индии лишали девственности в храмах. Сохранились храмы с каменными скульптурами. На колени скульптуры сажали девушку, в нее входил каменный член бога, и любая плева – барабан не барабан – разрывалась. Вези свою Флору в Пенджаб, думаю, это не дороже, чем две тысячи двести пятьдесят пять долларов.

Так, интеллектуально беседуя, дошли мы до дома Ван Гога. “А ты как ее потеряла?..” – спросил я, не назвав предмета потери, но тут же получил ответ: “Да уже давно, на дискотеке, не помню с кем. Поднимешься?” Я сделал вид, что спешу. “Очень любишь свою азиатку?” Я не ответил.

Дома на кухне сидела одна мама. В руках она держала пистолет и с интересом рассматривала его. “Маузер 1919 года, удивительно профессиональное оружие. Нашла под диваном. Кто спрятал? И зачем?” – спросила меня мама. В ответ я сказал ей, что надо гнать в шею всех этих кавказцев. При виде пистолета во мне вновь поднялась волна расизма: “Мама, ты кормишь всех этих бездельников Базиашвили. Неужели ты сама не видишь? В большом Нью-Йорке мы живем в организованном евреями маленьком домашнем концлагере”.

“Не смей так говорить!” – возмутилась мама и в который раз заговорила о папе Авессаломе, жившем по библейской заповеди “возлюби ближнего” и т. д. Я рассмеялся: “Он изменял тебе, мама. В балетной школе он под Новый год заперся в шкафу с педагогом по растяжке Моникой Бейлис”. Почему я такой жестокий разоблачитель пороков? Моего любимого писателя Томаса Вулфа прокляли родственники, когда он описал их во всей неприглядности в своем романе.

Пришла Флора. Боже! Я люблю ее! Почему я не китайский монах? А может, лишить ее девственности дулом маузера? Я вышел на балкон, чтобы остудить воспаленные мозги. Я стоял на балконе и шептал: “Люблю! Люблю!” С визгом пронесся поезд метро. Я оглянулся и увидел в окне маленькую комнату, огромный “утиный” диван и Флору, стягивающую с себя платье. Показались некрасивые атласные трусы и лифчик. Флора села на диван, закрыла глаза, потом открыла, достала из маленького кошелька несколько бумажных долларов и металлических монет, стала их аккуратно считать. Потом вновь закрыла глаза. Одно движение Флориных рук, и некрасивый лифчик упал на “утиный”

диван.

Полуслепая Генриетта взяла на себя миссию уговорить Флору провести пять минут наедине с Соломоном. На чаши весов были положены две тысячи двести пятьдесят пять зеленых и пять минут с закрытыми глазами, после которых, открыв их, она окажется в мире гармонии и радости. Пистолет Иосифа (выяснилось, что именно он принес его) напугал Генриетту. Она слышала всхлипывания в туалете и щелканье курка. Генриетта уверяла, что плачущий Иосиф вложил маузер в рот и со словами: “Я полное говно”, – нажал на курок. Профессиональное оружие дало осечку.

Флора потеряла сознание. Это была ее первая реакция на сообщение о маузере. После стакана холодной воды она молча выслушала Соломоново предложение, которое Генриетта пересказала по-своему. “Это просто – как укол в палец. Как клизма, не более. Соломон любит тебя как племянницу. Ему жалко всех нас, и, главное… ты же знаешь, какая это огромная сумма – две тысячи двести пятьдесят пять долларов!” У Флоры расстроился желудок. После долгого отсутствия она вернулась, села на диван и сказала: “Я согласна”. С этого дня Соломон стал вставать в шесть часов утра и делать зарядку с гантелями, как в добрые времена лодочника-спасателя. За обедом он брал себе лишний кусок мяса. Все понимали – так надо. Соломон должен был восстановить былую форму.

В субботу семейство Базиашвили совершило экскурсию по Гудзону на прогулочном пароходе. Зипо раздобыл где-то бесплатные билеты и был очень горд, пригласив всех. Даже пицца и пиво были за его счет. Зипо последнее время стал заядлым шахматистом, играл в каком-то обшарпанном шахматном клубе, стал чемпионом. Не зная английского языка, он обрел множество друзей. Он ездил даже в Феникс на какой-то шахматный чемпионат…

Наш шахматист часто приходил домой часа в два-три ночи. Мама Дэзи после нескольких суровых выговоров выдала ему отдельные ключи. И вот как-то ночью, когда все спали, Зипо пришел с пьяным негром. Сам Зипо тоже еле стоял на ногах. Негру-шахматисту некуда было идти спать, и Зипо взял его к себе. В полном молчании негр лег на матрац Зипо. Хозяин уступил свое ложе гостю, сам прокрался на балкон и заснул там среди кустов гортензии, которые выращивала Дэзи. На рассвете хромой Соломон, занимаясь с гантелями, оглядел пространство и удивился, увидев темную спину спящего Зипо. Соломон подошел к родственнику, наклонился над ним, не понимая, почему тот почернел. Зипо спал на животе. Соломон подергал за плечо, Зипо повернулся и… Соломон, увидев толстые губы черного

незнакомца, от неожиданности заорал так, что проснулась вся Седьмая улица.

Негр не раз приходил после этого случая играть в шахматы с Зипо. Он смотрелся в нашей квартире как последний штрих художника-сюрреалиста на полотне “Сумасшедшая жизнь в доме миссис Бази”.

* * *

…Так вот, Зипо-шахматист пригласил всех на прогулку по Гудзону.

Что видела полуслепая Генриетта с палубы прогулочного парохода? Приложив к глазам перламутровый театральный бинокль, она вне всякой логики сказала: “Мой папа Чичик Базиашвили брал рейхстаг. Иосиф Виссарионович Сталин хотел, чтобы он водрузил знамя на крыше рейхстага, но Берия был против, он подстроил так, что знамя водрузил бериевский родственник Кантария. Берия шептал Сталину: «Как можно, чтобы знамя советской победы нес еврей?!» А папа был гордостью армии. Иосиф рядом с ним – хлюпик”.

Иосиф стоял на носу прогулочного парохода и молча смотрел на Нью-Йорк, на зеленые воды Гудзона.

Флора отсутствовала. Утром, весьма артистично изобразив недомогание, она не поехала на пароходную прогулку, но заставила Иосифа прогуляться со всеми. Хромой Соломон должен был сойти незаметно на промежуточной пристани и вернуться в дом на сабвее. Предполагалось, что медицинско-любовная процедура произойдет где-то в час дня.

Я тоже не поехал на пароходе, сказав, что у меня дела. Мама знала, что по выходным я хожу в клуб, где много говорят о Че Геваре, слушают Боба Марли. Мои кавказские родственники как-то очень хорошо без языка общались с мамой Дэзи. После тоскливого существования без Авессалома с Ульрихом Штраубе мама вновь расцвела с сумасшедшими родственниками покойного мужа. Этого никто не мог понять – ни бывшие сослуживицы, ни мамины подруги. Всё, что происходило сегодня в маминой жизни, было очень не по-американски. Каждый день терпеть за столом девять человек, готовить с Генриеттой пряные грузинские блюда, бегать по дешевым распродажам одежды с Суламифью, собирать дикие ягоды для варенья где-то на полях Лонг-Айленда – ни один уважающий себя специалист по баллистике не мог так проводить время.

“Как ты терпишь, что у тебя живут чужие люди и портят твою

мебель?” – спрашивала Элеонора Маршалл, мастер по траекториям и точной цифровой наводке на движущиеся мишени. “Это временно, – оправдывалась мама. – Им скоро дадут жилье…”

В двенадцать часов я осторожно открыл двери нашей квартиры. Было подозрительно тихо. Я обошел все комнаты. Я остановился около зеркала. На меня смотрел зеркальный двойник Дэвид Бази – среднего роста, плотный, курчавоволосый, с твердым подбородком и испуганными телячьими глазами.

Я открыл дверь ванной. Флора стояла в облаке горячего пара. В обморок я не упал. До прихода я приготовил первую фразу, которую скажу Флоре, но та, что я произнес, была неожиданной для меня.

– Флора, можно я приму душ?

Флора отвернулась к кафельной стене. Я долго смотрел на ее красные, мокрые, горячие ягодицы. Прошла вечность. Как в фильме Энди Уорхола, где час снимается неподвижность женского и мужского тела. И вдруг голос: “Дэвид, я не хочу старого Соломона. Будь со мной”.

Шатаясь от стены к стене, задыхаясь в ненужном поцелуе, мы дошли до маленькой комнаты. Ненужным я называю поцелуй потому, что и я, и Флора хотели совсем другого. Нам нужен был диван. Вот он. Флора, привычно широко раздвинув ноги, подложила под ягодицы два кулачка.

Дальше был крик. Два девственника в одно мгновение потеряли девственность. Мы не слышали, как пришел Соломон. Мы не видели его, когда он молча смотрел на нас. Видимо, мы ослепли. Мы бегали голые по квартире, мы занимались любовью у холодильника, потом жадно ели помидоры и пили швепс, потом занимались любовью на столе, потом у вешалки. Мы говорили друг другу какие – то глупости и не замечали старого человека, сидевшего на стуле рядом с пианино “Беккер”. Потом мы посмотрели на часы и вспомнили, что экскурсанты вот-вот должны вернуться. Флора легла на диван, обвязала голову каким-то кашне. Глаза у Флоры вновь потухли. Она вошла в роль больной. Я сказал ей: “Флора, стань моей женой. Я буду любить тебя вечно. Стану знаменитым, богатым человеком, как Поль Гетти, у тебя будет много денег. Ты будешь видеть меня по телевизору”. Не меняя выражения глаз, она ответила: “Гетти был скупым… И я очень, очень, очень люблю Иосифа”.

Старый хромой Соломон продолжал сидеть у пианино, я ушел, так и не заметив его. А через двадцать минут вернулись экскурсанты. Веселые, оживленные, с бутылкой вина. Генриетта и мама с полевыми цветами. Увидели Соломона, удивились его унылому виду. Зипо спросил жестом: “Ну как?” Соломон ответил:

“Нормально”. По тайным, шифрованным текстам женщины узнали, что всё свершилось наилучшим образом. Обо мне молчали и Флора, и Соломон.

Ночью Иосиф ликовал. Сто тридцать седьмая попытка атаковать Флору неожиданно увенчалась успехом. Утром все были в замечательном настроении. Иосиф играл бицепсами, в открытую при всех хлопал Флору по заднице, съел четыре вареных яйца. Он изображал героя.

“Мальчик, – сказал Иосиф, обращаясь ко мне, как к маленькому Микки-Маусу, – может, ты спустишься, принесешь газету. Вчера была большая лотерея. У меня какое-то предчувствие”. Предчувствие было верным. Он выиграл семнадцать тысяч долларов. Из шести цифр не угадал одну. Трудно описать радость в “красной коммуне”. Иосиф, оказавшись при деньгах, стал на удивление щедрым. Базиашвили кутили победу четыре дня. Ночами Флора стонала в объятиях удачливого мужа.

Приближалась зима. Мои родственники стали съезжать с нашей квартиры. Нью-Йорк неожиданно начал подбрасывать всем удачи. Хозяин гаража взял Карузо в долю. Соломон встретил богатую хозяйку закусочной. Хозяйка была арабкой и вдовой. Я часто заходил к ним и ел вкусный кебаб. Однажды арабка, подавая мне кофе, тихо сказала: “Соломон говорит, что ты большой сексмен”. В черных глазах арабки я видел томный призыв. Иосиф стал водить огромные грузовики. Он обзавелся квартирой, дорогими часами, черными очками… Еще бы сигару в зубы, подтяжки и лакированные штиблеты – вылитый мафиозо-сицилиец.

В Нью-Йорке шел снег. Наша квартира опустела. Стало тихо. Только полуслепая Генриетта, оставленная нам на память, включала телевизор, садилась у самого экрана, разглядывала персонажей мыльных опер, слушала глав государств и выстрелы террористов.

Шел снег, когда Соломон вышел из арабской закусочной. Хотел перейти улицу. Кто-то выстрелил из проезжающей машины. Соломон упал в снег. Все говорили, что арабы не вынесли оскорбления женитьбой еврея на вдове-арабке. Мама взяла у своих знакомых в полиции результаты судебной экспертизы. “Маузер, – сказала она, едва взглянув на график выстрела. – Я так и знала”. Когда на похоронах Соломона я смотрел на мужа беременной красавицы Флоры, я понял, что мама имела в виду. Вернее, кого. Молва о секс-спасителе Соломоне, видимо, дошла до ушей Иосифа.

Флора родила двойню.

В пятницу в семь сорок вернулся Ульрих Штраубе.

Жизнь опять стала размеренной и тихой. Как-то мама устроила генеральную уборку. В одном из готических шкафов она нашла альбом со старыми семейными фотографиями.

Генриетта долго смотрела сквозь лупу на моего папу Авессалома, а потом спросила, ткнув в него пальцем: “Кто это?”

– Наш Авессалом, – с недоумением ответила мама.

– Этот? Нет. Наш был худой. И пол-уха не хватало. Он говорил тебе, как пошел охотиться на зайцев и отстрелил себе пол-уха?

– Какие зайцы?.. У него очки были плюс шесть. И уши целые. Да, Дэвид?

Я тоже помнил два совершенно целых папиных уха.

Генриетта еще ниже наклонилась к фотографии.

– Да… Целое… Первый раз вижу этого человека. Он не из нашей семьи, – заключила она твердо.

Мама захохотала. Никогда не слышал, чтобы она так смеялась.

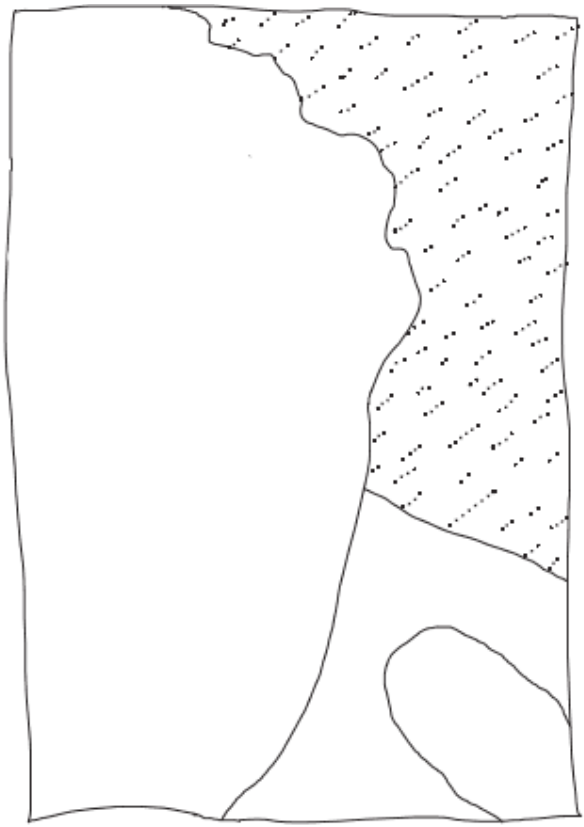
Генриетта испуганно замолчала, осознав всю серьезность последствий своего открытия… Потом прижала чужую фотографию к груди и заплакала. Крушение родственных связей лишало ее всяких прав на жизнь среди псевдоготической мебели.

– Ладно, – сказала мама, – пошли ужинать.

Я вышел на балкон. Шел снег. Было тихо на Седьмой улице. Ван Гог прислала факс: “Дурачок, что ты мерзнешь на балконе? Я перекрасилась. Прийди посмотри”.

P. S. В конце девяностых многие Базиашвили вернулись на родину. В те годы в бывшем СССР делались большие, быстрые состояния. Иосиф стал удачливым российским бизнесменом, в двухтысячных в журнале “Форбс” (русская версия) в списках миллионеров Иосиф Базиашвили значился сто девяносто седьмым…

Фотография 37. 1979 год



Фотография 37. 1979 год.

Певица Анна Шагал стоит у микрофона, красивая, курчаво-волосая, поет. В нее влюблены все мужчины ресторана „Интурист."

Из окон “Интуриста”, огромного стеклянного куба в начале улицы Горького, видны кремлевские башни, часть Мавзолея, где

по воскресеньям выстраивается километровая очередь, чтобы поклониться человеческому божеству, умершему много-много лет назад.

Ленин лежит на втором этаже Мавзолея, в мраморном зале, и в полуприглушенном свете выглядит очень даже живо. Слышу его шепот: “Ираклий, что ты потерял здесь? Беги в “Интурист”! Там бурлит жизнь! Там девочки!” В зале душно. Я понимаю, что вождь не мог ничего подобного прошептать, но мне понравился его озорной совет бежать в гостиницу “Интурист”, где в дверях высится швейцар Степан по кличке Циклоп. Если удачно проскочить мимо него, попадешь в вестибюль, там толкаются столичные и провинциальные длинноногие девочки, а в ресторане этажом выше репетирует оркестрик, который называется “Ненужные вещи”, у микрофона стоит рыжая Анна Шагал, сводящая меня с ума… И не только меня. Пленниками Шагал являются Саша Кайдановский, Сережа Соловьев, братья Ибрагимбековы Максуд и Рустам, великий сердцеед Датун Мачавариани, Жора Гигинеишвили… Кто-то из этого списка из-за Шагал даже стрелялся с кем-то из этого списка на Воробьевых горах. Я знаю кто, но не скажу.

…Сыплет густой снег. Кремлевские голубые ели превратились в белые тени. Сбежав от знакомых, простоявших всю ночь в мавзолейной очереди, я рванул через Красную площадь, Манеж, обогнув угол ресторана “Националь”, и оказался перед входом в “Интурист”. Швейцар Степан, большущий, длиннорукий мужчина, разговаривал с кем-то из иностранцев и не заметил, как я, тщательно стряхивая снег, вошел в вестибюль. Гардеробщица Тася, которая нравилась всем японским туристам своей узкоглазостью и пышногрудостью, берет мое осеннее пальто, уместное в Батуми, а не в тридцатиградусной Москве. Она шепчет: “Один перс уехал в свою Персию и оставил мне плащ с мехом кролика, мех сыплется, но тепло. Могу не за дорого…” Я вошел в ряды гардероба и вышел в длинном до пят плаще с капюшоном. Таисия посмотрела на меня и сказала: “Ку-клукс-клан”…

Жизнь в гостинице “Интурист” накладывает на человека инфернальный отпечаток. Любой гость столицы попадал в другой мир, немного зазеркальный. Здесь можно в лифте купить американские джинсы *Levi’s*, при этом опытный фарцовщик Шура Антонович так управится движением лифтовой кабины, что вы успеете натянуть джинсы, сторговаться и выйти на двенадцатом этаже, где бар, а в баре дефицитное чешское пиво. Шура Антонович, человек хоть и аполитичный, но все-таки спросит: “Зачем мы штурмовали дворец Амина? Ведь на носу Московская

Олимпиада!”

В “Интуристе” останавливались знаменитые персоны: итальянский режиссер Федерико Феллини, монгольский маршал Чойбалсан, певец Адриано Челентано, писатель Жорж Сименон (поселился инкогнито), Сергей Параджанов (когда он был при деньгах). Гостиницу облюбовали подпольные советские миллионеры. В последнее время зачастили представители международных олимпийских комитетов (Московская Олимпиада на грани срыва). Здесь собираются профессиональные картежники, шулера, выигрывающие и проигрывающие десятки тысяч за ночь. И главное, сюда слетаются “ночные бабочки”, назовем их проще – проститутки. Никакие красотки “Мулен Руж” и “Крейзи Хорс” не сравнятся с девочками, гуляющими в вестибюле “Интуриста” с рассеянной полуулыбкой на губах, сидящими на диванах у лифтовых дверей почти на каждом этаже. Среди них есть великие личности, например Скалолазочка Рита Старостина, известная тем, что когда с ней уединился в своем номере певец – то ли Челентано, то ли Тото Кутунио, а может, не они, а М. – не буду расшифровывать любимца советских ткачих, бетономешальщиц, пастушек и хлопкоробок, – кто-то из них наслаждался Ритой, и вдруг громкий стук в дверь номера люкс и женский крик: “Знаю, ты в номере с этой сучкой, открой, или я выбью дверь!” Хозяин номера открыл окно, увидел далеко внизу улицу Горького. С ужасом прошептал: “Жена!” – и посмотрел на голую Риту. Та сказала: “Тысячу зеленых, и я исчезну”. Певец безропотно дал тысячу зеленых. Рита, голая, перелезла через окно (где было время одеваться?!) и пошла по внешнему карнизу, которого практически не было. Здание “Интуриста”, если кто помнит, являлось гигантским двадцатидвухэтажным стеклянным кубом. Скалолазка Рита прошла по несуществующему карнизу и влезла в чье-то открытое окно. Продолжение этой истории рассказывал замечательный прожигатель жизни, журналист Датуна Мачавариани, так как открытое окно было окном его номера. “Я увидел фантастической красоты женскую ногу, которая перешагивала из ночи в мой номер. Хозяйка ноги держала в зубах платье, колготки, что-то еще… “Жена этого импотента свалилась, как снег на голову”, – беззлобно улыбаясь, она села на край моей кровати… В лунном свете Рита одевалась, я хотел ее обнять, но она сказала: “Датуна, сегодня я устала, вот тебе двести долларов, дай поспать”.

“Ночных бабочек” в гостинице было много. Среди них и высокие профессионалки, и только что сошедшие с поездов юные провинциалки с Урала, из Приднестровья, с Байкала, из Сибири, мечтающие выйти замуж за Андрея Миронова, за внука Брежнева,

за сыновей поэта Михалкова.

В ресторанах “Интуриста” часто звучали марши Мендельсона. Здесь сливались в страстных объятиях представители Победившего Социализма и люди Загнивающего Запада.

Я постоянно прокрадывался мимо цербера, улыбался ему заискивающе: “Это я, Ираклий, свой”. Тот всматривался секунду в меня и ленивым жестом впускал в рай. Помню и радость от сознания, что я законный жилец гостиницы, что у меня в кармане позвякивает тяжелый медный ключ от номера 716. Такое бывало несколько раз, когда, приезжая из Тбилиси в Москву, у меня не было возможности остановиться у Василия Валерьяновича – моего двоюродного дяди. Он был профессор-психиатр со странностями. Жил постоянно в больнице Ганнушкина среди своих сумасшедших, был гостеприимным человеком, и я не раз гостил в его двух комнатах под крышей психбольницы. Но когда комнаты были заняты очередными Дульцинеями (медсестрами, молодыми врачихами-практикантками), профессор отвозил меня к Анфисе Никаноровне, администратору гостиницы “Интурист”, давней своей подруге, а она никогда не отказывала “племяннику любимого психа”.

Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые… Хрущевские, брежневские, андроповские годы. Жизнь была прекрасна! Кафе “Молодежное”, где играл саксофонист Козлов, ночные купания в прудах ВДНХ, пластинки Луи Армстронга, Ната Кин Колла, Дейва Брубека, Майлса Девиса, купленные у интуристовских фарцовщиков, ресторанные залы гостиницы, где за соседними столами сидели Хемингуэй – не сам “Большой папа”, но в таком же свитере, с такой же бородой, с такой же улыбкой удачливого охотника на львов – кто-то. Рядом Мэлор Стуруа, забежавший в Москву на три дня. Через стол от них Сергей Параджанов во главе компании похожих на Че Гевару и Фиделя Кастро армянских художников – это Алик Джаншиев, Дильбо и другие. Параджанов рассказывает, как на Тишинском рынке у цыганки купил серьги-стекляшки и подарил жене главного редактора Госкино, выдав их за серьги с раскопок дохристианских колхов. Художники слушают Сергея и пялятся на Сильвану Пампанини и Антонеллу Луальди, которые дуют на горячие пельмени и спрашивают Сергея Федоровича Бондарчука: “А где жил Мастер со своей Маргаритой?” Я тоже сижу где-то в зале, ем знаменитые пельмени “Интуриста” и пожираю глазами Луальди.

Но главное – в ресторане “Интуриста” пела Анна Шагал, выпускница музыкального училища города Адлера. В первый же вечер провинциальная певица голосом чуть с хрипотцой и манерами, напоминающими Анну Герман, полюбилась

ресторанному залу и самим оркестрантам. Что-то необычное было в ее внешности: дейнековско-спортивное тело, черное платье и короткая стрижка рыжих волос.

Луальди с Пампанини мелькнули красотой, как миражи в пустыне, а Анна Шагал каждый вечер была на сцене и пела. Я стал ее фанатом. Никогда до этого не дарящий букеты цветов, я тратил все деньги на двадцать семь крупных красных бутонов, которые выбирала мне гостиничная цветочница Эльза, говоря: “Ираклий, ты сошел с ума, она разорит тебя”. Анна Шагал была чуть косоглаза, и в этом был особый шарм. Каждому в нее влюбленному (Саша Кайдановский, Саша Абдулов, Сергей Соловьев, Датуна Мачавариани, Жора Гигинешвили, футболист Кипиани и др.), (повтор) казалось, что она пела и смотрела только на него, улыбалась только ему…

С помощью Анфисы Никаноровны Тушиной, которую в “Интуристе” все за глаза звали “Железная Туша”, я стал работать в “Интуристе” переводчиком с французского. Откуда французский у тбилисского бездельника и лоботряса? Мне повезло с бабушками. У меня их было три, и одна из них была правнучка Жан-Батиста Мондино (того самого теолога, автора “Иных направлений”). Летом бабушка Жозефина забирала меня в Сухум, где жила одна с десятью кошками. Кошки учили меня сказкам Шарля Перро, а бабушка зубрила со мной книгу “Женщины в жизни Наполеона”. Эти летние уроки французского не прошли даром. Наполеон, на которого я ничем не походил: ни ростом, ни умом, ни отвагой, – зародил во мне комплексы перед женщинами на всю жизнь. Но сказки Шарля Перро, стихи Артура Рембо помню по сей день наизусть.

Московская Олимпиада требовала увеличения числа переводчиков. “Железная Туша” взяла на себя ответственность за отсутствие у меня диплома Института иностранных языков. Не было тайной, что она любила Василия Валерьяновича и делала добро его племяннику, решившему остаться в Москве.

Однажды я пригласил Анну Шагал в зал Чайковского – Василию Валерьяновичу дали билеты, он не смог пойти. И вот мы с Анной слушаем барабанщиков из Новой Зеландии. Барабанщики создали в зале головокружительную вибрацию, Анна вцепилась в мои пальцы…

Раскрою тайну дуэли на Воробьевых горах – стрелялся я. Оставлю в тайне – с кем. Пистолет был один. Кто-то из дуэлянтов стрелял в противника с двадцати шагов, промахнулся. Потом пистолет перешел в руки другого. Тот выстрелил в воздух. Помирились. Поехали в “Интурист”. Денег не было ни у меня, ни у соперника, ни у секундантов… Пили пиво, слушали пение

Шагал, из-за которой один из дуэлянтов должен был лежать бездыханный в кустах Воробьевых гор. Веришь ли ты мне, Чанчур, читая эту дуэльную историю? Думаю, нет. Эпоха дуэлей давно испарилась. Не буду тебя убеждать. Но если бы ты видел Анну Шагал, то не усомнился бы, что из-за нее мог стреляться и твой папа, совсем-совсем не дуэлянт. Вот тут в моей истории появляется еще один важный персонаж – замдиректора гостиницы “Интурист” Тимофей Андреевич Головин, недавно переброшенный с высот партийного аппарата в гостиницу “на понижение”, как шептали злопыхатели. Тимофей Андреевич – бывший Физкультурник, с большой буквы. Тот, кто на довоенных парадах шел по Красной площади во главе колонны дискоболов, футболистов, бегунов, держа на вытянутой руке развевающееся красное знамя, и улыбался глядящему с Мавзолея Иосифу Сталину, человеку-богу, который ласкал, обнимал добрым взглядом каждого человека в колонне. Тимофей Андреевич и в свои немолодые годы был мускулист, силен, усат. Усы – его тайная гордость, он знал, что похож на главного усоносца в мире.

В ресторане на утренней репетиции оркестрика “Ненужные вещи”, когда Головин вправлял мозги музыкантам, выглядящим неподобающе и поющим непонятно что, замдиректора увидел и опешил от вида дейнековской красоты рыжей певички. Кровь забурлила в бывшем физкультурнике. Он мгновенно составил план завоевания “этой рыжей девки”. У главы французской делегации коммунистов, приехавшей на помощь в подготовке Московской Олимпиады, он вытребовал женский каракулевый полушубок от Диора, духи от Живанши, зимние полусапожки от Сен-Лорана и прочие мелкие аксессуары, типа “ленты, кружева, ботинки”.

Делегация коммунистов давно уехала назад во Францию, но глава ее Гийом Врангель-Бостель, отпрыск старорусских эмигрантов, владелец фирмы “Кофе-Какао-Бостель-Врангель”, остался в Москве, поил всех сладким, густым, пахучим какао, заключал контракты. К нему приехала жена, тоже русская, Лиза Сологуб. Они посещали Третьяковку, подвалы художников нонконформистов, бассейн на “Кропоткинской”, Большой академический театр СССР. Лиза, балерина-любитель, стала брать в Большом уроки классического танца (это был новоявленный бизнес – в Большом учили танцевать любителей-иностранцев, как правило богатых). Когда Лизе Сологуб и трем японским балеринам-любителям разрешили танцевать на главной сцене Большого (конечно же, днем, при пустом зале), Лиза от переизбытка чувств заплакала, никак не могла успокоиться, заплакали и ее соученицы-японки. Стоят не очень стройные в

балетных пачках женщины и плачут. Чуть успокоившись, они вчетвером протопали “Танец маленьких лебедей” под музыку П. И. Чайковского. Я был переводчиком японок, знавших хорошо французский, сидел в огромном пустом зале вместе с Анной Шагал. Зрелище было трогательным, немного смешным.

Раз мой рассказ о гостинице “Интурист” и ее обитателях – это “вспышки памяти”, – то вот еще комическая, точнее трагикомическая, история. Из Грузии регулярно, раз в три-четыре месяца, в Москву приезжал богатый человек Илья Ильич Паписмедов, директор кахетинского винного завода. Он останавливался в “Интуристе” вместе с сыном Зозо. Сын Зозо страдал заторможенностью. В Москве ему делали процедуры с какими-то швейцарскими медикаментами. Зозо, двухсоткилограммовый юноша, после процедур мгновенно оживал. До этого молча глядящий в одну точку, он обретал дикую энергию и требовал у папы невесту. Что-то вроде “хочу женщину” из “Амаркорда” Феллини, но обязательно в белой фате невесты.

Одна из “ночных бабочек” гостиницы Люся Аршинова во время приезда Паписмедовых превращалась в невесту для Зозо. Съезжались гости (папа Паписмедов щедро оплачивал это шумное событие), в ресторане играли свадьбу. Зозо был счастлив. Проходила брачная ночь, потом брачная неделя, потом Паписмедовы уезжали, до следующего приезда через четыре-пять месяцев, когда кончалось действие “энергетика”… Я спрашивал своего дядю Василия Валерьяновича, можно ли надеяться на швейцарское лекарство. Он ответил: “Нужно надеяться на Люсю Аршинову”.

А сейчас за столом гуляла веселая свадьба, сидели друзья папы Паписмедова, администраторы гостиницы, “ночные бабочки”. Все знали условия этого спектакля, все хорошо играли свои роли. Анна Шагал пела. Я смотрел на нее влюбленными глазами, замдиректора Тимофей Андреевич Головин смотрел на певицу, как Серый Волк на Красную Шапочку. Серый Волк был зол, он получил отказ, Анна не приняла подарки, экспортированные у французских коммунистов. Более того, когда, заперев рыжую певицу в своем кабинете, Головин ударил ее, чтобы напугать, чтобы она с покорностью принялась исполнять все его капризы, неожиданно замдиректора получил такую оплеуху, что еле удержал свое тренированное тело в равновесии. После чего Тимофей Андреевич стал вести себя непредсказуемо галантно. В тот день он с улыбкой открыл дверь кабинета, отпустил Красную Шапочку на волю. Через день пришел к ней на съемную квартиру с огромным букетом роз, увидел меня, который чинил в ванной Анны ржавые краны. У меня

сантехнические дела не очень-то клеились, Тимофей Андреевич, засучив рукава, долго что-то винтил, крутил, зажимал и добился мощной струи в рукомойнике и отменного слива бачка. Анна не возвращалась. Я чувствовал себя неловко при большом начальстве, тот предложил выпить, мы раскрыли принесенный замдиректора коньяк “Камю”. Тимофей Андреевич разлил “Камю” в большие граненые стаканы. Произнес тост за Анну. Мы выпили. Неожиданно, без всякого повода, замдиректора гостиницы стал избивать переводчика с французского. Бил очень жестко. Потом словно очнулся, пришел в себя. “Извини. Со мной бывает…”

Старый физкультурник ушел, не дождавшись Анны, оставив меня в недоумении. Я злился на себя… Почему я не ответил на его удары?! Даже если я не был знаменосцем на Всесоюзном параде физкультурников, у меня есть мое достоинство?! Или я трус, слизняк?!

Затем была словесная перепалка в отделе кадров гостиницы в связи с приемом в штат переводчика Квирикадзе И. М. Анфиса Никаноровна с трудом отстояла меня. Более того, я стал работать с индивидуальными туристами. Первым из них был черный священник из Французской Гвинеи Патрик Варенни, который приезжал в Москву по не совсем обычному делу. Священник узнал, что в России у него растет двадцатидвухлетний сын. Но как его найти, Патрик не знал. Сын родился после Всемирного Московского фестиваля молодежи 1957 года и был один из тысяч детей фестивальной любви… Патрик Варенни попросил меня помочь разыскать сына, у него были какие-то телефоны, какие-то имена. Я превратился в Шерлока Холмса и по крохам фактов обнаружил сына. У парня были родители, папа Степан Мамулин, мама Тося Шаляпина. Священник, услышав имя Тося, нервно затряс головой. “Да-да, Тося, Так ее звали…” На глазах черного священника выступили слезы. Семейство Мамулиных работало в фотоателье у кинотеатра “Космос”. Заранее сообщать о себе Патрик Варенни не велел. Зайти в ателье священник не решался. Мы сидели на сырой скамье в сквере перед стекляшкой. Большой, как стог сена, гвинейский священник мерз, хотя светило мартовское солнце. Из дверей ателье вышел черный парень, крупный, курчавый, пошел в сторону пивного ларька. По пути к нему присоединилась девушка. Они встали у прилавка, взяли пиво и сосиски, отошли к каменному столу. Подошли Патрик и я. Взяли пиво и сосиски, встали у стола рядом. Черный парень обратил внимание на черного священника, под навесом пивной больше никого не было, кроме нас.

“Что я ему скажу? Он не знает моего языка… Что? Знаешь, я ему ничего не скажу, только вот чокнусь кружкой”.

Священник так и сделал. Отец и сын улыбнулись друг другу. Отец зашептал что-то из Библии. Сын растерянно слушал… Я выпил пиво, пошел к буфетчику, налил еще, почему-то не мог смотреть на стоящих у соседнего каменного стола. Буфетчик, наливая пиво, глядел в их сторону, хохотнул и крикнул: “Влад, он молится, что ли?”

Черный парень засмеялся: “Черт его знает! Вроде!”

Священник в ту ночь улетел из Москвы во Французскую Гвинею. Мне хотелось спросить, почему он не сказал сыну о себе, но не решился…

Вскоре случилась странная, сюрреалистическая история. Мой далекий родственник из Сухума Кирилл Яковлевич Прыгун приехал в столицу с тем, чтобы отбыть в Израиль на постоянное жительство. Поселился в “Интуристе”. Ходил по Москве, разглядывал ее, улыбался, не замечая, что за ним шагают по пятам два высоких, бритых наголо парня. Кирилл Яковлевич зашел в зоопарк и там…

Часа два спустя Кирилл Яковлевич Прыгун в баре на двенадцатом этаже “Интуриста”, нервно кусая губы, шептал мне в ухо: “Все мои деньги, все, что я продал, все превратил в три бриллианта по пять карат, и два по четыре карата, и к ним еще два изумруда… Обернул их оберткой конфет “Раковая шейка” и держал в кармане. Эти типы останавливают меня около слона, ну там, где слон ходит. Показывают красные книжки, мол, КГБ. Я сдрейфил, говорю с ними, а сам незаметно кидаю конфетку в траву… Они говорят, отойдем… Обыскивают, явно знают, что ищут… Я узнал одного, сухумские такие, полубандиты… Не находят… Я радуюсь, правильно, что выкинул, вернусь – подберу… И вдруг вижу хобот, слоновий хобот, он дотянулся до моей конфетки – и в рот…”

Кирилл Яковлевич плачет. Что делать? Бриллианты в пять карат в животе у слона из Московского зоопарка. Через неделю надо уезжать в Израиль. Кирилл Яковлевич договорился с ухаживающим за слоном лимитчиком Глебом напоить животное слабительным. Четыре дня и четыре ночи мы с Прыгуном дежурили, сменяя друг друга в слоновьем загоне, следили, как лимитчик протирает слоновое дерьмо. Иногда протирали сами. Обследовав досконально пудов пять, влив еще слабительного, увы, мы не нашли бриллиантов и изумрудов. Кирилл Яковлевич Прыгун уезжал с серым, потухшим лицом. Анфиса Никаноровна, знавшая тайну Прыгуна, поцеловала его, зашептала: “Кир, руки есть, ноги есть, голова есть, жопа есть, еще столько всего в жизни высрется!”

Пожелавшая выучить французский Анна Шагал предложила

мне делить с ней двухкомнатную квартирку в Газетном переулке.

В период поисков бриллиантов в пять карат она спрашивала своего квартирного соседа: “Что за дикая вонь? Давай я тебя помою!” Загнав под душ и натерев каким-то дезинфицирующим раствором, долго меня мыла. Отношения наши были не совсем обычными, мы были как брат и сестра, как любовники, как партнеры, чтобы поплакать в жилетку… Во французском посольстве в отделе культуры работал Лоран Данилю. Он приглашал на кинопросмотры, там мы с Анной посмотрели “Завтрак у Тиффани” с Одри Хепберн. Анна вновь выламывала в темноте мои пальцы. Отношения героев фильма были похожи на наши.

Наступила странная пора. Приближающаяся Олимпиада внесла в жизнь гостиницы “Интурист”, ее работников, постояльцев множество заметных и незаметных правок. Оркестрик “Ненужные вещи” был изгнан, Анна Шагал стояла теперь на ресторанной сцене с юношами в серых, аккуратных костюмах и пела светлые, ясные песни. “Ночные бабочки” куда-то упорхнули в темноту. Говорили, что их увезли за сто первый километр от Москвы. По улице Горького пронеслись факелоносцы с олимпийским огнем, зажженным в далекой Греции.

“Ленты, кружева, ботинки, что угодно для души?” – поется в детской песне. Тимофей Андреевич Головин, как опытный физкультурник-донжуан, добился-таки победы, дотянулся до роскошного тела Анны Шагал. Жениться на ней он не мог, действующая жена была высокой партийной номенклатурой. Он приходил к Анне на квартиру, оставался на ночь. Я слышал их любовные битвы. Как две большие рыбы, они бились хвостами об стену, французский переводчик морщился от каждого удара. Думал: “Ворвись, выволоки его на лестничную площадку, избей, смой потом, смой кровь с кафельных стен и пола…”

Я не врывался в соседнюю комнату, не выволакивал на лестничную площадку старого физкультурника, не избивал его до крови, с кафельных стен и пола нечего было смывать. Я, стиснув зубы, молчал, слушая звуки за стеной.

Странную историю рассказал мне швейцар гостиницы Степан, тот, который долгие годы по своему настроению то впускал меня, то превращал свои длиннющие руки в шлагбаум. Помню, рядом со входом в гостиницу был приклеен листок “Моральный кодекс строителя коммунизма”. Сколько раз ожидая, когда длиннорукий отойдет со своего поста, я делал вид, что внимательно вчитываюсь в этот “моральный кодекс”, непонятно почему приклеенный на фасаде “Интуриста”.

Теперь, будучи штатным переводчиком с французского,

распив с ним бутылку кахетинского вина в камере хранения, мы подписали пакт о мире. Гигант оказался говорливым страдальцем. Вот что рассказал он, крепко сжав мое плечо:

“Вчера вернулся домой чуть раньше обычного. В квартире пусто. Хотелось есть. Поставил на огонь сковородку, разбил пять яиц, обнаружил бутылку немецкого пива. Посмотрел на часы, вроде жена Лиза должна уже быть дома… Яичница шипела, но я услышал еще какие-то звуки. Звуки шли из спальни. Голос Лизы: “Ой, ой! Пощади, милый, пощади… У-у-у…” Потом ее смех. “Боже, как хорошо!” Я схватил раскаленную сковородку, ногой распахнул дверь спальни и оказался в темноте. На кровати смутно белело мужское тело. Под ним угадывалось женское… Самое белое – мужской зад. Я по нему раскаленной сковородкой. Мужчина взвыл. Я ударил еще, еще, еще. Бросил сковородку в барахтающиеся тела и выбежал из спальни. Мне стало противно… Кричал мужчина, кричала Лиза. Видимо, раскаленная сковородка соскользнула с ягодиц мужчины ей на живот…

Я выскочил на лестничную площадку. Поднялся лифт. В кабине посмотрел на себя в зеркало. Из глаз лились слезы. “Лиза, тварь!.. Я же…” Лифт спустился на первый этаж. Первой, кого я увидел, была моя Лиза. Она улыбнулась радостно, взяла за руку. Я спросил: “Ты откуда?” – “С работы…” Я ткнул пальцем вверх: “А там… Ты…”

Жена продолжала говорить что-то радостное: “Пойдем в магазин? Я забыла утром сказать – сегодня приезжают моя сестра и ее жених…” – “Жених?..” – “Они решили перебраться из Смоленска в Москву… Может, они уже и у нас. Я ключи оставила им под половиком… Ты что?” – “Ничего… Я…”

В магазине Лиза купила рыбу, соленых огурчиков, грибов маринованных… Мы вернулись в дом. Сели в лифт. Неожиданно я нажал на кнопку “стоп”, ничего не говоря жене, побежал вниз по лестнице. Что мне делать? Боюсь домой идти! Ираклий, что делать? А? Вы, горские люди, решительные!”

Это он говорит мне?! Неделю слушаю любовные стоны за стеной…

Я вдруг представил, как врываюсь с раскаленной сковородкой в комнату Анны Шагал. Как вопит Тимофей Андреевич Головин, вопит рыжая певица.

Московская Олимпиада вот-вот должна открыться, а я оказался прикованным к Большому театру СССР. Прибыли новые люди, не умеющие танцевать, но мнящие себя танцорами-любителями.

Я пас замечательных четырех южных кореянок, толстого арабского мальчика Азамата, который кружил бесконечные фуэте

и носил на вытянутых руках миниатюрных кореянок, часто падая и роняя их. Азамат был похож на толстого мальчика из фильма “Корабль плывет”, того, кто берет уроки фехтования. Азамат был сыном одного из арабских шейхов. Ему лично принадлежали в Аравийской пустыне сто семьдесят нефтяных вышек! Что началось, когда это узнали “ночные бабочки” гостиницы “Интурист”! Их же почти всех на время Олимпиады сослали за сто первый километр, и почти все они какими-то правдами и неправдами вернулись в гостиницу. Азамат (имя лермонтовского героя) выглядел пухлым четырнадцатилетним мальчиком, а было ему двадцать четыре, и он бредил балетом (не фехтованием, не гонками на верблюдах, не соколиной охотой, а балетом). Ночью у дверей его номера люкс ставили два стула, на один садился слуга Азамата Фаруджи, на другой – мощная горничная Марфа Поперечная. Проститутки пробирались и в Большой театр. Загадка, как они оказывались в залах, где шли репетиции. Я испортил отношения с большинством из “бабочек”. “Этот мерзопакостный грузин прячет нашего душку-арапчонка!” И вдруг… арапчонок уезжает в Аравию и увозит с собой Анну Шагал! Он женился тайно на Анне, сделал ей визу в собственном (папином) посольстве и после выпускного балетного вечера, где он кружил свои знаменитые фуэте, улетел с законной женой, рыжей бестией, зеленоглазой Шагал, моей самой большой любовью в двадцатом веке!

Сергей Параджанов был на одном из тренингов танцоров – любителей. Он видел Азамата и сказал: “В глазах этого пончика видны сабли, а твоя Анна (он ухмыльнулся) – она Шагал, Шагал… Вслушайся в эту фамилию… Никаким законам земного притяжения она не подчиняется. На картинах ее дедушки (Анна не была внучкой Марка Шагала) женщины и мужчины летают в небе…” Я спросил Сергея: “А зачем ей этот балерун?” Он ответил: “Он будет танцевать “Танец с саблями” Арама Хачатуряна”. Сергей смеялся в своей манере нагнетать абсурд…

Для меня наступил траур. Олимпиада открылась. Спортсмены прыгали в высоту, в длину, тройными прыжками, прыгали с шестом, бежали, догоняя друг друга, метали диски, ядра, бросали друг друга в нокаут, кто-то побеждал, кто-то проигрывал. В гостинице каждый день взлетали брызги шампанского, праздновали победу то турки, то немцы, то греки, то французы. Я сидел один в своей комнате, когда приходил со стадиона “Лужники”, куда водил интуристов. Искал фотографию Анны, не находил ни у себя в комнате, ни у нее. Мне надо было посмотреть на Анну. Фотограф Филя Пешков, работник органов, снимал все, что происходило на территории гостиницы “Интурист”:

вестибюль, ночной клуб, парикмахерскую, кухню, подсобные помещения. Вместе со мной он пересмотрел свою фототеку – нигде не обнаружил Анну Шагал.

Филя сознался мне: “Знаешь, почему ее нет нигде? Фотопленка ее не любит… Я получил заказ снять ее с этим Азаматом. В конторе мгновенно узнали об их контактах – между нами, ладно? В спальне азаматовского номера люкс есть возможность снимать… Я снимал, когда они баловались в постели, на диване, на ковре… Ну, сам понимаешь… Компромат!” Он вынул пакет новых фотографий: “Смотри, на месте Анны свечение”.

Я увидел на постели толстого, плотного тюленя, обнимающего свечение. То же самое на другой фотографии. Азамат и флю!

Не люблю мистики, не люблю паранормальные явления. Наверное, такое бывает? Помню, Никита Михалков рассказывал, что, когда снимал “Рабу любви”, он сделал фотопробы Наташе Лебле. На всех фотографиях вместо Лебле получалось флю-свечение… Михалков объяснял это тем, что она сама не хотела сниматься в фильме…

Много медалей! Много рекордов! Олимпиада завершалась. Я в “Лужниках”. Огромный Мишка выплыл из ангара, проплыл в шаге от меня. Я протянул руку и потрогал его. Игрушечный Мишка ростом в три этажа! Он смотрелся как чудо. И вот чудо стало медленно взлетать. Мне захотелось схватиться за Мишкину лапу. Запрыгнуть на нее. Но я упустил момент. Он улетел без меня. У всех слезы на глазах. И у меня. На другой день я в “Интуристе”. В вестибюле гвалт. Корейские балерины уезжают. Прощаемся. Многие уезжают.

Я зашел в туалет. Стою у писсуаров. В зеркале замечаю знакомую фигуру Тимофея Андреевича Головина. Увидев меня, физкультурник улыбнулся, подошел к соседнему писсуару:

“Бл…на, уехала! Изменить родине ради сотни скважин… Пусть подавится, сука, этой нефтью… Тварь! Бл… на!” Весело, с хохотком старый физкультурник подставил руки под струю рукомойника. Первый удар получился у меня не очень удачный, второй бросил замдиректора гостиницы на кафельный пол. Я поднял его, прислонил к рукомойнику и ударил головой в квадратный подбородок. Он вновь упал, вроде потерял сознание. Я мыл руки и смотрел на забрызганный кровью кафель. Один к одному картина в моем воображении совпала с реальностью. Но надо уходить, я перешагнул через физкультурника, тот что-то говорил мне, я не слушал, вышел. Вестибюль гостиницы “Интурист” продолжал гудеть, выносили чемоданы, саквояжи,

сумки. Гостиничный вор по кличке Привидение пил яблочный сок и внимательно смотрел на горы багажа. Анфиса Никаноровна улыбнулась мне: “Приехала одна парижанка, бывшая русская, восемьдесят лет, какие-то мемуары у нее. Ты же литературой интересуешься… Ее любил Маяковский. Дать тебе ее?” Я кивнул в знак согласия. Парикмахер Баграт, наткнувшись на меня, сказал: “Ты записан, помнишь? В одиннадцать, завтра”. Я кивнул в знак согласия…

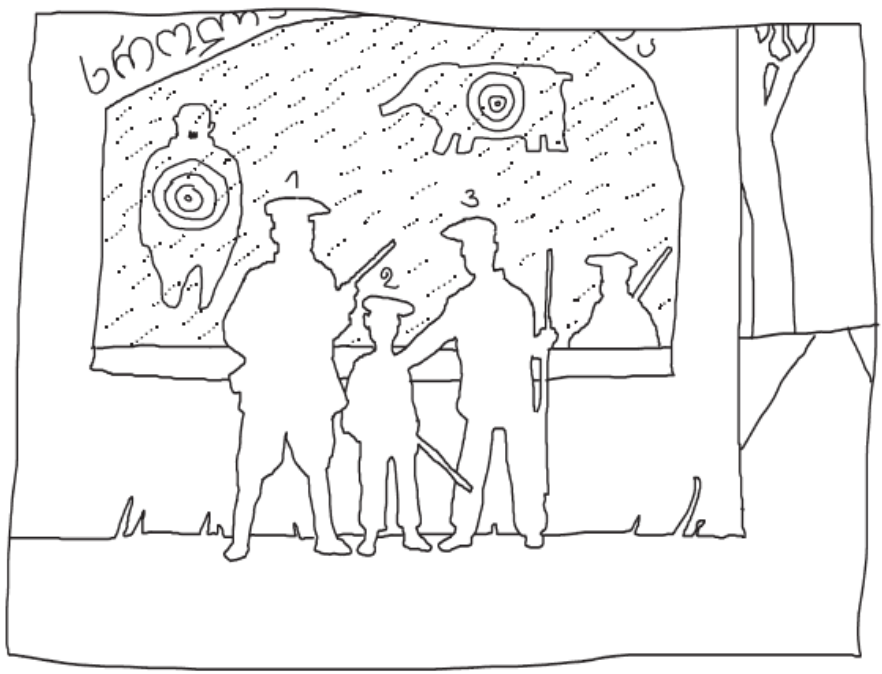
Швейцар Степан посмотрел на меня и сказал: “Три дня держу для тебя письмо и не даю, расстроишься, но вижу, что ты больше сюда не вернешься”.

Я удивился проницательности Степана. Он вынул из кармана листок, я раскрыл его и прочитал: “Не могу обходиться без вещей, до которых мне нет никакого дела. Нефть – это так интересно…”

Я двинулся медленным шагом к выходу из гостиницы, а на самом деле побежал сломя голову, навсегда…

Я ничего не понял в том послании, тогда тридцать четыре года назад. И сейчас не очень понимаю…

Фотография 38. 1951 год



Фотография 38. 1951 год.
Тир в Боржомском парке. Стоят: Симон Чипилия (1), я (2) и мой папа Михаил Квирикадзе (3). В руках у нас пневматические ружья, стреляющие дробью.

Боржомский парк. Чуть в стороне от известных на весь Советский Союз минеральных источников стоял стрелковый тир. На столе лежали два стреляющих дробью пистолета и четыре стреляющих также дробью и кисточками ружья. Кисточками надо было попасть в мишень, желательно в десятку, дробью – в движущиеся жестяные фигурки танка со свастикой, в балерину с поднятой ногой, в толстого буржуя в цилиндре, в тигра, в зайцев, в слона. Тирщика звали Симон Чипилия. Тир работал с десяти утра до десяти вечера. Круглогодично. Помню зимой идет густой

снег, в парке темно, у Чипилии в тире мигают цветные лампочки, звучит музыка – Моцарт, Бах, Альбинони… Но это не музыкальный вкус Чипилии, а радиопрограмма, звучащая из репродуктора. Была такая круглая картонная тарелка, знакомая по фильмам тридцатых, сороковых, пятидесятых годов?

В те годы Боржоми был модным всесоюзным курортом. Теплую, а иногда слишком горячую минеральную воду источников пили страдающие желудком советские больные. Две зимы и два лета наша семья жила в Боржоми, хотя желудки у всех были отличные, если не брать в счет мамин желудок. Мой папа, двоюродный брат Карл, другой брат – Мамука, папин племянник Бесо, студент-медик, отвергали ритуальные процедуры приема минеральной воды, ванн, клизм и чего-то еще, называемого таинственным словом “фейергейзер”. Они активно посещали злачные места: ресторан при вокзале, турбазу, танцзал турбазы, столовую-стекляшку “У Платона”. Название столовой не имело никакого отношения к греческой философии. Там советские язвенники пили виноградную водку крепостью восемьдесят градусов. Хозяин столовой Платон Метревели лил на ладонь чачу из бутылки и поджигал бензиновой зажигалкой. Ладонь Платона горела синим огнем, язвенники аплодировали.

Не так давно закончилась Великая Отечественная война. Среди язвенников было много людей в гимнастерках с погонами, с медалями на груди. Однажды я нашел боевой пистолет под столом у Платона. Мама послала меня привезти загулявших Мамуку, Карла и студента-медика Бесо. Посетителей в столовой уже не было. Платон и две девушки-официантки ставили стулья на столы, я наткнулся на пистолет, поднял его, показал Платону. “Это пистолет Симона Чипилии. Врет, что стрелял из него в Гитлера”, – Платон захохотал. Девушки-официантки из Средней Азии, чернобровые, узкоглазые, мне очень нравились, Фируза и Лола. Они смеялись вместе с хозяином, прикрыв ладонями губы. “Отнеси ему сам – даст бесплатно пострелять из своих воздушек”.

Я разглядывал пистолет. Он был настоящий, не похожий на те, из которых стреляли в тире. Отхохотав, Платон сказал: “Ираклий, так тебя звать, да? Ты же Миши Квирикадзе сын, он тоже хороший мудозвон, хотя нет, это я так, твой отец правильный, но пьянеет быстро, а этот Чипилия – Мюнхгаузен, только не барон, а шизофреник”.

Путаную речь Платона я не понял, отнес пистолет домой. Показал двоюродным братьям. Карл, самый старший из братьев, на другой день пошел к Чипилии и вернулся от того навеселе: “Чипилия зовет всех нас в субботу встретиться у Платона”.

Мне было одиннадцать лет. Я завидовал своим взрослым

двоюродным братьям, они строили санаторий имени XIX съезда партии, а вечерами пропадали на боржомской танцверанде. Иногда туда сбегал и мой папа.

Я с мамой пил из минеральных источников горячий боржоми, сидел в курзале на мраморных скамьях и слушал беседы язвенников об ухудшающемся, а у кого улучшающемся здоровье. У мамы была язва двенадцатиперстной кишки. Но мама была цветущая, розовощекая, белозубая, улыбчивая. Ее окружали мужчины, в большинстве своем офицеры, кто с женами, кто с любовницами, и все они бледные, с темными кругами под глазами. Говорили о таинственном лечебном методе “фейергейзере”, который надо делать только в санатории Министерства мясомолочной промышленности СССР у доктора Муртаза Мухтарова, который снимает все боли и тревоги, “создает внутри вас рай”. Так говорил подполковник Товстуха (помню фамилию), желтый и худой. Это он читал маме стихи:

Близ ложа моего печальная свеча
горит; мои стихи, сливаясь и журча
текут…

Подполковник остановился, что-то забыл, потом продолжил:

…текут, полны тобою…
Во тьме твои глаза блистают предо мною.
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг… Люблю… твоя… твоя…

Я взорвался. Он что, не видит меня?! Мама смутилась. Был вечер. Язвенники расходились. Парк пустел. Боржомская луна делала подполковника желтым вдвойне. Мама почему-то сказала: “Ираклий хорошо читает стихи, Харитон Ноевич”. Тот улыбнулся: “Ираклий, твоей маме надо посвящать стихи”.

Я думаю, он был прав, но, будучи зол, я встал и проговорил быстро, неряшливо:

Мы солдаты пятой роты,
Водку мы не пьем…

Подполковник округлил глаза.

Всю Европу через жопу

На х… разобьем.

Мама опешила. Она впервые услышала из моих уст откровенный мат. Подполковник Товстуха делано засмеялся: “Браво, мальчик. В твои нежные годы я тоже был изрядный говнюк”. Резко встал и ушел.

В субботу в стекляшке “У Платона” был накрыт стол, за которым сидели мой папа, Карл, Мамука, Бесо, четверо боржомцев, Симон Чипилия, потерявший и обретший немецкий пистолет, который, как он утверждал, был личным подарком от немецкого маршала авиации Германа Геринга.

Знаю, что последняя фраза удивит тебя, Чанчур, даже возмутит.

Должен сказать, что я, нашедший этот пистолет, не сидел за столом, меня не позвали, но я многое знаю о том застолье и о других, последовавших вслед… Хочу еще раз сознаться, что рассказчик я плохой, не могу вести главную линию, описывать главные события, касающиеся героя. В данной истории это тирщик боржомского тира Чипилия, человек особенный. Мой папа Михаил, двоюродные братья Карл, Мамука, Бесо, даже моя любимая мама – статисты в этом рассказе. Чипилия пять лет назад вернулся с фронта чуть контуженный. Сегодня СССР – страна победитель, уже залечивает свои раны… Восстанавливаются разрушенные города, возведены взорванные плотины. Харьковский тракторный завод построил тысячи новых тракторов и выпустил их на поля. Нарисована картина “Утро нашей Родины”, где генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин идет в белом кителе по бескрайнему хлебному полю. Режиссер Пырьев то ли снял, то ли снимает, то ли вот-вот приступит к съемкам фильма “Кубанские казаки”. На Красной площади в Москве по майским и ноябрьским праздникам проходят тысячные толпы радостных демонстрантов, играют духовые оркестры, все счастливо смотрят на трибуну Мавзолея, где стоит – Чанчур, ты знаешь кто! Он в белом кителе генералиссимуса. Я могу много говорить о праздниках, о новых планах, о стройках коммунизма. Мне кажется, если бы я все это читал вслух, голос мой обрел бы нотки диктора Левитана.

Даже в грузинском курортном городке Боржоми, где из глубин земли бьют целебные источники и со всего СССР съезжаются больные с желудочно-кишечным трактом, даже здесь чувствуется радостный пульс новой жизни. А тирщик Симон Чипилия живет лишь воспоминаниями о прошедшей войне, о битвах с фашистским зверем, о своих невероятных подвигах, о

которых, увы, не знает никто. Разве что десятка два боржомцев, которых Чипилия, живущий с женой Алваси в маленькой двухкомнатной квартире на улице Клары Цеткин, 14, зазывает субботними вечерами к себе в дом или в стекляшку “У Платона”, накрывает стол и под обильное виноизлияние, поедание сациви, хашламы рассказывает истории, которым позавидовал бы сам упомянутый буфетчиком Платоном великий враль барон Мюнхгаузен. Состав гостей часто меняется, в этот раз за столом сидят мой папа и мои взрослые двоюродные братья, они пьют, вкусно едят и, разинув рты, слушают тирщика. Папа и братья с лету словили драматургию происходящего. Тирщик всю неделю зарабатывает ружьями, пистолетами, дробью и кисточками деньги. В субботний вечер он угощает. По неписаным правилам, надо слушать его, восхищаться, говорить: “Чипилия, не может быть?!” – желательно раскрывать рот, округлять глаза, цокать языком, бить ладонью о стол и, конечно же, кричать что-то вроде “браво!”. И конечно же, произносить тосты за Великого Воина Чипилию. Все дни недели он абсолютно вменяемый человек. Даже когда садится за стол с друзьями, он скромно улыбается, но после второго-третьего тоста, когда его спросят: “Чипилия, а что было там, в Сталинграде?” или “Как же тебя не рассекретили в ставке Адольфа Гитлера?” – Чипилия, робко улыбаясь, начинает первую фразу, на второй фразе это уже другой человек. Он как Леонардо да Винчи, который одновременно был художником, изобретателем, строителем, поэтом, воздухоплавателем. Так и Чипилия был в своих рассказах то летчиком, то артиллеристом, то минером. Его танк первым ворвался в Берлин, это он торпедировал крейсер “Бисмарк”, а в прошлую субботу он вспоминал, как танцевал с любовницей Гитлера Евой Браун аргентинское танго на банкете в Рейхстаге. Ева Браун явно была неравнодушна к советскому бравому разведчику. Здесь надо описать внешность Симона Чипилии, что привлекло и взволновало в нем красивую немку? Лицо смуглое, как у индейского вождя, острый нос слегка портили глаза, чуть навыкате, с такими глазами мужчины похожи на сов. Высокий, плечи широкие, черный пиджак, черные брюки, белые парусиновые туфли, которые он чистил зубным порошком, об этом мне сказала мама, признав его привлекательным мужчиной. “Может, он действительно был талантливым разведчиком, как Кадочников в фильме “Подвиг разведчика”, – предположила мама. Папа возмутился: “Ты не слышала, что за чушь он несет”… Папа стал говорить за Чипилию, а Карл за Еву Браун. Иногда за Браун произносил реплики Мамука. “В 1944-м меня забросили в Германию… По документам я был Орландо Вагнер, внук

любимого композитора Гитлера. Я позвонил с уличного телефона Адольфу, он принял меня. Для Адольфа Вагнер был больше чем композитор, он был Бог! Адольф сделал меня помощником Гиммлера, я получал много секретной информации, отсылал ее в Москву, в Центр. И тут Ева Браун, на одном банкете, был ее день рождения, увидела меня и потеряла голову… Когда объявили белый танец, Адольф вышел ей навстречу, а она с полным безразличием посмотрела на него и прошла мимо. Гитлер опешил. Я стоял в другом конце зала, Ева Браун подошла и сказала: “Будешь моим кавалером”… Я смутился. Она положила руку на мое плечо и вытянула в центр зала. Вначале я брыкался, потом смирился. Будь что будет… Мы танцевали аргентинское танго. Ева прижималась ко мне, я чувствовал ее упругое тело. Посмотрел на Адольфа, увидел в его глазах досаду, шепчу Еве: “Адольф смотрит на нас”. Она отвечает: “Чипилия, у тебя такие сильные руки, малыш!” – и протискивает свою ногу меж моих ног. Другие пары заполнили паркет. Ева продолжает обвивать мою ногу. И шепчет: “Я хочу тебя, грузин”.

Моя мама засмеялась: “Откуда Ева Браун узнала, что внук Вагнера грузин?” Папа ответил: “Когда Чипилия что-то рассказывает, нет никакого смысла уточнять детали. Ева знала, что он грузин, она даже сказала, что слышала о грузинах как о выдающихся Казановах”. Мама улыбнулась и скорчила гримасу: “Спросила бы Ева Браун меня, я бы ей рассказала”.

Танец продолжается. На паркете Рейхстага они опять одни, другие (Гитлер, Геринг, Гиммлер, Розенберг, Геббельс) смотрят на блестящих танцоров. Щека Евы Браун вжалась в щеку внука Вагнера Чипилии. Ева горячо шепчет: “Хочу тебя, грузин”. Чипилия скосил глаза на Гитлера. Знаменитая гитлеровская челка упала на лоб, фюрер нервно подкинул ее. Она упала вновь. “Ева, дорогая, чуть отстранись, так нельзя, он злится”… Ева шепчет: “Не обращай внимания на этого импотента”…

В свои одиннадцать лет я не знал такого слова. Спросил двоюродного брата Бесо, он не ответил. Бесо постоянно игнорировал меня.

Кончилось аргентинское танго. Ту ночь Ева Браун провела в одной постели с советским разведчиком Симоном Чипилией.

Подробности мама не хотела слушать. На словах: “Когда девятый раз я постучался и Ева меня впустила”, – мама встала: “Я не верю ни одному его слову, особенно «я постучался девятый раз», это все выдумки маньяков-импотентов… Идем, Ираклий”.

Сегодня, когда я вспоминаю боржомского тирщика, то вижу, что он своей энергией и эксцентричностью был похож на одного из братьев Маркс. Помните таких комиков немого кино, очень

знаменитых? Их было четверо, может, пятеро. Среди них кучерявый, с глазами навыкат, с сигарой во рту. В ту рейхстагскую ночь, постучавшись одиннадцатый раз (двоюродный брат Бесо нехотя, но объяснил мне, что значит слово “импотенция” и что значит “стучаться одиннадцать раз к Еве Браун, когда она лежит с тобой в одной кровати”), Ева разодрала простыни, сделала из них веревку для побега, открыла окно и отпустила советского разведчика, сопроводив несколькими важнейшими военными тайнами. Чипилия уверял, что на плече Евы Браун на рассвете он увидел лилию, кем-то выжженную, точь-в-точь такую как описал Александр Дюма в книге “Три мушкетера” на плече миледи. Чипилия сполз с третьего этажа Рейхстага и растворился в осеннем берлинском тумане. На Ансбахерштрассе, 54, находился радиопередатчик. Рассказанные Евой Браун важнейшие тайны он тут же передал в Центр. Собственно, они и подтолкнули маршала Жукова принять решение не ждать американцев и англичан, а самим штурмовать Берлин…

Была среда, я зашел в боржомский парк. У источников стояли язвенники, держали фаянсовые кружки и мелкими глотками пили горячий боржоми. Я увидел подполковника Товстуху, он зло посмотрел на меня и продолжил тихую беседу с крупнотелой дамой в малиновом берете. Под моими ногами шуршали листья. У тира были слышны выстрелы. Стояла небольшая толпа желающих пострелять. Кто-то поднял руку и показал на летящих в небе диких уток. Все у тира подняли головы, утки летели и о чем-то радостно крякали. Я подошел к стреляющим. Увидел Чипилию и женщину, которая только что была с подполковником. Она сидела на диване рядом с мишенями, не обращая внимания ни на выстрелы, ни на проносящиеся мимо дробь и кисточки, и как-то разнузданно ругала Чипилию, который сидел рядом с ней и смотрел то на стреляющих, то на жестяных зайцев, слона, фашистские танки и капиталистов в цилиндрах. Когда жестяные фигуры, подстреленные, падали, его глаза чуть навыкат радостно дергались. Женщина говорила: “Симон, знай, ты ноль… Ты пробка… Ты никто… Три дня прошу, вбей гвоздь! Тебе по барабану, я вот подполковника, больного-язвенника, попросила, он тут же принес гвозди, принес лампочку, хотя ее я не просила. Он ввинтил ее в ванной, там теперь светло… Такой Товстуха, милый, подполковник”. Чипилия смотрел на нее, молчал, потом встал с дивана, подошел к стене, где со скрипом двигались жестяные фигуры, вытянул из стены большой гвоздь и принес жене. Та фыркнула: “Зачем? Подполковник сделал все то, что ты должен был сделать”.

В следующую субботу папа и мои двоюродные братья вновь были приглашены на “чипилиевские беседы” под вино, чачу, сациви, хинкали, люля-кебаб. Кто отказывается от застолья, где известно, что платишь не ты и где ешь-пьешь в свое удовольствие, восторгаясь чужими шизофреническими фантазиями?

В этот раз Чипилия, словно забыв, что неделю назад он был разведчиком, выкравшим из Рейхстага важные военные тайны, настолько важные, что, можно сказать, они изменили ход мировой истории, после третьего стакана красного вина стал рассказывать, как выводил из немецкого окружения три тысячи усталых, обессиленных советских солдат и офицеров. В этот раз он был бригадный генерал Симон Чипилия. Остатки его бригады, попавшие в огненный котел в Белоруссии, брели по болотам. Был 1942 год. Фашисты преследовали их. Казалось, вот-вот настигнут. И тут Чипилию осенило. Он увидел озеро, заросшее камышом, дал команду: “Всем залечь на дно озера, держа во рту камышовый стебель, и дышать через него!” Тысячи солдат и офицеров, десятка два медсестер вместе с ранеными на носилках – все ушли на дно. Оглядевшись и увидев, что никого не осталось на берегу, генерал Чипилия срезал камыш, сделал десять шагов по воде, залег, как и был, в шинели. Рядом лежала лейтенант медицинской службы Тамара Валерьевна Стороженко, красивая украинка, которую он давно приметил в медбате, но которая была так строга, целомудренна, так верна своему мужу, директору завода, делающему для фронта танки (все это – задыхаясь от неразделенной любви), – это превратило Чипилию в меджнуна (Чанчур, загляни в русско-персидский словарь, “меджнун” означает “сошедший с ума от любви”). И вот Тамара лежит под водой в шаге от него, дышит через камышовый стебель и словно бы не замечает боевого генерала. Сквозь воду видны вечерние звезды. Какие-то из них падают, как будто кто-то стреляет в них и попадает. Неожиданно появился большой рак, черный. Он подполз к Чипилии, клешней коснулся его щеки. Чипилия услышал автоматную очередь. Из леса вылетели мотоциклисты с горящими фарами. Весь берег озера заполнили немецкие военные. Лаяли огромные собаки. Мотоциклетные фары и фонари в руках фашистов светили в воду, словно заподозрив, что советские солдаты лежат на дне. Рак отполз от Чипилии к лейтенанту медслужбы, клешней коснулся ее щеки. Генералу стало смешно. Немцы топтались у воды. Двое офицеров одновременно выстрелили из пистолетов в воду. Черт! Черт! Одна пуля попала в озерного рака, разорвав его на части, вторая – в щеку Чипилии.

Тирщик показывает на щеке малозаметный след. Мой папа

разглядывает шрам и говорит: “Но рядом красивая Тамара, что она?” Чипилия улыбнулся, продолжил: “Еще бы сантиметр, и пуля могла попасть в висок… Повезло, пуля разорвала лишь кожу, но крови лилось много. Черная кровь струится вверх, Тамара медленно подползает ко мне, ладонью зажимает рану, так мы лежим, разговариваем глазами. На счастье, кто-то из немцев подъехал и сказал остальным, что видел нас у деревни Морозово. Колонна мотоциклов, броневиков, солдат, двинулась в сторону Морозова. Преследующих так много, что мимо озера минут тридцать проходил шумный, злой парад войск. Мы продолжали лежать и мерзнуть, не дай бог, кто-нибудь из фашистов отстал бы или случайно вернулся. Было тихо. От мутной горячей крови, струйками вытекающей из-под ладони Тамары Стороженко, я не видел звезд. Ладонь ее становилась ледяной. Я понял: надо вставать со дна. Три тысячи человек вышли из озера. У нас с лейтенантом медицинской службы начался бурный военно-полевой роман. Начавшись на дне безымянного белорусского озера, он завершился в Берлине. После войны я поехал в Челябинск, там она жила. И случилось то, что описывали многие писатели в романах, даже Чехов. Я увидел ее в челябинском театре, в антракте, ее муж ушел курить, она осталась в кресле. Я сидел в партере, подошел к ней, сказал: “Здравствуйте”. Она взглянула на меня, побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, борясь с обмороком. Мы оба молчали. Я не решался сесть рядом, сел на заднее кресло, за ее спиной. Она, не оборачиваясь, заговорила: “Я так давно страдаю! Я все время думаю только о тебе. Живу мыслями о тебе. Мне хочется забыть… Забыть. Зачем ты приехал? Зачем? Уезжай”. Подошел ее муж, сел рядом. Я глядел на два их затылка. Тамара вдруг сказала мужу: “В школе я играла в спектакле, вспомнила монолог: “Вы должны уехать, не заставляйте меня страдать еще больше… Расстанемся. Мой дорогой, расстанемся!” Тамара засмеялась, оглянулась, кому-то помахала рукой, а сама смотрела на меня, машет и смотрит… Потух свет, поднялся занавес, я встал и вышел из театра. Вернулся в Боржоми.

Папа, а за ним Карл перестали ходить на субботние застолья. “Как-то неловко”, – сказали они. А Мамука и Бесо не очень беспокоились насчет “неловко”. Сложилась постоянная компания чипилиевских слушателей: боржомские, завсегдатаи турбазы отлично справлялись со своими ролями статистов. В их ряды влились два моих двоюродных брата. Они приходили к субботнему застолью с девушками с туристических маршрутов. Одна, молоденькая челябинская врач-рентгенолог, сказала, что знает Тамару Валерьевну Стороженко, которая во время войны

была лейтенантом медслужбы. С рентгенологом гулял Мамука. Он поведал нам, что рентгенолог ему призналась: “Мамука, я знаю Тамару Валерьевну близко, знаю, что у нее действительно был роман с генералом. Я видела его фотографию и помню глаза чуть навыкат”.

“Вот тебе раз, – удивился папа. – Может… Да нет, ну какой танец с Евой Браун в Рейхстаге! В присутствии Адольфа Гитлера! Будем реалистами”.

Мама лечила двенадцатиперстную кишку, ходила к доктору Муртазу Мухтарову, делала у него “фейергейзер”, папа работал на мясокомбинате, двоюродные братья строили санаторий имени XIX съезда партии, у всех было много своих дел. Да, забыл сказать, что меня назначили вожатым пионеротряда, и еще я состоял в ААО, что означало Антиамериканское общество, оно было тайным, у нас были членские билеты. Но никто из нас не знал, что мы должны делать антиамериканского. Мы жили в ногу со временем. А Симон Чипилия, полоумный тирщик, жил прошлой войной.

По воскресеньем в нашем доме смаковали истории, рассказанные вчера Чипилией. В прошлую субботу он вспомнил: “Второго мая 1945 года мне позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сказал: “К вечеру твой самолет должен быть готов к взлету! Хозяин хочет посмотреть на горящий Берлин! Я напрягся”. Чипилия осмотрел сидящих за столом, потом заметил Платона, показал ему на свободный стул, Платон подошел, но не сел. Чипилия повторил: “Я напрягся. Берлин вот-вот должен пасть. Наши солдаты уже в самом Берлине. Воюют за каждый дом. Добивают Гитлера. Но раненый зверь – опасный зверь. Зачем смотреть на Берлин с воздуха? Вдруг фашисты увидят и вычислят, что это личный самолет Сталина? Что тогда? Страшно представить! Вся фашистская противовоздушная артиллерия начнет нас уничтожать. Хоть я и являюсь одним из лучших советских асов, недаром Иосиф Виссарионович выбрал меня из сотен других в личные летчики, но ответственность же! И что это взбрело вождю в голову посмотреть ночью на горящий Берлин!

Час ушел на подготовку самолета. Все идеально. Смотрю, едет по летному полю машина его охраны. Выскакивают. Выстраиваются. Каждый два метра ростом. Помню, на Ялтинской конференции Уинстон Черчилль загляделся на советских витязей, одному даже королевский орден прикрепил на грудь. Наконец, сходит сам. Вижу, с ним дюжина маршалов, генералов, тут и Буденный Семен Михайлович, Рокоссовский – точно дюжина, я по головам пересчитал. Надо же – экскурсия! Неужели никто из них не имеет трезвую голову? Эйфория победителей! Только вот

Жукова не видно. Тот делом занят, его “катюши” стреляют прямой наводкой по Рейхстагу. Расселись. Взлетаем! Сталин сидит рядом с моим креслом. Остальные сзади, шушукаются. Иосиф Виссарионович говорит со мной по-грузински, все затихли, вслушиваются – о чем мы? Смешно. А мы обсуждаем Тамилу Плиеву, бортпроводницу, официантку – не знаю, как ее назвать, – она только что пронесла поднос с шампанским. Иосиф Виссарионович знает, что я к ней неравнодушен. Высокая, пышнотелая осетинка, волосы курчавые, как у меня. Сталин смеется: “Сознайтесь, вы брат и сестра?” О боже! Какие брат и сестра! Я спать не могу, ворочаюсь, Тамила Плиева, шепчу. Знаю, Рокоссовский – маршал, красавец и она сохнет по нему. А он, черт бы его побрал, здесь, за моей спиной, прикидывается тихоней. Зачем дуэли запрещены? Я бы вызвал Рокоссовского, открыл бы ящик с дуэльными пистолетами: “Выбирай, маршал! Давай стреляться! Хочешь, с расстояния десяти шагов? Хочешь, с расстояния двадцати шагов? Как хочешь. Но разрешим этот вопрос! Убьешь меня – она твоя, убью тебя – она моя”. Мы разговариваем с Иосифом Виссарионовичем, он спрашивает: “Почему у тебя уши красные?” Я же не могу ему ответить, чувствую, что Тамила подошла к маршалу Рокоссовскому, наклонилась над ним, он что-то шепчет ей и смотрит в разрез моей осетинки. “Какой разрез?” – не понял Сталин. А я не понял, откуда он знает, о чем я только что думал. А-а, я думал вслух. “Какой разрез?” – повторяет вождь. Я вижу внизу огни, взрывы, следы трассирующих пуль. “Берлин”, – сообщаю. Отделался от объяснения, что у Тамилы Плиевой глубокий разрез на платье и ее груди, как узбекские дыни, готовы вывалиться, и все это специально для маршала, которого я хочу пристрелить на дуэли”…

Мой двоюродный брат Бесо, студент-медик, спрашивает: “Сколько лет вы летали со Сталиным?” Чипилия прервал свой рассказ, молча выпил стакан вина, ввернул в сациви лаваш и ответил: “Симон Чипилия четыре года был личным летчиком генералиссимуса Сталина”.

Ночной Берлин в огне. “Где там Рейхстаг?” – интересуется Сталин. Маршалы прильнули в окнам. Чипилия всматривается в огненные взрывы, показывает на здание Рейхстага. “Там Адольф Гитлер? Симон, чуть пониже, сделаем круг!” – “Опасно, Иосиф Виссарионович!”

И в этот момент что-то взорвалось. Артиллерийский снаряд попадает в левое крыло самолета, крыло отваливается, словно оно из фанеры. Вспыхнули фашистские прожекторы, самолет стало крутить.

Симон Чипилия пытается что-то сделать, но самолет падает. Маршалы и генералы не скрывают своей растерянности, кто-то кричит. Чипилия посмотрел на Сталина, тот бледен, сжал губы, шепчет: “Симон, брат, придумай что-нибудь. Упасть на Рейхстаг и так кончить жизнь очень не хочется”.

Самолет несется к земле. И тут Чипилия делает следующее. Вот его рассказ: “Я что есть силы ударил кулаком в левое окно, разбил его и просунул наружу руку, вытянул ее… Рука как крыло! Чувствую, самолету понравилась моя идея. Я растопырил пальцы, вижу – самолет летит уже не к Рейхстагу, а над берлинскими крышами, летит, а не падает. Я тяну на себя штурвал, самолет тяжело, но поднимается. Смотрю на Сталина. Он тоже почувствовал, что мы не попадем на ужин к Адольфу Гитлеру. Трассирующие пули то справа разрываются, ослепляя меня, то слева. Маршалы и генералы вжались в кресла, молчат. Хочу оглянуться, посмотреть, что делает красавчик Рокоссовский и что в эти минуты делает моя… нет, не моя Тамила.

Мы сбежали от фашистской артиллерии. Поднимаемся вверх, в холодное майское ночное небо. Рука ноет, ей очень нехорошо. Вся кровь оттекла. Мы летим. И вдруг Тамила падает мне на колени, вытягивает обе свои длинные руки в холодную темноту, кричит: “Убери свою! Отморозишь!” – “Нет, Тамила!” Она силой втянула мою руку. Мы летим. Садимся на военный аэродром. Тамила держала свои ледяные руки, пока шасси нашего самолета не ударились об бетон.

“Он безумный!” – сказал Мамука. “Он мне надоел!” – сказал Бесо. Но они все же пошли в следующую субботу в стекляшку “У Платона”. Пошел и мой папа, и двоюродный брат Карл. Мама возмущалась: “Что вас так тянет туда? Бесплатное угощение? Вы такие же жалкие нахлебники, как и эти типы с турбазы”.

Они вернулись в три ночи. Говорили о каком-то тигре, который до войны бродил по ночному Тбилиси. И этого тигра убил Симон Чипилия. “Откуда тигр в Тбилиси? Сбежал из зоопарка?” – спросила мама. “Нет, забрел из Индии. Такое бывает, редко, но бывает”. Мама с папой шептались в постели. “Представляешь, вышел из джунглей и побрел через всю Индию, Пакистан, Афганистан, Иран, до Грузии. Брел бы дальше, но Кавказские горы его остановили”. Мама спросила: “И зачем? В Индии так хорошо!”

Я тоже ничего не понял про тигра, бредущего по планете. Папа сказал, что тигр три дня прятался в тбилисских подвалах, ночью ходил по улицам, даже забрел в летний кинотеатр Дома офицеров, там началась паника, потом он прыгнул в Куру, забрался на паром и отгрыз паромщику ягодицу. Вновь вернулся в

город. По улице Дзеладзе ехал последний трамвай, тигр запрыгнул в него и, к ужасу сонных пассажиров, пошел по вагону. Тут начался Хичкок. Папа смаковал, рисуя жуткие картинки. “А что Чипилия?” – спросила мама. Я не услышал ответа. Папа встал, он перепил и искал аспирин. Потом ему захотелось кислого, он вышел во двор и камнями начал сбивать с дерева айву. Мама спустилась за ним. Они долго не появлялись, я заснул. За стеной храпел Мамука.

Он стал инициатором шутки, которую две недели спустя разыграли с Чипилией. У тирщика был день рождения. В стекляшке Платона за расстроенное пианино сел Мамука. Бесо в женском платье, на каблуках, с накрученными волосами изображал Еву Браун, а Карл, вытаращивая глаза, изображал разведчика Чипилию. При этом все они исполняли куплеты, воспевая подвиги Великого Воина. Они готовились к этому театральному действу. Ева Браун—Бесо пела, танцуя в объятиях Чипилии-Карла: “Прижми меня к себе, мой воин, покажем… одиннадцать раз покажем Адольфу Гитлеру, что такое грузинский любовник!” Появился Гитлер, завсегдатай турбазы Гоглико Баркалая, работник местной сберкассы, очень похожий на застрелившегося пять лет назад фюрера. Он тянул за руку Еву Браун, та пела: “Адольф, спаси меня от этого кавказского орангутанга”, – и тут же молила советского разведчика: “Чипилия, спаси меня от этого импотента”. Звучало аргентинское танго, троица танцевала, подкидывая вверх ноги, как в канкане. Зрители смеялись. Потом летчик Чипилия, маршалы и Сталин кружили над Берлином, разглядывали Рейхстаг, а Гитлер стрелял из пистолета, целясь в самолет Сталина. Вот он попал, и Чипилия, разбив стекло, вытянул руку, а осетинка Тамила села ему на колени, и они в три руки не дали самолету упасть. Смеялись все, только не Чипилия.

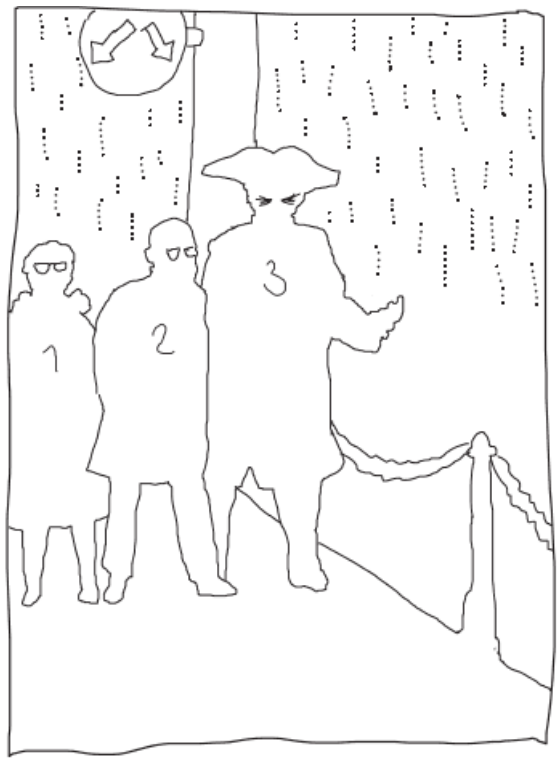
Были картинки и из других, не рассказанных мною подвигов Чипилии. Расстроенное пианино играло то танго, то вальс, актеры пели, танцевали, но, начав с безобидной шутки, они как бы перегнули палку, стали откровенно шаржировать, издеваться над образом Великого Воина, который то испускал из штанов протяжный пук, то не мог удовлетворить лейтенанта медслужбы, лежа на дне озера. Но зритель радостно смеялся, актеры, вдохновленные их смехом, стали все превращать в бедлам. Никто не заметил, как ушел Чипилия.

Воскресным утром жена нашла его в постели мертвым. Он накрыл голову подушкой и выстрелил в себя из пистолета, подаренного ему маршалом авиации Германом Герингом.

Я не буду комментировать это событие. Тогда мне было

одиннадцать лет. Наша семья уехала из Боржоми, долго жила в Батуми, потом переехала в Тбилиси. Мы поселились в центре, около Ереванской площади, которая была переименована в площадь Лаврентия Павловича Берии, потом в площадь Победы, потом в площадь Республики. Рядом с нами в начале проспекта Руставели был этнографический музей. Как-то я зашел в него. На третьем этаже находилась экспозиция “Тигр-бродяга в Грузии”. Небольшая комната, где одна стена стеклянная. В комнате камышовые заросли, среди них стоит чучело полосатого тигра, открывшего пасть. Он красными кровавыми глазами смотрит на посетителей. Иногда включается магнитофонная запись и слышится тигриный рев. На стене табличка: тигр совершил путь через Индию, Пакистан, Афганистан, Иран – попал в Грузию, у озера Лиси, в камышах его застрелили. На доске фотография, старая, выцветшая: лежит тигр на берегу озера, охотник поставил ногу на его полосатую тушу. В левой руке ружье. У охотника курчавая голова, глаза – чуть навыкат. Указано имя – Симон Чипилия.

Фотография 39. 2014 год



Фотография 39. 2014 год.

На Невском проспекте стоим Агнешка Холланд (1), я (2) и Петр первый (3) – статист, зарабатывающий тем, что похож на Петра ростом, усами и шляпой.

Год назад Агнешка Холланд, польский кинорежиссер, снявшая много интересных фильмов, созналась мне, что влюблена в свою соотечественницу Марту Скавронскую. Мне мало что говорила фамилия Скавронская. Я подумал, может, Агнешка имеет в виду Марию Склодовскую, великого физика, открывшего эффект рентгена. В школе на уроках о ней говорила

Берта Михайловна, физичка, но мы, бездари, смотрели на бюст Большой Берты и воображали каждый свою картинку, где не было места ни рентгеновским лучам, ни опытам с бертолетовой солью…

Агнешка Холланд просветила меня, пояснив, что Марта Скавронская была женой императора Петра Алексеевича Романова (Петра I). Что история ее жизни похожа на историю Золушки без хрустального башмачка, которая начинала свой путь к трону веселой солдатской потаскушкой. Марта Скавронская умела влюблять в себя солдат, капитанов, майоров, генералов, маршалов. Князь Александр Данилович Меншиков три месяца прятал Марту в своем загородном дворце от императора, тот случайно обнаружил ее, отобрал у Меншикова и сделал своей женой, императрицей Екатериной I.

Мир хорошо знает Екатерину II, но наш рассказ о ее тезке, первой женщине, взошедшей на российский престол.

По просьбе Агнешки я стал собирать материалы о жизни этой необыкновенной женщины, ставшей многолетней спутницей Петра, без которой он не мог жить ни дня. Она сопровождала его во всех боевых походах, спала в окопах в обнимку, согревая его своим пышным горячим телом. А в неудачном Прутском походе, когда армия попала в окружение и пришлось ловить и жарить полевых мышей, смеясь, мечтала о клюквенном варенье: “Мышки вкуснее были бы…” Надо сказать, что при этом она не являлась наивной глупенькой блондинкой и обладала взрывным характером. Невероятно любя Петра, она закатывала скандалы в ответ на скандалы императора. Но чаще, когда император превращался в тигра, а такое бывало, когда он рвал и метал, когда все бежали от него без оглядки, она входила в клетку с тигром без страха… Царедворцы находили императора спящим на коленях жены то в тронном зале, то на кухне среди выкипавших котлов, то в коридоре за диваном или на полу среди осколков разбитого зеркала…

Они не могли жить мирно, но и не могли расстаться. Сотворили восемь детей, в живых остались две девочки. После смерти Петра на трон Российской империи взошла бывшая Марта Скавронская – Екатерина I. Царствовала чуть больше двух лет. Царствовала очень неумело, пила… Рвалась скорее соединиться со сбежавшим от нее любимым Петрушей.

Часть первая

На маленькой площади провинциального польского городка стоит чугунный памятник русской императрице Екатерине I. Говорят, она родилась и провела детство в одной из здешних деревушек со смешным эротичным названием Заячья Дырка.

Гравюры, портреты с изображением Екатерины: она на балах, на военных парадах, сидящая на коне, на троне. В первом издании о Екатерине, вышедшем в 1740 году под авторством некого Филимона Одинцова и названного “Невероятные приключения императрицы Екатерины I”, сказано, что детство и юность императрицы прошли вдалеке от дворцов и тронов…

Неширокая, но глубокая река Суя. По реке плывут баржи, груженные углем, песком, картофелем. Летит густое облако пыли. С ним летят вороны, громко каркают. Пыль и вороны настигают идущих по тропе троих: осла, мужчину и женщину. С борта баржи матрос-балбес дразнит молодую женщину, переваливающуюся с ноги на ногу под тяжестью невероятно раздутого живота. С неба на лоб мужчины упала воронья жижа, которая потекла со лба мужчины на глаза, небритую щеку. Молодая женщина рассмеялась: “Сигизмунд, горячо? – И тут же закричала истошно, словно увидела сто чертей: – Ай! Ай! А-а-а!”

Мужчина поспешно отер с лица воронью жижу, подбежал к женщине: “Эльза, может, дотерпишь?” Женщина держит обеими руками живот, дергается, кричит: “Уже идет! Уже идет!”

Она неуклюже спускается по крутому склону, глухо стонет. Добралась до камышей и колючих кустов, вползла в них. Оставшись на тропе, мужчина растерянно топчется, садится на землю. И начинает молиться. Поднимает голову, смотрит на стаю ворон, кружащихся над рекой. Неожиданно сверху упала еще воронья жижа. Мужчина опешил. Потом он будет говорить: “Когда родилась Марта, меня дважды обосрала ворона”. И действительно, жижа стекла со лба и залила второй глаз. В это время снизу, из зарослей камыша, раздается детский крик.

Мужчина слушает, улыбается. Складывает руки рупором и кричит: “Кто?” – “Девочка!”

Это произошло 5 апреля 1684 года. Родилась Марта Скавронская, будущая императрица Российской империи.

О молодости Екатерины I сведения очень скудны. В основном это исторические анекдоты. Упомянутый автор Филимон Одинцов уверяет, что Екатерина сама рассказывала ему о своей авантюрной молодости. Отец Филимона, знаменитый генерал Савва Осипович Одинцов, будучи в опале и живя в провинции где-

то за Уралом, послал двадцатипятилетнего отпрыска, знатока иностранных языков и каллиграфии, в Петербург. Юноша получил должность библиотекаря при императорском дворе и вскоре был приставлен к Екатерине первым писарем. Все, что она говорила, он записывал… Каллиграфия и скоропись ему очень пригодились.

1726 год. По мраморным ступеням лестницы медленно поднимается сорокадвухлетняя, красивая лицом, но изрядно располневшая императрица Екатерина I. Императрица носит траур по скончавшемуся год назад мужу, императору Петру Великому. На ней широкое платье черного бархата. В волосах черные сапфиры и жемчуга. На руках браслеты с бриллиантами. Императрица курит голландскую сигару, стряхивает пепел. Пышные груди медленно колышутся в такт ее шагов. Она останавливается, смотрит на молодого Филимона Одинцова, который, как обычно, рядом с ней: “Ходить стало тяжело! Особенно подниматься…” – “Ваше величество, я могу вас поддержать…” – “Спасибо, Филимон, спасибо, мальчик. Сотня других людей для этого есть. Но я пока как-то сама, сама…”

Императрица втянула табачный дым. Округлила щеки и выдула кольцо дыма, которое поплыло по воздуху.

Императрица и библиотекарь смотрят на медленный полет плотного дымного кольца. В аллеях парка скрыты десятки человеческих фигур: фрейлины, камердинеры, кое-кто из вельмож. Они знают: когда императрица гуляет по парку и диктует свои воспоминания, подходить к ней нельзя. Диктует Екатерина постоянно: сидя в ванной, в карете, выпивая свое любимое венгерское вино в изрядном количестве…

В этот раз на мраморной лестнице летнего дворца, выдув очередное дымное кольцо, Екатерина сказала: “У меня было восемь детей, все от Петра… Знай, Филимон, от Петра, каких бы ты сплетен ни услышал… В живых остались Анна и Лиза… Я их люблю, очень люблю! Но наследника трона, которого так ждал Петр, не было! Был мальчик Шишечка… Он был бы императором… Но его убила шаровая молния…”

Екатерина вновь выдула сигарное кольцо.

“Трон должен был быть его. Я стала императрицей случайно…”

Подбежала большая лохматая собака, встала около императрицы, подняла морду. Императрица наклонилась к собаке: “Помнишь маленького Шишечку? Помнишь? Шесть лет прошло… Должна помнить…” Собака лязгнула зубами, ткнулась мордой в подол императрицы. Та положила руку ей на лохматый лоб, потрепала.

Выпрямилась и сказала странную фразу: “Потом я узнала, что Шишечка не умер”.

Филимон удивился, рука с пером застыла: “Как?”

Императрица молчит, словно следит за слезой, которая скатывается со щеки к пухлым губам. “Как-то ночью Петр мне сознался, что Шишечка не умер… Его похитили!” – “Мне это писать?” – “Нет, Филимон, нет! А потом Петр вновь стал уверять меня, что Шишечка мертв. Что шаровая молния сделала свое черное дело. Но я знаю – Шишечка где-то есть…” – “Если Шишечка живой, какой-то след, слух, какая-то весточка до вас…” – “Филимон, прошло шесть лет… Я сделала все… Но увы… И все же сердце…”

Затянувшись и выдув еще одно кольцо дыма, Екатерина вдруг теряет сознание (с ней это в последнее время случается часто) и валится на Филимона. Тот не может ее удержать – императрица катится по ступенькам вниз. Подбегают фрейлины, камердинеры, слуги, доктор Арий Колесин…

От последствий обморока Екатерина оправилась быстро, но доктор велел ей не вставать.

Она лежит посреди огромной дубовой кровати, на шелковых перинах, атласных подушках с гербами. С потолка на длинных веревках свисает большая, в человеческий рост, восковая фигура императора Петра Великого. Множество боевых орденов на его груди тихо позвякивают. Многими из этих орденов Петр наградил Екатерину. Она их надевает в торжественных случаях. Под левым глазом Екатерины расцвел синяк. Фрейлина Авивия Данилова прикладывает к нему пузырь со льдом. Доктор Колесин размешивает в хрустальном стакане маковый настой, подносит его к губам императрицы. Она пьет, морщится, говорит: “Для здоровья нет ничего лучшего, чем красное венгерское. Авивия, принеси…”

Доктор Колесин усмехается: “От него вы и падаете, ваше величество”.

Императрица не отвечает доктору. Возвращается Авивия с бокалом. Императрица выпивает при полном молчании окруживших ее постель. От вина она краснеет, тусклый глаз оживает. Екатерина поднимает голову к потолку, смотрит на воскового Петра. Губы императора улыбаются ей загадочной улыбкой. Екатерина поворачивается к Авивии: “Пуговица висит на нитке – может потеряться…”

Все смотрят вверх, видят на мундире Петра повисшую пуговицу. Екатерина говорит каллиграфу: “Филимон, мальчик, может, встанешь на стул и дотянешься?” Филимон ставит на подоконник свой письменный переносной ящик, подносит стул к

кровати императрицы, взбирается на него. Но до Петра не дотягивается. Императрица смотрит на Филимона, на его затянутые в зеленый бархат сильные мускулистые ноги, жестом просит фрейлину наклониться. Шепчет: “Авивия, ты видишь, какой роскошный инструмент у нашего мальчика-каллиграфа?” Авивия краснеет. Шепотом отвечает: “Сейчас многие носят гульфики, ваше величество. Новинка европейской моды… Даже светлейший князь Ижорский Александр Данилович Меншиков…” – “Гульфики?” – “Гнезда из конского волоса меж мужских ног. В них кладут… этот… инструмент. Оттого так выпирает”.

Императрица громко спрашивает каллиграфа: “Ты носишь гульфик, Филимон?” Филимон краснеет: “Нет, ваше величество!”

Екатерина вновь шепотом: “Авивия, я вижу мужчин сквозь штаны… С точностью до миллиграмма могу взвесить, с точностью до сантиметра определить размер, – улыбается. – Могла…”

В окна спальни барабанят капли дождя. Мгновенно темнеет от низкой грозовой тучи. Неожиданно разбилось стекло. Ледяные камешки запрыгали на фигурном паркете. Доктор крикнул: “Это град!” Екатерина скинула с кровати ноги и босиком пошла к окну. Доктор вновь закричал: “Вы босиком, ваше величество, на полу осколки стекла!” Екатерина обернулась: “Арий, ты мне надоел! Всю жизнь я до этой идиотской короны ходила босиком по стеклу, по ржавым гвоздям, по говну…”

Императрица выходит на балкон. Там, под градинами, которые бьют ее по плечам, спине, голове, она стоит довольная, улыбается. Вдруг она кричит: “Рыба упала с неба!” Филимон, Авивия, доктор Колесин выбежали на балкон. На мраморных плитах трепыхается, бьет хвостом и плавниками серебристая, с ладонь величиной рыба.

В темном парке слышны крики: “С неба рыбы падают!”

Доктор забегает в спальню, выносит большой черный зонт и туфли императрицы. Туфли она не надела, но под зонт встала. Спрашивает: “Рыба ведь не летает? А, Колесин?” Доктор говорит, как всегда быстро-быстро: “Редко, но бывали случаи, когда с неба падали рыбы. Англичане объясняют эту странность тем, что смерч, который в океане втягивает вверх к небу воду, втягивает и рыб. Гонит их на сотни километров… Потом смерч слабеет. Рыба падает… Иногда падает не в воду, а на сушу. Англия остров, поэтому там рыбные дожди не такая уж редкость…”

Императрица выходит из-под зонта, ступая босыми ногами по градинам и рыбам: “Много всего за сегодняшний день… Хочу побыть одна…” У дверей балкона она останавливается. Смотрит на Филимона Одинцова: “Я стала многое забывать… Филимон, я говорила тебе о шаровой молнии?” – “Да, ваше величество. Вы

говорили о Шишечке, о шаровой молнии… и что молния не убила мальчика, кто-то похитил…” – “Все это Петровы сны, выдумки. Кто мог похитить? Оглянись – под каждым кустом охрана, за оградой дворца гвардейцы…”

Филимон Одинцов удивленно смотрит на императрицу. Полчаса назад она так убедительно рассказывала, что где-то есть мальчик, который не знает, что является наследником русского престола… А теперь все отрицает.

“Уходи”. Филимон, поклонившись императрице, удалился. Она, чуть помедлив, позвала его: “Филимон, мальчик, подойди…” Одинцов подбежал.

“Тебе говорили, что я больна, что сошла с ума? Что с головой не все в порядке?” – “Нет, ваше величество, нет…” – “Тебе интересно, что я рассказываю?” – “Да, ваше величество”.

Часть вторая

В небе кружат вороны. Они каркают, хлопают крыльями, доставляя себе удовольствие и раздражая пассажиров кареты, которая быстро едет по бездорожью. Колеса мнут траву, цветы.

Рядом на коне скачет всадник. Это российский император Петр I. Петр кричит, глядя в сторону кареты: “Жижин, кидай яблоко!”

Возница привстает, кидает яблоко. Всадник на скаку ловит его, вытирает о сукно мундира и с хрустом надкусывает.

Солнце, долгая дорога сморили пассажиров, сидящих в карете.

Молодая женщина с белым напудренным лицом ест шоколад и шепчет своей соседке. Слов ее не слышно из-за топота лошадиных копыт и карканья ворон. Только несколько слов на немецком: “Зачем надо было нас так долго везти?”

Видна сосновая роща и дом с белыми балконами. Это загородное имение Александра Даниловича Меншикова. Раннее утро.

Хозяева безмятежно спят, если не считать нескольких солдат и офицеров. Узнав в приближающемся всаднике своего императора, они растерянно шепчут: “Его величество, его величество…”

Карета встала посреди двора, а Петр, не останавливая коня, погнал его к открытым настежь дверям дома. Пригнувшись, он въезжает внутрь.

Слуги, дворовые, дети, собаки с изумлением смотрят, как между кресел, столов, стульев, кадок с пальмами гарцует здоровенный конь со всадником. Петр, задевая головой хрустальные люстры, кричит прислуге зычным голосом: “Где ваш сраный хозяин?!”

Толпа смотрит на императора изумленными глазами.

Услышав голос Петра, лежащая на подушке голова Меншикова дернулась, словно ее пронзило током. Меншиков вскочил, голый, побежал к шкафу. Спящая рядом с Меншиковым Марта Скавронская открыла глаза, увидела спину и ягодицы петровского фаворита, который выбрасывал из гардероба десятки штанов, камзолов, рубашек и шептал: “Что надеть? Что надеть?”

Марта приподнялась над подушками: “А что случилось?” – “Он приехал… Не предупредив… Ужас!” – “Кто?” – “Молчи, тебя нет… Он не должен тебя видеть… Ты невидимка. Вставай, я запру тебя в гардеробе. Вставай и молчи…”

Слышен громкий цокот копыт по паркету. Грохот

раскрывшихся дверей спальни. Лежащая Марта видит огромную фигуру кентавра, человека-коня.

Петр рассматривает Марту, догрызая яблоко. Меншиков выходит из гардероба. Смешно подскакивая, он вдевает ногу в бархатные панталоны. Говорит: “Не желаете сойти с коня, ваше величество?” – “Знаешь, почему я не слезаю с коня?” – “Нет, ваше величество… Но у вас все права…” – “Помнишь, когда я уезжал от тебя в прошлый раз, сказал, нога моя больше никогда не ступит в твой развратный дом?” – “Ты, майн херц, человек слова… Но мой дом уже не развратный… Я разогнал всех б…й, как обещал”. – “А это кто?” Петр показал огрызком яблока на лежащую в постели Марту. Меншиков оглядывается на постель, какое-то время молчит, потом подходит к лежащей, словно видит ее в первый раз. Спрашивает у Марты наивно, по-детски: “Ты кто?”

Марта приподнимается над подушками, вытянув из-под одеяла две большие груди, как две дыни, отвечает, глядя на Петра: “Я остаток разогнанных б…й. А вы кто?”

Теперь молчит Петр, не находя ловкого ответа. Меншиков растерянно, прищурив глаз, говорит: “Это…” Петр перебивает: “Капитан бомбардирной роты флигель-адъютант Петр Алексеев хочет оказаться в вашей постели, мадам, но не знает, что делать с конем!”

В окне видно, как во дворе из кареты выходят пассажиры: две напудренные дамы в дорожных европейских нарядах, военный восточный человек с охапкой цветов, которые он несет за дамами.

Меншиков справляется со штанами, вдевает руки в шелковую рубашку, Петр продолжает диалог с лежащей в постели девицей: “А может, мне вместе с конем к вам в постель?” – “Нет!” Марта резко откидывает одеяло и, не стыдясь своей наготы, вскакивает, хватает коня и с силой тянет. Конь подчиняется, идет. Петр хочет остановить его, но ярость, с которой Марта гонит коня и всадника к дверям спальни, оказывается сильнее.

Выдворив их, она захлопывает дверь. Запирает на ключ. Злая, с потным лицом, возвращается к постели: “Наглый флигель-адъютант…” – “Ты что, рехнулась?! Это же Петр! Император!” – “Знаю”. Она падает в постель, тянется упругим телом, кости хрустят. Меншиков продолжает нервно, испуганно хихикать: “Ты меня загнала в ловушку… Я теперь как кролик…” – “Если отдашь меня этому хаму, кролик, я тебя разорву на части, знай!”

Вечер. Петр сидит на диване, длинные ноги подогнул под себя подобно турецкому султану. Он обжился в доме Меншикова, как и его конь, который привязан к спинке дивана и ест яблоки из фаянсового ведра. К дивану пододвинут длинный стол, за ним восседают несколько голландцев – друзей Петра. Среди них

красивая напудренная женщина, которую все зовут Альбертина – Саадамская принцесса. Общество веселится. Петр требует, чтобы пили все, особенно напирает на принцессу Альбертину. “Принцесса, ваш дядя Фридрих Август велел мне научить вас пить по-русски…” Та жеманничает, выражает свое недовольство: “У нас в Голландии вино пьют один бокал в течение вечера… А вы уже семь влили в себя и столько же еще вольете… Русские желудки – это что-то особенное?”

Петр смотрит на Альбертину, на лице ее так много пудры, что желтое жабо смотрится серым. “Принцесса, я тщательно изучал анатомию… Русский желудок, действительно, что-то особое. Могу нарисовать вам его в разрезе… В нем есть некий поплавок… Заливаешь вино, а поплавок…”

Принцесса улыбается. “Вы меня дурачите, ваше величество?” – “Да, Альбертина…” – “Я пожалуюсь дяде!” – “Фридрих Август велел мне дурачить вас в день три раза. А лучше четыре…” Альбертина, возмущенная, округляет глаза, становится похожа на сову, ее подруга и компаньонка Сесилия шепчет ей что-то по-немецки. Петр продолжает: “Я обязан выполнять желания дяди моей невесты”. При этих словах у Петра дергается рука, он проливает вино на платье принцессы. Альбертина резко встает со стула, говорит Сесилии громко по-немецки: “Варварская страна. Варварские нравы”. Смотрит на красные от вина кружева платья: “И чего я сюда притащилась?!”

Извинившись за испорченные кружева, Петр смотрит на Меншикова и тихо спрашивает: “А где остаток разогнанных б… й?” – “На кухне”. – “Пусть поднимется”.

Меншиков подзывает слугу Гаврилу Ермилова и шепчет: “Скажи Марте, вина пусть принесет”. Гаврила Ермилов идет на кухню. Меншиков кричит ему вдогонку: “Сама, сама принесет, так и скажи, я велел”.

На огромной кухонной плите стоят котлы. Над ними пар. На сковородах жарятся всевозможные деликатесы. Рыба, крабы, раки, только что выловленные в окрестных озерах, живые трепыхаются в корзинах. Раскрасневшиеся от жара кухонные девки, повара, виночерпии, посудомойки, кондитеры делают свое дело, шумно, проворно, со смехом. Все жаждут заслужить одобрение Александра Даниловича Меншикова, который иногда спускается и выпивает с ними стакан вина. Марта Скавронская берет из рук Гаврилы Ермилова полный кувшин, но подниматься к пирующим ей не хочется, несмотря на требование Меншикова.

Она видит рыбу, вмерзшую в большущий квадрат льда. Ей кажется, что рыба мигает глазом. Марта зовет Соню Якшимову, свою товарку, толстенную бурятку. Девушки подносят свечку,

разглядывают рыбу сквозь прозрачный лед. Марта шепчет: “Мигает глазом, что-то говорит?” – “Говорит, кувыркаться тебе, Марта, сегодня в постели с царем-батюшкой”. Марта возмущенно шепчет: “Нет!” – “Дура ты, Марта!”

Все кухонные люди собрались, разглядывают чудо: рыба во льду смотрит на них, медленно открывая и закрывая глаза.

В дверях появляется странная фигура: Петр сидит на плечах Меншикова. Оба пьяны, оба смеются. Кухонный люд не знает, как себя вести. Вроде смешно, но все же каково Александру Даниловичу таскать на себе двухметрового царя? Сделав круг по кухне, Петр и Меншиков, проходя мимо Марты, останавливаются.

“Проиграл на бильярде… Обязан его на себе возить… Они, видишь ли, поклялись не ходить по моему полу, а летать еще не научились!” Марта смотрит на Петра, говорит: “Могу вас отыграть, Александр Данилович…” Император потянул Меншикова за ухо: “Не понял. Объясни”. – “Сыграешь с ней на бильярде – поймешь”. Сам же себя иронично поправил: “Поймете, ваше величество!” Император Петр смотрит на Марту с того же ракурса, что и утром в спальне. Мартины матовые груди в широком разрезе платья привлекают внимание всех: солдат, фельдмаршалов, князей, императоров…

Под развесистый дуб, листья которого шумят и в безветренную погоду, вынесен бильярдный стол. Вокруг него ходит Петр. У Петра в руках бесполезный кий, так как Марта Скавронская вбивает в лузы шар за шаром… Играть она научилась в доме пастора Глюка, который взял ее на воспитание у пьяных родителей, а отточила талант в доме маршала Шереметева, который приметил ее среди пленных шведской кампании… Вокруг стола собрались гости Петра. Слуги Меншикова держат каретные фонари и так освещают зеленое бильярдное сукно. За их спинами в темноте двора громко квакают лягушки, поют ночные птицы, вдалеке глухо ухает филин.

Бильярдные шары под ударами Марты Скавронской носятся по зеленому полю один за другим, с шумом влетают в лузы. Наконец Марта промахивается. Петр тщательно прицеливается, но пущенный им шар затрепыхался у бортика. Петр вопит, прося его упасть, но шар, не услышав императора, откатывается. Петр смачно ругается. Принцесса Альбертина шепчет своей компаньонке Сесилии фон Хольберг: “Ночью сказала ему, пойди, прополощи горло, от тебя разит чесноком и луком! Он и ухом не повел, налез на меня… До утра… Ни сна, ни удовольствия…” – “Но это же чудесно! До утра?!” Альбертина пожала плечами.

У Петра вновь появляется шанс забить шар. Видно, что он не привык проигрывать. Марта ждет, стоя рядом с принцессой,

слышит и понимает, что та шепчет на немецком. “Курит мерзкую махорку, пьет со всякой швалью! Вчера у какого-то солдата сына крестил. Я сидела среди настоящих убийц, видела бы ты эти рожи… А ему они милы… Ужас! Сейчас играет с этой посудомойкой и думает только о ее толстом заде…”

По двору бежит большущая белая свинья, за ней девочка из прислуги с прутом, пытается отогнать свинью от бильярдного стола, где играют господа. Принцесса хмыкает: “Спать с русским императором – что спать с этим хряком!”

Петр загоняет шар в лузу. Довольный, кричит в полный голос. Выбирает шар для следующего удара. Марта напряженно вслушивается в шепот принцессы, которая и не подозревает, что кто-то понимает немецкий язык.

В туманном поле движется странная процессия. Три мужские фигуры несут кровать. На кровати принцессы спит Альбертина. Лицо ее освещено тусклым лунным светом. Рядом идет Марта Скавронская. Это ее идея – ночью поменять спальню принцессы.

Темными пятнами проглядывают в белом тумане постройки меншиковского имения. Квакают лягушки. Перейдя поле, процессия приближается к деревянному сараю. Марта бесшумно открывает ворота. Вносят кровать. В сарае кто-то есть: слышно сопение, шевелятся тени… Принцесса Альбертина спит. Закрывают ворота. Мужчины и Марта теряются в молоке сырого тумана. От солнечного луча, пробивающегося в щель сарая, принцесса Альбертина открывает глаза. Пораженная, видит крупные свиные морды. Она в свинарнике. Свиньи хрюкают, тянутся мордами к принцессе. По полю, с которого еще не сошел утренний туман, бежит полуголая Альбертина. Ей непривычно ступать босиком по мокрой траве. Принцесса кричит: “Гады! Гады! Гады!” Карету принцессы и ее подруги загружают чемоданами, корзинами.

Принцесса Альбертина кричит на Петра: “Дядя Фридрих Август так этого не оставит! Объединится со Швецией и другими! Они сообща изничтожат вас! Императора страны, где каждый – хам и варвар!” Подруга принцессы просит ее успокоиться:

“Альбертина, нельзя так, мы в гостях…” – “Свиньи! Свиньи! Свиньи! Были, есть и будут!”

Карета рванула и уехала. В спальне князя Александра Даниловича Меншикова Петр и Марта неутомимо занимаются любовью: на кровати, на полу, в шкафу, где висят лисьи шубы. Марта в страсти отгрызла стеклянный глаз у лисьего воротника и не заметила, как проглотила его… Иногда, давая себе передышку, любовники лежат, прижавшись друг к другу, и молча улыбаются.

К запертым дверям своей спальни подходит Меншиков. Он,

как всегда, великолепен, в лучших парижских нарядах, в только что вошедшем в моду пепельно-голубом парике. Меншиков стучит кулаком в дверь. Не дождавшись ответа, прижимает губы к замочной скважине и громко шепчет: “Варвары! Тратите столько сил… Иногда и жрать надо!”

Часть третья

Это случилось неожиданно: минуту назад их не было – и вдруг они материализовались как бы из воздуха пустыни. От их мощных ударов рухнули стены монастыря. Турки хлынули во внутренний двор, но попали под огонь сорока пушек, которые Петр поставил вдоль монастырской стены. Растеряв сотни воинов, турки отошли и занялись перестройкой своих рядов.

После получасовой передышки темная лавина вновь штурмует русские лагерные ограждения. Янычары с криками "Алла! Алла!" рубятся саблями с русской пехотой. Виден высокий Петр, представляющий собой заманчивую цель для вражеских мушкетов. Рубят сабли, колют штыки. Вновь гремят пушки.

Янычары не выдерживают, отступают. Но это не победа и не поражение – это ловушка.

Ночь. В желтых лучах луны скачут два всадника: Петр и Екатерина. На их лицах мрачное выражение. К Петру приближается адъютант Анджей Пивовский. Он что-то тихо говорит императору. Петр оборачивается к Екатерине: "Дело швах!" – "Что случилось, Петруша?" – "Туркам подвезли пушки… Триста штук. Расставили вокруг нас… – Петр стирает кровь, стекающую из-под повязки на лбу. – Случай представился им просто чудесный… А воспользуются они и того лучше… Ведь не дураки же…"

Екатерина смотрит в небо. Млечный Путь висит так низко, что подними руку с саблей и режь его, как пирог…

"Смеялся над Карлом в Полтаве и сам же здесь, на Пруте, повторяю его ошибки… Как я мог поверить, что меня ждут сорок тысяч румын… Смешно…"

Слышен гул от передвигающихся по песку турецких войск. Десятки тысяч глоток издают негромкий звук. Это известная психическая атака турок: гортанные выкрики и ритмичные хлопки ладонями. Петр смотрит на Екатерину. Их лошади рядом. "Видела, как на охоте собаки окружат кролика – тот застынет, озирается, со всех сторон собачьи пасти… Так и я… Этих собак сто двадцать тысяч". – "Сто двадцать?" – "Лазутчики сосчитали…" – "А нас?" –

"Тридцать тысяч. Я вчера отослал кавалерийский корпус к Бранковскому, чтобы румыны спешили к нам. Никто ведь не ожидал, что сто двадцать тысяч янычар свалятся с неба…"

Екатерина смотрит на окрестные холмы. Справа, слева, сзади, спереди мерцают огни турецких костров. В подзорную трубу видны их черные узорчатые куртки, за широкими поясами торчат

ятаганы, пистолеты.

Петр зовет адъютанта Пивовского: “Анджей, найди Никулача…” Шепчет Екатерине: “Спрошу его, может ли он со своими молдаванцами вывезти тебя… из этого песчаного гроба…” – “Нет, Петруша, нет! Я с тобой!” Петр качает головой: “Девочка, нет”.

Грохнул пушечный выстрел. Совсем рядом с Петром и Екатериной упало ядро, завыл раненый. Второе ядро упало еще ближе. “Пробуют порох, не отсырел ли”. Пивовский приподнимается в седле: “Может, заметили вас, ваше величество, луна яркая…” Третье ядро упало совсем рядом – в двух шагах от императора. “Вернемся, это не проба сырого пороха…”

Посреди русского лагеря в монастырском флигеле находится укрытие для Екатерины и ее трех фрейлин. Петр сидит за столом, быстро пишет. Екатерина молча смотрит на императора. Грязь и пыль въелись в ноздри, уши, ногти.

Вторую неделю армия под палящим солнцем Молдавии идет на юг. Союзники, кто обещал присоединиться, обещал свежие боевые силы, оружие, провиант, видимо, струсили, изменили. Как подтверждение этому входит полковник Лялин: “Никола Пендереску перешел на сторону турок, отдал им продовольствие, значимое для нас”. Петр кивнул: “Браво, Никола”. Вернулся к письму. Говорит Екатерине, не поднимая головы: “Завтра мы постараемся прорваться с боем. Но вы с фрейлинами уйдете сегодня. Никулач знает тропы и надеется проскользнуть незамеченными. – Император поднял лист бумаги. – Вот мой указ! Я отдаю тебе корону и трон…”

Екатерина нервно смеется: “Трон?! Мне, польской дуре, русский трон?! Петенька, ты что, белены объелся?! Хотя давай, давай! – Екатерина вертит бумагу в руках. – Петя, я ж читать не умею…”

Екатерина вновь заливается нервным смехом. Петр подзывает адъютанта: “Пивовский, читай громко, с выражением этой безграмотной. Если не поймет по-русски, переведи на польский”.

Адъютант всматривается в почерк Петра, читает: “Господа сенаторы, я попал в турецкое окружение… Меня ожидает поражение, позор. Велю, впредь не исполнять ничего, что бы ни исходило от моего имени… Но одно мое повеление, еще пока я – Государь Российской империи, принять немедля и обязательно. Корону и трон отдаю Екатерине, моей законной жене…”

Петр молчит, смотрит на Екатерину. Кладет ладонь на ее щеку, замечает, какая грязная рука, убирает… В монастырскую пристройку входят генералы. Молча садятся вокруг стола. Это военный совет. Петр оглядывает их. После короткой паузы

говорит без выражения, тихо, буднично: “Завтра будем атаковать! Сегодня спать! Все!” Оборачивается к Екатерине: “Собирай своих фрейлин. Я прилягу. Через час разбуди, провожу тебя”. Император оглядывается на генералов: “Мне не нравится, как вы смотрите… Есть какие-то другие предложения?” Генералы молчат. Молчит и Екатерина, но видно, что она не согласна с решением Петра.

“Мы в мышеловке. Завтра смерть или победа”. Петр идет спать. За столом никто не двигается. Тяжелая пауза.

Екатерина оглядывает лица генералов и неожиданно смеется: “У меня есть план. Его величеству я его не сообщала. Знаю его ответ. Вам скажу… Балтаджи, командующий турецкой армией, год назад был в Петербурге. Он сказал мне, что в жизни любит только бриллианты: не лошадей, не оружие – только бриллианты и женщин. Он разглядывал мои камни и дрожал… И еще запомнила, как он смотрел на Авивию… Я побоялась сказать вашему главнокомандующему, а вам говорю. Авивия здесь. Бриллианты при мне…”

За занавесью храпит император. В свете свечи стоит Авивия Данилова, на ней бриллиантовые подвески, диадема из крупного жемчуга, кольца, серьги из крупных сапфиров. Екатерина достает из ларца очередную ювелирную вещицу, прикалывает ее, украшая Авивию, как новогоднюю елку. Генералы молча смотрят. Екатерина загипнотизировала их, как бродячий гипнотизер-шарлатан. Напоследок она вдруг говорит Авивии: “Я поеду с тобой”.

Зарница нового дня. По золотистому небу несутся со свистом пушечные ядра. Турецкая артиллерия начала бомбардировку русского лагеря. Под ядрами бегает Петр и кричит, не обращая внимания на смертоносные снаряды, которые, разрушая все вокруг, падают с неба.

“Где мой палач?! Павел Тимофеевич Галкин! Я знаю, он в Петербурге! Вызовите его сюда! Или я сам возьму в руки топор и отсеку головы моим генералам-ослам!” Петр бьет генералов шпагой, яростно, не разбирая, куда шпага попадает: в шею, щеку, грудь… Гонит генералов туда, где падают ядра, которые разносят в клочья людей, коней, повозки. Одно ядро чуть не попадает в Петра, но он даже не оглядывается.

“Как вы могли эту б…, эту проститутку пустить на переговоры?! Как?! Значит, стоит мне заснуть, и я для вас уже не командующий, я для вас никто!”

Неожиданно артиллерия смолкает. Турецкая армия стоит на расстоянии сотни шагов от русского лагеря. Их тысячи тысяч…

Турками заполнено все пространство: долина, холмы, овраги,

дорога, тропы, лес, деревья. Восходит солнце. Адъютант Пивовский спешит объявить новость: “Ваше величество, их стало еще больше! “Язык” сообщил, что ночью с артиллерией подошло двадцать тысяч румын”. Петр, зло: “Ты что, меня пугаешь двадцатью? Если нас тридцать, какая разница, сколько их: сто двадцать или сто сорок?!”

И тут за толпами янычар показался и затрепетал на ветру белый флаг русских парламентеров. Петр замолкает, впивается глазами в небольшую группу всадников, медленно приближающихся к лагерю. Он видит Шафирова, своего вице-канцлера, который держит белый флаг. Рядом с ним трубач, а сзади Екатерина. Авивии не видно. Петр, задохнувшись от волнения, не может ничего сказать, смотрит. Трубач трубит короткую музыкальную фразу и тоже смолкает. Напряжение нарастает с каждым шагом. Вот всадники зашли за заграждение русского лагеря. Екатерина, бледная, спрыгивает с коня: “Все хорошо. Уговорили визиря Балтаджи. Авивию оставили на время. Бриллианты и жемчуга – навсегда”.

В окнах повозки видна голая выжженная степь. По ней идут отряды русской армии. Оркестр бьет в барабаны. Лица солдат изможденные, но радость возвращения на родину бодрит каждого.

В скрипучей карете сидят Петр и Екатерина. Волны серой пыли вплывают в разбитое окно. Петр смотрит на Екатерину. На лице ее, таком же пыльном и грязном, как лицо Петра, зрачки расширены. Не совсем понятно, в них гнев или радость. Она спрашивает: “Водка у нас осталась?” – “Не знаю”. Петр выглядывает в окно, кричит адъютанту Пивовскому: “Зубровка осталась?” Потом поворачивается к Екатерине: “Знаешь, что ты сделала со мной? На моей голове был венок победителя. Я разбил непобедимого шведского короля Карла XII. А сейчас, живой, здоровенький, поджав хвост, бегу”.

К окну повозки подносят деревянное корытце: в нем солома, серебряные чарки и бутыль. Петр принимает, кладет корытце на колени, разливает зубровку. Выпивает с Екатериной, ничего не сказав. Молча наливает еще чарку, выпивает: “Знаешь, что ты сделала? Во всех европейских дворцах сейчас хохочут – Петр свою жену послал к турецкому визирю, тот побаловался ею и дал русским мир!”

Екатерина бросает серебряную чарку в корытце: “Не говори так, Петруша, даже если хочешь обидеть меня… Почему я пошла к Балтаджи? До этого мы дважды посылали Шафирова с белым флагом. Балтаджи отсылал его назад без слов… Со мной он не посмел это сделать”. Петр выпивает остаток своей чарки. Хрипло

выдавливает вместе с огненным духом: “Я пробился бы сквозь кольцо янычар… Пробился! Мы дрались бы до последнего… Посмотри на моих ребят!” Он ткнул пальцем в разбитое окно. “Мне лучше смотреть на них живых и на тебя живого, чем знать, что ты и они – мертвые герои. Или, хуже того, по Стамбулу моего мужа возят голым на осле… Нет, не возят… тащат за ослом!” – “Такого не было бы никогда, Катя”. – “Так обходятся с пленными, сказал Балтаджи”.

Петр кричит: “Что ты мне все время “Балтаджи, Балтаджи”! Где он тебе все это напевал? В постели?!” – “Да!” – “Да?”

Петр всей силой ладони бьет Екатерину по щеке. Рвет дверцу кареты и спрыгивает в пыль. Идет пьяный, несчастный, качаясь из стороны в сторону… Его нагоняет группа солдат-артиллеристов, он их обнимает. Поддерживая своего императора, солдаты идут, с ног до головы покрытые пороховой копотью… И не различить, кто император, кто солдат… Екатерина смотрит в окно, облизывает разбитую губу, улыбается… Хочет открыть дверь кареты, но Петр так грохнул ею, когда соскочил на ходу, что замок заклинило. Екатерина кричит: “Петруша!” Петр шагает, не обращая на нее внимания. Но вот он побежал, нагнал повозку: “Дай бутылку!”

Екатерина подает бутылку и серебряные чарки. Петр берет только бутылку и возвращается к солдатам… Пьет с ними из горла…

Грозовая туча, такая желанная за время долгих блужданий русской армии по южным степям, вдруг разражается проливным дождем… К Петру подъезжают адъютанты, генералы. Петр гонит их. Требует еще бутыль. Император разгулялся. Мокрый, веселый, зовет музыкантов… Солдаты завидуют тем четырем артиллеристам, кто с Петром “гуляет”… Но не навязываются в новые “дружки”.

Карета Екатерины держится на дистанции. Кто-то кричит: “Молния!” И на глазах у всех из темных кустов выплывает шаровая молния, постоянная преследовательница Екатерины. Она приближается к карете. Екатерина при крике “молния!” вздрагивает, видит огненный шар, рвет дверь, но ее заклинило. Красный шар натыкается на карету. Взрывается! Все происходящее похоже на сон пьяного пиротехника… Карета загорается. Кони ржут со страху и мчатся по мокрой степи. Петр, солдаты, конники бегут, скачут. Огненная карета несется.

Екатерина пытается ногой выбить дверь. Безуспешно. Хочет пролезть в окно. Оно довольно узкое. Как-то протиснулась. Смотрит на горящий верх, лезет назад, там дымно, но огня еще нет. Сидит, сжав зубы… Клубы серого дыма вваливаются в окна. Екатерина вновь принимается бить дверь ногой…

Никто из всадников не может приблизиться к повозке. Лошади шарахаются от огня. Но вот дверь повозки раскрылась, из нее выпала императрица. Тут же вскочила и, прихрамывая, побежала назад. Волосы дымятся, она кричит: “Петр! Петр! Петруша!”

Навстречу бежит император: “Катя! Катя!”

Они сталкиваются. Петр сгребает ее в объятия и крепко прижимает к себе. “Ваше величество, хочу сказать… И хочу, чтобы запомнили… Я люблю вас! Не было у турка ничего… Одни бриллианты и Авивия”. – “И я тебя люблю… Ты меня от плена, от позора, от гибели спасла, Катька…” – “Молчите…” – “Ни слова, Катенька, ни слова…”

Екатерина захлебывается в слезах, которые хлынули и не могут остановиться. “Я жива только тогда, когда ты рядом… Мертвый вы мне не нужны, ваше величество, запомните это…” – “Запомню”. – “Мне не нужен мертвый полководец! Мне нужен живой Петруша! Мой… мой… мой…”

Армия движется по пыльной степи под барабанный бой, стараясь не смотреть на плачущих императора и императрицу.

* * *

Сценарий писались весь 2014-й. Работа напоминала “американские горки”, вверх-вниз, хорошо-плохо. Исторические факты были такие яркие, что успевай записывать. Я стал чувствовать себя каллиграфом Филимоном Одинцовым, который ходил за императрицей и записывал ее реальные и вымышленные истории. Их стало так много, что я не знал, как остановиться, и решил убить каллиграфа…

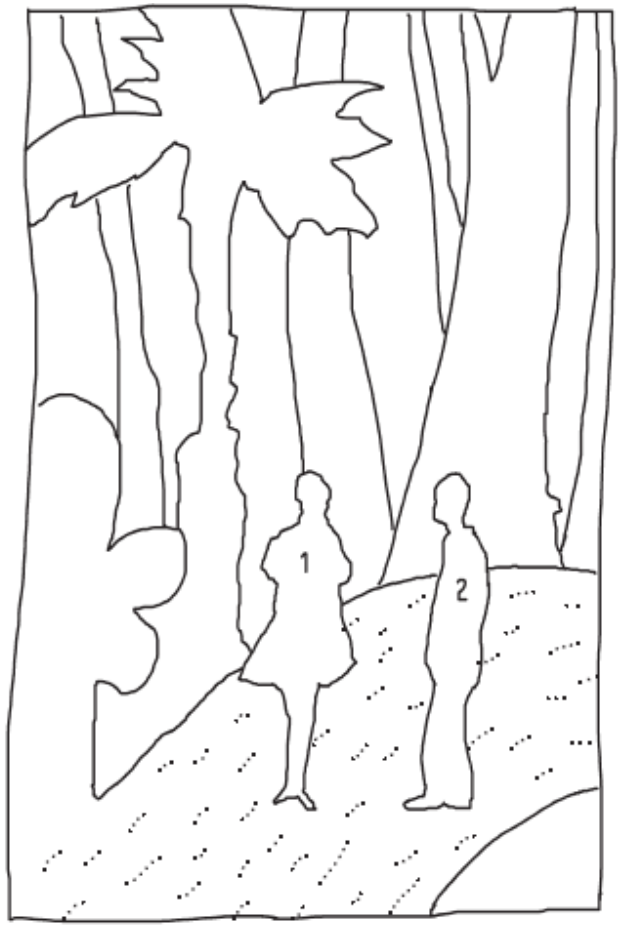
…Филимона нашли в орешнике. Молния убила – так решили. Лезвие ножа в руках тайного осведомителя Арсения Державина имело другое мнение, но лезвие умеет хранить тайны.

Императрица разыскала своих польских родственников и, счастливая, сделала их графами. Каждой сестре и брату подарила по замку. Графы и графини всю жизнь ходили босиком, но их дети и внуки влились в петербургское светское общество, а кое-кто прославил Россию. Были Скавронские-военачальники, а один Скавронский изобрел подводную лодку.

Екатерина I процарствовала недолго, умерла в возрасте сорока трех лет.

Агнешка Холланд уехала снимать в Голливуд. У меня остались незаконченные сорок четыре истории из жизни императора и императрицы.

Фотография 40. 1953 год



Фотография 40. 1953 год.

В Батумском ботаническом саду американская девочка Присцилла (1) красит помадой губы. Рядом с ней я, четырнадцатилетний влюбленный в Присциллу Праклит Квирикадзе (2).

Всю жизнь я приезжаю в Батуми. В этот приезд я блуждал по темным улицам ночного города в поисках дома, где более шестидесяти лет назад жила девочка по имени Присцилла. Дом Присциллы стоял неподалеку от базара.

Присцилла была американка, у нее был искривлен позвоночник, она ходила в жестком корсете. Однажды, воспользовавшись тем, что родители ее уехали ловить форель в горных реках, она зазвала меня, пятнадцатилетнего соседа, к себе… Мы долго слушали пластинку Луиса Армстронга. Он пел и вливал в наши робкие сердца храбрость. Присцилла долго снимала корсет, я помогал ей в этой сложной процедуре. Но тут вернулись американские родители, и мне пришлось прыгнуть с балкона в густые пахучие заросли рододендрона.

Американский коммунист Нельсон Кауфман кроме страсти рыболова (что он делал в городе Батуми – одна из тайн моей юности) имел другую страсть – он был кинолюбителем. Шестнадцатимиллиметровой камерой “Болекс” Нельсон снимал шторм на море, розы в дендрарии, жену Энди, прыгающую с вышки бассейна “Пищевик”, дочь Присциллу, которой участковый врач Папуашвили лечил простуженные бронхи… Зачем была снята эта сцена, я не знаю, но, приглашенный на просмотр в американское семейство, помню шок от зрелища обнаженных Присциллиных грудей, изрядно больших, дышащих на белой стене столовой.

…Обнимая Присциллу в темном зале кинотеатра “Спартак”, куда мы однажды забежали спрятаться от дождя, я впервые увидел фильм “Мост Ватерлоо”. Четыре сеанса подряд мы не выходили из “Спартака”, беспрерывно смотрели на великую Вивьен Ли и великого Роберта Тейлора. Потом были мои первые в жизни киносъемки. Родители Присциллы вновь были в горах, на ловле форели, а мы без спроса папы Нельсона поставили камеру “Болекс” на стол, я заглянул в глазок, определил границы кинокадра, и мы стали танцевать знаменитый “Вальс при свечах” из “Моста Ватерлоо”. Присцилла с искривленным позвоночником была Вивьен Ли, а я, тощее чучело с набриолиненными волосами, в нельсоновском черном пиджаке, был неотразимым Робертом Тейлором.

Присцилле было запрещено загорать на пляже. Каждый день мы пропадали в темном кинозале. “Багдадский вор”, “Путешествие венецианца”, “Дилижанс”, “Серенада Солнечной долины”, “Сестра его дворецкого” и, наконец, сразивший нас наповал фильм “Судьба солдата в Америке”, который мы смотрели двадцать семь раз.

Нельсон Кауфман сделал меня своим киноассистентом. Он знал, что на утренних сеансах в полупустом кинотеатре “Спартак” мы с его дочерью не сидели сложа руки на коленях. Несмотря на это мне было разрешено носить треножник и кофр за “американским шпионом”, как звал его беззлобно мой отец.

Мы с Нельсоном снимали чемпионат мира по борьбе среди борцов-тяжеловесов. Снимали поющих старых сестер Ишхнели, чтение стихов Галактиона Табидзе, певца Поля Робсона, массовый заплыв пловцов-спортсменов из Батуми в Махинджаури, в котором участвовала моя мама.

Семейство Кауфман покинуло Батуми на теплоходе “Адмирал Нахимов”. Я обещал Присцилле приехать в Америку, обещал стать знаменитым кинорежиссером. Она повесила мне на шею медальон со своими рыжими волосами, срезанными ножницами. Нельсон, не выдержав слез нашего прощания, вручил мне “Болекс” со словами: “Бери, Ираклий, он твой”. Лучше бы он не дарил мне это стальное шестнадцатимиллиметровое чудовище! Вместо нормального будущего с профессией врача, юриста, химика, нефтяника, банкира я стал кинорежиссером…

“Болекс” стал моим другом-врагом. Все деньги уходили на покупку пленки. Я похитил со студии “Грузия – фильм” два осветительных прибора, третий умыкнул со съемок фильма Тенгиза Абдуладзе “Чужие дети”. У себя в подвале я соорудил что-то похожее на павильон… Недавно я пересмотрел свои фильмы. Там выкрашенный черной краской Отелло душит мою тетю Маргариту, спрашивая: “Дездемона, где платок, который я подарил тебе на день рождения?” Странный подбор актеров: Отелло, низкорослый толстяк с выбитыми передними зубами, – венецианский генерал. Дездемона – пышнотелая матрона. Лев Львович Львов (над его именем, отчеством и фамилией смеялись), он был врачом-гинекологом, бредил актерством. Это он оплатил постановку. “Отелло” был моим первым игровым фильмом. Друзья, которых я и Лев Львович собрали на первую в моей жизни кинопремьеру, напившись, хохотали, падали со стульев. Лев Львович ошибся, организовав шашлыки и вино до просмотра. Всё смешалось в доме Квирикадзе: кто-то сбил кинопроектор, он упал на пол, врач-гинеколог плакал пьяными слезами. Тетя Маргарита схватила со стола только что зажаренного поросенка и, вооружившись им, как палицей, стала бить неблагодарных зрителей. Друзья вновь стали падать со стульев, на этот раз не от смеха…

Так завершилась моя первая кинопремьера. Я перестал снимать игровые фильмы. Взял свой “Болекс” в летний сад филармонии, где Ван Клиберн играл Первый концерт

Чайковского. Чудо сегодня смотреть на молодого Вана Клиберна, сидящего у рояля, и слушать торжественные звуки Первого концерта…

Фотография 41. 1947 год

Фотография 41. 1947 год.

Мама, папа и я в фотоателье Жвании в канун нового 1947 года. Вечером папа наденет наряд Деда Мороза, а мама случайно чуть его не задушит.

Блуждая в лабиринтах памяти, я не раз обнаруживал полузабытые, давние события… Это могла быть свадьба нашей соседки Мальвины Чохели с первого этажа, в которую я, одиннадцатилетний, был влюблен (об этом знал весь наш Музейный переулок), а она вышла замуж за геолога Заура Канкия. Свадьбу сыграли 1 января, так как геолог срочно улетал на остров Шпицберген. Меня поставили на кухне Мальвины у большущей

винной бочки, я разливал вино по бутылям, которые сестры Мальвины уносили в зал, где за длинными столами сидели гости. Часто вино не желало течь по резиновому шлангу, и я, виночерпий, присасывался к концу шланга – вытягивал вино сперва себе в рот, потом опускал шланг в бутыль. Если вам понятен этот процесс, то вы поймете, почему юный виночерпий опьянел к середине свадебного пиршества. На кухню вошла невеста. Она двоилась, троилась в моих пьяных глазах. Она (они) в белых шелковых платьях шутливо набросили на меня фату и поцеловали, я зло укусил ее (их) в грудь (груди). Невеста взвыла, ударила меня, я бросил на пол бутыль, выбежал из кухни. Ворвался в нашу квартиру, открыл дверцу платяного шкафа, нашел в картонной коробке из-под обуви дедушкин именной револьвер времен только что окончившейся войны с Гитлером. Нажал в темноте на курок, увидел сноп огня, почувствовал горячую волну воздуха у левой щеки. Запахло паленым. Я попал в воротник рыжей лисицы, которую уже раз убили (давно до меня). Нажал на курок вторично, выстрела не последовало. То ли осечка, то ли больше не было пуль в магазине револьвера. Я сидел в шкафу и плакал. Я впервые задумался о смерти и о бессмысленности жизни…

С первого этажа слышались песни. Свадьба гуляла. Разорвались цветные огни фейерверков. Кричали “С Новым годом!” Так в Музейном переулке, 16, встретили тысяча девятьсот пятидесятый год!

На другой день бабушка расспрашивала всех: “Кто мог стрелять в воротник моего зимнего пальто?” Дедушка изучал траекторию полета пули, которая, расправившись с рыжей лисой, пробила заднюю стенку шкафа и застряла в потолке. Но он не был ни Пинкертоном, ни Шерлоком Холмсом.

Наш дом был опоясан типичными для Тбилиси длинными открытыми балконами. В доме жили шумные, веселые люди… Новый год, праздники 1 Мая, 7 Ноября, дни конституции жильцы справляли все вместе. Грузины, армяне, русские, украинцы, азербайджанцы, евреи, осетины, айсоры. На балконах расставляли столы, приносили из квартир кто сациви, кто долму, кто чахохбили, кто хашламу, вино в больших и малых бутылях. Пили, пели, танцевали…

Но почему-то постоянно кто-то, как и я, совершал попытки покончить с жизнью или умирал как-то нелепо. Смешно хоронили тех, кто умер на втором, третьем, четвертом, пятом этажах. Странность этой фразы требует объяснения. Представьте, балкон, в конце его – узкая лестница. Строители дома как-то не рассчитали ширину лестничной площадки, она была настолько

узкая, что гроб с покойником не мог в ней развернуться. Надо было открыть двери соседствующих с лестницей квартир, внести гроб, там развернувшись, выйти и по той же лестнице спуститься ниже. И так все пять этажей…

Живущие в соседствующих с лестницами квартирах мучились от нашествия гробов, мертвецов, но терпели. Хотя каково – ты сидишь у себя дома, пьешь чай, или читаешь роман “Алитет уходит в горы”, или обнимаешь сокурсницу, вдруг звонок в дверь, заносят гроб, делают круг и выносят гроб через другие двери. Жильцы дома проклинали архитектора Татулова, спроектировавшего чрезвычайно узкие лестничные площадки.

Жизнь города на берегу Куры во многих своих проявлениях была странной. По утрам тбилисцы просыпались от криков: “Баты-буты на бутылки!” Это уличные торговцы собирали пустые бутылки и взамен одаривали шарами из воздушной кукурузы, политые сладким соком. Мы, дети сороковых—пятидесятых годов, выбегали улицу, звеня спешно собранными бутылками. Два раза я был бит за то, что выплескивал в кухонную раковину коньяк, не понимая, что значит для моего папы наполовину пустая бутылка пятизвездочного коньяка “Греми”.

“Квабеби мосакали!” (паять котлы!) – кричали паяльщики медных котлов, тазов, кастрюль. Один рыжеволосый паяльщик развлекал горожан тем, что изображал из себя заику и, коверкая слова, кричал: “Калеби мосаткнави!” Если перевести на русский, получалось вместо “Паять котлы!” – “Трахаю женщин!”

Слыша эти слова, мой отец и дядя ржали, мама и тетки смущенно фыркали, кричали с балкона рыжему паяльщику: “Нахал, тебя слышат дети!” Тот свое: “Трахаю женщин!”

Слышал его и наш сосед по балкону Кандит Попхадзе, известный летчик-испытатель тбилисского самолетного завода № 31. Этот Кандит не раз посылал меня купить арбуз, и я, как послушный мальчик, покупал и тащил десятикилограммовое зеленое ядро на четвертый этаж. За это получал жестяную модель боевого самолета.

Кандит Попхадзе был бритоголовый, пышнотелый мужчина, похожий на Бенито Муссолини времен диктаторства. И Кандит, и Бенито обожали красивых женщин.

Утром, когда жена Кандита, Нателла, напоив мужа чаем, в который тайно капала заговоренные капли индюшачьей крови, чтобы бычья сексуальность мужа уменьшилась (на время) до импотенции (так уверяла Тасо Пухаева, известная мастерица заговоров, живущая в Дидубе, к ней ходили все обиженные тбилисские жены, в том числе и моя мама), заговор этот действовал лишь до дверей соседствующей с лестницей квартиры

на четвертом этаже. Летчик-испытатель перед тем, как спуститься по лестнице, воровато оглядывался по сторонам, резко открывал двери квартиры Иветты Толбухиной, работавшей в буфете ЦК комсомола Грузии. Минут через двадцать Кандит выходил с рассеянной улыбкой на лице и садился в трамвай. Его узнавали по газетным фотографиям, уступали место. Но однажды зимой под Новый год двойник Бенито Муссолини застыл над лежащей под ним белокурой Толбухиной, потом упал в ее необъятные груди и долго не откликался на шепот: “Кандит, Кандит, что с тобой, дорогой?!”

Тот, кто недавно был вулканом страсти, холодел на глазах Иветты Толбухиной. Она с трудом выползла из-под тяжелого летчика, приняла душ, накрасила губы, заперла двери на ключ и пошла по балкону к квартире Кандита Попхадзе, позвонила. Дверь открыла Нателла. Они выпили кофе, сваренный в медной джезве. Иветта хорошо гадала на кофейной гуще. Сообщила жене мертвеца много обнадеживающего о муже, который скоро перестанет изменять ей, перестанет уезжать в “фальшивые” командировки “испытывать самолеты”. В действительности он ездил в Сочи, Ялту с женщинами, которые присылали Нателле письма и фотографии, где они, обнаженные, обнимаются с “лучшим любовником черноморского побережья” (строка из письма). Иветта Толбухина говорила правду, кончились донжуанские подвиги Кандита Попхадзе. Но сказать истинную правду она не решилась… Вернулась к себе, получив в подарок “Рижский бальзам”. Кандит продолжал лежать в кровати, не двинувшись ни на сантиметр за время ее отсутствия.

Стянув на пол двойника Бенито Муссолини, Иветта выглянула на балкон, там было какое-то движение. Она закрыла двери, дождалась темноты и медленно, осторожно, шаг за шагом потащила “сбитого летчика”. Была ночь 30 декабря. Пошел крупный снег, как в фильме “Амаркорд”, где павлин распускает свой пестрый хвост. Иветта дотащила Кандита до дверей его квартиры, приподняла, поставила к стене так, чтобы тот не свалился ни вправо, ни влево, а стоял твердо. Наступило утро 31 декабря. Нателла, увидев мужа, закричала. Проснулся весь наш дом. Все рванулись на четвертый этаж. Бритоголовый Кандит смотрел неживыми глазами и словно бы улыбался. Никто ничего не понимал до момента, пока не заговорила студентка Лиза Габуния, которая ночью после предновогоднего концерта Райкина в Тбилисской филармонии, на котором столько смеялась, что, вернувшись домой, не могла заснуть… Она вышла на балкон подышать и увидела странное зрелище – Толбухина тащила Попхадзе. Услышав об этом, Нателла молча взвалила летчика-

испытателя на плечи и потащила назад к дверям Толбухиной. “Мне не нужен этот человек, я его не знаю и знать не хочу!!!” – кричала Нателла. Кинув мужа на металлический сундук перед квартирой Толбухиной, она вернулась к себе, заперев дверь на ключ.

Жильцы дома, разговаривая с женой Кандита через дверь, уверяли ее, что такое решение абсурдно, что “он муж…”

Нателла кричала в ответ одну и ту же фразу: “Я его не знаю и знать не хочу!” Все разошлись, новогодняя ночь вот-вот должна была наступить, у кого-то не были готовы козинаки, кому-то надо было натолочь грецких орехов для сациви… Кандит одиноко сидел на сундуке, стоящем у дверей квартиры Иветты. Сыпал густой снег. Иветта не пошла на встречу Нового года в ЦК комсомола Грузии. Сидела в темноте. “На какой черт он мне сдался!” – шептала она. В три часа ночи по балкону вновь тащили летчика-испытателя. В этот раз как ни пыталась Толбухина усадить покойника у дверей его квартиры, он сполз и вытянулся на балконе. Два дня мертвый двойник Муссолини путешествовал по длинному балкону от тридцать девятой квартиры к сорок седьмой. Непонятно, кого надо было жалеть: жену, Кандита, любовницу? Жена кричала: “Он умер в ее постели, пусть она и разбирается! Хочет хоронит, хочет сделает из него мумию…”

Странный новый, 1955 год начался в нашем доме. Незримая, но присутствовавшая во всем этом бедламе женщина с косой то ли смеялась, то ли гневалась, но явно не знала, как разрешить эту проблему. Кто-то из соседей позвонил на завод № 31. Пришли самолетостроители, взяли на себя эту проблему, похоронили Кандита, даже сделали ему бетонный памятник. Он стоит и сегодня. Бенито Муссолини держит в руках большущий самолетный пропеллер. Запоздало я вспомнил, что гроб с телом Кандита Попхадзе пришлось пронести через квартиру Иветты Толбухиной, которая при этом сидела на диване с безразличным лицом и грызла грушу…

* * *

Странно, почему на меня нахлынула волна воспоминаний об абсурдных и нелепых смертях?.. Рассказав историю Кандита, задумался, стоит ли рассказывать о других смертях, которые случались в новогодние ночи в Музейном переулке, 16. Ведь любая смерть не повод для смешного.

В фильме Квентина Тарантино “Убить Билла” эксперты насчитали четыреста семнадцать смертей. Кровь фонтанирует

тоннами, никого не пугая, а даже веселя. Не знаю, почему мне захотелось развлекать вас рассказом о смерти Кандита, а теперь на очереди новый персонаж – мой сосед со второго этажа Артур Жоржоладзе. Поэт. Вождь поэтов, которые в конце шестидесятых были объединены в нелегальное поэтическое братство “Сироты”. Рядовым членом этого братства был и я. Нас, сирот, было человек тридцать. Мы собирались в кафе-столовой на проспекте Руставели. У кафе было официальное название “Вавилон”, но мы знали, что это наше “Кафе сирот”. В “Вавилоне”, дешевом туристическом общепите, в течение дня столовались приехавшие в Тбилиси со всего СССР командированные, туристические группы… Ели холодные котлеты, холодный шашлык, компот из сухофруктов. Здесь же можно было пить пиво кислое, незрелое. Собирались и мы, сироты (по-грузински – “облеби”). Нас не печатали, мы никому не были нужны. Здесь, в кафе “Вавилон”, в шуме алюминиевых ножей, вилок, влево от стойки самообслуживания за длинным столом мы читали вслух свои стихи. Нам было по двадцать-тридцать лет, нас любили девочки-поклонницы, но не первый секретарь коммунистической партии Грузии товарищ Мжаванадзе, ни второй секретарь, ни третий, ни командированные, ни туристы… разве что туристки…

Нашим вождем был он – Артур Жоржоладзе. У него была кличка “Король Артур”. Писал он чрезвычайно заумные стихи. Были и очень наивные, детские. Одно из его детских я запомнил: “Пирожное с кремом повстречало другое пирожное с кремом и сказало: “Ах, как мне хочется пирожное с кремом”. Несколько раз в “Кафе сирот” появлялся Сергей Параджанов. Однажды пришел с великой Майей Плисецкой. Она держала красный плод граната и загадочно улыбалась. Артур Жоржоладзе читал ей стихи из цикла “Русское”:

Я был в России.
Грачи кричали,
Грачи кричали.
Зачем? Зачем?

Чтобы более полно составить портрет Артура вспомнилась наша поездка в поезде Тбилиси—Москва. Артур носил черную бороду, был силен, как боец борьбы без правил. Борода в те далекие шестидесятые у молодых советских мужчин была редкостью. В вагон вошла девушка, та самая, о которой тайно мечтает каждый пассажир-мужчина (советский, польский, немецкий, французский, американский), именно такая желалась попутчица, именно такая должна была лежать на соседней

верхней полке… Длинноногая, пышногубая, улыбчивая. Вошедшая в наше купе девушка была с красным галстуком на длинной шее. Жанна была пионервожатой с отрядом из пятнадцати пионеров. Она имела глупость задать Артуру вопрос: “Вы священник?” Ничуть не смутившись, он сказал “да” и начал рассказывать притчи из Библии. В те позднекоммунистические времена Библия была почти под запретом и как всякий запретный плод сладка. Два дня, две ночи Артур Жоржеладзе просвещал пионеров… Агитировал за Господа Бога и сына его Иисуса Христа. Весь пионеротряд пожелал креститься. Представьте, южное лето где-то под Ростовом. Полустанок. Невдалеке маленькое болотистое озеро. Поезд в ожидании встречного стоит час. Сходят люди в пижамах, покупают соленые огурцы, жареных кур, помидоры, яблоки, самогон… А в это время Артур Жоржоладзе ведет прекрасную пионервожатую и всех ее пионеров креститься в озере. Пионеры раздеваются, заходят в воду. Пассажиры смотрят, вытаращив глаза, а Артур окропляет пионеров и их вожатую, читает молитвы то по-русски, то по-грузински. Я слышу, что по-грузински он читал стихи Бодлера, почти что богохульные… И вот отряд и прекрасная пионервожатая возвращаются к поезду крещеные… Жанна влюбилась в Артура. В Москве в Столешниковом переулке в гостинице “Урал” цвела их любовь. Я тайно ревновал, но в то же время знал, он – Вождь. И вот этот Вождь неожиданно умер. Он хоть и был моим соседом по Музейному переулку, 16, я мало знал о его жизни. У него была сестра Уна. Она часто болела, он возил ее в Цхалтубо. Она была похожа на княжну Марию Волконскую из “Войны и мира”, не очень красивая, но с огромными, бархатными, зелеными глазами. Ей все время нужны были лечебные грязи. Артур привозил их тоннами из Железноводска, Тамани, Трускавца. Уна (потом я узнал, что также звали жену Чарли Чаплина Уну О’Нил) сидела в ванной в грязи и пела красивым голосом арии из “Искателей жемчуга”. Постоянно больная она жива и сегодня, мать пятерых детей. Странно, что тот геолог, который женился на моей первой любви, разошелся с Мальвиной после экспедиции на остров Шпицберген и женился на Уне. Там, в постоянной заполярной ночи, Уна сделалась здоровой, цветущей матроной. А брат ее Артур, король сирот, высокий, сильный, знаменитый своими драками, особенно одной с Амираном Думгадзе, которого все считали “первым кулаком” города Тбилиси и который от удара головой Артура в сквере у оперного театра пролетел метра четыре и свалился в цветущие кусты рододендрона. Я видел этот полет, он был чрезвычайно эффектен. Потом “первый кулак” города Амиран Думгадзе, пригласил

Артура Жоржоладзе и нескольких сирот отметить примирение. Праздновали событие в хинкальной на полпути к фуникулеру. А год спустя, когда в ЦК комсомола Грузии пронесся слух, что, возможно, будут издавать стихотворный сборник Артура Жоржоладзе, он неожиданно умер. С пышной черной бородой вождь лежал, окруженный бумажными цветами (это было его посмертное желание, об этом писал он в своих нечитабельных стихах). Мы, сироты, несли его гроб по улице Дзнеладзе, что параллельна проспекту Руставели. Подмышкой Артура была книга Иммануила Канта. В жизни он постоянно ходил, держа ее под той же правой подмышкой.

Был конец декабря. Наши ноги скользили по мокрому снегу. Кто-то сказал: “Давайте занесем его в «Кафе сирот», ему будет приятно последний раз оказаться за любимым столом”. Недолго думая, мы сделали зигзаг и вышли на проспект Руставели. По главной улице Тбилиси не ходили похоронные процессии. Разве что, если хоронили секретарей партий, генералов, маршалов. В “Вавилоне” мы повергли в ужас и ошеломление всех командировочных, кушающих борщи, котлеты, рыбу палтус и на третье – компот из сухофруктов. Застыли поднесенные ко ртам алюминиевые ложки, вилки, ножи… Гроб проплыл, как видение из сна, и был поставлен на несколько свободных столов в шаге от людей, привычно разливающих из-под полы пол-литра водки или “Кахетинское красное номер восемь”. Воцарилось гробовое молчание, даже те, кто хотел возмутиться, не находили в себе сил крикнуть: “Уберите гроб из советской столовой!” Пауза затянулась. Сироты заговорили первые, на грузинском, русском, армянском стали произносить речи, в которых восхвалялись жизнь и творчество выдающегося человека и поэта Артура Жоржоладзе. Девушки (сейчас бы их назвали “панки” или еще как-то более современно) с множеством булавок, скреп, серег положили на грудь Артуру бумажные цветы и стали рыдать. Ассирийский поэт и художник Асхаб, ассистент Тенгиза Абуладзе, стал читать громко на ассирийском свои стихи, посвященные Артуру.

Командированные, завороженные адским зрелищем, завершив обед, не вставали со своих мест. Мы подняли гроб, сделали круг по кафе-столовой “Вавилон” и вышли на улицу. Падал мокрый снег. Мы закрыли гроб вождя крышкой, положили на грузовик одного из нас, работающего в “Тбилперевозках”. На Сабурталинском кладбище “сирота” Тато Шудрн, скульптор, залил лицо Артура жидким гипсом. Он хотел оставить вечности посмертную маску поэта. Мы стояли и смотрели, как застывает гипс. Мы мерзли на пронзительном холоде, осиротевшие… Артур

Жоржоладзе велел разодрать на части его амбарную книгу, в которую он записывал стихи любимых поэтов и отрывки из любимых романов и раздать всем сиротам. Мне достались страницы 106–117. Вождь на них записал отрывок из “Войны и мира”, где Андрей Волконский, смертельно раненный в Бородинском сражении, лежит на операционном столе и внезапно переполняется странным ощущением мира и примирения, ощущением счастья, которое больше уже не покинет его. “После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое далекое детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушку, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность”. Только позднее Андрей замечает на соседнем столе своего соперника, Наташиного соблазнителя Анатолия Курагина, которому в этот момент хирург отнимает ногу. “Раненый Андрей видит своего соперника с ампутированной ногой, это зрелище наполняет его глубокой жалостью к этому человеку и людям в целом”.

Я благодарен вождю за эти 106–117 страниц. Я их не перечитываю, при своей антипамяти я их знаю наизусть и в разных жизненных ситуациях повторяю вот уже более пятидесяти лет…

* * *

Лелико Хотивари, известный кинорежиссер сталинской эпохи, жил над нами. Я дружил с его сыновьями Картлосом и Бубой. Я помню Лелико, когда был маленьким, он смешил меня тем, что прикреплял к моему носу бельевую прищепку. Это было время, когда на “Грузии-фильм” снималось мало фильмов, заказы получали хваткие, алчные, наглые. Лелико не был ни одним, ни другим, ни третьим. Семья их жила за счет профессии жены – врача гинеколога. У себя дома она тайно принимала женщин, которые жаждали избавиться от случайного, на стороне нажитого, некстати сотворенного дитя…

В небольшой комнатке по утрам собиралось от двух до семи девушек. Они с напряженными лицами сидели на скрипучих стульях, слушали музыку Баха, Моцарта, Альбинони. Лелико был фанат классической музыки. Старый режиссер, выпивая обязательный утренний кофе и выкуривая сигарету, которую сам

изготовлял посредством самокрутки и крепчайшего аджарского табачного листа, он любил появляться в комнатке, где сидели девушки, и заводить с ними душещипательные беседы. Особо понравившихся он выводил на балкон и убеждал, что не надо делать аборт: “Родине нужны строители коммунизма, герои социалистического труда, исследователи-полярники, рихтеры-пианисты, ойстрахи-скрипачи. Такая красивая девушка, как ты, родит гения, назовешь его Тариэль, как героя “Витязя в тигровой шкуре”. Старый режиссер курил, допивая свой кофе, девушки слушали его, открыв рот, и не раз в слезах убегали прочь от гинекологического кресла.

Жена ругала Лелико: зачем вмешиваешься, рушишь судьбы, плодишь сирот?! Но он продолжал заходить в “комнату ожидания” с чашечкой кофе и сигаретой делать правое дело. Дарить родине гениев и героев.

Прошло пятнадцать лет. Лелико очень старый, лежит, ожидает женщину с косой. Она в наш дом по сложившемуся графику появлялась под Новый год. Звонок. Жена открывает дверь. Врывается высокая, курчавая женщина с громким криком: “Где драгоценный Лелико, где мой спаситель?!” За ней протискивается двухметровый детина, волоча контрабас в тяжелом футляре, стуча им по паркету. Детина и женщина рвутся в глубь квартиры, сами открывают одну дверь, другую и попадают в спальню, где лежит бывший сталинский кинорежиссер. “Дорогой мой Лелико, вот ваш сын!” – кричит высокая женщина. Лелико плохо, он с трудом понимает, ему показалось, что женщина – та самая с косой…

“Тариэль! – кричит женщина. – Распакуй инструмент, сыграй папе! Сыграй папе Иоганна Себастьяна Баха!”

Жена и муж молча смотрят на двухметрового детину, он совсем юн, от силы ему лет пятнадцать. Распаковав контрабас, детина начинает играть, вскоре обнаруживается, что Тариэль далеко не Ростропович. Мама двухметрового детины шепчет в ухо теряющего силы режиссера: “Это тот, кого вы велели не убивать! Я вас послушалась, родила!!! Вчера на новогоднем конкурсе контрабасов”… – “Контрабасистов”… – поправляет шепотом Лелико. “На новогоднем конкурсе контрабасистов в Батуми наш мальчик получил диплом третьей степени… Но малышу всего четырнадцать… Я сказала: сыграешь папе всю свою программу… Он тебя благословит!”

Мальчик играет двадцать минут, полчаса и не собирается останавливаться, играет дурно, но с диким напором. Лелико морщится, у него сохнет рот, он зовет жену. Та понимает мужа, приносит воду. Лилико пьет. Мальчик играет. Возвращая стакан,

Лелико шепчет жене: “Зачем я, дурак, уговорил ее не делать аборт!”

Лелико закрыл глаза. Жена сказала в тот печальный новогодний вечер сыновьям: “Это были его последние слова…”

Буба спросил мать: “А говнюк еще долго пилил контрабас?” – “Долго… После Баха мальчик объявил Брамса, потом Шуберта… А папа уже был мертв… Я же дура изображала внимательную слушательницу”…

Через два дня, второго января, на старом Верийском кладбище в присутствии нескольких сотен пришедших проводить в последний путь кинорежиссера, двухметровый мальчик и его мама распаковали контрабас, и дитя стало играть свое контрабасное соло. Шел снег. К матери музыканта подошел Картлоз и шепотом попросил: “Как сестру прошу – пусть этот идиот заткнется!”

* * *

Дом наш в Музейном переулке, 16, простоял до 1993 года. В нем не только умирали, но и рождались, жили, радовались жизни.

Моя мама откармливала индюшку на балконе. Собиралась к новогоднему столу “сотворить” из нее сациви. За два дня до Нового года она спустилась с индюшкой во двор. Сама зарезать не решалась, искала того, кому можно поручить эту казнь. Никого не нашла. В это время по улице шли двое взрослых немых мужчин. Остановились перед мамой. Ей было неловко просить, да и как просить: может, они не только не говорят, но и не слышат… Немые сами поняли, почему мама держит гигантскую индюшку, и показали жестами: “Ей голову отсечь?” Мама сказала: “Да”. Те взяли индюшку, нож, как нож гильотины, и, что-то показав жестами, зашли за угол нашего дома. Мама поняла их жесты – “Мы там лишим ее жизни, здесь посреди улицы неудобно”. Мама стала ждать. Немые не появлялись. Мама пошла посмотреть, что делается за углом. Там никого. Снег чистый, без кровавых пятен… Мама поняла, немые утащили индюшку, а может, улетели на ней! Мама в отчаянии… Времена голодные, политический хаос, а тут еще украли птичку, которую она из цыпленка вырастила в грифона. Сациви было обещано всем, кто молча сносил в течение года жуткий индюшачий гогот. 31 декабря утром на дверной ручке нашей квартиры появилась аккуратно ощипанная туша двенадцатикилограммовой птицы, желтой от сочного жира с бумажкой на ноге и надписью: “Я вернулась к тебе, Софико!!!

(имя моей мамы) С Новым годом!!!”

* * *

Когда пятиэтажный, опоясанный деревянными балконами дом стали ломать, жильцов выселили из него, но мы мазохистски ходили смотреть, как его рушат…

Соседями (стена к стене) были Паскаль Аджиашвили и его тетка. Он корреспондент газеты “Коммунист” и одновременно рок-н-рольщик. Тетка работала кассиршей в банке. Пересчитав за свою жизнь множество миллиардов рублей, у тетки возникла аллергия на денежные знаки. Она постоянно носила белые перчатки. Стоило ей прикоснуться голыми руками к деньгам, и все ее тело покрывалось воспаленными пятнами… Паскаль писал о мерзких американских агрессорах, душивших свободолюбивый корейский народ, танцевал рок-н-ролл на танцплощадке турбазы. Считалось, что он танцует лучше самого Элвиса Пресли. Ночами Паскаль приводил туристок к себе в комнату, имеющую общую стену с моей комнатой. Я слышал все визги, все стоны, все скрипы. Будучи старшеклассником, я не мог спать, затыкал уши пластилином. Однажды мне захотелось не только слышать, но и видеть. В базарной лавке купил длинный стальной штырь и стал вбивать его в стену, но на полпути штырь столкнулся с чем-то скрипучим, непробиваемым. Хотелось посмотреть, что там, в стене, почему стальной штырь не может пройти стену насквозь, но неловкость от постыдного желания заглянуть в чужой, заманчиво порнографический мир заставила меня забросить идею “подкопа”.

Годы спустя огромный чугунный шар, раскачиваемый на длинном стальном тросе, бился о стены нашего Музейного, 16. Мы, бывшие его жильцы, стояли и со слезами смотрели, как рушится этаж за этажом. Вновь шел снег. Снег как рефрен присутствует во всех моих историях. Тбилиси – город южный, не Сибирь, но почему-то в моей юности зимы были чрезвычайно снежные. У меня были санки, точь-в-точь как у гражданина Кейна, разве что без надписи “Розовый бутон”. Я мчался с фуникулера по склонам горы Мтацминда, мчался, воя от счастья… Может, и поэтому фильм “Гражданин Кейн” и режиссер Орсон Уэллс для меня – лучший фильм и лучший режиссер…

Чугунный шар ударил о стенку, разделявшую мою комнату и комнату Паскаля Аджиашвили, и – о ужас!!! Посыпался дождь золотых монет. Он сыпался и сыпался… Паскаль Аджиашвили схватился за голову. Я орал! Орали все жители. Все рванули к

дому. Мгновенно появилась милиция. Стала отталкивать тех, кто успел добежать до снега и грязи, куда упали золотые монеты. Завыли сирены, подъехала еще милиция. Оцепила весь участок, кто-то успел сбежать… Соседи спрашивали моего папу: “Ты знал о золоте?” Отец ошалело смотрел на меня, на маму. Отвечал: “Если знал, оставил бы в стене?! Что я, идиот?!”

Паскаль обессиленно сел на землю. Сказал тетке, стоящей над племянником в белых перчатках: “Всегда думал, как достать миллион, а он был в сантиметрах от меня?!”

Тетка, опытная кассирша, пыталась успокоить Паскаля: “Может, это фальшивое золото?” Оказалось не фальшивое. Недели через две, когда папу трижды вызвали в грузинское КГБ на допросы “Знал ли о кладе в стене?”, выяснилось, что мы всю жизнь спали рядом с ведром, полным царских николаевских золотых монет. И было их две тысячи сто сорок семь штук, не считая в суматохе потерянных.

Ни нам, Квирикадзе, ни Аджиашвили Паскалю и его тетке не удалось добиться обещанных двадцати процентов от клада. Стало понятно, что скрипело на острие штыря, когда я вбивал его в стену над кроватью… Две тысячи сто сорок семь золотых монет звякали, шептали мне: “Ираклий, мы здесь, мы твои…” Через два дня все стены дома в Музейном переулке были разрушены, рабочие очищали территорию с небывалым энтузиазмом (надеялись найти в бетонных глыбах, деревянных балках, кирпичных обломках закатившиеся, затерявшиеся царские монеты).

Наш дом исчез, словно его и не было. Я стал жить в других домах, в Москве, в Лос-Анджелесе, в Берлине, на Мальте… Другие Новые годы! Вспоминаются рестораны, Московский дом кино, дома друзей с салатами оливье, Марина Целикова, к которой я поехал на станцию Ухтомская, рассорившись с друзьями и решив встретить с ней Новый год. Я был студентом ВГИКа. Она была старше меня, художница, постоянно жившая в поселке в Подмосковье, без телефона. Я ехал в пустой электричке за двадцать минут до Нового года, не зная, где она – там, в поселке, или где-нибудь в Москве. За десять минут до Нового года шел по незнакомому поселку, где был в последний раз год назад. Нашел ее дачу. Марина впустила меня, не дав раздеться, повела к письменному столу, велела открыть последнюю страницу ее дневника “ 31 декабря 1970 года. Я знаю, что сегодня приедет Ираклий, хоть он и сбежал от меня, не дает знать о себе уже больше года…”

Было странно читать этот текст. Мы с трудом успели открыть привезенную бутылку шампанского… Били куранты. Наступил

1971-й. Лунной ночью мы ходили по лесу. Замерзшие, вернулись в дом. Вспомнил, что в прошлом году подарил ей портрет Ван Клиберна, которого она боготворила. Я приклеил тогда портрет над ее письменным столом, сказав пафосную фразу: “Никогда не снимай его”. Портрета Клиберна не было. Я спросил: “Где он?” Она ответила: “Я, как ты велел, не снимала его”. – “Как?” Она принесла острый нож и сказала: “У меня новые обои, соскобли вот здесь”. И сама стала скоблить. Очень скоро пианист появился там, где я приклеил его в прошлом году… Марина была странная.

Очень странная была девушка Тамара, которая поехала со мной в Китай на остров Хайнань. В декабре 2009 года на острове было непривычно холодно. Мы предполагали встретить Новый год в компании малознакомых людей из России, Германии, Англии. Приобрели билеты на новогодний праздник. Но в ресторане было очень тоскливо. Развлекали китайские затейники. Сотни гостей изображали веселье. Тамара сказала: “Давай уйдем”. Мы шли по темному пустынному китайскому пляжу. Я взглянул на часы: “Через пять минут Новый год”. И услышал: “Быстро разденемся, бросимся в воду в 2009-м, а выплывем через год – в 2010-м”. Идея понравилась. Мы бросились в ледяной океан, такой ледяной он, наверное, у острова Шпицберген. Плыли в темноте. Мне мерещились акулы, гигантские осьминоги, электрические скаты – все эти чудовища неслись на нас – и вот, вот… Но я изображал смельчака и плыл. Вдруг там, где предполагался берег, в небо взлетели тысячи цветных фейерверков. На острове Хайнань начали праздновать новый, 2010 год. Мы обнялись с Тамарой, посреди океана поцеловались ледяными губами и поплыли назад. Вышли на берег через год. Дрожа от холода, потеряв одежду, ключи от гостиницы, мы хохотали.

Через три года в Лондоне родился ты, наш Чанчур, которого Тамара назвала в честь меня. Я принимал роды. Мы знали, что ждем мальчика, но не ожидали, что ты родишься именно в первую минуту первого января 2013 года, когда в окнах больницы Сан-Мерис сверкает фейерверочными огнями Темза, виден циферблат Биг-Бена.

Чернокожая чиновница из лондонской мэрии, которая на другой день пришла в больницу с букетом белых роз, сообщила, что Ираклий Квирикадзе-младший – первое дитя, родившееся в Англии в 2013 году.

На этом завершу свою новогоднюю хронику.

Начал я ее мрачноватыми историями новогодних смертей в доме моего детства в Тбилиси в Музейном переулке, 16. Но, думаю, ты раза два-три улыбнулся… может, даже рассмеялись,

читая, как Кандита Попхадзе смерть застала на пышном теле соседки и как в новогоднюю ночь Толбухина тащила Кандита к дверям его квартиры, или как мы, “сироты”, внесли гроб нашего вождя Артура Жоржоладзе в столовую “Вавилон”. Или как к моей маме вернулась ощипанная индюшка…

И завершилось все фейерверком над Темзой во время твоего рождения в первую минуту первого января 2013-го…

И еще… Если брести по лабиринтам памяти, к самому-самому началу, я вижу, как в темноте мерцают цветные крошечные лампочки на елке. Папа в наряде Деда Мороза спит пьяный с открытым ртом, храпит. Входит мама. Не замечает, что я не сплю, в руках у нее большая белая луковица (на кухне готовят что-то к завтрашнему Новому году). Мама с улыбкой смотрит на храпящего Деда Мороза и закрывает луковицей папин рот, выходит на кухню. Папа продолжает спать с белой луковицей во рту, которая от мерцающих елочных огней то синяя, то желтая, то красная. Эта картинка – на самом дне моей памяти.

Дальше темнота…

Вместо эпилога

В городе Лондоне какое-то время назад по улицам окраинной части Портобелло прогуливались Чанчур, его мама и папа. Вдруг они увидели дикую утку и дюжину крошечных утят, переходивших улицу. За утиным семейством плелся жирный, грязный рыжий кот. Он не спешил. Он направлял утиное семейство туда, где совсем безлюдно, где он сможет оттяпать у утки пару утят и…

Тамара ринулась наперерез коту. Кот зашипел: “Отвали, девчонка”. Чанчур вслед за мамой смело бросился на кота. Я, самый заторможенный в семье, смотрел на разгоравшуюся битву.

Наглость кота была беспредельной. Испуганное утиное семейство забилось под колеса стоящей у тротуара машины. В конфликт вмешались африканский парень из мексиканского ресторана и девушка, рыжая, как кот. Тамара, африканец, Чанчур, рыжая девушка и рыжий кот оказывались то под колесами, то посреди улицы. Все кричали, крякали, махали крыльями, мяукали, шипели… И вдруг мама-утка в полном безумии взлетела и, набрав высоту, исчезла за крышами домов.

Африканец как-то отогнал супернаглого кота. И хотя у каждого были дела, никто не смог покинуть одиноких утят. Кот где-то рядом присутствовал незримо. Тень угрозы повисла над пустынной улицей в Портобелло. И тут прихрамывающий мужчина-индус в чалме принес прозрачный пластмассовый ящик. В него посадили утят. Ящик дали держать Чанчуру. Он прижал его к груди, смотрит на утят и на небо: почему не летит их мама?

Африканский парень сказал: “Эта утка с пруда, что за двумя улицами”. И вся команда во главе с Чанчуром пошла искать пруд. Нашли. У воды поставили прозрачный ящик… Вдоль берега плавают утки, но ни одна не заинтересовалась пищащими желтыми шариками. Людская компания обсуждает: “Может, не стоило вмешиваться в конфликт утка – кот? Ну сожрал бы он одного-двух утят. Остальные были бы с мамой… А что сейчас?”

…Мы стояли весь день: Чанчур, его мама, его папа. Другие ушли.

Вокруг крякали утки, и в каждой пролетающей нам виделась мама. Мы бы, наверно, тоже ушли, но Чанчур требовал ждать… И представьте, вечером мама-утка явилась! Мы высыпали из прозрачного ящика ее детишек, они выстроились цепочкой за мамой и след в след, как шесть гномов, последовали за своей Белоснежкой. Седьмым гномом был наш Чанчур.

Я смотрел на него, улыбался и думал: “Что же я написал?

Обрывочные наброски моей автобиографии? Нужно ли знать о них мальчику, идущему за дикой уткой в свой новый, неизведанный мир?!”

Чанчур оглянулся и кивнул мне.